



Bar. Ulu

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу

Алтайская краевая универсальная
научная библиотека
им. В.Я. Шишкова



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ

I

Скитания

БАРНАУЛ

2018

*Издание подготовлено по заказу
и при финансовой поддержке
Правительства Алтайского края
в рамках Губернаторского издательского проекта*

Редактор-составитель С.А. Мансков
Дизайнер-иллюстратор А.В. Казанцев

Шишков, В. Я.

Ш – 656 Собрание сочинений в трех томах. Т. 1 / В. Я. Шишков ; [ред.-сост. С. А. Мансков] / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шихова. – Барнаул; Кемерово: ООО «Технопринт», 2018. – 400, ил.

ISBN 978-5-85905-516-5

В первый том собрания сочинений известного писателя Вячеслава Яковлевича Шихова (1873–1945), много писавшего о Сибири, входят ранние произведения, повесть «Тайга» и другие тексты, объединенные тематикой «алтайского текста». В раздел «Публицистика» включены лучшие журналистские работы и рецензии, опубликованные в газетах «Сибирская жизнь» и «Жизнь Алтая». Эпистолярное наследие представлено избранными письмами (декабрь 1911 — апрель 1916).

ISBN 978-5-85905-516-5
ББК 84(2Рос-Рус)6

© В.Я. Шишков, 2018
© С.А. Мансков, 2018
© А.В. Казанцев, 2018
© КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шихова», 2018

НОВЫЙ ШИШКОВ

Вячеслава Яковлевича Шишкова можно смело назвать советским писателем с благополучной судьбой. Начав писать зрелым человеком с большим и разнообразным жизненным опытом, он только в 41 год решил стать профессиональным литератором и жить на гонорары от книг. Для читателя XX века этот писатель — автор главной своей книги «Угрюм-река». Этот труд и роман «Емельян Пугачев» занимают пять из восьми томов его собрания сочинений. Но был и другой Шишков, которого можно было бы назвать в рапшовской стилистике писателем-попутчиком со сложным религиозным опытом. Три тома этого собрания сочинений позволяют увидеть новые черты, которые стали очевидны после ухода цензуры и возвращения забытых текстов.

Преданный Алтаю

Вячеслав Яковлевич Шишков родился далеко за пределами Алтая. После двух алтайских экспедиций он больше не был в нашем регионе, но всю последующую жизнь обращался к этому пространству как камертону, по которому можно настраивать жизнь и творчество. Две цитаты из писем к Г.Н. Потанину это доказывают: «Алтай красив. В особенности его вечные снега, земли надгробие. Что за прелесть Чуйские Альпы. А густые пушистые букеты розового маральника, которыми щедро убран Алтай рукою Ангела, почивающего на вечных снегах». «А тихие алтайские ночи! Как хороши они, как торжественны. Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет, и не знаю, чем я возьму Алтаю ту радость и счастье, которым он меня наделяет каждый день, каждую минуту. Если б я был поэтом, воспел бы его, бесконечно стал бы прославлять красу его и мощь»¹. Действительно, река Бия, Чуйский тракт, пространство гор и предгорий во многом стали тем энергетическим зарядом, который позволил инженеру Шишкову стать писателем. Именно на Алтае Вячеслав Яковлевич пишет первые очерки и рассказы, публикует их в томской газете «Сибирская жизнь» и барнаульской «Жизни Алтая», создает новое, малоизвестное для читателей из столиц пространство.

На Алтае Шишков начал работу над первой повестью — «Тайга», высоко оцененной Горьким. Здесь окончательно созрело его решение стать профессиональным писателем.

У историков литературы два крупных писателя, стартовавшие в начале XX века на Алтае и воспевающие Алтай, идут парой: они дружили, их рассказы и повести имеют схожие черты. Исследователи пишут сопоставительные диссертации, сравнивая художественные тексты этих творцов². «Угрюм-река» вписывается в творческий метод «Чураевых», «Река

1 Черняева Т.Г. Образ Алтая в творчестве В.Я. Шишкова // Книга и чтение: жизнь и творчество В.Я. Шишкова: информ.-метод. материалы. Барнаул, 2009. С. 6-52.

2 Закаблукова Т.Н. Семейная хроника как сюжетно-типологическая основа романов «Чураевы» Г.Д. Гребенщикова и «Угрюм-река» В.Я. Шишкова: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2008. 24 с.

Уба и убинские жители» строится на схожем этнографическом подходе, как и книга очерков «По Чуйском тракту» и «Чуйские были». Сближение Г.Д. Гребенщикова и В.Я. Шишкова в этом контексте не случайно. Они начинали в одном культурном пространстве Томской губернии, а общим учителем для них стал Григорий Николаевич Потанин. Барнаульский краевед В.Ф. Гришаев писал: «Несмотря на большую разницу в возрасте, они сошлись очень быстро. Шишков был постоянным посетителем литературно-художественного кружка, собиравшегося на квартире Потанина, здесь впервые читал рассказы «Чары весны», «Бабушка потерялась», «Помолились» и др. «Вам надобно писать!» — каждый раз горячо убеждали его Потанин и другие слушатели»³. «На одном из потанинских вечеров, — пишет В.Я. Шишков в автобиографии (1926 г.), — я познакомился с беллетристом, уже известным в Сибири, Г.Д. Гребенщиковым, который принял самое горячее участие в моих литературных начинаниях и стал моим другом». Автор «Чураевых» также считал Шишкова своим другом и сетовал в письме к Симонову в 1946 году (уже после смерти Вячеслава Яковлевича), что последние десять лет был лишен возможности переписки с коллегой по цеху. К сожалению, практически не сохранилась большая часть архивов двух этих авторов. Гребенщиковский дореволюционный архив остался на Алтае и после эмиграции писателя канул в Лету. Часть архива Шишкова погибла во время ленинградской блокады. Писатель жил в городе Пушкине (Царское Село), который заняли немецкие войска, и, вероятно, переписка просто сгорела.

«Первый Алтай» у будущего писателя случился, когда он был командирован проводить изыскательские работы на отрезке «Телецкое озеро — с. Соусканиха». В автобиографии писатель отмечал: «Рабочий период 1910 года я заведовал партией по исследованию реки Бия на Алтае, от истоков ее из Телецкого озера (Алтын-куль) до устья. Работа была чрезвычайно опасная — Бия бушевала в своих многочисленных порогах, — но весь риск окупили впечатлениями: познакомился с бытом кержаков-староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (камы) во время моления в глухих и горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись за концы арканов, раздирали ее живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из ее живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме. Интересен национальный теленгитский праздник, где состязались три дня — три ночи народные певцы и сказители былин (рапсоды)». Первые впечатления от этой экспедиции появились в газете «Сибирская жизнь» от 18 июля 1910 года. В путевом очерке инженер-писатель берет на себя функции гида-экскурсовода. Уже в названии материала «Любителям красоты и природы» заложен характер туристического путевода. Путешествие по Алтаю визуализируется в деталях и подробностях. В.Я. Шишков не стесняется рассказать о лавочках, где можно закупить

3 Гришаев В.Ф. Вячеслав Шишков на Алтае // Литературная газета. 2006. 22-28 нояб. (№47). — Прил.: Алтай. №17. С. 2.

провизию, о надежных людях на маршруте и о многом другом. Станным образом описание вековой давности погружает в сегодняшние реалии: «Все хвалят излюбленный, давно насиженный Чемал, Чергу, Элек-Монар и пр., все стремятся туда, может быть, в третий, десятый раз, чтобы снова и снова созерцать все те же виды. Слов нет, хороши там горы, блестят на солнце, как серебряные, их снеговые вершины, но разве есть в тех местах красавица Бия, и где вы встретите там такую искрящуюся небесной синевой огромную площадь воды, как Телецкое озеро? Поезжайте на Бию, на Телецкое озеро, на Чулышман. Скажете — спасибо! Конечно, и веселей, и дешевле ехать компанией, но и одному не так уж дорого».

Литературное и журналистское взросление Шишкова в Сибири происходило в периодических изданиях: томском «Сибирском наблюдателе» и барнаульской «Жизни Алтая». Здесь печатались его первые беллетристические опыты. Здесь же сформировался дружеский кружок литераторов, с которыми Вячеслав Яковлевич поддерживал отношения на протяжении всей жизни. Среди них уже упомянутый Г. Гребенщиков, П. Казанский, Г. Вяткин, А. Новоселов.

В Барнауле Шишков бывал лишь проездом из Томска в Бийск и обратно. Здесь, пересаживаясь с парохода на пароход, встречался с Г.Д. Гребенщиковым, тогдашним редактором газеты «Жизнь Алтая», и, вероятно, с другими местными литераторами. К началу работы на Чуйском тракте Вячеслав Яковлевич имел уже некоторую известность в литературных кругах. Первым его произведением, увидевшим свет, была небольшая символическая сказка «Кедр», напечатанная в 1908 году в газете «Сибирская жизнь». В 1912 году два рассказа — «Теща» и «Дяденька» — появились в газете «Жизнь Алтая». В том же году в столичном горьковском журнале «Заветы» был опубликован большой рассказ «Помолились», заслуживший теплые отзывы. Этот год Шишков считал началом своей литературной деятельности.

Последняя сибирская экспедиция инженера и писателя связана с созданием проекта главной дорожной артерии Алтая — Чуйского тракта. В 1913 году Шишков получил задание разработать проект стратегической дороги, связывающей Российскую империю с Монголией и Китаем. Большая экспедиция разделилась на две части, чтобы иметь возможность прочертить варианты с правой и с левой стороны Катуня. Руководивший работами Вячеслав Яковлевич постоянно координировал деятельность этих групп и был в бесконечных разъездах, давших яркие впечатления для очерков и рассказов⁴. Первый помощник Шишкова, техник Василий Петров вспоминал: «Вячеслав Яковлевич любил заходить в избы крестьян, юрты алтайцев, где подолгу беседовал с их обитателями. Во время этих бесед Вячеслав Яковлевич ничего не записывал, но зато вечерами в его палатке долго горела свечка: он сидел над своей заветной тетрадью»⁵.

Первая мировая война не дала возможности закончить разработку Чуйского тракта, но сохранились проекты, искусно начерченные в цветном изображении.

4 О подробностях этой экспедиции можно прочитать на сайтах: www.geo.ru, www.altaj.ru, www.skyth.ru.

5 Вячеслав Шишков и Сибирь: сборник /сост. и текст Н.В. Серебренникова. Томск, 2008. С. 33.

Первые литературные итоги экспедиции появились в «Сибирской жизни» в 1913 году. Впоследствии сначала возникла книга очерков «По Чуйскому тракту», а потом рассказы и повести, объединенные этим дорожным пространством.

Сам автор отмечал: «С весны 1913 года я стал заведовать Чуйской партией. Мне было поручено произвести подробные технические исследования торгового Чуйского тракта, пересекающего Горный Алтай от города Бийска до границы Монголии. Цель изысканий — переустройство безграмотно проведенного весьма важного пути. Партия была разбита на два отряда, по тридцать человек в каждом, и работала рабочие периоды 1913 и 1914 годов. Мне все время приходилось поддерживать связь между отрядами, передвигаясь по убийственным кручам верхом. Алтай поражает своей строгой величественной красотой. Вид увенчанных вечными снегами Чуйских Альп и реки Катунь — незабываем. Или Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на полсотни верст, кажутся стоящими рядом с вами — до того чист, прозрачен воздух. Или озеро Кеньга, в долине которого — калмыцкое царство, с князьками, владеющими сорока тысячами голов лошадей. Мне удалось присутствовать на калмыцком празднике — «Той» — и я перенесся во времена Тамерлана. Борьба, конские состязания, а к вечеру, при мерцающих звездах, на берегу озера запылали костры, в невиданных котлах варилось чуть не по целой лошади, голые по пояс калмыки огромными жердинами ворошили в котлах хлебово, время от времени ошарашивая этими жердинами снующих тут же многочисленных собак; ночью — крики, драки, песни, пьяная гуляба.

Калмыки и теленгиты уже бросали культ шаманства и, под влиянием своего мессии Чет-Челпана, переходили в бурханизм (упрощенный буддизм); однако мне приходилось встречать и шаманов (камов). Кроме очерков «По Чуйскому тракту», Алтай дал мне пока ряд мелких рассказов — «Чуйские были» и написанную в 1917 году повесть «Страшный кам» (шаман). Перед моими глазами прошла мобилизация на германскую войну. Патриотического подъема, о котором всюду писалось, не было, — были слезы, проклятия, буйства, погром винных лавок».

Один из самых авторитетных исследователей творчества алтайских писателей Татьяна Георгиевна Черняева отмечала: «В цикле очерков «По Чуйскому тракту» В.Я. Шишков опирается на длительную традицию путевого очерка в журналистике и литературе. Обширная и разнообразная информация о жизни современного писателю Чуйского тракта композиционно выстроена как перемещение рассказчика в пространстве: от Бийска до перевала Чике-Таман — по старому левобережному маршруту. Об этом красноречиво говорят названия отдельных очерков: «От Алтайского до Муюты», «Шебалина — Топучая», «Семинский перевал — Кеньга», «Онгудай». Русские и алтайские названия населенных пунктов, рек, горных хребтов в изобилии встречаются в очерках, отражая коренную особенность Алтая как многонационального пространства»⁶.

6 Черняева Т.Г. Образ Алтая в творчестве В.Я. Шишкова // Книга и чтение: жизнь и творчество В.Я. Шишкова: информ.-метод. материалы. Барнаул, 2009. С. 18.

Путь начат в Бийске, дороги которого запомнились особенно. «Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми котятками, опорками, пимами. На углу домишко ломают: куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь. Это не улицы, а сплошные отвалы. И сколько ни составляй протоколов, протоколами дорогу не вымостишь». За «воротами Алтая» начинаются благословенные горные места.

Объединяющей фигурой цикла является рассказчик. Перемещаясь в пространстве, он движется и во времени, меняется в процессе открытия нового, незнакомого для него мира. «По неустроенному, подчас опасному для жизни Чуйскому тракту рассказчик движется в глубь «орды», т.е. мест, где издавна жили в уединении от остального мира коренные народности Алтая. Их уклад жизни, верования, обычаи, их живая, таинственная и непонятная для русских связь с природой разрушается под воздействием чуждой культуры. В.Я. Шишкову, демократу и гуманисту по природе, всегда было свойственно пристальное, сочувственное внимание к так называемым «инородцам». Зоркий глаз рассказчика замечает и другое: древние курганы за Туехтой, каменные бабы, трехсотпудовые, «ловко воткнутые торчком в землю», испещренные надписями, самая приличная из них сделана беллами: «братья щикотуры Климовы расписались». Возчики от нечего делать упражняются в метании камней по древним памятникам. И рассказчик горестно замечает: «До поклонения искусству они не доросли, им мало дано, с них короток и спрос, но с сибирского общества такое пренебрежение к изваяниям древних — взывает»⁷.

Чуйские впечатления В.Я. Шишкова основаны на его близком знакомстве с изображаемой в очерках реальностью. Продолжая лучшие традиции русских очерковых циклов («Записки охотника» И.С. Тургенева, «Власть земли» Г.И. Успенского), писатель глубоко проникает в насущные проблемы жизни обитающих вокруг Чуйского тракта простых людей: бедных и богатых калмыков, русских крестьян-переселенцев, ямщиков, купцов, чиновников. Читая очерки, вспоминаешь еще и поэму Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В главе «Пьяная ночь», действие которой происходит «на широкой дороженьке», и безымянные, и названные по имени (Яким Нагой, например) персонажи один за другим берут слово, чтобы рассказать о своей жизни. «Встраивая» в очерки мнения персонажей, В.Я. Шишков придает большую достоверность и убедительность образу чуйского мира, в целом оптимистическому. Рассказчик пока движется по старой дороге, но он проектирует новый, улучшенный тракт, и его надежды направлены в будущее.

В 1913 году Г.Н. Потанин опубликовал в трех номерах «Сибирской жизни» большую обзорную статью «Культурная жизнь в Томске в 1912 году». Он подвел итоги предыдущих лет: «Сибирская печать оживилась появлением новых беллетристов. Молодой беллетрист Шишков напечатал несколько бытовых картинок в сибирских газетах и один рассказ в столичном журнале, а лучшие и более крупные, еще не напечатанные, читал в со-

7 Черняева Т.Г. Образ Алтая в творчестве В.Я. Шишкова // Книга и чтение: жизнь и творчество В.Я. Шишкова: информ.-метод. материалы. Барнаул, 2009. С. 19-23.

браниях кружка. Еще более молодой беллетрист Гребенщиков издал сборник своих рассказов в Петербурге под названием «В просторах Сибири...» Как наставник он отмечал здесь первые шаги своих воспитанников, хотя и умалчал о своей роли в создании успешной группы «Молодая Сибирь». Общий тон статьи говорит о том, что автор ее удовлетворен переменами в литературной жизни, на что он положил много сил. Кроме того, «Г.Н. Потанин считал экспедиции Шишкова продолжением своих собственных трудов по исследованию Сибири. Если Г.Н. Потанин многое сделал как географ и этнограф, то Шишков собрал в поездках уникальный материал, который имел чрезвычайно важное хозяйственно-экономическое значение, и в первую очередь для развития коммуникаций Сибири»⁸.

Но если цикл очерков «По Чуйскому тракту» был близок к журналистским и этнографическим наблюдениям, то глубокое художественное переосмысление окружающей реальности пришло в цикле рассказов «Чуйские былы». Шесть рассказов цикла в первой редакции вышли в Петербурге в «Ежемесячном журнале литературы, науки и общественной жизни». Экзотический мир монгольской жизни был очень интересен столичному читателю. Этот период «серебряного века» тяготеет к новым темам. В. Соловьев интересуется панмонголизмом. Через несколько лет А. Блок напишет «Скифы». Горную полудикую экзотику читатели встретили с одобрением⁹.

Язык «Чуйских былей» прост, а притчево-сказочная манера повествования построена часто на авантюрном сюжете. К многонациональному составу персонажей «По Чуйскому тракту» прибавляются еще и новые мотивы купли-продажи, обогащения и обмана, появляется мифологический подтекст, который впоследствии развернется в «Алых сутробах» и «Страшном камне». Из всего персонажного мира этого периода самыми большими грешниками и негодьями, которые обманывают и глумятся над детьми природы (алтайцами, казахами, монголами и китайцами), являются русские купцы.

Вторым столичным прорывом Шишкова стал рассказ «На Бие», написанный после первой алтайской экспедиции и напечатанный Г.Д. Гребенщиковым в «Алтайском альманахе». Этот сборник вышел в Петербурге в начале 1914 года и был благосклонно принят столичным читателем. Под одной обложкой были собраны сибирские авторы, сотрудничающие с барнаульской газетой «Жизнь Алтая» и пишущие об Алтае. «Рассказ Шишкова «На Бие» недаром открывается идиллическим пейзажем: плот геодезистов, исследующих Бию, скользит по «глади успокоенной реки с отраженным куполом голубого неба, а на берегах реки благоухают «каждая былинка и травка». Алтай и в этом произведении предстает земным раем, это чувство усиливается после разговора с сибиряком, который угощает спутников спелыми яблоками, рассказывает о том, что они выращены здесь, в Сибири. У рассказчика возникает ощущение чуда. На встречу с ним и отправляются инженеры-геодезисты, желая своими глазами увидеть фруктовый сад

8 Еселев Н.Х. Шишков. М., 1973. С. 36.

9 Писатель продолжает работать над редакциями. В 1916 году Шишков сокращает цикл до пяти рассказов. «Уходят» «Русские купцы и алтайцы». Только в 1932 году в сборнике «Пурга. Повести и рассказы о старой Сибири» сложилась каноническая редакция цикла.

бывшего чиновника Глаголева, который на Алтае выращивает настоящие яблоки. Реальное путешествие становится легендарно-мифологическим. Известно, что яблоко, сорванное с дерева познания, символизирует грехопадение. С него и начинается мучительный, многотрудный путь человечества, изгнанного из рая.

Сюжет рассказа «На Бие» организуется мотивом пути. Путешествуя по Алтаю, герой-рассказчик удивляется поэтически трепетному отношению коренного населения, алтайцев, давших всему название, — к своей «земельке»¹⁰.

Алтай возникает и в письмах. 1913 — год активной переписки с Алексеем Михайловичем Ремизовым. На экспедиционных стоянках будущий участник литературного шуточного тайного общества «Обезьянья Великая и Вольная палата», рыцарь Капитула В.Я. Шишков транслирует свои впечатления автору «Взвихренной Руси»: «Алтай очень хорош, я давно люблю его. Хочется воспеть его, прославить, но где взять мощь и красоту слова. Алтаю надо молиться, преклонив колена на серебряных его головах, престолах божьих. Спутница моя, выдавшая полсвета, в восторге от дикого великолепия Алтайских гор, от зеленых цветистых долин и вековых лесов. Как жаль, что Вы не с нами»¹¹.

В 1915 году Вячеслав Яковлевич переселился в Петроград, но биографическую и литературную связь со своей второй родиной он не потерял. Сюжеты Чуйского тракта стали разрастаться в большие прозаические формы. Так, в 1923 году в «Московском альманахе» вышла повесть «Страшный кам». В ней Шишков существует в традиционной для его ранних произведений фольклорной сказовой форме. Сохраняя эстетику сибирского областничества, где природа всегда является полноценным участником сюжетного действия, автор рассказывает историю алтайского шамана, который насильственно принял православие, но не камлать не может. Л.А. Юровская, анализируя эту повесть, отмечала: «Бессознательно-художественная форма вымысла, лежащего в основе былички, как фольклорного жанра, позволила писателю прикоснуться к древнейшим основам религиозных представлений и особенностям как русского, так и инородческого (алтайского) мифологического сознания и специфическим формам его проявления. Стилистая манера В.Я. Шишкова сложна и многозначна и дает широкие возможности для поиска новых смыслов его повести о страшном и несчастном каме Чалбаке»¹². Удивительным образом алтайский шаман Чалбак становится носителем пророческого ветхозаветного сознания. Библейские пророки ощущали свою избранность, но при этом жили еще и в противоречивом человеческом мире. Несоответствие предназначения и человеческих страхов и боли давали особое мироощущение. Главный герой — глубоко трагическая фигура, живущая на «развилке трех дорог»: шаманизма, право-

10 Левашова О.Г. Образ Алтая в «Алтайском альманахе» // Алтайский альманах. Барнаул, 2007. С. 20-21.

11 Письма В.Я. Шишкова к А.М. Ремизову / публикация Н. Яновского // Енисей. 1974. №5. С. 67.

12 Юровская Л.А. Повесть В. Я. Шишкова «Страшный кам» // Книга и чтение: жизнь и творчество В.Я. Шишкова: информ.-метод. материалы. Барнаул, 2009. С. 57.

славия и быта. Благодаря хорошему знанию шаманских обрядов, знакомству с деятельностью Алтайской духовной миссии В.Я. Шишкову удается создать сложный философский текст, имеющий яркие черты подлинности событий, а «Страшный кам» становится одним из лучших художественных текстов о шаманизме Сибири.

Таким же продолжением «алтайского текста» стал рассказ 1925 года «Алые сугробы», в котором раскрывается главная мифологема — поиск земли обетованной — Беловодья. С большой долей вероятности можно утверждать, что эта народная мечта была принесена на Алтай с первыми переселенцами-старообрядцами. Вера в благословенную землю была характерна для многих религий, которые перемещались на территории нашего многонационального региона. К началу XX века миф трансформировался в литературные тексты А. Новоселова «Беловодье», Г. Гребенщикова «Чураевы», А. Караваевой «Золотой клюв», В. Зазубрина «Горь». Вячеслав Яковлевич, используя традиции путевой прозы, создает историю о путешествии двух крестьян к пограничным землям. История в крестьянском пересказе создает оригинальный колорит. Два культурных героя (богатырь и тщедушный песенник) отправляются в путь, и все дальнейшее повествование дано их глазами и речами. Тяготение к ремизовской сказовой манере здесь проявлено в полной мере. «Рассказ неоднороден по своему жанровому составу. В него «вплетены» различные типы повествования: сказочное, сказовое, а также черты, присущие одному из жанров древнерусской литературы — жанру хождения. При этом все типы повествования органично сочетаются в одном произведении, делая его самобытным и ярким... Жанр древнерусской литературы, хождения, вводит в произведение целый комплекс мотивов: мотив, странничества, мотив поиска земли обетованной, мотив испытания веры»¹³.

Но если дореволюционный «алтайский текст» писателя был наделен некоторыми идеалистическими чертами при описании природы и социальными при изображении быта кушцов и коренного населения, то Алтай гражданской войны страшен и мифологичен. Современный тверской исследователь В.А. Редькин в монографии 1999 года убедительно доказывает христианские корни мировоззрения В.Я. Шишкова¹⁴. По цензурным причинам эта часть художественного мировосприятия не могла стать общедоступной. В дореволюционном «алтайском тексте» религиозность Шишкова объяснялась традиционной мистикой. Ему были интересны взаимоотношения людей с церковью и верованиями коренного населения. Это и поиск земли обетованной, и отношение к служителям культа, и многое другое. Гражданская война в шишковском переосмыслении восходит не к бытовой религиозности, а к эсхатологической традиции усиленного старообрядческого толка. Приходит Антихрист, а вместе с ним конец света. Самой яркой картиной разрушения мира стал роман «Ватага» об алтайских партизанах.

13 Беломятцева Л.А. Рассказ В.Я. Шишкова «Алые сугробы» // Книга и чтение: жизнь и творчество В.Я. Шишкова: информ.-метод. материалы. Барнаул, 2009. С. 58.

14 Редькин В.А. Вячеслав Шишков: новый взгляд. Очерк творчества В.Я. Шишкова. Тверь, 1999. 152 с.

Одной из главных тем литературы Сибири на протяжении всего XX века является гражданская война. Во многом это объясняется спецификой характера сибиряка и особенностью революционных событий на Алтае, где большая часть крестьянства жила зажиточно. Выходцы с этой территории всегда были хорошими воинами. Первая мировая война научила убивать и серьезно изменила духовные основы солдат. Сибирские воины с восторгом приняли революцию как знак абсолютной свободы. После приказа № 1 Петроградского совета многие вернулись (в основном как дезертиры) домой и начали восстанавливать пошатнувшееся во время их отсутствия хозяйство. Но уже в 1918 году продразверстка Советской власти, мобилизация в армию А.В. Колчака показали, что революционные идеалы не соответствуют тем перспективам, которые ожидало местное население. Началось противостояние партизанского характера, вождями народных армий стали последователи-«двойники» С. Разина и Е. Пугачева¹⁵. В 1923 и 1924 годах два друга и самых ярких писателя Сибири издают романы о гражданской войне, имеющие притчевую форму. У Георгия Дмитриевича Гребенщикова в Париже выходит «Былина о Микеле Буяновиче», третья часть которой полностью посвящена событиям гражданской войны, у Вячеслава Яковлевича — роман «Ватага». И гребенщиковский Иван Лихой, и шишковский Степан Зыков очень похожи — это чудо-богатыри Земли русской, которые подчиняются только собственному кодексу чести. А он, в свою очередь, существенно расходится с общепринятыми правилами и приводит к трагедии персонажа. Такая спорная трактовка революционных событий не входила в идеологические постулаты молодого советского государства. Главным отличием «Ватаги» от других произведений сибирской литературы стал синкретический региональный характер. Шишков берет совершенно реальное историческое событие гражданской войны — взятие и разграбление Кузнецка партизаном Роговым в декабре 1919 года. Вячеслав Яковлевич соединяет в главном герое Степане Варфоломеевиче Зыкове черты партизана-анархиста Рогова, легендарного бунтаря Степана Тимофеевича Разина, свободолюбиве разбойника из горно-заводского фольклора¹⁶. Исследователь романа Я.П. Изотова пишет: «Герой в романе только назван старообрядцем, однако ведет себя вопреки старообрядческим догматам, нарочито «грешит»: прелюбодействует, злоупотребляет спиртным, совершает убийства. Смысл столь явного «неправдоподобия», утрирования в изображении главного героя и событий с его участием — в постановке автором острых социальных и духовных проблем: если бесчинствует в кровавом экстазе самая богобоязненная, устойчивая в своей вере часть населения, то гибель «новой» России предрешена. «Пять глав романа посвящено описанию практики устрашения, кровавой бойни с такими оттенками и подробностями, что натурализм отталкивает. Здесь чувство меры подводит Шишкова, спустя годы он начнет работу над новой редакцией «Ватаги»,

15 Не случайно фигуры этих вождей так интересуют наших писателей. Зрелый Шишков пишет роман «Емельян Пугачев», Шукшин мечтает снять фильм о Степане Разине и пишет роман о нем «Я пришел дать вам волю».

16 Алтай — Беловодье : [сказы, легенды, сказки, былины, календарная обрядовая поэзия] / ред.-сост. А.М. Родионов. Барнаул, 2007. 321 с.

видимо, утихомиривая ее «жареные трупы», кровавую слизь, на которой разъезжаются сапоги персонажей»¹⁷.

«Сюжет романа оказался весьма рискованным прежде всего с политической точки зрения: показывать красных партизан как необузданную шайку разбойников — это значило заранее обречь себя на упреки в политической некорректности, неблагонадежности, в связи с чем Шишков вынужден был, включая роман в свое собрание сочинений в 1926 году, снабдить его политкорректным предисловием»¹⁸. Критика вплоть до 60-х обвиняла писателя в поэтизации стихийности. «Фурманов отмечал, что «опасность “Ватаги” усугубляется тем, что написана повесть хорошо и читается с большим захватом». Шишков, по его выражению, исследовал в «Ватаге» «психологию масс, лишенных руководства». Роман Шишкова, имеющий, по словам автора, полусказочную структуру, художественно переосмысливает, опираясь и на принципы фольклорной поэтики, сибирскую пугачевщину. Анархист Зыков, глава партизанского отряда, учинивший кровавую расправу в маленьком сибирском городке (реально — Кузнецк, севернее Томска), для Шишкова «символ, соборный тип, черная сила, чугунный, темный, с завязанными глазами богатырь. Это опасная, но реальная в определенных условиях сила. «Ватага» — роман-предупреждение»¹⁹. В десятитомное собрание сочинений Шишкова 1974 года этот роман просто не включили. Только после перестройки начались переиздания и попытки научного переосмысления. Для рядового читателя «Ватага» — приключенческий роман, читающийся «на одном дыхании», при этом он существует в традициях русской классической литературы. Современные исследователи декодируют этот роман как антихристианский.

Светлый юмор «шутейных рассказов»

В многочисленных экспедициях и скитаниях инженер и писатель формировался и как гармоничная личность. Светлое, часто ироничное отношение к миру позволило сохранить себя в сложное время русской истории. Современники рассказывают о В.Я. Шишкове как об очень комфортном собеседнике и надежном друге. А.М. Ремизов, покинув Россию, доверил ему все финансовые вопросы по продаже своего имущества и прав. Г.Д. Гребенщиков знал, что за его семьей на Алтае и позднее в столице приглядывает надежный алтайский друг. Такое отношение к миру позволило писателю войти в круг самых известных литераторов эпохи. Часто большой художник занят только самим собой и своими произведениями.

17 Изотова Я.П. «Стихийное явление отрицательного порядка»: об авторской интерпретации разбойничьего мотива в романе В.Я. Шишкова «Ватага» // V Публичные Шишковские чтения: материалы научно-практич. конф. «Литературное краеведение: новые подходы к старой теме». Барнаул, 2011. С. 62.

18 Николаева С.Ю. Традиции В.А. Жуковского и А.С. Пушкина в творческом сознании В.Я. Шишкова (по роману «Ватага») // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. 2012. Вып. 3. С. 64.

19 Филатова А.И. Шишков // Русская литература XX века. Прозанки, поэты, драматурги: биобиблиогр. словарь: в 3 т. М., 2000. Т. 3. С. 727.

Подобное герметичное отношение к миру нередко порождает конфликт с окружающими. Шишкову удалось обратное. Оказавшись в столице, он не только получил расположение главного пролетарского писателя А.М. Горького, но и стал частью круга «Серационовых братьев», «Обезьянней Великой Вольной палаты», приятельствовал с пролеткультовскими авторами, был в составе делегации советских писателей на строительстве Беломоро-Балтийского канала²⁰. Во многом здесь ему помогал талант писателя и человека с необыкновенным чувством юмора.

В шутовском письме в редакцию сатирического журнала «Бегемот» В.Я. Шишков составил свою альтернативную биографию: «...Многие по невнимательности к русской литературе склонны смешивать меня с другим Вяч. Шишковым, автором «Тайги», «Ватаги», «Пейпус-озера» и еще какой-то ерунды, тот действительно староват чуть-чуть. Тот с приличной бородой, я же почти бритый. Тот человек скромный, ни в каких уголовных скандалах не участвует, тихий, очень симпатичный, я же... Извините... Впрочем, то есть да... Тот Вячеслав Яковлевич Шишков лет двадцать жил в стране под названием Сибирь-земля, слонялся и по тайгам, и по Алтаям, и по рекам разным, даже в Якутске был, всюду имел связь с мелкобуржуазными элементами: служителями религиозного культа (шаманы, камы, ведьмы), бродягами, поселенцами, царскими преступниками довоенного образца, а также с малыми народностями: якутами, тунгусами, теленгитами и прочими. Что касается меня, то я... Впрочем, обо мне, писателе шутейном, разговор краток, да я и не люблю себя хвалить»²¹.

Веселого и радостного Шишкова вспоминают многие современники. Еще в 1912 году Г.Д. Гребенщиков писал: «На меня так и брызнуло шишковским юмором... С этих пор я с маленькими передышками хохочу вот уже семь дней, так как напитанный, переполненный юмором мой гостеприимный хозяин не может от времени до времени не выгружать и не рассыпать его направо и налево»²².

Через много лет Н.С. Тихонов отмечал: «Тогда же на этом вечере выступил Вячеслав Яковлевич Шишков. Он читал только что написанный рассказ «Спектакль в селе Огрызове». Слушатели хохотали так раскатисто, как запорожцы. Рассказ вызвал особый, какой-то чувствительный хохот, нельзя было не смеяться. Автор читал мастерски, как будто сам играл за всех действующих лиц. И тогда показался он таким молодым и даже озорным, что всем стало весело»²³.

Осмысление окружающей реальности через комический «фильтр» началось у В.Я. Шишкова с ранних рассказов. «Шутейные» тексты составили четыре из двенадцати томов первого, прижизненного, собрания сочинений, вышедшего в 1926–1929 годах. Всего в наследии В.Я. Шишкова сто пятьдесят комических произведений, где органично соединялись сатира и

20 Показательно, что после этой поездки писатель не создал текста, воспевающего труд заключенных.

21 Шишков В.Я. Хреновинка: шутейные рассказы и повести. Новосибирск, 1996. С. 6.

22 Жизнь Алтая. 1912. 25 октября.

23 Еселев Н.Х. Шишков. М., 1976. С. 103.

юмор. В жанровом аспекте комическое начало находило формы зарисовок, сенок, рассказов, повестей, пьес, анекдотов. Такое обилие жанров позволяло жить в радостных составляющих юмора. Один из первых «шутейных рассказов» — «Собачья жизнь» не вызывает улыбки и радости, так как трудная жизнь близких к горьковским персонажам героев скорее заставляет сострадать им. «Провокатор» — «шутейный рассказ» о революционных событиях (страшных по определению), напротив, заставляет смеяться и радоваться. Повесть «Дикольче» о советской деревне еще и несет в себе черты абсурдного мира.

Интерес к комической стороне был не только личным опытом, но и общим направлением эпохи. Двадцатые годы XX века — время сатирического переосмысления действительности. Фельетоны М. Кольцова, М. Булгакова, Ю. Олеши, И. Ильфа и Е. Петрова формируют новый жанровый канон. В лучах славы М. Зощенко. В отечественную словесность входит В. Катаев. В «Гудковское» десятилетие русской литературы (1920–1928) В.Я. Шишков создает более ста «шутейных рассказов». Его тексты ориентированы на народную смеховую культуру. Приняв ремизовский сказ как близкую художественную манеру, «писатель ориентируется на смеховые жанры русского фольклора. Основной жанровой модификацией рассказа становится рассказ-анекдот или рассказ-шутка, в некоторых случаях писатель использует поэтику сатирической бытовой сказки, былички, народной байки. «Шутейные рассказы», в жанровом отношении следующие традициям фольклорно-сказовой литературы и малой прозы А.П. Чехова, отличаются самобытностью повествования»²⁴.

Как и большинство сатириков этого периода, тяготеющих к жанру литературного анекдота, В.Я. Шихова строит свои рассказы по двум типам: либо это разворачивание комической анекдотической ситуации, либо повествование в сказовой манере, которая сама изначально содержит фольклорный и литературный юмор. Главным отличием от коллег по цеху стало изменение героя. Но мастера «Гудка» смеялись над новым социальным типом советского человека — мещанина, который оторвался от традиционных аграрных корней, но еще не впитал в себя культуру городскую. В.Я. Шишков иронизировал над человеком сельским, общинным или новым чиновником.

Большинство рассказов Шихова, как и анекдот, имеют трехчастную структуру: завязку, диалог персонажей и неожиданную развязку-пуант. Именно последний элемент композиции удастся писателю блистательно. В рассказе-стилизации «Половой вопрос» герой и коллизия традиционные: адюльтер малообразованного парикмахера. Но сказовый диалог с Зощенко, который несколько раз упоминается в рассказе, завершается двумя неожиданными пуантами. Застигнутый мужем любовник выскакивает из окна второго этажа и попадает в руки грабителя, который стоит «на тихой», следя, чтобы банду не обнаружили. Бандит раздевает незадачливого любовника, и после этого уже милиция забирает героя в сумасшедший дом.

24 Громова Е.В. «Шутейные» рассказы и пьесы В.Я. Шихова 1920-х годов : автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Тверь, 2011. С. 8.

Комическое начало становится одним из жанрообразующих в больших формах. В 1928 году В.Я. Шишков получил письмо от симферопольского беспризорника, в котором рассказывались яркие эпизоды скитальческой жизни. Так актуальная тема эпохи стала объектом художественного переосмысления в романе «Странники». Непростой быт этой социальной группы писатель транслировал в текст как диалог трагического с комическим.

Незамеченный роман

Предвоенное пятнадцатилетие — время работы над тремя главными произведениями писателя. Если «Угрюм-река» стала визитной карточкой, а «Емельян Пугачев» — эпическим полотном, востребованным в военное время и заслужившим Сталинскую премию после смерти автора в 1946 году, то роман «Странники» находится на периферии читательского и научного внимания. Причиной этому послужила негативная оценка произведения А.М. Горьким, неяркое изображение комсомольцев и представителей власти. Интересно, но В.Я. Шишков давал объемные живые образы крестьян и простолюдинов, а при описании комиссаров и красноармейцев часто использовал стереотипные черты (кожаная куртка, кобура и прочее). В «Странниках», последнем крупном полотне, посвященном событиям настоящего — борьбе с беспризорностью, художнику удалось соединить основные черты своего метода. «Автор исследует и сопоставляет три аксиологии, реально существующих в жизни, характерных для русского национального менталитета не только 20-х годов XX века, но и для будущего, в том числе для нашей современности. Эта аксиология христианская, система ценностей воровского мира и коммунистическая, основанная на атеизме»²⁵, — отмечает тверской исследователь В.А. Редькин. Действительно, в большинстве ранних текстов В.Я. Шихова христианский подтекст заметен. В зрелом творчестве он становится апокалиптическим — мир идет к своему концу. Религиозный аспект интересен автору во всех его проявлениях: шаманизм, старообрядчество, традиционное православие. По свидетельству редактора «Угрюм-реки» Н.Х. Еселева, этот многостраничный роман был бы еще объемнее, если бы по цензурным соображениям не изъяли большие фрагменты, переосмысливающие события книги с позиций христианства.

В «Странниках» автору удается, с одной стороны, на уровне сюжета, споров о религии вывести диалог веры и атеизма на первый план; с другой стороны, христианская аксиология часто в ее апокалиптическом прочтении присутствует во внутренней ткани произведения. Уже «нулевая точка», с которой начинается создание этого текста — рассказ о беспризорниках «Пренсподня», — отсылка к адскому пространству для грешников. Непосредственность восприятия, связанная с героями — детьми и подростками, позволила осмыслить эту тему на мифологическом уровне, где традицион-

25 Редькин В.А. Онтологические проблемы в романе В.Я. Шихова «Странники» // Наследие В.Я. Шихова: феноменология творчества: (к 135-летию со дня рождения В.Я.Шихова): монография. Тверь, 2010. С.19.

ная библейская лексика полемизирует с советской плакатной риторикой в названиях глав и эпиграфов.

Роман легко читается и дает разные типы героев, которые идут к пониманию смысла жизни. После «Странников» В.Я. Шишков погрузился в создание своих двух главных романов, исчезли «шутейные рассказы», очерковые тексты стали возникать фрагментарно. Возвращение к малым жанрам произошло во время Великой Отечественной войны. В эти годы он продолжает работу над «Емельяном Пугачевым» и становится в один ряд с лучшими перьями эпохи. Как И. Эренбург, М. Шолохов, А. Твардовский и многие другие, писатель создает для ленинградских фронтовых газет, для главной армейской газеты «Красная звезда» статьи о доблестях русского оружия. В.Я. Шишкову удается вернуть в общественное сознание имена Александра Суворова, Дениса Давыдова, Ивана Сусанина и многих других. В это время писатель снова становится скитальцем. Любимое Детское Село (Царское Село) захвачено фашистами, погибла большая часть эпистолярного наследия на оккупированной территории. Первую, самую страшную зиму блокады Вячеслав Яковлевич переживает вместе с горожанами в Ленинграде.

В наброске «В бомбоубежище» писатель с точностью очевидца фиксировал окружающую обстановку: «И действительно: вскоре жутко завывла сирена, за ней другая, третья, двадцатая. И слышится человеческому уху: город заплакал. Да, город на всем своем огромном пространстве — двадцать километров в длину, двадцать в ширину — начинает плакать. Это значит, что тысячи рук, мужских и женских, с ожесточением накручивают тревожные сирены. И через мгновение вы чувствуете, что в этом стонущем завывании сирен, в этом плаче нет уныния, нет безнадежной покорности своей судьбе, нет отчаянья, в нем есть боевой клич, боевой вызов врагу, лютая к нему ненависть». Ленинградцы вспоминали, что в бомбоубежище сам писатель приходил с папкой и все время бомбежек спокойно правил «Емельяна Пугачева» и статьи для газет.

1 апреля 1942 года литератора вывозят в Москву, и он продолжает передвигаться по стране и служить Победе. Ответственный редактор «Красной звезды» Д.И. Ортенберг в своем дневнике писал: «Дорогой для нас человек, писатель Вячеслав Шишков прислал очерк «Гость из Сибири». Кратко о его сюжете. Из Сибири прибыл эшелон с подарками для фронтовиков. Из эшелона на встречу с бойцами вышел высокий дюжий старичина Никита. Встреча состоялась на полянке среди леса, куда после горячих боев была выведена на отдых рота старшего лейтенанта Деборина. Есть в очерке живые жанровые сценки. Колоритные диалоги. Пейзажные зарисовки. Точные портретные характеристики. Словом, емкий по содержанию очерк, в котором видна и рука, и душа большого писателя»²⁶. Душа большого писателя трудилась до последних дней. Умер В.Я. Шишков, совсем немного не дожив до Дня Победы, 6 марта 1945 года в Москве.

Для жителей Алтайского края Вячеслав Яковлевич Шишков стал знаковой фигурой и культурным героем. Самое большое книгохранилище

26 URL: <http://thefireofthewar.ru/1418/index.php/1942/oktyabr-1942/1451-30-10-1942>.

края — Алтайская краевая универсальная научная библиотека носит имя писателя. В ней проходят Шишковские чтения, на которых школьники и ученые-филологи исследуют наследие литератора. На сайте библиотеки в разделе «Персоналии» электронного ресурса «Литературная карта Алтайского края» представлена информация, объединяющая публикации писателя и штудии о нем. В Бийске улица, по которой проходят первые два километра Чуйского тракта, носит имя В.Я. Шихова. На 118-м километре в 1973 году, в столетнюю годовщину со дня рождения писателя, установлен памятник работы барнаульского скульптора П.Л. Миронова. На торцевой стороне памятника отлиты слова на русском и алтайском языках: «Я люблю Алтай крепко, с каждым годом любовь моя растет...» Памятник стоит на живописном берегу Катуня, в великолепном окружении Алтайских гор, которые Шихов так любил. Сегодня памятник привлекает большое количество туристов. По традиции сюда приезжают молодожены из окрестных населенных пунктов.

В девяностых годах поэтика В.Я. Шихова стала объектом пристального научного внимания. Сформирована исследовательская лаборатория под руководством профессора В.А. Редькина в Тверском государственном университете, ученые Алтайского государственного университета и Алтайского государственного педагогического университета активно публикуют свои труды о литераторе уже второе десятилетие.

Появились первые попытки художественного переосмысления судьбы литератора. В 1996 году вышел роман В. Черкасова-Георгиевского «На стрежне Угрюм-реки: Жизнь и приключения писателя Вячеслава Шихова». Автором представлена собственная концепция и оценка творчества художника, сформулированы не лишние интереса и оригинальности выводы.

Три тома собрания сочинений — это три тематические группы наследия В.Я. Шихова. В первом томе представлены произведения, созданные на начальном этапе писательской деятельности, в том числе опубликованные в сибирских периодических изданиях. Сюда включен и зрелый шишковский «алтайский текст». Прочитав первый опыт — символическую сказку «Кедр», читатель может проследить, как менялась художественная манера литератора в зрелых рассказах и повестях. Большинство произведений первого тома объединяют пространство, время и герои, связанные с экспедициями и путешествиями писателя.

Второй том состоит из журналистских очерков, «шутейных рассказов», повестей, связанных с революционными событиями 1917–1920 годов. Репортаж с улиц Петрограда в феврале и марте 1917 года после публикации в «Сибирской жизни» не издавался, несмотря на то, что перед читателем возникает целостная детальная картина событий Февральской революции. Цикл очерков «К угодику» вошел в том «Ржаная Русь» в полном собрании сочинений В.Я. Шихова в 1927 году и до 1996 года не публиковался в полном варианте. Хронику смутных времен существенно дополняют крупные прозаические вещи писателя. Общая художественная и журналистская

картины мира значительно отличаются от общепринятого советского прочтения этой страницы нашей истории.

Третий том — произведения конца 20-х — начала 30-х годов, времени подготовки главных эпических полотен В.Я. Шишкова — «Угрюм-река» и «Емелян Пугачев». Большую часть книги занял роман «Странники», который соединяет в себе лучшие искания русской гуманистической литературы от В.Г. Короленко и М. Горького до А.С. Макаренко. Первая редакция повествования о трудных детях вышла за два года до легендарной «Педагогической поэмы» и встала в один ряд с «Правонарушителями» А. Сейфулиной, «Республикой Шкид» А. Пантелеева и Г. Белых. Остальная часть тома — «шутейные рассказы» и незаслуженно забытые очерки и рассказы Великой Отечественной войны.

Все художественные и публицистические тексты Шишкова прошли тщательную филологическую подготовку.

В завершающем разделе каждого тома — «Избранные письма» — опубликованы письма Шишкова к известным современникам, которые оказали на него как на литератора самое непосредственное влияние. Среди них Г.Н. Потанин, А.М. Ремизов, М. Горький, Г.Д. Гребенщиков и некоторые другие.

Эпистолярное наследие существенно дополняют «Примечания», в которых сообщается о первой публикации каждого текста, о месте его хранения. Главная цель этого раздела — дать толкования устаревших слов и давно вышедших из употребления предметов быта и вещей, сообщить краткие сведения об исторических событиях и лицах, о деятелях искусства, ученых, коллегах-журналистах, о цитируемых автором текстах.

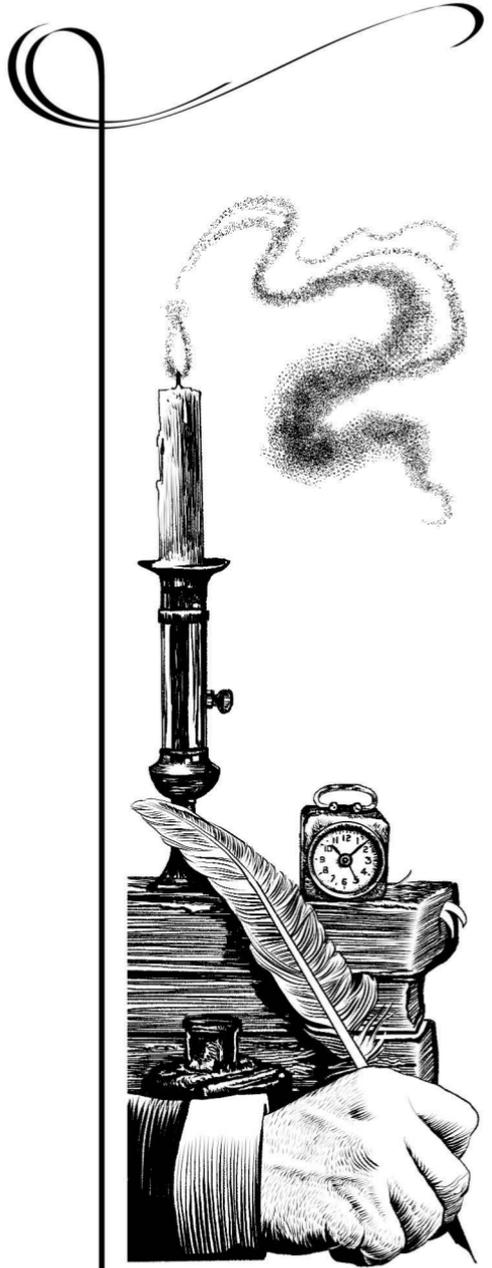
Настоящее издание смогло состояться благодаря усилиям многих людей. Глубокая признательность и благодарность сотрудникам Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. Вячеслава Шишкова за возможность работать не только с фондами краевого книгохранилища, но и со многими библиотеками страны. Большое спасибо писателю Владимиру Николаевичу Токмакову, предоставившему архивное собрание сочинений писателя сороковых годов; Ольге Ермаковой — сотруднику Литературного музея им. В.П. Астафьева в Красноярске за поддержку и ценные материалы. Выражаю признательность Алене Юрьевне Коган, Алине Михайловне Дяновой, Марии Евгеньевне Сергачевой и Наталье Алексеевне Фроловой за оперативную помощь в наборе текстов из дореволюционных сибирских газет.

Отдельная благодарность Елене Борисовне Семьяновой за профессиональную помощь в подготовке и корректуре многих текстов В.Я. Шишкова. Надеемся, что наше издание позволит представить читателям новый образ Вячеслава Яковлевича Шишкова — сложный и многогранный.

Сергей Мансков



АВТОБИОГРАФИЯ



АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 21 сентября (старого стиля) 1873 года в городе Бежецке Тверской губернии. Мой дед со стороны отца — помещик Бежецкого уезда Дмитрий Алексеевич Шишков, а бабушка — его крепостная, крестьянка села Шишковой Дубровы, Елизавета Даниловна. Мой отец, Яков Дмитриевич, жил в избушке своей бабушки, грамоте учили его дьячок и священник. Он с малых лет был привезен в город и отдан в «мальчики» к гостинодворцу, купцу Первухину.

Отмаявшись пять лет, отец мой не пожелал остаться у Первухина, а уехал в Петербург, где прослужил лет пятнадцать — сначала приказчиком, потом доверенным какого-то магазина в Апраксином Дворе.

По письму от Первухина отец едет в Бежецк. «Вот, Яков, — сказал ему Иван Иванович Первухин, — выбирай любую из трех моих дочерей, женись, бери лавку, дом и торгуй, как хозяин, а я скоро умру».

Отец выбрал младшую дочь купца, Екатерину Ивановну, которая и стала моей матерью. Старик Первухин действительно скоро умер, наследство было не ахти какое: деревянный старый дом на Воздвиженской улице и лавка с «красным» товаром в Гостином Дворе.

Но крепко налаженная торговля скоро пошатнулась, отцу пришлось выделиться из общего дела по пяти тысяч рублей двум своим свояченицам, вышедшим замуж.

Я рос в городе, летом же уезжал в деревню к бабушке, где и прогацивал до поздней осени. Я очень любил бабушку и любил деревню. Дуброва расположена среди высоких холмов, покрытых густым хвойным лесом. Почти каждый день мы с товарищами ходили в лес, в горы, по грибы, по ягоды. Товарищами моими были крестьянские парнишки, два поповича (Алексей и Николай Морковины) и сын дьячка.

Жилось весело, шумно, и осень, когда нужно было ехать в город, всегда встречалась слезами.

Избушка бабушки маленькая, покривившаяся, вросшая двумя окошками в землю, но она до сих пор живет в моей памяти, как светлая сказка.

Запомнился мне и брат бабушки, Никита Данилович, высокий, лысый, широкобородый старик; изба его была рядом с нашей. Он был широкоплеч и силен, говорил густым басом; осенью он брал меня с собой в ригу, где всю ночь мы с детворой пекли картошку, веселились, слушали его сказки.

В нашей избушке жила сестра бабушки, старуха лет шестидесяти пяти, Анна Даниловна. Она любила побрюзжать, ласково поругаться, но ругаться не с кем — ругала своего кота. Земли у нее не было, жила в крайней бедности, принимала у роженец ребят, опрыскивала с уголька, с окатных камушков. Я любил мыться с нею в печке (бань в селе нет), — она растирала меня свежим веником, окачивала водой с причетом, с заклинаниями от нечистой силы.

Когда дела отца пошли хуже, по летам в деревне стало жить не так вольготно и сытно. Помогали крестьяне, иногда из барского дома ключ-

ница приносила продукты и яблоки. Анна же Даниловна, в праздничные дни, брала в руки клаюшку и, высокая, сутулая, в сером домотканом зипуне, отправлялась по миру, по окрестным деревням. Возвратившись поздним вечером, уставшая, она вынимала из кошелья подайние и давала мне самые сладкие куски, крича басом: «На-ка, на, ангельская душа! Забыл тебя отец-то. Пьянствует, должно быть. На с изюмом!.. Ишь ты, как лисенок, отощал!»

Сначала учился я в частном пансионе, потом поступил в городское училище с шестилетним курсом.

Отец мой — малообразованный, мать тоже, разговоров о литературе, о писателях у нас в доме не могло быть, я не задумывался над тем, как делаются книжки, и вдруг, каким-то необъяснимым чудом, меня потянуло писать.

Первая работа — «Волчье логово» — повесть из разбойничьей жизни, вторая — описание крестьянских «посиделок» (бесса) с плясками и песнями. Обе штучки были написаны мною в возрасте одиннадцати-двенадцати лет.

Когда я был в пятом классе городского училища, помню, учитель словесности А.П. Павлов прочел вслух мою классную работу — «Утро в деревне» — и поставил «пять». С тех пор, вплоть до самого зрелого возраста, я литературой не занимался, и мне не приходило в голову, что я буду писателем. Правда, впоследствии, когда техническая деятельность столкнула меня в юных годах с народом, я всегда имел под руками записную книжку, куда заносил меткие словечки, структуру фраз, песни, делая это совершенно инстинктивно.

Домашняя обстановка была такая: мы помещались в четырех комнатах верхнего этажа. Братьев и сестер у меня было очень много. Родилась Вера — умерла. Родилась другая девчонка, названная в честь первой Верой, — умерла. Родилась третья Вера, — умерла. Тогда решили, что это имя роковое, четвертую девочку назвали Антониной, — тоже умерла. Теперь в живых, кроме меня, две сестры, два брата; я — старший. Жила с нами слепая старуха Федосья Ивановна, дальняя родственница матери. Очень богомольная. Она в молодости хаживала по святым местам, была в Киеве, у Троицы-Сергия и, кроме сказок, рассказывала мне весьма образно и душевно про свои путешествия, про жития святых. Это повлияло на мое воображение, и я решил сделаться святым, в крайнем же случае — священником или архиереем.

Частенько я накидывал на плечи скатерть, на голову надевал из картона камилавку и служил молебен в присутствии всех домочадцев, причем кричал на них, чтобы они молились, сам же работал за попа, за дьякона и хор. Иногда хоронил по православному обряду мертвых птичек, лягушек. Однако религиозное настроение не помешало мне, в компании сверстников, самым жестоким, зверским способом убить кирпичами не доведенного веревкой кота, который и был похоронен с честью, тоже по православному обряду.

Лет семи я обвенчался с кухаркой, краснощекой Матреной, брак был по любви, венчание происходило во дворе, в весенний праздничный

день. Мне очень трудно было поспевать и за жениха, и за попа, невеста покатывалась от хохота, хохотала мать из окна, смеялся и муж Матрены — наш приказчик. Обручальное медное кольцо у меня на второй день запухло на пальце, приказчик распиливал напильником, отец хотел меня драть, но заступились бабушка и мать. Второй раз отец обругал меня и замахнулся арапником, когда я, уже лет тринадцати, заявил о своем желании уйти в монастырь спасти душу.

У меня была страсть к книгам, я завел библиотечку из разной сыгинской и манухинской дребедени, составил каталог и насильно выдавал книги для прочтения, по три копейки с книги, обращая медяки на пополнение библиотеки. Тех, кто отказывался читать, — презирал или лез с ними драться.

В нижнем этаже помещались: кухарка, три приказчика и сподручный мальчик Миша. Я любил спускаться к ним: там было весело; один из приказчиков занимался вечерами переплетным делом и хорошо пел разбойничьи песни, другой показывал фокусы, третий был всегда выпивши. Отец запрещал эти визиты. С мальчиком Мишей Куликовым, который был старше меня года на четыре, мы состояли в большой дружбе. Его мать, землячка моей бабушки, работала на одной из табачных фабрик Петербурга. После ее смерти осталось два ребенка, одного из которых, Михаила, моя бабушка, по большому своему сердцу, бедствуя сама, взяла на воспитание. Михаил, живя впоследствии у нас в качестве мальчика и называя отца «ляденкой», окончил курс уездного училища; он был замечательный рисовальщик, поехал по настоянию учителей в Петербург, чтобы продолжать образование, но вместо того поступил на службу в банк и, катаясь на лодке по взморью, утонул лет тридцать пять тому назад. «Ну, значит, не судьба», — сказал отец, получив известие о катастрофе. Я впервые тогда по-настоящему призадумался над жизнью, и понятие «судьба», наполнившись трагическим содержанием, крепко засело в моей душе. Мой отец был страстный охотник, он всегда держал несколько породистых собак и много ружей. Большой любитель природы, он часто брал меня с собой на охоту. Эти радостные поездки, всегда дававшие массу впечатлений, запомнились мне с детства. В Бежецке стояли запасные эскадроны — лейб-гусарский и лейб-уланский. Офицеры, любители покутить, свели компанию с отцом, ездили с ним на охоту, бывали у нас в гостях. Такое знакомство очень льстило отцу: князь Хованский, барон Стандершельд, красавец поручик Паниютин и другие; мать же проливала слезы: отец торговлю забросил, стал попивать, приказчики тащили товар всяк себе, лавка пустела. В конечном счете, когда эскадроны из Бежецка перевели, уехали и офицеры, задолжав отцу порядочную сумму. Дело покачнулось окончательно: из Москвы и Петербурга приезжали доверенные фирм, где отец кредитовался, грозили приступить к описи имущества.

Дважды присылаемая стариком Шишковым денежная крупная помощь не спасла положения; отец рассчитался до копейки со своими долгами и торговлю прекратил. Наша семья, превратившись в семью мещан, стала

бедствовать. По своему добродушию отец распустил в долг крестьянам товару тысячи на две. Помню, мы наняли лошаденку и поехали с отцом по первопутку собирать долги. Потеряли времени неделю, привезли домой рубля два-три. Отец долговую книгу бросил в печь и запил по-настоящему. При такой обстановке я кончал курс городского училища и готовился к конкурсным экзаменам в Вышневолоцкое техническое строительное училище. На следующий год умерла бабушка, а два года спустя и помещик Шишков. Его похоронили возле церкви, незабвенная же моя бабушка легла рядом с мужичкой костью, на деревенском кладбище, среди зеленых ив.

Д.А. Шишков — помещик средней руки, штаб-ротмистр в отставке. По отзывам крестьян, он был неплохим человеком, с крепостными обращался хорошо. Я встречался с ним трижды. Первый раз, когда со сверстниками-мальчишками возвращался из лесу. Старик на беговушках ехал в лес. «Барин, барин едет!» — закричали мальчишки и бросились отворять ворота. «Вячеслав, это ты?»

Старик поцеловал меня, потрепал по щеке и дал яблоко.

Второй раз — он призвал меня темным осенним вечером. Он жил тогда в отдельном от барского дома обширном флигеле в большом яблоневом саду. Я учился в первом классе технического училища. Просидели за чаем до полночи в живой беседе о предстоящей мне жизни. «Все инженеры и техники — взяточники. Ты не будь таким. Коли твой отец осрамил меня на весь уезд своим пьянством, то хоть ты-то...» Я защищал отца, называя его честным, хорошим и уж не таким пьяницей, как это кажется со стороны. Старик сказал: «В пьянстве можно утопить всякий талант, всякий порыв души».

Третий раз — незадолго до смерти старика. Я, по его поручению, составлял проект часовни на кладбище. Старик был очень болен. Я собирался тогда ехать на строительную практику в Сибирь, где производились изыскания Сибирского пути. Он резко запротестовал: «Там тебя комары съедят, медведи задерут». И дал мне прочесть статьи «Нового времени» об ужасах жизни изыскательских партий в Сибири.

Многочисленная наша семья продолжала бедствовать, иногда буквально голодая. Отец пробовал служить приказчиком. Помощи из дома мне не было, и я очень нуждался.

Техническое училище, которое я кончал, было с пятилетним курсом, из коих два года строительной практики. Я был командирован, в качестве практиканта, в Новгородскую губернию, на постройку Березойского бейшлота. С этого момента начинается мое знакомство с народом. Следующим этапом моей работы был Опеченский Посад, изыскания реки Мсты, жизнь в Новгороде и Вологде. Должен отметить свое путешествие на казенном пароходе с Иваном Кронштадтским (Сергиевым) из Вологды в село Суру, что на реке Пинеге, на родину отца Ивана. Дело было так: из Министерства путей сообщения пришел приказ предоставить пароход в распоряжение Ивана Кронштадтского, для его следования на родину. Чтобы как-нибудь оформить этот незаконный огромный пробег парохода, мой начальник командировал меня якобы для маршрутной съемки реки Пинегы. С Иваном

Кронштадтским мне пришлось пробыть вместе две недели — ежедневно сходился в кают-компании за столом. Свита его: фанатично преданная ему пожилая горбунья из Ярославля, надоевшая всем нам, а больше всего отцу Ивану; его племянник — корявый, рыжебородый, крепко сложенный человек, не дурак выпить, темный делец, извлекавший большую для себя выгоду именем своего дяди; перомонах Геннадий, тучный тунец, обжора: «Меня сам отец Иоанн благословил мясо есть», и еще три молодых студента духовной Академии. Иван Кронштадтский держался очень просто, ханжества в нем я тогда не замечал. С Архангельска, когда к нам присоединился молодой архиерей, обеды приняли оживленный характер: архиерей забавлял нас потешными анекдотами из духовной жизни, отец Иван с укором говорил: «Сразу видно, что вы, владыка, светский человек». Купцы, при проходах Ивана Кронштадтского из Архангельска, пожертвовали много вина — отец Иван выпивал с нами две-три рюмки хересу. В то время ему было лет шестьдесят пять, сухощавый, прямой, румяный, всегда взволнованный и нервный. Я тогда был по-юношески религиозно настроен, жаждал чуда, но чуда не было. На всем тысячеверстном пути выходили на берег массы крестьян, кричали идущему пароходу: «Отец Иван, благослови!» На стоянках, где брали дрова, он шел в сплошную гущу народа, раздавал деньги; мужики и, в особенности, бабы хватили его за рясу, он иногда спасался бегством. Когда мы подошли к селу Суре, конечному пункту путешествия, весь берег был усыпан народом. Народ бросился в воду, по пояс, по горло; капитан растерялся: «Под колеса попадете, под плицы!» И команда в машину: «Стоп!» Мужичьи бороды всплыли; народ, захлебываясь, кричал: «Давай чалки! Мы на себе!.. Ох ты, кормилец наш!..» Отец Иван, как я узнал много лет спустя, принес землякам, помимо своей воли, большой вред. Он платил за все село подати, помогая деньгами. Мужики забросили землю, стали повально пьянствовать; когда же благодетель помер, они оказались в крайней нищете: земля запущена, инвентарь поломан, скот съеден, пропит.

Эта поездка с человеком, которого все считали святым, произвела тогда на меня большое впечатление. И я, когда попал на ремонт плотины «Знаменитой» (возле Кубенского озера Вологодской губернии), занялся спасением народа. Из скудного своего жалования я покупал беднякам сапоги. Как-то старик рабочий стал корить меня: «Что ж ты этому пьянице дал, он все равно пропьет. Лучше дай мне, у меня грыжа». Меня печаловала деревенская грязь, свара, бедность, взаимная ненависть, пьянство, я решил заняться проповедью. В свободное от работы время, глубокими вечерами и праздниками, я ходил по окрестным деревням, собирал народ в избы и поучал от евангелия. Бабы плакали. Слава моя крепла. Старуха Дарья, черная, большеголовая, страшная, заявила мне, что она порченная — кричит петухом, а как станет на молитву — начинает ругать Христа и угодников, — не могли ли я выгнать из нее беса? Я сказал, что это нервы, надо лечиться, бесов нет и что я вообще чудес не признаю. Мое апостольство закончилось большим для меня конфузом: я влюбился в красивую молодую бабу, притом же замужнюю. Тут я понял, что праведником в девятнадцать лет быть очень трудно.

Кончив практику, я получил звание техника и, побыв дома, поехал в конце 1894 года на службу в Сибирь, в Томск, в округ путей сообщения. Отец мой остепенился и совершенно бросил пить вино. Умер он в 1921 году. Моя служба первые два-три года была малоинтересная, кабинетная, зато личная жизнь получила иное направление. Я сдружился со студенческим кружком, часто посещал сходки, тайные вечеринки с рефератами, диспутами, словесной прей социал-демократов и социал-революционеров и, конечно, с выпивкой. Политика меня мало интересовала, но жизнь молодежи была мне по душе, я с рвением собирал деньги по запретным подписным листам на нужды революции. Много читал. Женился на курсистке Анне Ивановне Ашловой, прожил с ней менее двух лет и разошелся.

Два года работал в качестве простого техника (нивелировщика и съемщика) в партии по исследованию реки Оби. В начале 1898 года стал готовиться к экзамену на право самостоятельного производства инженерных работ. В полтора года усиленных занятий я эту премудрость одолел. С тех пор мне поручались ответственные технические работы.

Лето, кажется, 1903 года ушло на поездку на Обь-Енисейский канал, в таежную, комариную, с остояками, местность. В 1904 году исследовал реку Чарыш. В 1905-м заведовал партией по исследованию реки Чулыма. В октябре того же года пережил в Томске еврейский погром, сожжение театра и управления железной дороги, где сгорело и было убито множество служащих и студентов. Громил черная сотня, при поддержке властей (губернатора Азанчевского-Азанчеева), с благословения потерявшего голову архиерея Макария (впоследствии — митрополита московского). Картина была потрясающая. Пылающее здание окружено густой цепью солдат. У самого здания разведены костры, черная сотня караулила выходы, стояла по углам. Запертые люди высовывались, в клубах дыма, из окон четвертого этажа, их расстреливали солдаты. Некоторые смельчаки умудрились спускаться с крыши по водосточным трубам, их сшибали черносотенные дубинки и тут же превращали в куски мяса. За цепью солдат вся площадь запружена безоружным народом. Многие плакали, истерически кричали, но никакой помощи оказать было нельзя: черная сотня и здесь имела свои уши и дубинки. Так продолжалось всю ночь. Следующие два дня прошли в погромах. Меня вдруг потянуло описать эти пережитые мною три дня. И я это сделал. Я жил тогда в семье учителя гимназии П.М. Вяткина и его жены Татьяны Леонтьевны. По моей просьбе они дали приют моему бывшему рабочему и приятелю Егору Кононову (наборщик, жил нелегально по чужому паспорту). Я боялся обыска (начались репрессии), рукопись я уничтожил и аршинный медвежачий револьвер свой закопал в сугроб.

Летом 1906 года, с начальником Б.А. Аминовым, честнейшим, преданным делу финном, ездил с техническим поручением на реку Иртыш к Семипалатинску, знакомясь по пути с бытом иртышского казачьего войска, киргиз и колонистов-немцев.

В 1908 году был командирован заведовать исследованиями порогов на реке Енисее. Здесь удалось мне познакомиться с жизнью золотоискателей на Некрасовском прииске. Меня снова потянуло писать, совершенно нео-

жиданно и неудержимо. Мощная река, грохот ее на порогах, рыбацья деревенька Подпорожная, небывалая гроза с ослепительной молнией, разразившаяся при моем ночном возвращении из поселка Казачинского, — все это подействовало на мое воображение, и я засел за писание. Рассказик получился так себе, и я его выбросил, но это меня не смутило, чесались руки писать еще и попытаться пристроить в печать. В октябре того же года справлялся двадцатипятилетний юбилей педагогической деятельности Вяткина. Я написал символическую сказочку «Кедр» с посвящением юбиляру и снес в редакцию газеты «Сибирская жизнь». Мне было 35 лет, но, когда появилась в печати моя вещичка, я радовался, как ребенок.

В семье Вяткина прожил около семи лет, с большой пользой для себя: он был словесник, у него нередко собирались наиболее талантливые учителя двух гимназий и реального училища; за чаем, за пельменями велись оживленные беседы на литературные, а иногда на политические темы.

Весной 1909 года был командирован вместе с инженером С.А. Жбиковским в далекий Якутск для укрепления берега реки Лены в черте города. Поездка туда заняла около месяца. Останавливались в селе Витимском (при впадении в Лену реки Витима, в системе которого — Ленские прииски). Одна из моих памятных книжек исписана сведениями, как в этом селе грабили, обирали дочиста приисковых рабочих, возвращавшихся осенью домой. Мне показывали стоявшие над самой водой притоны-избы с люком из подполья, откуда сбрасывали захмелевших и обобранных гуляк прямо в Лену. Останавливались и в селе — кажется, Спасском — многочисленной колонии ссыльных скопцов. Это довольно предприимчивый, трудолюбивый народ со своеобразным укладом искалеченной жизни. В стране вечной мерзлоты они умудрялись снимать хорошие урожаи хлеба, выводить арбузы и дыни на удивление мужикам, не без выгоды заниматься молочным хозяйством, быстро богатеть. Один из них даже оборудовал большую паровую мельницу.

В Якутске, где пришлось пробыть все лето, я близко познакомился с местной колонией политической ссылки и бытом якутов. При мне прибыла так называемая плавающая ярмарка. Зрелище редкое. Лена здесь восьмиверстной ширины. На ее глади вдруг показались под белыми парусами сорок белых барж. Это иркутские купцы с ранней весны сплавляются вниз с товарами, останавливаясь в попутных селах. Последний пункт — Якутск. Здесь все ликвидируется, баржи идут на слом, а обогатенные торговые люди возвращаются домой. Чиновникам города Якутска выдается вперед за полгода жалованье, чтобы они могли запастись продуктами.

Борьба с рекой предстояла большая. Вечная мерзлота была вровень с горизонтом воды и ушла вглубь. Вода как пилой подпиливала илисто-песчаный берег. Подмытые глыбы, иногда на протяжении двухсот сажен, рушились сплошной массой с высоты в реку. Случившийся при нас обвал — как залп ста орудий — так взбуровил воду, что обратная волна хлестала вверх по течению и стоявшие в пяти верстах выше города ярмарочные баржи заиграли, как поплавки. Рабочими моими, кроме якутов, были тридцать человек политических. В первый же день работы у меня украли бинокль

Цейса. Мне пришлось по душе два грузина и студент Казанского университета Полозов, он приехал сюда чуть ли не в последнем градусе чахотки и в суровом, сухом климате превратился в цветущего здоровьем молодца. Один грузин — высокий, красивый; другой — низенький, коренастый, с зверским выражением лица, но с доброй душой. Он несколько лет тому назад работал в Турции с младотурками, знал турецкий язык, всегда ходил в чалме. При его помощи можно было объясниться с якутами: якутский язык имеет много тюркских корней. За неделю до нашего отъезда ко мне пришли оба эти грузина и стали упрашивать добыть им из городской аптеки азотной кислоты для приготовления ручных бомб; они якобы собирались бежать: «Тебе по казенной бумажке отпустят, а нам нет». Я отказался: это возбудит подозрение, это опасно. Они приходили ко мне каждый вечер, и требования их становились все настойчивей. Я не уступал. Коренастый вскакивал, хватался за кинжал, щелкал зубами, опять садился: «Неужели ты думаешь, что мы польстились заработком и работали такой адска работа два месяца? Мы сразу увидели, что ты наш и ты нам поможешь». Я знал, что в Якутск ожидается на днях иркутский генерал-губернатор Селиванов, известный тиран и гонитель свободы, и догадывался, что мои грузины умышляют убить его. Вот, думаю, заварится каша, и я влипну с головой. Но они меня так терроризировали, что я добыл им в областном управлении бумагу на приобретение азотной кислоты для технических надобностей и притащил им целую четверть. Генерал-губернатор встретился нам по дороге, когда мы возвращались из Якутска. До самого Томска я очень волновался. А на другие сутки по приезде в Томск я был чуть свет разбужен криками: «Ваши документы! Сидите, не шевелитесь!» Я моментально вспомнил про Якутск и обомлел. Но обыск никаких результатов не дал, меня оставили в покое, я с перепугу даже забыл спросить о причине обыска.

Осенью того же года кружком литераторов, с поэтом Георгием Вяткиным во главе, был основан журнал «Молодая Сибирь». Я дал рассказ «Бабушка потерялась» и, сдружившись с Г. Вяткиным, принял близкое участие в журнале. Денег у нас не было, собирали, как на погорелое, по знакомым и состоятельным людям, с унижением. Вскоре журнал закрылся.

Стал заниматься с взрослыми безграмотными в так называемой «воскресной школе», школа преследовалась властями, за всеми преподавателями был учрежден негласный надзор.

Я послал журнал с рассказом «Бабушка потерялась» В.Г. Короленко, он рассказ одобрил, просил еще что-нибудь прислать для «Русского богатства». Но для литературной работы у меня совершенно не было времени.

Рабочий период 1910 года я заведовал партией по исследованию реки Бии на Алтае, от истоков ее из Телецкого озера (Алтын-куль) до устья. Работа была чрезвычайно опасная — Бия бушевала в своих многочисленных порогах, — но весь риск окупился впечатлениями: познакомился с бытом кержаков-староверов, теленгитов, калмыков, с культом шаманизма: шаманы (камы) во время моления в глухих и горных ущельях приносили кровавые жертвы подземному богу Эрлику, жертвенной лошади привязывали к каждой ноге по аркану, и четыре группы алтайцев, вцепившись за концы ар-

канов, раздирали ее живьем. Кам ударом ножа извлекал жертвенную кровь из ее живого сердца. Визг лошади, оранье толпы, громовой грохот аршинного бубна, игра ночных костров во тьме. Интересен национальный теленгитский праздник, где состязались три дня — три ночи народные певцы и сказители былин (рапсоды).

Ранней весной памятного для меня 1911 года выехал во главе экспедиции на реку Лену, в село Чечуйское (под Киренском). Экспедиция обследовала по трем вариантам водораздел между Леной и Нижней Тунгуской, для выяснения вопроса о соединении обеих рек каналом. Работа была мучительная: тучи болотных комаров отравляли жизнь, лица у всех вспухли, у одного рабочего совершенно затекли глаза.

В конце мая перебрались на Нижнюю Тунгуску, в деревню Подволочну. Здесь перезнакомился с политическими ссыльными, с одним из них, М.И. Ткаченко, установились дружеские отношения, продолжающиеся до сих пор. Пополнив сформированную в Томске партию несколькими местными крестьянами и насушив пудов полтора ста сухарей, мы поплыли вниз на двух приспособленных для жилья и геодезических работ шитиках. Цель экспедиции: произвести полунструментальную съемку и промеры, для выяснения условий судоходства на всем протяжении этой реки (2500 верст), до впадения в Енисей, где в середине сентября нас должен ждать казенный пароход. К сожалению, расчеты наши не оправдались, вместо четырех месяцев мы застряли на восемь и едва не погибли. Условия жизни были каторжные, работа опасна, но экспедиция дала мне житейский опыт и богатейший бытовой материал, и я очень благодарен за нее судьбе.

Все русское население этого края, 2500 душ, осело на реке, в двадцати деревушках, а дальше, в глубь от берегов — тысячеверстные площади необитаемой тайги с бродячими тунгусами. По словам столетнего, но крепкого старика, первые насельники появились здесь, «когда Петр царем служил». Полная изолированность края (отсутствие дорог) является причиной того, что уклад жизни XVII—XVIII веков сохранился здесь до наших дней. Мне удалось записать 87 старинных «проголосных» песен и былин, изданных в 1912 году Иркутским Географическим Обществом. В селе Преображенском — опять колония политических ссыльных, среди них — сибирский писатель Исаак Гольдберг, с которым я пробыл три дня. Двое из ссыльных женились на дочерях местных торгашей, ездили по тайге и обирали тунгусов, «без дела скучно», — оправдывались они; один, ницшеанец, всегда ходил с собакой и томиком Ницше под мышкой, сошелся с молоденькой тунгуской и бродил с тунгусами. Незадолго до нашего приезда его труп случайно нашли в тайге: он застрелился, упал в костер и обгорел.

Где-то поблизости от реки был таежный пожар — тайга иногда пылает на сто, на двести верст, — мы двигались в сплошном дыму, и солнце казалось низким, красным. В половине августа мы приплыли в последний населенный пункт, Ербогочен. Дальше, на расстоянии 1800 верст, — полнейшее безлюдье и совершенно неведомая по своему характеру река; она стала широкой, но очень мелкой, порожистой. Крестьяне потребовали расчет, ушел и лодчман Фарков: «Лучше дома умереть, чем плыть в такую погибель».

И вам, дружки, не советую: скоро холода пойдут, каюк вам будет». С этого дня мы были предоставлены самим себе и очертя голову поплыли вперед. Река то бешено мчала нас по неизвестному фарватеру, шиттики со всего маху ударялись о подводные камни, с риском проломить дно и затонуть, то вдруг от берега до берега поток воды преграждался огромной песчаной мелью: шиттики тогда разгружались, груз перетаскивался берегом версты за две, к глубокому плесу, затем все, раздевшись, волокли на себе оба шитника, прогребая холодную борозду среди камней и гальки. Было холодно, мы коченели, но греться у костра некогда, сразу в весла, в путь. Подул встречный ветер, шиттики тянуло назад. Ломались весла, трещали шесты, которыми мы отталкивались, и после каторжной работы мы за целый день продвинулись вниз по течению сажен на сто. Ветер дул целую неделю, мы не подались вперед и на версту. Когда утихла погода, разбились на два дежурства, по пять человек, и, совершенно прекратив геодезические работы, мы плыли день и ночь, не причаливая к берегу и работая до кровавых мозолей. Становилось все холоднее. В туманных сумерках встретили грохочущий порог, в нем камни лежали как киты, вода кипела. Нас втянуло туда насильно, и до сих пор не понимаю, как мы остались живы. Случайно увидели на берегу старого тунгуса, очень обрадовались, но он сказал: «Худой твоя дело. Сдохнешь. Надо весна ждать, большой вода». Мы теряли мужество. 4 сентября выпал снег, вода у закрайков замерзла, шиттики обледенели. А впереди полторы тысячи самых трудных верст. Назад же вернуться невысказанно. На стремнинах шиттики летели быстро, мы в крайнем напряжении следили за беляками, чтоб не разбиться вдребезги о камни. Ночами не спали, плыли среди мрака неизвестно куда; наконец, измучившись, излобившись, мы причалили к берегу и провели ночь в мертвецком сне. К утру шиттики вмерзли, и все тихое плесо было покрыто тонким льдом. С проклятием пробивались через лед версты две до быстрого плеса. 7 сентября, возле устья реки Илимпей, увидели на берегу жилье и амбар, копошились людишки. Мы закричали «ура» и повернули к берегу. Людишки, приняв нас за шайку разбойников, стремглав бросились в тайгу, но через час вышли на наши призывы. Это — торговый стан молодого Валентина Суздалева, сына ангарского кушца. Кроме него, здесь жили два работника, стряпка и девушка Тania. Суздалев сказал: «Я вас дальше не пуцую. До Енисея 1300 верст, при самых благоприятных условиях вам не проплыть и половины. Ждите прихода тунгусов». Дней через десять пришли с караваном оленей тунгусы за товарами. Суздалев с большим трудом упробил их вести нашу экспедицию через тайгу, на юг, по направлению к Ангаре. 25 сентября, когда реку сковало толстым льдом и крутила вьюга, мы вышли в путь с караваном в пятьдесят голов вьючных и верховых оленей. Верст через сто встретили стойбище тунгусов с оленьими стадами. Наши проводники распрощались и ушли. Лаской, угрозами, деньгами мы стали укланивать этих новых тунгусов вести нас дальше. Они отказывались. Им деньги — тьфу! — у них начинается беличий промысел, этот месяц их целый год кормит, — нет, они не могут вести, пусть русские возвращаются обратно к Суздалеву или остаются здесь. Они долго совещались ночью у костров. В их гортанных

выкриках слышались угрозы бросить нас; мы прислушивались, приглядывались из своей брезентовой палатки и холодели. Нам угрожала неминуемая гибель: без проводника, без оленей не двинуться. У нас было три ружья. Мы решили, в крайнем случае, объявить войну, но тунгусы — человек пятнадцать — сами замечательные стрелки. Ночь провели без сна. Крики у костров продолжались, перед утром смолкли. Утром, в полумраке, кто-то из нас крикнул: «Тунгусы уходят!» Мы схватили ружья и выскочили на воздух. Тунгусы поспешно выючили оленей. Уходят, бросают нас. Что ж нам делать? Старик Ульканча подошел к нам и хмуро сказал: «Моя твоя поведет. Пойдем». Мы бросались целовать тунгусов и тунгусок и чуть не плакали. Мы шли не только без дорог, но даже без тропинок, напрямик. Я удивлялся живущему в тунгусах сверхъестественному чувству направления. Мы набрали на новое стойбище, где шаман Гирманча волховал над больным стариком тунгусом. Мы всего прошли тайгой верхами на оленях и пешком семьсот верст, употребив на это сорок дней. Снег был выше колена, мороз до 25 градусов по Цельсию, питались лосиным («сохатинным») мясом, оленьей, остатками сухарей. Спали в снегу, у костров, никто не хворал (кроме Мозгового), даже не было насморка. Когда же добрались до теплых изб села Кежмы (на Ангаре), зачихали и закашляли. Наш путь с тунгусами кратко не опишешь; он напитал мою душу незабываемыми впечатлениями. Экспедиция прибыла в Томск 24 ноября. Нас, конечно, считали погибшими. Весной и летом я с пути послал в «Сибирскую жизнь» несколько путевых очерков.

Этой же зимой впервые познакомился с известным ученым-путешественником по Азии, в свое время отбывшим каторгу в Свеаборгской крепости, знаменитым сибиряком Григорием Николаевичем Потаниным, а через него с профессорским миром и передовой интеллигенцией города Томска.

С этого времени моя жизнь как бы приподнялась над обычной средой и стала наполняться иным содержанием. У Потанина еженедельно собирался кружок его близких, хозяин увлекательно рассказывал эпизоды из своих многочисленных путешествий, делился впечатлениями о встречах с замечательными людьми России и Европы; иногда кем-либо из участников читались рефераты на литературные, философские и иные темы. Потанину было тогда 75 лет, но он был достаточно крепок, и ум его оставался светлым. К его голосу прислушивалась вся Сибирь. На одном из потанинских вечеров я познакомился с беллетристом, уже известным в Сибири, Г.Д. Гребенщиковым, который принял самое горячее участие в моих литературных начинаниях и стал моим другом.

Однажды я прочел Потанину свой рассказ. Он одобрил, просил прочесть в собрании, я стеснялся. «Вам надо писать и писать. У вас есть еще рассказы? Вы посылали в столицу?» Я ответил, что выступать в столичной печати считаю пока преждевременным. Под влиянием Потанина, 1912–1913 годы, урывками от службы я занимался писательством и пополнением образования.

Летом 1912 года поехал ненадолго в Петербург, где, в новом журнале «Заветъ», появился мой первый журнальный рассказ из тунгусской жизни — «Помолились». Этот год и надо считать началом моей

литературной деятельности. Познакомился с Р.В. Ивановым-Разумником. Он сказал: «Ваш рассказ понравился Ремизову. Он приглашает вас к себе». А.М. Ремизов встретил меня радушно. Ласковость этого большого писателя тронула меня, жителя тайги. А.М. Ремизов наглядно учил меня, как надо писать, в чем секрет красоты стиля и душа языка. Его глубокие замечания впервые прозвучали для меня как откровение. Тому же самому, только иными словами, учили меня Р.В. Иванов-Разумник, М.М. Пришвин, В.С. Миролубов, М.В. Аверьянов. И я понял, что из провинции, где нет надлежащего художественного руководства, мне надо перебираться в столицу. Того же мнения была и переводчица К.М. Жихарева, которая с 1914 года становится моей женой.

В 1912–1914 годах в «Заветах» и «Ежемесячном журнале» появляются мои рассказы: «Суд скорый», «Ванька Хлюст», «Чуйские были», «Краля».

С весны 1913 года я стал заведовать Чуйской партией. Мне было поручено произвести подробные технические исследования торгового Чуйского тракта, пересекающего Горный Алтай от города Бийска до границы Монголии. Цель изысканий — переустройство безграмотно проведенного весьма важного пути. Партия была разбита на два отряда, по тридцать человек в каждом, и работала рабочие периоды 1913 и 1914 годов. Мне все время приходилось поддерживать связь между отрядами, передвигаясь по убийственным кручам верхом. Алтай поражает своей строгой величественной красотой. Вид увенчанных вечными снегами Чуйских Альп и реки Катунь — незабываем. Или Чуйская степь, где горы, отодвинутые от вас на полсотни верст, кажутся стоящими рядом с вами — до того чист, прозрачен воздух. Или озеро Кеньга, в долине которого — калмыцкое царство, с князьками, владеющими сорока тысячами голов лошадей. Мне удалось присутствовать на калмыцком празднике — «Той» — и я перенесся во времена Тамерлана. Борьба, конские состязания, а к вечеру, при мерцающих звездах, на берегу озера запылали костры, в невиданных котлах варилось чуть не по целой лошади, голые по пояс калмыки огромными жердинами ворошили в котлах хлебово, время от времени ошарашивая этими жердинами снующих тут же многочисленных собак; ночью — крики, драки, песни, пьяная гульба.

Калмыки и теленгиты уже бросали культ шаманства и, под влиянием своего мессии Чет-Челпана, переходили в бурханизм (упрощенный буддизм); однако мне приходилось встречать и шаманов (камов). Кроме очерков «По Чуйскому тракту», Алтай дал мне пока ряд мелких рассказов — «Чуйские были» и написанную в 1917 году повесть «Страшный кам» (шаман). Перед моими глазами прошла мобилизация на германскую войну. Патриотического подъема, о котором всюду писалось, не было, — были слезы, проклятия, буйства, погром винных лавок.

Весной 1915 года я побывал в нескольких деревнях. Накопились впечатления для драмы «Вихрь» (1920 год). В начале 1915 года, при помощи начальника Томского округа инженера Н.В. Попова, я стал готовиться к переводу в Питер, в Министерство путей сообщения, для составления проекта переустройства Чуйского тракта. Г.Н. Потанин, которого я посещал почти

ежедневно (я очень любил его, и мы друг к другу привязались), встретил известие о моем переводе с истинной горечью: «Это измена Сибири. Вы забудете Сибирь. Вы ей нужны. Она так бедна талантами». Я отвечал, что в Сибири я прожил двадцать лет, это вторая моя родина, пожалуй, не менее близкая и понятная сердцу, чем Россия, что я переполнен впечатлениями, которых хватит мне на всю жизнь, что я Сибирь люблю и постараюсь в нее вернуться. Старик прослезился.

Мне, действительно, расставаться с Сибирью было тяжело: близкое знакомство с профессорским миром (Солнцев, Вейнберг, Зубашев, Соболев и другие), личные друзья (Анучин, Бахметьев, Г. Вяткин, Крутовский, Шатилов), моя работа (в составе президиума) в научном Обществе изучения Сибири и местном литературном кружке, а также мои частые выступления на народных чтениях и публичных вечерах — сцепили меня тугими канатами с местной жизнью, меня все знали, я пользовался уважением, имел литературное имя, в Петроград же явился почти круглым нулем, и мне пришлось, так сказать, начинать сначала.

Переезд в столицу состоялся в августе 1915 года. Возобновились знакомства с Ремизовым, Мирлобовым, познакомился с Е.И. Замятиным, острым, умным, талантливым человеком, начинавшим расправлять свои литературные крылья. Приехавший из Сибири Г.Д. Гребенщиков подбил меня сходить к М. Горькому. Идти было страшновато: я был по-провинциальному скромн и застенчив. Но опасения рассеялись: хозяин мил, радушен, прост. Однако он подавлял меня авторитетом своего имени и знанием жизни: он так много, сочно, образно рассказывал из своих скитаний, такую проявлял мудрость в обобщениях, что мне казалось тогда, что вся Россия для него как на ладони. И мне необычайно стало радостно, что наша Россия родит таких людей.

В 1916 году представил М. Горькому первую свою крупную работу «Тайга», писанную в 1913–1915 годах. «Тайга» печаталась в журнале «Летопись». Военная цензура кое-где похозяйничала в повести, я пошел объясняться к цензору-генералу. Толстый генерал, к моему изумлению, встретил меня чуть не с объятиями: «Ах, ах. Я, знаете, просто зачитывался вашей работой: свежесть, знаете, колорит. Но к чему эти скользкие местечки? Нет, нет, разрешить нельзя. А вот у вас священник... он, во-первых, пьяница, во-вторых — ведет любовные шашни с тучной купчихой. Это невозможно, это поклеп на религию. Вы, конечно, христианин? А знаете что? Не можете ли вы вместо священника вставить дьячка?» Я ответил, что уже напечатано полповести и что теперь — очень трудно попа заgrimировать дьячком. «Ну, тогда до свидания», — сухо сказал генерал.

Летом того же года я ездил на две недели в Гельсингфорс, осенью ненадолго в Томск. Г.Н. Потанин физически дряхлел, но душевные силы были те же. Поблескивая плохо видевшими голубыми глазами, расспрашивал меня: «Ну, как настроение столицы, как война, каково настроение рабочих, крестьян, солдат, не пахнет ли революцией? А революция неизбежна... Я Потанина больше не видал. Он скончался в клинике при университете — кажется, в 1921 году. Советская власть относилась к нему очень

хорошо, несмотря на то что он при Колчаке, сбитый с толку местными политикантами, был идейным противником ее.

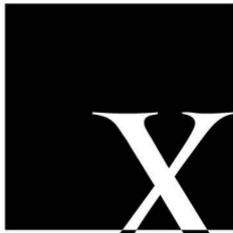
Я служил в управлении шоссежных дорог, при Министерстве путей сообщения. Во время Февральской революции шатался по всему городу в качестве русского ротозея. В 1918 году всякую казенную службу бросил и с тех пор отдал себя всецело литературе. (Впрочем, год состоял в репертуарной коллегии Отдела театров и два месяца в такой же коллегии при 7-й армии.) Бесперервно работал и печатался во все революционные годы.

Покончив с фактической стороной своей биографии, я должен сделать некоторые обобщения. Мои лучшие годы протекали в живом труде, среди разнообразной природы. Я видел всяческую жизнь, но судьба дала мне больше всего присмотреться к жизни простых людей. Я жил бок о бок с этими людьми, нередко ел из одного котла и спал под одной палаткой с ними. Перед моими глазами прошли многие сотни людей, прошли не торопливо, не в случайных мимолетных встречах, а нередко в условиях, когда можно читать душу постороннего, как книгу. Каторжники и сахалинцы, имевшие за плечами не одно убийство, бродяги, варнаки, шпана, крепкие, кряжистые сибиряки-крестьяне, новоселы из России, политическая и уголовная ссылки, кержаки, скопцы, инородцы, — во многих из них я пристально вгляделся и образ их сложил в общую копилку памяти.

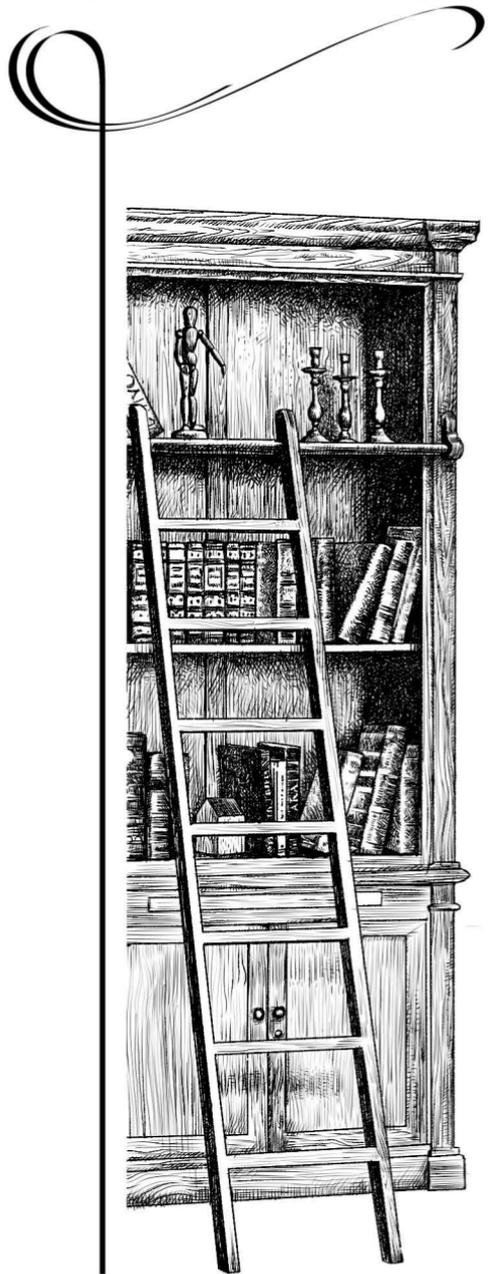
Я всегда думал, что путь писателя — путь очень трудный и ответственный: истинный писатель тот, кто имеет за собой жизненный опыт, известный комплекс переживаний, умение вызвать в читателе определенные эмоции, — словом, писатель должен обладать правом говорить через книги с миллионами народа на протяжении, по крайней мере, десятилетий. И мне казалось, что писатель обязан говорить языком мудро-простым, понятным, обязан указывать народу на вершины человеческой жизни или давать жизнь, для контраста, в отрицательных ее чертах, в провалищах, ограждая бездну горящими маяками. Памятуя все это и учитывая свои скромные силы, я с большим колебанием и уже в зрелом возрасте поддался соблазну заковать себя в позлащенные кандалы литературы. Но я ничуть не обольщаю себя мыслью, что в выборе мною писательской деятельности не произошло труднопоправимой ошибки. Теперь раздумывать об этом поздно.

На меня несомненно влияли любимые мной с детства: А. Толстой, Гоголь, Пушкин, Г. Успенский, отчасти — Чехов и Короленко.

В своей склонности изображать наиболее понятное мне крестьянство, я должен был в конце концов остановиться на простом, по возможности углубленном слоге, освободив его от условной манерности и словесной мишуры, мешающих свободному воспроизведению правды жизни во всей ее естественности. Но, тем не менее, я ценю звучность фразы и всегда прислушиваюсь к своему перу. Что касается формы, то ее всецело определяет содержание, она подвижна, как сама жизнь, как живой поток реки, то медленный, то бурный. Иногда в одном и том же произведении я ломаю форму, меняю ритм и прочее — но это не погоня за модой, это — вынужденная необходимость. Вот и все.



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА



КЕДР

Юбилару П.М. Вяткину в день его 25-летнего юбилея педагогической деятельности посвящается

Кедр, высокий, развесистый, мощный, с глубоко ушедшими в родную землю корнями, гордо стоял на поляне и шумел своей буйной, вечнозеленой хвоей.

Солнце склонялось к западу и, рассекая мрачную тучу, повисшую на холодном сибирском небе, бросало свои радостные лучи на поляну и дрожало тихими отблесками на раскидистых, ароматных хвоях кедра.

И радовалось солнце, торжествуя победу над тучей.

Радовалось и звенело чуть внятной, победной песнью на голубых колокольчиках, незабудках, ландышах, притаившихся возле, в зеленой мураве поляны.

И весело рокотал кедр, содрогая свои пышные хвон, и вторил песне солнца.

А туча плакала горько и неслась дальше, бессильная, роняя скорбные слезы.

Возле кедра стояла белая березка, с нежными листьями, с белым, стройным стволом, радостная, нарядная, пышная.

И кедр любовался ею.

Фиалки, ландыши и другие цветки с детскими, ясными глазками любовно жались к ней, вползали вверх, стараясь перегнать друг друга, а она, белая березка, свесив свои зеленые кудри, что-то тихо шептала им.

И ликовали фиалки и ландыши и другие цветы с детскими, ясными глазками.

Но, чу! Дрогнула и затихла вдруг песня солнца, и все притаилось и замерло.

Хищным клекотом огласилась поляна. То стая коршунов, взмахнув раз другой крыльями, неслась за роем испуганных птичек.

А те в ужасе, в смертельном страхе молили небо дать им защиту.

Небо глядело на них миллионами равнодушных глаз.

Небо молчало.

Они, обессиленные птички, то припадали к земле, то вспархивали кверху и не замечали, что кедр давно уже машет им своими ветвями, давно посылает проклятья хищникам и ласково манит к себе трепещущих в ужасе птичек.

Но вот — увидали. Чирикнули радостно и ринулись к кедру, и прильнули к нему, и замерли между зелеными хвоями.

Тихо шептали:

— Спаси нас, кедр... заступись... О, кедр, не дай нас в обиду...

А кедр рокотал, кедр потрясал вершиною, кедр был гневен.

И боялись хищники грозных взмахов его ветвей.

Боялись, и презирали себя, и ненавидели кедр.

В злобной ярости бросались они к кедру и отлетали прочь с подшибленными крыльями.

Кедр был справедлив и гневен.

Кедр рокотал.

Злобно кричали коршуны, яростно сжимая острые когти. И бросались вновь, ломая ветви кедра.

Но недолго продолжалась неравная битва. Все больше и больше вылетали крылья у коршунов, все грозней становился кедр.

И полетели прочь хищники — мимо березки, мимо одного кедра, мимо другого, стоящих вблизи.

Много раз спускалось на землю лето, и заливало поляну ярким, играющим светом солнца, и украшало ее цветами и травами.

Много раз приходила зима и приносила с собою стон и хохот метелей и белый покров холодного снега.

А кедр все стоит на той поляне, угрюмо смотрит вперед, высоко подняв голову, как рыцарь с приподнятым забралом.

И в тихие летние зори, и в морозные зимние дни слетаются до сих пор к нему птички со всех концов обширной поляны, смело садятся в его пушистые хвои и поют ему песни.

— Спасибо, спасибо, кедр... Кедр, ты справедлив... Мы тебя любим... Ты защищаешь нас... Ты учишь нас жизни... Спасибо, спасибо, кедр...

И слушает песню угрюмый кедр, и склоняется голова его, и роняет он крупные слезы радости и любви к этим маленьким птичкам.

Солнце склонялось к западу и, рассекая мрачную тучу, повисшую на холодном сибирском небе, бросало свои радостные лучи на поляну и дрожало тихими отблесками на раскидистых, ароматных хвоях кедра.

И радовалось солнце, торжествуя победу над тучей.

Радовалось и звенело чуть внятной, победной песнью на голубых колокольчиках, незабудках, ландышах, притаившихся возле, в зеленой мураве поляны.

И весело рокотал кедр, содрогая свои пышные хвои, и вторил песне солнца.

А туча плакала горько и неслась дальше, бессильная, роняя скорбные слезы.

Возле кедра стояла белая березка, с нежными листьями, с белым, стройным стволом, радостная, нарядная, пышная.

И кедр любовался ею.

Фиалки, ландыши и другие цветки с детскими, ясными глазками любовно жались к ней, вползали вверх, стараясь перегнать друг друга, а она, белая березка, свесив свои зеленые кудри, что-то тихо шептала им.

И ликовали фиалки и ландыши и другие цветы с детскими, ясными глазками.

Но, чу! Дрогнула и затихла вдруг песня солнца, и все притаилось и замерло.

Хищным клекотом огласилась поляна. То стая коршунов, взмахнув раз другой крыльями, неслась за роем испуганных птичек.

А те в ужасе, в смертельном страхе молили небо дать им защиту.

Небо глядело на них миллионами равнодушных глаз.

Небо молчало.

Они, обессиленные птички, то припадали к земле, то вспархивали кверху и не замечали, что кедр давно уже машет им своими ветвями, давно посылает проклятья хищникам и ласково манит к себе трепещущих в ужасе птичек.

Но вот — увидали. Чирикнули радостно и ринулись к кедру, и прильнули к нему, и замерли между зелеными хвоями.

Тихо шептали:

— Спаси нас, кедр... заступись... О, кедр, не дай нас в обиду...

А кедр рокотал, кедр потрясал вершиною, кедр был гневен.

И боялись хищники грозных взмахов его ветвей.

Боялись, и презирали себя, и ненавидели кедр.

В злобной ярости бросались они к кедру и отлетали прочь с подшибленными крыльями.

Кедр был справедлив и гневен.

Кедр рокотал.

Злобно кричали коршуны, яростно сжимая острые когти. И бросались вновь, ломая ветви кедра.

Но недолго продолжалась неравная битва. Все больше и больше вылетали крылья у коршунов, все грозней становился кедр.

И полетели прочь хищники — мимо березки, мимо одного кедра, мимо другого, стоящих вблизи.

Много раз спускалось на землю лето, и заливало поляну ярким, играющим светом солнца, и украшало ее цветами и травами.

Много раз приходила зима и приносила с собою стон и хохот метелей и белый покров холодного снега.

А кедр все стоит на той поляне, утрюмо смотрит вперед, высоко подняв голову, как рыцарь с приподнятым забралом.

И в тихие летние зори, и в морозные зимние дни слетаются до сих пор к нему птички со всех концов обширной поляны, смело садятся в его пушистые хвои и поют ему песни.

— Спасибо, спасибо, кедр... Кедр, ты справедлив... Мы тебя любим... Ты защищаешь нас... Ты учишь нас жизни... Спасибо, спасибо, кедр...

И слушает песню утрюмый кедр, и склоняется голова его, и роняет он крупные слезы радости и любви к этим маленьким птичкам.



ПОМОЛИЛИСЬ

Рассказ из тунгусской жизни

I

Тайга дремала. Сумерки ступались; тускнел закат, кой-где мерцали звезды. Две семьи тунгусов пробирались тайгой к торговому селу Хватову, затерянному в бескрайном лесу, на берегу большой северной реки. Не время теперь бродить тунгусам: вон какой морозище стоит, дышать нечем. Но и старик Гирманча, и молодой Чумго обет положили — снести в церковь «приклад»: по две сохатинных и по одной оленьей коже.

Послезавтра должен народиться большой русский бог, то ли Никола-угодник, то ли Иннокентий-батюшка. Им это сказали купцы Харлашка да Петрунька, привозившие в тайгу летом вино и товары. Плуты купцы, не дай бог какие оба плуты. Начисто их обобрали, всю пушнину себе взяли, оленей сколько-то. А что дали взамен?.. Мошенники.

Но когда они стали звать тунгусов к себе в гости и говорить о том, что у них зимой в церкви бог родится, что поп Ванька придет, что огни зажгут в церкви и будет там ночью светло, как днем, при солнышке, что поп будет петь молитвы, а народ подпевать разными голосами — они поверили и обещали прийти. Да как же не поверить? Говорят купцы, а на глазах слезы. Просили белки тащить больше: цены хорошие установятся. Вот как просили, борони бог, как просили, много, много рассказывали, как прекрасно будет в церкви. Во все колокола станут звонить.

Ведь вот мошенники, плуты, а говорят — слезы на глазах. Все-таки народ добрый, значит.

Как не добрый, известное дело — добрый. Ну-ка, кто бы потащил им в тайгу вино, это за пятьсот-то верст.

А теперь у них маленько муки, слава богу, есть, и кой-какое сукнишко, и порох, и дробь. А не будь всего этого — что бы тогда?

Правда, что денег купцы им не дали, пушнины у них не стало, и на целый десяток оленей уменьшилось. Зато неделю пили, напившись — дрались и таскали друг друга за косы. А олени или пушнина — что ж? Бог даст опять. У него, у батюшки, этого добра сколько хочешь. Только попросить его хорошенько, «приклад» пообещать да шайтана, «зверного хозяина», умилостивить: салом губы смазать да у огня поводить его — и все это будет.

— Ха!.. Не в первый раз.

Оно так и вышло. Пушнины осенью добыли много. И не «подпаль» какая-нибудь, а первый сорт, как на подбор белочки, одна другой лучше.

Зимой, когда столбы заходили по небу, а снег лежал в тайге толстым слоем, долго советовались в чумах, идти ли.

— Однако пойдем, — наконец сказал Гирманча.

— Как не пойдем... Пойдем, — подтвердил Чумго.

Купцы оставили им «рубешку» — такую палочку, на струганой грани

которой зарубками и крестиками были обозначены дни,

— Сколько нюльгов, али, по-русски, переходов, считаешь до села? — спросили купцы.

— Дюр-дяр. Двасать.

— Срезай каждый день по зарубке. До этой дойдешь — в путь собирайся. В аккурат к празднику попадешь. Понял?

— Как не поняла... Помаленьку поняла... Помаленьку. — оба, старик и молодой, ответили тонкими голосами.

И вот теперь они с большим караваном оленей кончают девятнадцатую нюльгу.

Когда запылал «гуливу» — огромный, из наваленных сухих лиственниц, костер, — мужики уселись прямо на снегу возле огня и, покуривая трубки, стали толковать о том, что делать дальше.

Бабы расседывали оленей, тараторили о чем-то без умолку, смеясь и шуточно перебраниваясь друг с другом. Мужики решили: завтра пораньше надо налегке идти в село; Анна останется с оленями здесь, всех оленей дальше гнать нельзя — нет корму.

Анне было всего двенадцать лет, и когда она узнала, что ее не возьмут с собой, стала кричать и плакать. Она не боялась остаться в тайге — что ей тайга? Хотелось ей погулять в селе, побывать в церкви, хотелось поглядеть, как поп машет кадлом и как горят перед образами свечи. И когда мать начинает ее уговаривать, она еще шибче кричит, капризно плачет и издали плачет во тьму, по направлению к матери. Та ближе подходит к ней и скороговоркой что-то угрожающе бормочет, а девочка, взвизгнув и отбегая прочь, снова плачет, срывает по пути хвою и с сердцем кидает в мать. .

Мать останавливается, шипит в ответ и, растягивая слова, бросает:

— Га-а-а-дина...

Девочка видит глаза матери и чувствует, что нет в них злобы, что мать только притворяется злой, а сердцем жалеет ее, Анну, маленькую любимую свою дочь. И, чуя это, Анна еще сильнее воет и визжит, и подступает к матери, и старается визжать как можно жалобней, чтоб тронуть мать. Но та непреклонна.

Опять среди тунгусской речи слышится русское:

— Га-а-а-дина...

Анна еще раз, теперь сердито, плачет и во всю силу звонко кричит серебряным голосом, но тут от костра раздается грозное:

— Цыц!

И сразу все смолкло. Тихим эхом робко плавают в воздухе ребячьи всхлипывания, но и они скоро стихают.

Ночь пришла. Небо чернело над чумом. Золотые звезды дрожали в вышине. Костер потухал. Собаки лезли к самым углям, свертывались клубком и засыпали. Кругом бродили олени, отыскивая мох, или, утонув в пушистом снегу, лежали смирно и пережевывали жвачку.

Анна долго не могла заснуть, а потом, среди ночи, вдруг ее будят. Прислушалась, шепчет кто-то:

— Анна. Слышишь, Анна. Я — бог... Я — русский бог...

Анна дрожит, а слушать хочется. Страшно, а так и слушала бы.

— Говори, — шепчет Анна.

— Ты не бойся... Ты не бойся, Анна... Гляди, сколько цветов. Я пригону к тебе всех бабочек, какие только есть на свете. К тебе слетятся всякие птицы, красные и желтые, и будут петь. Я люблю тебя, Анна, моя девочка...

Видит: свет льется откуда-то сверху, и весь чум в цветах. Тянет тоненькую руку, срывает один, другой, третий...

— А ты меня любишь, Анна?

— Я боюсь тебя, дядюшка.

А свет все ближе, ближе, а на сердце такая робость слетела вдруг, что девочке захотелось плакать. И опять кто-то тормозит ее:

— Анна, эй, Анна!..

Просыпается. Отец сидит над ней, что-то приказывает. В чуме холод, мрак, лишь угольки блестят золотом. Она смотрит на отца и, сердито отвернувшись, плотней укутывается в парку. Когда проснулась, солнце высоко стояло, а чум был пуст.

Вздохнула Анна и стала разводить огонь.

II

В село пришли еще засветло на десяти оленях. Далеко ли тут? Одна нольга, да и та корыстна ли? Верст пятнадцать, больше не будет.

Их было шестеро: два мужика, две бабы да двое детей — парень с девкой. Опять под самым селом чум раскинули. В нем остались бабы с ребятами, а мужики пошли к своему «дружку», купцу Харлашке, который их звал.

Шли они напрямик, перелезали огороды и заходили в чужие дворы, держась прямо на белую узорчатую трубу, — так лучше: под трубой, на горе, Харлашкин дом, а по улице идти — долго ль заблудиться, тут не тайга, борони бог.

В одном дворе они наткнулись на мужика: лошадей поил.

— А-а-а. — изумленно протянул он и заулыбался всем лохматым лицом. — Здорово, дружки. Откуда бог принес?

— Здорово, друг. Там... Тайгам бегал.

— К праздничку пришли?

— Праздник... Микола-батюшке.

— Какой Микола. Микола прошел. Христово рождество завтра.

— То ли Микола, то ли рождество. Почем знать. Мы тайгам гулял...

Да-а-ле-е-ко...

В избу потащил.

— Мы к Харлашке.

— Нет его, в волость убежал.

— Ей-бог?

— Ей-бог.

Дверь захлопнулась, затем, через минуту, мужик без шапки, в одной

рубаше вылетел на мороз, побежал в пригон, и оттуда раздался его призывный крик:

— Матре-о-на! Э-е-й!.. Беги скорей: орда-а-а пришла. Беги-беги!..

Через полчаса все село знало, что пришли тунгусы, и сам Харлашка, торопливо застегивая на ходу лисий бешмет, спешил в дом лохматого мужика. Там раздались вдруг крики, ругань, потом вышли без шапок, пошатываясь, тунгусы, за ними купец. Он ругал крестьянина и тунгусов, что не к нему первому пришли с пушниной.

А те, с испуганным видом, враз заговорили:

— Мой не надо виноват. Русак ругай!.. Пошто врал, пошто путал. Как нету? Харлашка, вот он. Есть.

А купец, на ходу выхватив у растерявшихся тунгусов связку баранок, замахиваясь ими на стоявшего в дверях мужика и, шлепая губами, зычно ревел:

— Нет, тебе кренделями-то этими по башке. Мои дружки!.. Стерррвал! А не твои. Поэтому не смей!.. — и быстро удалялся, увлекая попавшихся ему тунгусов.

Мужик всех лаял вдогонку тенористым криком, и долго еще в воздухе звенел его голос:

— Нет, врешь!.. Я тебе покажу!..

«Покажу, покажу, покажу!» — носилось по деревне, пока лохматая голова не исчезла в избе: мужик пошел считать барыши.

Тунгусы раза три бегали в чум за пушниной, били там баб и тащили все к купцам — и лисиц, и белок, и сохатину. Они были выпивши, но много пить воздерживались, поджидая праздника, чтоб поблагодарить бога за промысел, а потом начать гулянку.

Уже перевалило за полночь, когда их, измученных, утащил к себе от Харлашки чуть ли не силой другой торговый человек, «Большой голова». Он злой был: сам купец, а ругался с купцами пуще всех. Злой, а все-таки тунгусов защищал: обзывал торговых мошенниками и еще так ругал, что никогда и не выговоришь. Ох, какой злой!..

Привел и дома заорал на свою бабу, на чужую бабу, на приказчика, на всех заорал:

— Живо!.. Чобы живо. Лови-бери-подхватывай!.. Вина, чаю, щей.

Купец, дай бог, ласковый сделался. Усадил, по голове гладит, чуть не целует тунгусов. А тех торговых, и Харлашку с Петрунькой, и лохматого мужика заглазно ругает разными словами.

Тунгусы сидят, улыбаются, бабы самовар притащили, мяса притащили, вина притащили. Вот это хорошо. Тепло в избе, и хозяин стал добрый, смеется, по голове гладит, целоваться лезет. Вот это ладно.

Тунгусы распоясались — жарко, чай пьют, улыбаются, потом говорят:

— Когда праздник-батюшка? Когда колокол станут бухать?..

— Да скоро: вот часок-другой — и ударят.

Расспрашивает их купец про белок — хорош ли промысел был, про оленей, про семью — все ли здоровы? Голос у купца ласковый, глаза

ласковые, но в глубине их блестит что-то злое, никак не может скрыть того, что таится в сердце.

Тунгусы слушают, отвечают, жалуется на тяжелую жизнь.

И опять:

— Когда праздник-батюшка? Чего колокол молчит? Умер, что ли?..

Близко рассвет; купцу медлить нельзя. И он приступает к делу.

— Белки-то много у вас осталось?

— Как осталось. Все торговым тащил. Все кончал... Нету..

Лицо у купца налилось вдруг кровью, и выкатилась ласковость из речей и из глаз.

— Сколько денег? Сколько грабители чистых денег вам отсчитали за пушнину?

— А вот смотри. Почем знать. Много.

Видит купец — семьдесят рублей.

— Только-то? — смекнул. — Вот два креста у меня есть, золотые: ну-ка покупайте.

— Пошто крест. Нам не надо крест. Есть крест; видишь поди.

На груди у тунгусов были огромные, на толстых цепях, серебряные кресты.

— Тоись как не надо? — спросил угрожающе купец. — Тоись как так?.. А?.. — и поднялся.

— У нас, друг, есть крест.

— Тоись как есть? Это-то?.. Да вас кто крестил?

— Мишка, приказчик Валькин... Маленько...

— Поп чей?

— Нет поп... Мишка, приказчик...

— Дураки! Еще какие дураки-то!..

Торговый секунду подумал и заорал:

— Степан! Живо прорубь, долби в реке: орду крестить по-своему, по-настоящему будем.

Одно зло в глазах купца осталось; багровый стоит, кулаки сжал.

Приказчик смотрит, недоумевает, но, поймав в лице хозяина нужное, бежит проворно на улицу.

Тунгусы присмирели, губы затряслись; бледные сидят и не знают, как быть.

А тот орет:

— Берешь или не берешь?! Берешь или не берешь?!

И тонкими, чужими голосами отвечают — сначала старик, за ним молодой:

— Ну, ладно... Можно брать. Давай, друг, давай. — И сквозь слезы: — Крестить не делай. Река тунгус боится. Вера такой. Борони бог, как. Пожалуйста, не делай...

Купец молчит, деньги прячет в карман, кресты медные надел им.

— А еще деньги есть?

— Помаленьку, боее, помаленьку есть...

— Сколько?!

— Как знать. Помаленьку есть... Один бог знает.

Старик робко приподнялся и, незаметно тронув молодого, тихо, почти шепотом, сказал купцу:

— Я только на час, бойе. На ворота. Недолго приду, бойе. Приду... Верно...

А за ним молодой:

— Только на час, бойе. Шибко брюхо схватил с вина... Помаленьку...

И, выйдя на улицу, оба припустились к тайге, по-прежнему перелезая огороды и заходя в чужие дворы.

III

Стали выочить оленей, рассыпая в потакуи покупки, что навязали им купцы: ящик изъеденных мышами пряников. Зачем им пряники? Старые окаменелые баранки, зачем они? Муку, бисер, ленты, ситец, всякий хлам, ненужный, бросовый, без чего всегда обходился тунгус. А вот чаю мало дали, сахару мало дали, пороху мало дали. Это плохо. Свинцу совсем не дали. Это больно худо. Чем белку бить, чем сохатого бить?

Бабы выочат, брюзжат, бранят мужиков, оленей пинают со злости, а мужики возле огнища сидят, трубки курят и боятся глядеть друг другу в глаза. Сидят и вздыхают крадучись.

— Отыркан, тащи вина! — вдруг крикнул старик жене.

— Сам тащи. Много дали тебе вина. Где твои белки, где твои лисицы? Ах, старик, старик. Дурак ты, худой дурак!..

Старик принимает упрек молча, потом говорит:

— Плуты! Мошенники!.. Все тащил, ничего не давал, — и никнет головой.

Затем, повернувшись к селу, кричит резким, со слезами, голосом:

— Я не к тебе пришел, я праздник пришел, я Микола-батюшке пришел! А ты, плут, обижал... Ну, ладно...

В это время ударил колокол.

Воздух вздрогнул, и тягучие металлические звуки поплыли от села к тайге, летели дальше, в глубь леса, туда, где живут белки, горностаи, лисицы, где спят чутким сном медведи, где Анна, маленькая девочка, ждет своих с подарками и радостными вестями. Спит поди? Да, спит: время глухое.

Все вмиг затихли, мужики и бабы положили в мешочки трубки, стояли молча, не шевелясь, и, разинув рты, слушали благовест.

Тихо снег падал, и брезжил рассвет.

— Пойдем помолиться-то, — робко сказала старая Отыркан.

— Нет, — ответил старик спокойным голосом.

— Ведь поди праздник.

— Нет, все равно нет. Мошенники!.. Убьют...

IV

Немного помедля тронулись в обратный путь.

Звенели медные боталы у оленей, галопом скакали оленята, отыскивая своих матерей, и по тайге носилось тунгусское понукание:

— Мо-о-до. Мод-мод-мод!..

Старик ехал молча, Он хотел отвести с Чумго душу, поговорить с ним, высказать свое горе. Рассчитывал сказать ему: «Бойе, вот обобрали нас, это плохо, бойе... Ой, как плохо!»

Но когда увидел, подъехав вплотную, широкую, согнутую спину товарища и понуро опущенную голову, сказал совсем не то, что думал:

— Ты бы, Чумго, пожалел оленя, ишь хромает — слезь.

Хотел пересилить себя и сказать нужное, но не было у него теперь слов; уста сомкнула обида, ныла грудь, и в голове ходил зеленый угар.

А Чумго, не слыша его, ехал дальше, вздрагивая плечами и закрыв лицо лохматой рукавицей.

Но вдруг вместе с гулким благовестом кто-то стукнулся старику в сердце, выграла душа, и ему неотразимо захотелось вернуться в село, пойти в церковь, упасть перед Николой-батюшкой на колени и рассказать громким голосом все, как было, пожаловаться ему при народе — пусть слушают — на всех плутов и мошенников. На Петруньку с Харлашкой, и на «Большого голову», и на всех, кто всю жизнь делал ему зло.

«По какому праву?.. Эй, по какому праву?!» И сердцу сделалось сразу так больно, что старик чуть не крикнул на весь божий свет.

Но в это время началась радостный трезвон во все колокола. Тайга шумела вершинами, и звуки перезвона то были близко, рядом, ласково просились в душу, то замирали в шепоте леса и казались далекими и чужими. Опять все, будто по уговору, остановились, опять стали прислушиваться к переливчатым, весело порхавшим по тайге звукам и стали креститься трясущимися руками.

Постояли, вздохнули молча и молча двинулись в путь.

Старик ехал сзади; он опустил низко голову и думал. Поп-батка как-то толковал ему, что есть великий русский бог, светлый и милостивый. Но зачем он так далеко живет? На солнце, что ли? Зачем он дает обижать тунгусов? Разве не видно ему сверху? Али жертвой не доволен остался? Можно еще больше дать «приклад». Возьми, только в обиду не давай.

— Пожалуйста, возьми, русский бог, пожалуйста, возьми!.. Двадцать дней шел, бабу тащил, ребят тащил, товарища тащил, оленя мучил. Пожалуйста, давай защиту. Пускай подохнут все купцы, и чтобы все начальство околело!

Обида вдруг всплыла наверх, и старик заплакал, лицо сморщилось, скривился рот, закапали слезы.

Взглянул на небо... Но там звезд не было.

ДЯДЕНЬКА

I

Каранузу Кешке только что минуло четыре года. Он с зимы начал надоедать своей матери, расспрашивая ее, когда наступит лето и какое оно, это лето, бывает. Ответы матери удивляли его: неужели не будет снега, неужели цветы вырастут там на лугу у речки, где мамка полощет в проруби белье, неужели прилетят птички, откуда же они прилетят, и что будут делать, и еще многому удивлялся Кешка, а больше всего тому, что вот он, Кешка, будет летом бегать по улице босиком в одной рубашке. Когда мать, сидя вечерней порой за чаем, рассказывало обо всем этом Кешке, тот, слушая, становился серьезным и усердно пыхтел, напрягая свое детское воображение. У него не сохранилось в памяти картин прожитого им лета, представлявшегося ему каким-то сказочным сном, который он, пробудившись, забыл. Он только отлично помнил, как хоронили прошлым летом тятку, как поп махал над могилой кадиллом, как выла мамынька, а дядя Сидор, когда шли с кладбища, купил ему пряник с изюминкой.

Но вот кончилась зима, прошла Пасха, вскрылась реченька, по улицам появилась пыль, настали теплые дни, листьями оделись деревья, зазеленела у реки лужайка, а через речку наладили мостки.

— Мамынька, а когда же лето-то?

— Пришло, нешто не видишь: ишь тепло какое.

Пришло? Где же оно?

Мамынька у Кешки была прачкой: ей дяденьки и тетеньки приносили узлы с бельем. Она часто брала его с собой на речку. Зимой он пособлял мамыньке везти салазки, а летом таскал валеки.

Помогая мамыньке, мальчонка сознавал, что вот он, Кешка, не даром хлеб ест, нет, он тоже работает, вот валеки тащит, а валеки-то большой, грузный, его тоже подумавши нести надо; а вот еще подрастет – два вальки таскать будет, еще подрастет – три вальки таскать будет, новые штаны себе справит, шапку с ушами, как у Митьки, купит дом мамыньке каменный, голубей турманов пары две купит, и все толкует, все толкует с матерью, шагая нарочно редко и сыскаса посматривая на бегающих без дела мальчишек.

— А это, мамынька, мостик?..

— Мостик.

Однажды он пошел на этот мостик один. Зашел на середину в синей рубахе без картуза, белоголовый, с маленьким расписным туеском в руке.

С берега кричат:

— Утонет мальчишка-то, оступится.

Но он стоит посредине, к перилам близко не подходит.

Какой-то человек идет через мост.

Кешка, вскидывая на него голубыми глазенками и указывая пальцами на стоящую возле мостков лодку, нараспев тянет:

— Дя-динь-ка, а это лодка?

— Лодка. Иди, брат, на берег: ишь дыры какие, упадешь, утонешь...

— А это колесцо?

— Колесцо.

— А колесцо-то маленькое?

— Маленькое. Иди — и, проходя, погладил его по голове.

— А где твоя тетя, — лепечет вдогонку Кешка, но тот идет дальше, быстро удаляясь.

И опять слышится ласковый певучий вопрос:

— Дя-динь-ка, а это лодка?

— Лодка.

Ему очень нравилось спрашивать и получать ответы, и долго бы тут он стоял на этом мостике, если бы не увел его за руку прохожий:

— Пойдем-ка, милый человек, я тебе конфетку куплю... Ты чей?

— Маменькин, а тятя в землю зарылся... закопался... там далее-е-око...

Из лавочки Кешка бежал радостный, держа в руке тюрючок с конфетами. Он бежал, оглядываясь и улыбаясь, упал, встал, похромал маленько и опять побежал домой, продолжая улыбаться и оглядываться.

На мостках, поддергивая штанишки, еще раз задал вопрос:

— Те-тень-ка...

— Ну?

— А это лодка?

— Конечно, не корова... Рази не видишь?

— А это колесцо?

И, не дождавшись ответа, побежал скорее к мамыньке.

Захлебываясь и не находя нужных слов, радостно ей говорил:

— Там... дяденька... на мосту, купил. Грит, лодка... грит, умница... Он добрый.

— А ты поблагодарил его?

— Дяденьку? Поблагодарил... А как?

— Спасибо, мол, дяденька?

— Нет... А он добрый?

— Стало быть.

Он, опечаленный, что не поблагодарил дяденьку, лег спать рано вечером, собираясь пораньше проснуться и отыскать этого дяденьку. Утром, помолвившись богу, пошел на мостики и стал внимательно всматриваться в фигуры прохожих: лица доброго дяденьки он не приметил, а запомнил лишь белую шляпу и толстую палку в руках. Но таких не попадалось.

Наконец встретил.

— Это ты мне купил гостинец?

— Нет, не я...

— Нет, ты... Я знаю...

Взглянув в лицо, заметил темные очки и сказал:

— Нет, не ты... А это лодка?

Ходил на другой, ходил на третий день, но дяденька не появился. Кешка затосковал и все собирался сходить к дяньке в дом.

— А где он живет? — спрашивал мальчик у матери.

— Вот дурачок, откуда же я знаю?

— Нет, а где живет дяденька? А он добрый?

— Знамо, не злой...

— А я его не поблагодарил, дяденьку-то?

— Стало быть.

— А он рассердится?

Он был уверен, что все дяденьки добрые, и если не покупают ему конфет, то только потому что нет денег, бедные или потому что он не просит их, боится просить, стыдится просить, не поворачивается язык.

Как же не добрые, конечно, добрые: каждый по голове его гладит, говорит с ним, смеется. Однако надо попросить конфетку, однако надо насмелиться.

И он насмелился, выбрал дяденьку с бородой и завел с ним разговор издали:

— А это лошадка? А она едет?

— Нет, не едет, а бежит. Извозчик едет на ней.

— Нет, сидит. Едет лошадка. А я конфетки люблю, — перевел он разговор, склонив набок белую головку и любовно заглядывая в глаза дяденьке.

Но тот сказал:

— Конфетки всяк любит. Иди, милый домой, заблудишься, — и ушел, ласково потрепав его по щеке.

Мальчик, проводив дяденьку, засеменял, улыбаясь, домой.

— А дяденька меня... Ста-а-а-рый... Меня по головке погладил. Он добрый?

— Добрый.

И, уже засыпая, задал матери вопрос:

— А дяденьки все добрые?

— Нет, не все...

Нет, все, все...

Мать что-то говорит ему, разъясняет, но он, чуть не плача, твердит:

— Все... Все... Я сказал тебе: все!..

И его подбородок прыгает, а в праведных глазах стоят слезы.

II

Все дожди были, но вот заблестело солнце, обогрело, обрадовало всех. Воскресный день наступил. Кешку одели в кумачовую рубаху, новый картуз со светлым козырьком, казINETовые штаны. Сапоги мамынька не дала — грязь.

Он пошел на речку удить рыбу, неся под пазухой аршинную удочку с ниткой и крючком, загнутым из булавки. Кешка направился вдоль реки, по изумрудной лужайке, к тому месту, где всегда ловил рыбу кривой сапожник Лапша, его знакомый. Надо было пройти версту по лужайке, а потом свернуть влево, на трошинку, и тогда, как увидишь две березы на берегу,

спускайся к воде, тут рыбе клев. Кешка знал, ходил раза три с сапожником по рыбу и в то воскресенье поймал двух лягушек, а матери сказал, что выудил копченную стерлядку, но та рассмеялась, а Кешка после долгого спора сознался, что соврал.

Идет Кешка по полянке, ловит бабочек, за птичками скачет, кричит и, взлязгивая ногами как угорелый, носится по зеленой мураве, ходко подаваясь вперед.

Глядит: белая палатка раскинута, и в ней парни. Они пили водку, пели песни и сквернословили.

Закричали ему:

— Ей, мальчишка, иди сюда!

Тот остановился в раздумье, не зная, как быть.

— Иди, конфетку дадим!

И загоготали.

Секунду подумал: конфетку сулят, смеются — добрые.

Подошел, стоит, улыбается, вложил в рот палец и доверчиво поглядывает на веселые лица дяденек. Один из них сказал:

— Давай-ка зарежем его и съедем, — и сделал страшное лицо.

А рыжий взял ножик, ответил:

— Сейчас.

Кешка что есть духу припустился бежать, но его живо настиг рыжий, притащил в охалке к товарищам, при общем хохоте спустил ему штаны и посадил его, Кешку, четырехлетнего мальчонку, голым тельцем в крапиву. Кешка, заливаясь плачем, крутился и вилялся, почернев от страха.

Бросив, сказали:

— Ты чего орешь-то... Ведь нарочно...

Кешка опрометью полетел домой, воя придушенным голосом, и часто оглядывался, не гонятся ли, придерживая на бегу штанишки и хватаясь руками за горящие ожоги.

С плачем прибежал домой.

— Кто тебя? Кто тебя?

— Дя-день-ка... Ай-ей-ей.

С этого времени Кешка стал хорошо понимать, что на свете водятся всякие дяденьки: добрые и злые, и в спор с мамынькой по этому поводу вступать воздерживался.



Красно

КРАЛЯ

Рассказ

I

Стоял октябрь. Погода направилась свежая, тихая.

Солнце так же ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрышим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю. Поседали травы. Подернулись лужи и болота тонким стеклом молодого ледка. Опал лист на кустах и деревьях. Рассветы стали туманны, задумчивы утра, тревожно-чутки дни, угрюмы ночи.

А вверху, по поднебесью, лишь выгаляет солнце, тянулись к югу длинными колеблющимися углами запоздавшие журавли, торопясь от грядущих бурь и непогод в теплые страны, туда, где солнце еще не состарилось, где сверкают тихие реки да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами... Скорей, скорей...

Грустят ли, покидая север, радуются ли, стремясь в неведомые страны, — как угадать?

Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором; только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет да и заволокутся слезой.

И загрустит человек, что нет у него крыльев.

Темным вечером, по шершавой, с глубокими застывшими колеями дороге ехали купец Аршинин да еще доктор Шер.

Торопились скорей добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце и не растопило подстывшую грязь.

Сибирские дороги длинные — едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать.

Купец был тучный, рассудительный, выдавший виды, с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор — худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый.

— Скоро? — рявкнул купец.

Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил:

— Кажись, надо быть, скоро... Быдто недалече...

И, быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул:

— Дела-а-й!..

Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменяли, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи.

Темень висела кругом; но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий...

— Деревня?

— Она самая...

Всем вдруг стало весело.

Доктор закурил папиросу, а купец сказал:

— Жарь на земскую...

Когда лошади поплелись тише, ямщик обернулся к седокам:

— Ох, там и краля есть... Солдаточка...

Доктор торопливо затыкнулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил:

— Краля?

— И-и-и... прямо мед...

Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору:

— Вот бы вам, Федор Федорыч, в эконобочки кралю-то подсортовать. А?.. Хе-хе-хе... Вы вот все ищите подходящего резону, да на путную натакаться не можете.

Доктор не ответил.

— Ведь жениться на барышне не думаешь? — спросил купец, переходя вдруг на «ты»: с ним случалось это часто. — Ну вот. Да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься — как собака привяжется. Чего тебе — кровь здоровая, щеки румяные... Хе-хе-хе... Слышите? — И деловито добавил: — Только надо поприглядеться — как бы не тово... не этово...

Опять не ответил доктор.

— А звать ее Авдокея Ивановна, — сказал ямщик, видимо, прислушиваясь одним ухом к разговору, и, ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом: — Де-е-лай!..

Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно выстланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера.

— А вот и земская...

К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятский с фонарем и, сняв шапку, спросил:

— Лошадок прикажете али как?..

Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской, на курившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика да собачонка.

— Вноси в избу всю стремлюндию, — сказал купец. — Куда в этакую пору ехать?..

— Куды тут, — радостно, все враз, заговорили мужики, — ишь кака темень... Ха!.. Ты ушутил?..

И весело засуетились возле тройки.

II

В земской тепло, пахло кислой капустой, печеным хлебом и сыростью от не домытого еще пола. Пламя сального огарка, стоявшего на лавке, всколыхнулось, когда Аршинин хлопнул дверью, и заиграло мутным колеблющимся светом по оголенным до колен ногам ползавших на

четвереньках двух женщин, по их розовым рубашкам и мокрым юбкам, по сваленным в кучу половикам, столам, стульям и стоявшим на полу цветам герани.

Женщины поднялись с полу, бросили мочалки и одернули торопливо подола.

Купец размахисто перекрестился на образа.

— Ну, здравствуйте-ка...

— Здравствуйте, здравствуйте... — враз ответили обе.

А та, что постатней да попроворней, приветливо метнула карими глазами и молвила певучим, серебристым голосом, от звука которого чуть дрогнуло сердце доктора, а пламя свечи насмешливо ухмыльнулось.

— Вот пожалуйста в ту половину, там прибрано.

И стояла молча, играя глазами.

Купец пошел как-то боком, на цыпочках, неся в руках чемодан, а доктор стоял столбом и мерил с ног до головы женщину.

— Вы не Евдокия Ивановна? — спросил он.

— Да... Она самая. А вы откуда знаете?

Купец высунул из двери бороду:

— Тебя-то? Авдокею-то Ивановну не знать?.. Да про тебя в Москве в лапти звонят... Ха-х ты, милая моя...

— Милая, да не твоя...

— Ну, ладно. Давай-ка, Дунюшка, самоварчик. Сваргань, брат, душеньку чайком ополоснуть...

— Чичас.

И пошла, ступая твердо и игриво, к двери.

Босая, с еле прикрытою грудью, с двумя большими черными косами, смуглая и зардевшаяся, — вся она, свежая и радостная, казалось, опьяняла избу тревожным желанием, зажигала кровь и дурманила сердца.

Купец посмотрел ей вслед плотоядными, масляными глазами.

— Ох, наваждение! Ишь толстопятая, вся ходуном ходит...

И пошел к чемодану, бубня себе в бороду:

— Ох, и я-а-ад баба... Яд!

Доктора бросило в жар.

Толстая, вся заплавшая жиром баба летала проворно по избе, расставляя столы и стулья.

— Подь в ту комнату, я половики раскину.

Доктор очнулся и пошел на улицу вслед за Дуней, а тетка полезла на печку.

Купец, утратив на время благочестивый облик, подполз к ней сзади и, ради первого знакомства, хлопнул по широкой спине ладонью.

Зарделась баба, улыбнулась и, погрозив кулаком, сказала, скаля белые, как сахар, зубы:

— А ты проворен, бог с тобой... Ерзок на руку-то.

Купец хихикнул, тряхнул бородой и, почесав за ухом, сокрушенно ответил:

— Есть тот грех, кума... Есть!

Он крадучись щипнул ее за ногу и, прищелкнув языком, прошептал:

— Кума, эй, кума... Слышь-ка.

— Ну, что надо? — сбрасывая половники, задорно спросила баба.

— Слышь-ка, что шепну тебе.

Она неуклюже повернулась к нему, свесив голову. Он обнял ее за шею и шепнул.

Вырвалась, плонула, захохотала.

— Чтоб тебе борода отсохла!.. Тьфу!

— Вот те и борода... Стой-ка ужо...

Вошел доктор, весь радостный. Купец отскочил быстро прочь, степенно прошелся по комнате, взглянул украдкой на иконы и тяжело вздохнул. Лицо опять сделалось постным, набожным.

А баба слезла с печи и пошла, почесывая за пазухой, к двери, брюзжа на ходу притворно строгим голосом:

— Ишь долгобородый, оха-а-льник какой... право.

Доктор быстро взад-вперед бегал по комнате, улыбался, выхватывая из жилета часы, открывал крышку, беспечно скользил по ним взглядом, совал в карман, чтобы через минуту вытащить вновь. И никак не мог сообразить, который теперь час.

Купец, сидя под образами, в углу, наблюдал доктора, а потом плутовато подмигнул ему и, раскатившись чуть слышным смешком, долго грозил скрюченным пальцем.

— Доктор, а доктор, знаешь что?

— Ну?

Купец еще плутоватей подмигнул.

— А ведь у тебя на лице-то... хе-хе... выражение...

— Вот это мне нравится... Ну, а дальше?

И опять забегал, то и дело выхватывая из жилета часы и улыбаясь тайным сладостным мечтам.

III

Когда на столе появился большой самовар, миска меду и шаньги, купец с доктором уселись пить чай. Оба они частенько прикладывались к бутылке с коньяком.

Отворилась дверь, и легкой поступью, поскрипывая новыми полусапожками, вошла Дуня.

— Дунюшка-а-а... родименькая-а-а... иди-ка, выпей чайку с лимончиком, — обрадовался купец.

— Кушайте. Куды нам с лимоном: мы и морщиться-то путем не умеем.

И прошла в маленькую комнатку, где лежали вещи проезжающих.

В комнатке был полумрак. Дуня что-то передвигала там с места на место, лазила в шкаф, брэнчала посудой.

Купец шепнул, хлопая доктора по плечу:

— Иди-ка, иди. Потолкуй.

И опять подмигнул смеющимся глазом.

Тот улыбнулся и пошел в комнату, где Дуня звякнула замком сундука.

Купец пил рюмку за рюмкой, заедая шаньгами и солеными огурцами. До слуха его долетали обрывки фраз.

— Евдокия Ивановна... — говорила доктор, и голос его дрожал. — Вы не цените красоту свою. Ваши глаза... брови...

— А какой толк в них?

— Вы любите мужа, солдата?

— А где он? Нет, не шибко люблю. Не скучаю.

А потом раздался тихий вздох, за ним другой и тихий-тихий шепот...

— Пусти... так нехорошо... не на-а-до, не надо...

— Дуня, милая...

Купец выразительно крикнул и прохрипел пьяным голосом:

— Хи-хи... Легче на поворотах!

Доктор вышел, весь встревоженный, опустился возле купца и сидел молча, закрыв лицо руками.

— Вот что, господа проезжающие, — сказала вдруг появившаяся Дуня и, поправляя волосы, добавила:

— Вы, тово... лучше бы выбрались из той горницы вот сюда. Кажись, ноне урядник должен прибыть со старшиной.

— Урядник? Ха-ха... Эка невидаль! Урядник. Подумаешь... — брюзжал купец и, подавая рюмку, сказал: — Ну-ка, красавица, выпей. Окати сердечушко. Садись-ка вот так. Вот чайку пожалуйста...

Жеманясь, выпила она вино и утерла губы краем голубой свободной кофточкой, из-под которой блеснула свежая рубаха. А потом села и заиграла глазами.

Доктор, овладев собою, тихо спросил:

— Так поедешь, Дуня?

У нее чуть дрогнула тонкая левая бровь.

— Пустое вы все толкуете. Разве вы можете нас, мужичек, полюбить?

Она сложила малиновые губы в насмешливую гримасу и молчала.

— Овдогья, эй, Овдогья! Иди, слышь, в баню, што ль, — прокрипел из сеней старушечий голос.

— Иду, бабушка, иду, — торопливо ответила Дуня.

И, обратясь к доктору, сказала тихо, словно песню запела:

— И поехала бы к тебе, и полюбила бы, да боюсь, бросишь.

Купец ответил за доктора:

— Мы не из таких, чтобы... Наше слово — слово... Обману нет.

— И верной бы была тебе по гроб, да вижу — смеешься ты.

Доктор потянулся к Дуне с лаской:

— Милая ты моя, чистая...

— Не трог... не твоя еще, — вскочила Дуня, сверкнув задором своих лучистых карих глаз.

Купец уставился удивленно в чуть насмешливое лицо ее, силясь понять, что у нее в сердце.

Дуня пошла легкой поступью к двери, а доктор — видимо, хмель в голове заходил — нахмурил вдруг брови и тяжело оперся о край стола:

— Постой!.. Слушай, Дуня! А любовник есть? Любишь кого?

Та вздрогнула, гневно повернулась:

— А тебе какое дело! Ты кто мне — муж?

И вышла, хлопнув дверью. Через мгновение чуть приоткрыла дверь и голосом мягким, с оттенком грусти, сказала:

— Кабы был кто у меня, неужели стала бы языком трепать? Ни сном ни духом не виновата.

IV

Когда купец был совершенно пьян, а доктор в полугаре, в комнату быстро вкатилась толстая баба.

— Урядник! — Она влетела в соседнюю каморку и стала выносить вещи путников. — Уж вы здесь, уж здесь, господа проезжающие. Я вот тут постелею. Уж извините...

Купец, ничего не понимая, молчал, а доктор рассеянно поглядывал на носившуюся из комнаты в комнату как угорелую бабу.

Распахнулись сени, сначала вбежал без шапки рыжий мужичонка с испуганным лицом и бляхой на сером зипуне, за ним ввалилось какое-то чудовище необъятных размеров, с пьяным, одутловатым, лохматым лицом, с мутными, косыми, навывкате, глазами.

Впереди сутился десятский:

— Ваше благородие, вот сюда...

За ним осанистый чернобородый крестьянин со строгим, хмурым лицом.

— Ннда... нда-а-а... Ха-ха! Тоже птицы, ничего себе... Урядник... — заплетающимся языком бормотал купец. — Эй, ты, доктор, понимаешь? Урядник... можешь ты своей башкой понять? А?

Урядник, услышав кушца, появился в дверях своей комнаты и, держась за косяки, обиженно сказал:

— У меня, господа, дело, примите к сведению: убийство в волости, надо допрос снимать... так—что... маленькую комнату мне. Покорнейше прошу...

У кушца, когда он выпивал лишнее, голос становился пискливым, а временами срывался на низкие ноты. Исподлобья посматривая на урядника и теребя свою бороду, он задирчиво сказал:

— Бери-бери-бери!.. Получай на здоровье... свою комнату с периной... с двуспальной... Хе-хе! Нн-да-а! Ты человек козырный. А мы что? Мы людинки маленькие, тварь проезжающая разная. Докторишка какой-то да купчишка паршивый, соборный староста, например, с позволения сказать. Хе-хе... Эка невидаль!

— Что-с?

— Я тебе дам — что-с! — стукнул купец кулаком в стол и, грузно шевельнувшись, как куль шлепнулся на пол.

— Вот так раз... Хы... Сверзился... — бормотал он, барахтаясь меж столом и лавкой. — Господин доктор, врач! Эй, где ты? Подсоби-ка... А на Дуньку плюнь. Плюнь, не подходяще. Чи-и-стая... Солдатка-то, Дунька-то? Она те оплетет, как пить даст. Дур-рак!

Урядник крикнул, свирепо взглянул на доктора и с треском захлопнул дверь.

Купец дополз до брошенного в угол постельника, а доктор забегал руки в карман — по комнате и, остановившись возле пластом лежащего купца, шпшел:

— Я вам не дурак! Вы пьяны! О Дуне же прошу так не выражаться. Слышите? — и опять забегал.

А купец, приоткрыв один глаз, засыпая, мямил:

— Дур-рак! Семь разов дурак.

V

Купец спал, задрав вверх бороду и посвистывая носом.

В переднем углу, на полке, стоял большой медный крест, два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки.

«Народ набожный, — подумал, рассматривая, доктор, и ему было приятно, что Дуня живет в такой строгой, религиозной семье. — Должно быть, кержаки».

По комнате то и дело проходили к уряднику и обратно какие-то фигуры не то мужиков, не то баб, — доктор не обращал внимания, — а из полуоткрытых дверей доносилось:

— Он к-э-эк его тарарахнет. Да кэк нададаст...

— Трезвый?

— Како тверезый! Кабы тверезый был, нешто саданул бы ножом в бок. Затем слышался старческий кашель и глубокий вздох:

— Ох, грех-грех...

Доктор взглянул в зеркало и не узнал себя: лицо красное, возбужденное, а мускул над правым глазом подергивался, что бывало каждый раз, когда доктор волновался.

— Ты у меня не финти, сукин сын! — вдруг за дверями заревел урядник.

— Ваше благородие, господи! Да неужто ж я смел бы?.. Что ты, что ты... Пожалей старика... Ба-а-тю-юшка-а...

— Я тебя пожалею. Вот я тебя пожалею!

Шел суд и расправа, а купец храпел на всю избу и охал, да тоскливо попискивал самовар.

Доктор надел пальто и вышел на улицу. В висках его стучало. На душе ползало что-то, похожее на тревогу, и кралась к сердцу грусть.

Вот он тут сядет и подождет Дуню. Он скажет ей много хороших слов, ласковых и сердечных. Может, поймет его, может, даст ему счастье, надежду на хорошую, радостную жизнь.

Он сел на приступках покосившегося крыльца и, обхватив колени, взглядывался в тьму звездной ночи.

Ночь была тихая, ядреная.

На горе, за селом, колыхалось пожарище. Видно было, как клубились космы изжелта-серого дыма, а искры вились и уносились к темным небесам.

Где-то далеко-далеко заревели коровы да прогрохотала по мерзлой дороге телега. И опять тишина.

За воротами слышался чей-то разговор.

Доктор вышел на улицу. Три мужика.

— Что, пожар?

— Да, — ответили все вдруг, — рига у крестьянина горит.

— Не опасно?

— Нет... далече... так что за селом. А кроме того, тихо.

Еще что-то говорили, спрашивали его. Он отвечал и сам как будто спрашивал. Но все это — и разговоры, и зарево пожара — плыло мимо его сознания.

Он пошел во двор и снова опустился на приступки крыльца. Тоскливо стало.

— А что, Евдокия Ивановна не вернулась из бани?

— Поди, нет еще. А тебе пошто?

Доктор не знал, что ответить старухе.

— Да я так, собственно... хотел самоварчик попросить.

— Ну-к, я чичас.

Он курил папиросу за папиросой, думал:

«Черт знает. Как это так сразу? Стра-а-нно. Это водка... все водка наделала.

Пьян!»

«Водка? — прозвучало в ушах. — Водка ли?»

Вдруг выплыли из тьмы чьи-то родные, ласковые глаза, поманили, усмехнулись, прильнули вплотную, смотрят.

«Что, любишь?»

Отмахнулся рукой. Замолкло, спряталось, пританолось.

Волна за волной шли мысли, то робкие и расплывчатые, то дерзкие и неотразимо влекущие.

Вот возьмет Дуню — красавицу, каких нет в городе. Привяжет ее к себе лаской, умом. Привьет ей любовь к знанию и заживет тихой-тихой, здоровой жизнью. Может быть, уйдет в деревню. Что ж, разве таких okazji не бывает?

— Да, да, в деревню, — думал он вслух... — Понесу туда свет, знание, помощь... А если... А вдруг?

Он не кончил, не хотел кончать: боялся.

Пожар на горе затихал.

— Дуня, дорогая моя...

Вот скатилась с неба звезда и, вспыхнув, исчезла в синем мраке неба.

— Сорвалась звездочка... А я пьян. И не идет Дуня... Краля? Ты говоришь — краля? Допустим... — бормотал, потягиваясь, доктор.

Подошла собака, поласкалась, лизнула в лицо, ушла.

Выплывали откуда-то звуки гармошки и песня. Прислушался доктор.

— Должно быть, рекруты...

Голос выводил, а ему, разрывая визг гармошки, подгавкивали другие:

Как во нашем во бору,
Там горит лампадка.
Не полюбит ли меня
Здесьняя солдатка.

Залаяли собаки, набрасываясь с остервенением. Хлопнули ворота. Раздались ругань, крик. А затем большой камень, очевидно, пущенный в собаку, ударил в заплот. И опять ругань. И опять пьяная песня да лай собак.

— Что пригорюнился? Спать пора...

— Дуня!.. — Доктор вздрогнул и жадно обнял ее, теплую, пахнущую свежим венником.

— Сядь, посидим.

— Да некогда... право... Пусти...

— Сядь, поговорим.

— Нет, пусти... Нekoгда.

Однако села, склонив голову к его плечу, и заглянула в глаза.

— Вот я хотел сказать тебе, — начал доктор, чувствуя, как дрожь овладела им и как стучат от волнения зубы. — Хотел сказать, что полюбил тебя горячо...

— Горячо-о-о? Не обожги смотри.

Она засмеялась тихим, хитроватым смехом.

— Хочешь ли, я возьму тебя с собою? Ты будешь моей подругой. Я покажу тебе хорошую жизнь... Хочешь?

— Ох, мутитесь ты меня, барин. И зачем тебя нелегкая принесла сюда?

— Я тебя люблю... Приворожила, что ль, ты меня?

— В куфарки зовешь али как? Поди, жена али зазноба есть?

— Нету, Дуня, нету. Никогда, никто...

— Ах, бедный ты мой, бедный! Дай пожалею.

Она высвободила руку из-под накинутой на плечи шубы и стала нежно гладить его волосы, лицо.

— Один, как сыч. Столько лет без любви, без ласки. Ах, как тяжело...

А Дуня ласково, нараспев говорила, обнимая доктора:

— Милый ты мо-о-й... ребеночек мо-о-й. Да-кась поцелую тебя.

Вот скрипнула в сенцах дверь: кто-то поставил на пол ведро и стал шарить по стене.

Дуня шмыгнула на улицу и притаилась, прижав к стене крыльца.

Доктор сидел молча, не двигаясь, словно боясь спугнуть сладостный сон.

Опять скрипнула дверь: закричал кто-то, икнул, завозился, и вдруг из темноты сеней раздался старушечий шепелявый окрик:

— Ай! Кто тут? Ты штой-то хватаешь?!

— Да это я... Саквояж ищю. Чемодан...

Дуня прыснула, узнав голос купца, и плотней запахнулась в шубу.

— Чиквая-а-н? Я те такой чикваян покажу. Язви те! Ишь облапал...

— Это ты, бабушка? — хрипел купец.

— А тебе ково? Грехо-во-о-дник...

Дуня давилась от смеха. Купец пошел к выходу, а старуха все еще шепелявила ему вдогонку:

— Чиквадан... Ишь ты, чего захотел. Какой-такой тут чиквадан про тебя доспелся... Тьфу!

Купец наткнулся на доктора:

— Ах, это ты? Мечтаньям предаешься? Ну, ладно, мечтай, мечтай... О чистой... хе-хе.

И он полез по ступенькам, держась за поручни.

Дуня скользнула в сени, но доктор настиг ее, распахнул ей шубу и жарко целовал шею, губы, грудь.

— Пусти, — молила его, — пусти!

— Не могу...

— Пусти... ну, пусти.

А уходя, бросила:

— Я приду к тебе.

— Дуня-я-я!

— Родной мой... желанный.

VI

Самовар опять попыхивал на столе, и поставленный на конфорку чайник задорно стучал крышкой.

Было часов десять вечера. Допрос все еще продолжался:

— Попервоначалу он его в зубы съездил, а опосля того взапей, значит... в лен.

— В лен?

— В лен, в лен.

— Та-а-к...

Купец, лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался.

По избе ходила толстая баба, вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф.

Купец вдруг быстро-быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого убежать, потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул:

— Караул! Ксы!

Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела:

— Тишиш... Чтоб тебя притка задавила. Это кот. Брьсь!

— Тоись как кот?

— А я почем знаю как. Кот да и кот... Спи-ка знай.

— Боднул кто-то...

Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову.

Доктор, опьяненный вином и Дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его, утомленные, стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил черного, как деготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня.

Она несмело подошла к полуотворенной двери и спросила:

— Вам, господин урядник, чайку не прикажете?

— Убирайся! Некогда! — послышался злой, грубый окрик.

Дуня с омерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загибок, торчащие из одутловатых щек усы и оттопыренные уши.

— Леший... каторжник, — сдвинув брови, обиженно прошипела она — и к выходу.

— Евдокия Ивановна! — ласково позвал доктор.

— Ну, что?

Он придвинул табуретку.

— Сядь.

Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся и, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором.

Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника.

— Почему, Дуня? — удивленно шепчет доктор.

— Ох, боюсь я его, окаянного, — ее лицо скорбно опечалилось, а меж крутых бровей легла морщина. — Зверь! Прямо зверь.

— Но почему? — еще удивленной шепчет доктор.

Дуня мнетя, хрустит пальцами рук, взглядывает смущенно на доктора и говорит, волнуясь и проглатывая слова:

— Ох, не спрашивай ты меня, Христа ради. Услышит — убьет...

Доктор порывисто выпил водки. А Дуня шептала:

— Прямо Ирод, а не человек. Всех заездил... Всех слоपाल... Жену, варнак, в гроб вогнал, робят из дому выгнал. Охти-мнешеньки... Змеей подколодной к мужикам присосался, кровушку-то из нас всю, как пиявица, выпил. А куда пойдешь, кому скажешь — неизвестно... Ох, беда-беда!

Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится.

Но та, как солнце из-за облака, вдруг засияла улыбкой, сверкнула радостно глазами, подбоченилась и, тряхнув бусами, гордо откинула голову:

— Вот бери, коли любя! Не гляди, что криво повязана: полюблю — в глазах потемнеет!..

Счастливый, взволнованный доктор все забыл; манит к себе Дуню, говорит:

— Вот завтра, любочка моя... вот уедем завтра...

— А не погубишь? — Она стоит улыбается, того гляди смехом радостным прыснет. — Ну, смотри, барин! — задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки.

Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос, затихла деревня вместе с собаками, песней, пожарищем, только тут двое любовно беседовали да строчил протоколы урядник...

— Подожди денечек... Ну, подожди, — вся в счастье, в радости просит Дуня.

— Что ж ждать-то?

— Надо, соколик мой, надо. Потерпи! Навеки твоя буду, — влагая в слова певучую нежность, шепчет она.

И вдруг, с тревогой:

— Ты крепко спишь?

— А что?

Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение все прошло.

Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала:

— Приду... на зорьке... милый.

— Что? — как камень в воду, бухнул внезапно появившийся урядник.

— Что?!

Дуня побелела.

Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора.

— Вы огурчиков приказывали? — растерянно спросила Дуня доктора. — Чтчас, — и скрылась.

Доктор язвительно поглядел ей вслед: таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дунни.

Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь.

Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле кушца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и, в предчувствии чего-то неизведанного, замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег — ушел сон, и на смену ему явились думы.

Он лежит, вспоминает, улыбается. И все как-то путано в голове, туманно. Радостно ему, что Дуня стала его подругой, что за солдата выдали ее силой, что никогда не любила и не любит она никого, кроме него: так сказала ему Дуня. Лежит, удивляется: скоро, как в сказке. И это очень хорошо: такие вопросы надо решать сердцем. Вот завтра утром встанут, напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху мать, такую же крестьянку, работающую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется, голова идет кругом.

Из комнаты урядника выступила желтая полоса света; в ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами, все это дрогнуло, зашевелилось.

— Да ведь это Дуня, — удивился доктор и с досадой взглянул на полуоткрытую к уряднику дверь.

Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола, сжал кулаки, потянулся всем жирным телом, зевнул и по-медвежьки рывкнул.

Белое видение исчезло, словно испугавшаяся выстрела птица.

— Тьфу! — и доктор перевернулся на бок.

Было тихо. Только слышалось, как, капля по капле, падала в лоханку вода из медного рукомойника.

«Буль... буль... буль...»

Раздались удары в колокол. Плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном.

Просчитав пять ударов, доктор забылся, ему пригрезилось, не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им за винченный в потолок крюк, сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая, во всем красном, Дуня ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздрогнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекая рука кушца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника.

Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес:

— Яд-баба... Яд!

Запел петух где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий.

«Вот приду... Ох, желанный мой», — сквозь сон слышит доктор.

Притаился, слушает, незаметно засыпая.

«Ох, сладко поцелую... Обожду тебя... О-о-о-х...»

Он слушает, улыбается и засыпает все крепче.

VII

Долго ль проспал доктор, неизвестно, но встрепенулся, когда кто-то хватил его, словно шилом в бок. Вздрогнул, протер глаза.

Дверь в комнату урядника почти закрыта, оставалась лишь неширокая, в ладонь, щель.

Доктор взглянул и обер. Протер глаза, смотрит. Опять протер, приподнялся. Глядит и не верит тому, что видит.

— Неужто?!

Он ползет к двери, прячется в тень, как вор, и широко открытыми глазами впивается в жирную копну урядника и сидящую у него на коленях, в одной рубашке, Дуню.

— Вот это шту-у-ука!.. — тянет доктор; он слышит, как бьется его сердце, да капля за каплей, падая в лохань, булькают и насмешливо рассыпаются в обманной подлой тишине.

Дуня обвила оголенной рукой толстую шею урядника, гладит его волосы, что-то шепчет и улыбается лукаво и ласково.

Урядник хохочет неслышно, и его живот, подпрыгивая, колышется в такт смеху, а вместе с ним колышется Дуня, стройная, свежая, в розовой рубашке.

— Два с половиной, два с половиной!.. Нет, врешь, — бредит скороговоркой купец и, застонав, добавляет убежденно: — Еще успеешь угореть-то.

Доктор испугался, пополз было назад, но раздумал.

Дуня встала, заслонив собою свет лампы, и через рубаху соблазнительно сквозило ее красивое тело. Закинув руки за голову, она потянулась лениво и страстно, привстав на носки, а чудище облапил ее левой рукой, притянул к себе и зашептал хриплым голосом:

— Чего он тебе толковал-то?

— А ну их к чертям! — почти крикнула она.

— Тсс... услышит.

— Спят... нажрались оба.

Доктор тарачит глаза, дивится. Не во сне ли, думает. А они, проклятые, шипят гусями:

— Люблю тебя, Павлуша.

— Любишь? Ты чего-то юлишь, по роже вижу, что юлишь... А дьячок-то?

— Не вспоминай. Ведь каялась... Чего же тебе надо? Прости!

Замолчали оба. Он красного вина подносит, сам пьет, ее плечо лапой гладит, тискает.

— Ночевать не будешь?

— Нет, ехать надо.

— Подари колечко. Может, не увидимся... Уйду.

— Что-о?

Таящимся, но злобным смехом всколыхнулась Дуня, задорно запрокинула с двумя черными косами голову, взметнула вверх руки, хрустнула пальцами и, покачиваясь гибким станом, протянула:

— Испужа-а-лся?.. А ежели уйду? Кто удержит?

— Сма-а-три, Дуня!

Урядник поднял над головой револьвер, потряс им в воздухе:

— Со дна моря достану, из могилы выкопаю, воскрешу и перерву глотку...

Знай!

Она прижала локтями грудь, съежилась, вздрогнула зябко:

— Заколела я чего-то... Поцелуй.

Потемнело у доктора в глазах: сон или не сон? В ушах шумит, во рту пересохло, и, как в наковальню молотом, бьет в груди сердце.

Быстро поднялся с полу — нет, не сон, — быстро подошел к постельнику и, нагнувшись, стал шарить спички.

У урядника погас огонь и захлопнулась плотно дверь. Оттуда слышалась не то ругань, не то смех.

Доктор зажег лампу. Руки его дрожали. Взгляд стал диким, растерянным, а мускул над глазом запрыгал. Он налил в чайный стакан коньяку и жадно, залпом, выпил.

«Нет, не сон...»

Была глухая ночь. Хмель нахрапом вползал в его голову. Заскакали мысли, перепутались, как испуганное стадо баранов, и бросились врассыпную. Чувствовал он, как уползает из-под ног почва, как все горит и стонет у него в душе. Тяжко сделалось.

Время шло. Лампа давно погасла, копоть от тлеющего фитиля висела над столом черным угаром, а сквозь окна глядела луна.

— Эй, ты, господин торгующий... купец! — говорил доктор пьяным голосом. — Тарантас этакый, а? Слышишь? Храпишь? Ну, черт с тобой, спи. Н-нда-а... Болотина-то, грязь-то какая. Ай-йй-йй-йй-йй... Ай-йй-йй-йй-йй... Бррр! Где тут гармония, красота? Вдруг урядник... и Дуня. Ходячее пузо какое-то... и алый полевой цветок. А? Нет, ты посуди, Аршин Иваныч, прав я или не прав? Дурак я, слюнтяй, интеллигент, мечтатель, кисель паршивый! Вот кто я...

Доктор приподнялся с лавки, взъерошил волосы, вытаращил глаза и закричал:

— Эй, вы, красивые... двое! Заперлись?

В комнате урядника примолкли, притаились, умерли.

— За что ж ты мне в душу-то харкнула? А? Ведь ты кто? Знаешь, ты кто? Змея!.. — стал кричать, топя ногами, доктор.

Во тьме что-то зачавкало, всхлипнуло, зашипело, и раздался голос кушца:

— Вы с кем это рассуждение имеете?

Доктор удивился звуку голоса, но встал, побрел, еле держась на ногах, к кушцу и упал возле него на колени. Целовал его, плакал горько пьяными слезами, жаловался:

— Где же правда, где? Вдруг Дуня — и на коленях у борова. А?.. Зачем обещать тогда? А ведь так клялась...

— Да-а-а, вон оно что. Хе-хе-хе. Так-так-так. На то и щука в море. Вот те и чистая! Ха-ха! Ловко. Вот те и краля!

Доктор, покачиваясь, стоял на коленях и грозно тряс кулаком:

— У-ух ты мне! Куроцап! Убью!!

— Смотри, отскочите... — иронически заметил купец и продолжал зевая: — А ты вот лучше высморкайся да ложись спать с богом. Ишь ночь...

Он еще раз зевнул, перекрестил рот и, перевернувшись, добавил:

— Она даром что Авдокея Ивановна, а умная, стервва: где пообедает, туда и ужинать идет.

Сказал и через минуту захрапел.

Слышно было, как во дворе раздавались деловитые голоса, бубенцы побрякивали, тяжелые сапоги топали по сенцам и ступеням крыльца, отворялась и затворялась наружная дверь.

Заскрипели ворота, рванули кони, колеса затараторили.

— С бого-о-ом!

Тявкнула спресонок собака, опять заскрипели и хлопнули ворота, побродил кто-то по двору, и все стихло.

Час прошел, томительный и длинный, наполненный вздохами, бессвязным бормотанием, затаенным ночным шорохом: должно быть, черти бродили по избе.

Луна еще не ушла с неба, но конец ночи близок.

— Барин, а барин, — еле слышно позвала неожиданно Дуня.

Она стояла среди комнаты, трепетно-белая, охваченная снопом лунных лучей.

— Желанный...

Доктор застонал, открыл глаза и зло перевернулся лицом вниз.

Дуня стоит над ним, что-то причитает и вся дрожит, как в непогоду дерево.

— Слушай-ка... Не сердчай... — льется нежный, молящий голос. — Ты разбери только по косточкам жизнь-то мою, разбери, выведай. Не сердчай, ради господя.

— Тебе что надо? — повернув к ней голову, крикнул доктор. — Тебе, собственно, что от меня требуется? — и опять уткнулся в подушку.

Прошла длительная жуткая минута. Дуня несмело опустилась возле него на колени.

— Ах, милый, рассуди: ведь смерть, прямо смерть от него, от лиходея, от урядника-то... Муж бил, вот как бил, житья не было; забрали на войну, обрадовалась — хошь отдохну. Тот черт-то привязался, урядник-то... запугал, угрозила: «убью!» — кричит, а защитить некому — одна. Ну и взяла... А все ждала, сколько свечей богородице переставила; вот, думала, найдется человек, вот пожалеет. Пришел ты, приласкал, такой хороший... аж сердце запрыгало во мне, одурела с радости. А с ним, с аспидом, развязалась, отвела глаза, успокоила, — убил бы. Понял? Вот, бери теперича... Возьмешь?

Затаив дыхание, она робко ожидала...

— Возьму... Эх, ты...

Пала рядом с ним; оттакивал, гнал, корил обидными словами, а сумела остаться возле, впиалась дрожащими теплыми губами в его лицо, замутила голову, всколыхнула хмельную кровь.

— Ах, желанный мой! Люблю! — восторгом, неподдельной радостью звучала ее речь: ждала, насторожившись, — вот скажет, вот обрадует.

— Убирайся ко всем чертям! — после минутного раздумья презрительно и желчно бросил доктор. — Марш отсюда!

— Только-то?

— Марш!!

— Стой, кто тут? — прохрипел купец. — Ты, Дуньха? — Он быстро приподнялся, зашарил-замахал в полутьме руками, сидя на полу, шутливым голосом покрикивал: — Давай-ка, давай ее сюда! Хе!..

И слышно было, как Дуня, поспешно удаляясь, ступала босыми ногами, скрипнула дверью и там, за стеной, не то захохотала, не то заплакала в голос, как над покойником бабы.

— А ты, доктор, дурак! — сказал, опять повалившись, купец.

Но доктор лежал, свернувшись клубком, с головой закрывшись одеялом, и, как смертельно раненный, мучительно стонал.

На рассвете для доктора стали запрягать лошадей.

Заложив за спину руки, он торопливо ходил по двору, хмурый и сосредоточенный, в сером, перехваченном кушаком, бешмете и высокой папахе.

А крутом суетились, закручивали лошадям хвосты, подбрасывали в задок сено, укрепляли веревками вещи.

Доктор проворно вскочил в тарантас, забился в угол и закрыл глаза.

— Трогай со Христом! — приказал чей-то стариковский голос.

Четко ступая по бревенчатому настилу, шагом пошли к воротам кони.

Когда на улице проезжали мимо окон земской, ямщик-подросток, вздохнув, сказал:

— Эх, Дунька-то как воет... Чу! — и враждебно взглянул на седока.

Доктор вздрогнул, открыл глаза. Больно, мучительно больно... Мерзко... Он высунул было голову, но ямщик гикнул, лошади рванули, понесли.

— Точка, — растерянно прошептал доктор, вновь забился в угол и кренко сомкнул усталые, полные грусти, глаза.

Тихо снег падал, первый осенний снег — гость небесный. Еще дремал воздух, дремотно падали снежинки, все дремало, и бубенцы с колокольцами тихо звякали, зябко вздрагивая на холодке.

На доктора валился сон. Засыпая, он грезил о том, как зима придет с метелями и морозом, и все уснет в природе под белой теплой шубой. Но пролетит на легких крыльях время, и вновь наступит молодая, нарядная весна с ковром цветов, ликующим хороводом птиц. И опять длинными колеблющимися треугольниками полетят с юга, но с новыми вольными песнями, радостно перекликаясь, журавли.

ВАНЬКА ХЛЮСТ

I

Угрюмая, необъятная, страхи таящая в себе, тайга дремала.

Где-то, за далекой горой, еще блуждал луч солнца, а тьма уже проснулась в трущобах, поползла неслышно из берлог, распласталась по влажному седому мху, нетерпеливо дожидаясь, пока погаснут жемчужные облака. Тишина была чуткая такая, выжидающая.

«Гу-гу-у... Хо-хо-хо!»

Вздригнула тайга, насторожилась. Но меркли вверху облака, приподнималась тьма выше, баюкала тайгу и навевала ей сны. Дремала тайга. Еще не успели окрепнуть робкие и неуверенные огоньки звезда, а тайга до краев уж захлебнулась тьмою, хлынувшей к померкшим небесам.

Тайга заснула.

Кто-то ходит во тьме. Смеется тихо. Там, на пригорочке, большой костер горит. А возле него — двое.

Костер тихо потрескивает, языки пламени задорно и весело лизут тьму.

Дед Григорий — восемьдесят лет скоро — кричат у костра, греется: износилась с годами кровь, похолодела. Лицо у него грубое, с лохматой белой бородой, но в глазах блестит что-то такое хорошее, теплое — словно он открыл неведомые, простые и великие тайны. Хмурит густые брови, а на устах радость. В глазах небеса, а душа все еще по земле ползает.

Говорит дед медленно, густым и хриплым голосом, и в его рассказе всегда смешок слышится — старик веселый.

Еще у костра, притулившись к деду, сидит внук его — хороший, лет шести паренек Тимша.

Да еще две собачки: Жучка с Верным. Жучка молоденькая, как смола черная, юлит возле Верного. Верный лежит смирно, морду на лапы положил и умными глазами смотрит в лицо деда. Когда дед весел, и пес весел, но чуть затоскует старик, вздохнет и Верный.

Тимша с белыми, в скобу подрубленными волосами, остроносенький, с живыми серыми глазенками, и когда смеется, глаза превращаются в узенькие щелки с лучистыми, как у старика, морщинками. На вид он щупленький, бледный. Сидит съжившись, поглядывая на деда, чего-то ждет. Тот гладит его большой корявой лапой по шапке и ласково говорит:

— Ох и лютой же ты, Тимша, сказки слушать...

Мальчонка ерзает радостно и настораживается.

— А ты, дедушка, ну-ка скажи, слышь, про тигру-то...

— Хе-хе... Эвона чо... Ну ладно, коли так...

Дед толкает в костер смоляной пень, огонь жадно набрасывается на новую пищу и стрижет ее неугомонно острыми ножами своих языков.

— Дык про тигру?.. Ладно-о-о...

Дед много знает забавных рассказов, ласково-грубых, по-таежному красивых: весь свой век в тайге прожил, но сейчас нарочно медлит, поглядывая свысока на внука, а тот весь нетерпением пышет, как струна вытянулся слухом, ждет...

— Забежала раз к нам тигра из Монголии. Это лет с пятьдесят тому, как не боле. Три волости, парнище, сбили, чтобы, значит, препону ей положить. Вот ладно. Окружили мы ее, черта, а она промеж нас так вот и сигат, так вот тебе и сигат...

— Сигат?

— У-у-у... Как молянья. Одному по рыле хвостом съездила, сразу салазки на сторону своротила... Вот, брат, кака силаща... Зверюга самая душевредная...

Тимша слушает разиня рот и вытаращив глаза от удивления, а дед улыбается и хриплым басом говорит дальше.

И когда дед, увлекаясь, хватает через край, испуганное лицо Тимши вдруг покрывается смехом, и он, фыркая в рукав, машет на деда рукой и вскрикивает:

— Ври-ка больше!..

Тогда дед на полуслове смолкает, зло смотрит на внука, а потом нахлобучивает ему проворно по самые уши шапку, и оба враз заливаются смехом...

В темноте, направо, то всхлипывая, то пересмехая кого-то, гуторит тихо таежная речка: хоть поздно, — давно спустился с неба сумрак, — а сон не берет ее...

И вдруг там раздалась песня... Высокий голос, весь тоска и слезы, жаловался на что-то звездам, укорял кого-то... Это Ванька Хлюст, бродяга, что вчера пристал к деду, как затерявшаяся собачонка.

Послышался хруст валежника, шорох ветвей все ближе да ближе: то Ванька Хлюст продирается сквозь заросль тайги. Вот вынырнул: не идет, а скачет торопливо, подпираясь толстым батогом. Свет костра хлынул ему навстречу, и в трепетных лучах видно было, как Ванька, прискакивая, волочит правую ногу...

— Ну, паря, и мастерица же ты песни петь, — сказал Григорий, — за самое ты меня сердце взял...

— Это мы можем, — отликнулся Ванька, шуря от света глаза, и подал деду котелок:

— Настораживай-ка, благословясь, к огоньку: щерба знаменитая должна выйти...

Лицо у бродяги большое, корявое, ни усов, ни бороды нет, доброе, а из серых печальных глаз вдруг веселье брызнет, удаль какая-то. Расцветет ненадолго улыбка и завянет; огоньки лукавые заиграют в глазах, смехом заискрятся, но грусть вмиг погасит их и покроет лицо кручиной.

— Ну, калека ты моя, калека божия... садись-ка вот тут. Умаялся, поди, сердешный?.. — участливо говорит старик.

Жучка вскочила, ластится; Верный подошел — обнюхал и, решив, что человек надежный, лег.

Ноги у Ваньки культяпые, сухие, в бродни обуты. Эх, и руки же у парня — беспалье, только на правой большой палец торчит, да и тот без ногтя. Левая рука в локте перевязана грязной тряпичей и веревкой обмотана.

— Ну, што, не легче руке-то? — спросил дед.

Ванька глядит на него, — лицо печальное, — и нехотя говорит:

— Да што... ишь, отгнила совсем. Разве это рука?.. Одно звание, что рука, мешает только, одна видимость. Весь сустав в локте порешился, все головой погнило... На одних жилах, да вот еще на веревках держится. Вот размотаю сбрую-то, да как шаркну по дереву — и отлетит к чертовой матери... Ох, горе-горе...

Ванька одернул свою синюю, с белыми разводами, рубаху и почесал культишкой длинную худую шею.

— Лет пять вот так... В Смоленском селе лег в больницу — там доктор пальцы резал мне, девять штук напрочь откатил, не усыплял, ничего... Режет, а я смотрю... «Ну и крепок, — говорит, — крестник, — крестником меня своим назвал, — терпеленья, — говорит, — в тебе множество». — «Отнимите, — говорю, — и руку-то заодно». — «Нет, — говорит, — рука пройдет, лежи». Лежал я, лежал, а раночка-то вся — шилом чкнуть. Потом доктор говорит: «Ну, брат крестник, рука твоя так что неизлечима... Шабаш, брат...» Я опять: «Отрежьте, Христа ради». — «Не могу, перация трудная... Катай, как не то, в город...» Ха-ха... В го-о-род... Да нешто у нас, в тайге, до городу-то доскачешь? Чу-у-дак человек. В город!.. Пошел я прямо в тайгу. Пришел, пал на колени, реву: матушка — напитай, матушка — укрой!.. Не выдавай, тайга-кормилица, круглую сироту Хлюста Ваньку! Говорю так, а слезы ручьем-ручьём; торнулся носом в мох, лежу, вою... И словно бы кто шепнул мне ласково, быдто приголубил меня. Не вижу, дедушка, а чувствую, стоит возле меня кто-то, утешает, — и башку от земли отодрать не смею. Слышу только, как в грудях радость ходуном заходила, быдто вода весной. Заснял я весь, приподнялся... Гляжу: бурундучишка стоит у кедра на задних лапках, смотрит на меня глазенками, а сам посвистывает. Захотел я тут радостно, грожу ему: ах ты такой-сякой, бурундучок ты этакий милый мой... А он смотрит на меня бисером, да знай посвистывает... Э-эх!.. И вдруг не стало во мне, дедушка, ни печали, ни чего земного прочего...

— А красно же говоришь ты, Ванюха...

— Ах, дедушка, дедушка... Ведь башка-то у меня умная, вот только досталась-то она дураку, — хы-ы... В тайге, брат, всему научишься...

— Нау-учишься... — недоверчиво кряхтит Григорий. — Где тут научишься-то, с кем?.. С медведем рази?

— И с ним... Я, отец, ране-то так жил: вот забреду на займку какую, выпрошу хлеба Христа ради да чайку, и айда... Заберешься куда-нибудь в отдаленье, на речонку, и живешь там, как воевода: морды пастешь для рыбы, песни поешь. А черт ли? Мне ране-то весело жилось, ни о чем не думалось... И разговоры разговариваешь в тайге с кем придется: человека встретишь — с человеком, белка на сучке сидит — с ней... Нет никого — с деревом: и дерево, брат, выслушать да понять может. А то с тучкой либо с месяцем. Орешь ему: эй, месяц-батюшка! Вскочишь, подопрешься костылем, машешь рукой да орешь.

Замолк Ванька, и опять тихо стало. Только костер гуторил да над прогалиной, трепетно и робко мерцая, звезды караулили ночь. К ним, к звездам далеким, вспорхнул Ванька мыслью.

Но дед тут же стащил его на землю:

— А ты бы, паря, шел к нам на займку, тебе бы бабка руку-то попользовала... Ох и знатец старуха... Мало ли есть каких средствиев. Эвона со мной случай какой произошел, слушай-ка. Была одна красивая-раскрасивая девка, постоялый двор на приисках содерживала, только одна нога деревянная... С деревяшкой, а вольная была. Пришли как-то, враз угадали, три мужа — ейные дружки, значит. Она видит, что с тремя-то не рассчитаться, пасть в сенцы, а там на полке стряхнин стоял, волков травить, она возьми да и выпей. А я в те поры парнем был, работником жил у ней. Слышим, что-то схлопало... Прибежали, вот так раз! Лежит девка, хрипит, почернела и деревяшкой вертит.

— Вертит?

— Верти-и-ит... Страсти...

— Ха!.. Ловко, — хмуро вставил Ванька.

— Ну, ладно... А тут у нас на шестке масло разогретое коровье было, мы ей и вбьякали. Рот-то расщеперили да огромный ключнице меж зубов от кладовой вставили, да и лили масло-то. Поъем-поъем, да подыдем на дыбы, да встряхнем... А потом на доску положили деваху-то, да в горячую печь и вбухали. И что б ты думал? Ведь ожила, шельма, оклемалась... Вишь какие средствая оказались... Вот оно што... А руку и подавно наладить можно... Кого тут!

Дед крикнул и исподлобья посмотрел на Ваньку.

— А и веселый же ты, дай бог, дед, ласковый...

— Хо-хо... Я-то?.. Я, брат, ничего, мастак на эти штуки... Артельный человек... Бывало, чего-нинабудь сколоколишь смешное, вот и смех... А где смех, там греха меньше, злобы... А вот еще со мной случай был, почище стряхнину... В аптеке я служил сторожем, да заместо микстуры — просто попробовать хотел, побаловаться: сладкие другой раз бывают — взял да, не разобравши дела, серной кислоты ложку и царанул... Дык у меня — хошь верь, хошь нет, — вот тебе Христос, вот... как у окаянного, изо рта и из носу дым повалил!..

Ванька ухмыльнулся, заерзал по земле и звонким голосом сказал:

— Ну и развеселый же у тебя, дед, карахтер...

II

Дед топчется у костра, хворост в огонь подбрасывает, котелок с ухой настораживает и думает: вот его, старика древнего, третьеводнись послал сын на соседнюю займку, верст за пятьдесят, — что бы самому слетать, так нет! — просил коновала добыть для жеребчика. Тимшу взял, все повадней. Сели в лодочку да благословясь и поплыли. А вечер, солнышко уж за лес падало — в тайге дни короткие, — глядь-поглядь: человек на берегу сидит, да таково ли жалобно поет песни, и дымок возле него вьется... Подъехали. «Кто таков?» — «Человек...» — «Вижу, что не полено... Откедова?» — «Бродяжка, Ванька Хлюст. Возьми, говорит, дедушка, ради господ... По народу, по слову человечьему я затосковался».

Суетится дед у костра, думает, любовно поглядывает на бродяжку и говорит:

— Расскажи-ка, брат, сделай милость, как ты, не в огорченье будь сказано, изувечился-то?

Ванька медлил. Он снял шапку, с ожесточением единственным пальцем поскреб кудрявую голову и, вздохнув, поглядел на деда измученными глазами.

— Так сказывать?

— Сыпь, пока уха преег... — ответил тот.

— Поморозился я лет пять тому, а всего мне будет без трех годов тридцать... Расскажу я тебе, дедушка родимый, всю жизнь. Не затоскуй только — жизнь моя не веселая...

Ванька сел удобнее, тихо кашлянул и тихо начал:

— Родился я от своих родителей: от девки да от солдата. Мамыньку сердешную схоронил ноне, а батька жив. Ну, ладно. Рос я не как все другие прочие, законные которые, а так... Сам знаешь: прибудыш, так оно прибудыш и есть, как баран шелудивый... Ну, и озорным же я парнишкой был, надо правду сказать... Первеющим пакостником меня считали, по всей округе на слыхах был. Одно слово — Ванька Хлюст! Стекла ли попу высадить, дубиной ли кого из-за угла огреть — это я... Подрастать зачал, девок стал забижать, и не то чтобы пакостно, а так, для антиресу больше: зубы стиснешь, налетишь, раз по уху! А сам заливаешься, хохочешь, словно тебе в душу-то мохнатый с хвостиком залез... И никакой во мне жалости не было к человеку... Пуще же всех ненавидел я батьку... Ох и зверь, и аспид родитель-то мой, прямо рестанг...

У Ваньки в глазах огоньки замелькали, а голос трещину дал:

— Ведь он, идол, в гроб вогнал мамыньку-то... А что мне выволочек было, мордобою этого самого, не есть числа: он и голодом-то меня морил, и на мороз-то в одной рубашонке выкидывал... Вот, погляди-кось, башка-то у меня проломана местах в трех... А мамынька-то... А мамынька...

Ванька отвернулся от деда, засопел, в землю уставился, шепчет:

— Покойна твоя головушка... Превечный тебе покой.

Руку занес, перекреститься хотел.

— Вот, ишь... Ну чем я крест положу? Кулаком, что ли? Культянкой?

— Ему, батюшке, все единственно, — заметил дед, — хопь рукой, хопь ногой... Была бы душа настоящая...

— Душа?! — вскрикнул Ванька. — Вот то-то и дело, что душа...

Тимша с собаками у костра возился: все трое катались клубком по земле. Тимша, лежа на животе, по-собачьи влаивал, а Жучка с Верным притворно урчали и, насадея на Тимшу, старательно тербили надетую на нем мамкину кофту.

— Ну, дык чо дале-то? — обратился Григорий к Ваньке. — Карахтер-то у тебя, это верно, с загогулинкой...

— Карахтер-то?.. Не озлобай!.. Я человек не злой, я нраву веселого: ишь — ни рук, ни ног, а сердце-то у меня ласковое... Да-а.

Ванька задумался. Но вдру на лице затеплилась радость, улыбнулся бродяга, подбодрился:

— А гармонь у меня была первый сорт; мамынька, дай бог, сгноошила, да сам в пастухах жил, сколотил деньжонок, и песенник был я отменный.

Ванька окреп голосом:

— И так я, дед, на этой самой гармонии играл, что ах! Идешь, бывало, по улке с ребятами, о празднике, да как взыграешь на всех переборах — эх ты но... Дуй, не стой!.. Дык не то что девки али бабы молодые — старухи-то и те из-за печек, как тараканы, выползут да к окнам прильнут, чтоб Ваньку Хлюста перед смерточкой напоследях послушать... Во как! Не веришь? Ей-бог... Господин барин как-то был у нас из Питера, анжинер, значит, насчет приисков приезжал, разведку делать... «Хошь, — говорит, — Иван, в столицию? Знатнеющий музыкант, — говорит, — из тебя должен выйти... Подучить, — говорит, — тебя мало-мало... Пальцы-то золотые, — говорит, — у тебя... Цены нет твоим пальцам-то...» Эхо-хо-о...

— Ну, так вот, — сказал, чуть помолчав, Ванька, — так оно и шло колесом, покедова не вырос, а как стал парнем, постушил я, отец, в ямщики на трахт... Бывало, как выедешь в ночку летнюю, да как гаркнешь: «Соколики, грабят!» — вот и рванут-рванут тады лошааденки, дорога лугом, что ска-терть гладкая, несешься — в ушах ветер поет, ничим-чего тебе не видно, словно валишься в пропасть какую... На звезды взглянешь, а они за тобой следом катятся... И была там у меня на селе зазноба, кабатчика нашего дочка — Дунюшка...

Ванька насупилс, вздохнул и, ковыряя костылем землю, прошептал:

— Нет, лучше уж не ворошить... Чего тут...

Дед крикнул, боднул лохматой головой и сказал, пристально поглядев на бродягу:

— Не ты ль, Ванюха, в прошлом году у Петрована Безденежных на заимке жил? Всю зиму быдто бы?

— Я... А что?..

— Да так... Сказывал Петрован: чевой-то скучал ты шибко... — и, не дождавнись ответа, добавил: — Это, брат, плохо, соколик, ежели скучать... Укрепиться надо... Мало ли чего в жисти случается... Ну, это я так, промежду прочим... Сыпь да не-то, как лапы-то ознобил, сказывай...

— А это, вишь ли, каким манером дело-то вышло. После Покрова вскорости — ни зима, ни осень, а так, середка на половине, хозяин мой, ямщину содерживал, — из дому отлучился в город, один я остался. Вот ладно... Только что я приехал с трахту, заколел, как анафема, сижу, отогреваюсь в хомутецкой на печке — ночь темная, и буран зачинается, а теплынь стоит. Вдруг из земской сотский прибегает: «Живо, — крик, — лошаадей: лешак попа принес... Поп орет, ямщика к себе требует... Да поп-от не один, слышь, а с бабой какой-то». А я знал, что у попа чередовского синпатия есть, родня не родня, а так, сбоку припека, пришей кобыле хвост — можно сказать... Ну ладно... Хошь не хочется ийти, а куда деваться, — пошел... В броднях грязных прямо вверх лезу... А мне что?! Еще докладаться, да внизу ждатель?.. Наплевать можно, с мужика спрос короток: пружа прямо вверх... Вошел в горницу, помолился. Поп один сидит, здоровенный, красный, сурьезный, знакомый поп... Народ, признаться, не шибко же его долюбивал,

не уважал... Крутой поп был, карахтерный, да и драл с живого-мертвого просто ужаси как...

— У попа жисть хороша, — перебил дед, — помрет — не уйдет, и родится — годится. Ххе...

— Это самое... — ухмыльнулся Ванька. — Ну, дык вот... Перекрестился это я наотмашь. «Здравия желаю, — говорю, — батюшка». — «Лошадей». — «Никак невозможно», — говорю. «Ах ты сукин сын». — «Никак нет, батюшка, — отвечаю вругорядь, — я ваш сын, а не сукин, потому как вы наш отец духовный... Ежели, — говорю, — отец духовный такой вопрос обозначает, то чего ж родному-то отцу остается делать? Одно: взять оглоблю, да оглоблей-то по темю». Слово за слово, ну, только што он меня козырнул словцом одним удивительным, вижу, дело плохо, говорю ему: «Ежели усердие в вас такое есть, чтобы ехать, то я коней сготовляю, но без обиняков вам скажу, загинуть в пути можем за милую душу». — «Не твое дело!» — «Ну, в таком разе, я живчиком... Позвольте вас с папиросочкой поздравить». Обмяк поп, дал папиросочку, улыбается. Ладно... Пригнал я лошадей, самых отчаянных, тройку... Выходит поп в шубе енотовой, кушаком весь запоясан, от горла да вокруг пузы, — ну, а у меня, сам знаешь, шебур мужичий трижды через нитку проклят, чрез две —окайнный, да верхонки мокрые — вот и вся амуниция...

— Кругом шестнадцать, — вставил, крикнув, дед.

— Хы-ы... Вроде этого... «Отойди-кось к сторонке», — поп-от говорит... Отошел я, а сам глазом этак покашиваюсь. Гляжу: поп госпожу на дно положил в кошевку, сам лег, кочмой накрылись. «Готово, — кричит, — садись, ямщик!» Поблагословился про себя, сел. Поехали... Ветерок дул маленький, помню, утих буран-то, а выехали за деревню, ветер крепчать зачал, и буран стал опять разгуливаться. Верст пять отбежали — вдру-уг буран кэ-эк ахнет! Как застонет все кругом. Ну, думаю, плохо мое дело. А со мной на облучке еще мужичок увязался, попечитель школы одной сельской. Тоже навроде меня одет — рыбий мех, бобровый верх — сидим, трясемся оба. Что делать? А буран все пуще да пуще. Словно молоком все залито, у коней — скажи на милость, — даже голов не видно. Снегом им все глаза залепило, они и стали. «Нн-у!» Стоят... «Малютки, грабят!» Кэ-эк шарахнет тройка!.. Я вверх ногам, попечитель вверх ногам — бух на попа с попадьей оба, корячимся в кошевке, тпрукаем: я тпрукаю, попечитель тпрукает. А поп выставил из-под кочмы бороду да как начал меня козырять всячески. А я ему на опакишь... Он мне слово, я ему десять. Потому осерчал... Кони несут, дорога ухабная, иначе я уцепился пластом, к облучку царапаюсь, а попечителя, как куль с мукой, на ухабах подбрасывает, то на голову одыбит, то пятки к бороде подворотит... Смехи... А буранище так вот и крутит, прямо с огня рвет, по роже снегом, как бичом, хлещет, насквозь прохватывает, аж дышать нечем... Глядим — огонек. Мы туда целиной поехали было. Пропал огонь, точно его кто слопал... Ах ты господи! Ровно бы и жилью-то тут быть не надо. Сбились мы совсем с дороги... А буран так разбушевался, что надо бы пуще, да некуда, ревя ревет все кругом на разные лады. Жуть... Зачали мы с попечителем дорогу искать: привяжешь вожжи к саням, да по вожже-то

и ходишь во все стороны... А то, чего доброго, отойдешь сажень на десять, да и к лошадям не вернешься. Кружилась, кружилась — нет дороги... «Батюшка, а мы с дороги-то сбились...» — «А ты ищи... ищи ты». — «Сам поди-ко поищи: ты в елотке, а я вместо тебя под кочму-то прилягу...»

— Под кочму?.. Ххе... — подмигнула Ваньке дед.

— Дык как же?.. Знамо... Ну, ладно. Как обозначил я это, поп и замолчал. А тут, братец ты мой, стало пристывать, морозом здорово прихватывать зачало. Ну, думаем, карачун пришел, терпенья нашего не стало... Глядим — стог... Мы туда. Оттребли кой-как снег, сено маленько разрыли, сели за ветром. А буранище так вот и садит, знат надвигат, того гляди стог опрокинет. Я присел на корточки, замаялся... Сколь просидел так, не знаю. Гляжу: месяц восходит из-за леса, и звезды в небушке загорелись. Потом, на вот те... вдруг соловьи защелкали и таким быдто теплом повеяло от кустов зеленых да от поля. Что за притча?.. Встал, оглянулся — верно: ночь летняя, соловьи поют, свежим сеном пахнет... А буран-то где?.. А поп-то где?.. Стою, улыбаюсь... Глядь-поглядь: Дуня по лугу идет, и месяц ей по дороге светит. Кричу: «Дунюшка, желанная, ягодка моя боровая, здесь я! Иди-ко, что скажу тебе, слушай-ко, што мне приснилось-то: я быдто попа, быдто попа, быдто попа...» Не могу от радости выговорить, да хоть ты што хошь. А она, и словно бы не она, а чужая — смеется издали, машет рученькой правой да кричит милым голосом: «Вставай-ка, вставай — скорей, эй, ямщик...» И чувствую: хлоп мне кто-то по плечу: «Эй, ямщик, ехать надо...» Открыл глаза: поп стоит, лицо злое... «Ты что, заснул? Поедем-ка, ищи буран-то кончился и огоньки видать: должно, Пазухино...» Гляжу: огоньки видать, и впрямь Пазухино село... А шебур-то мой колом стал на морозе, да и портки к ногам примерзли, аж с кожей отодрал, руки ноют, зашлись совсем, верхонки как железные — позамерзли... А от попа, чтоб его язвило, пар валит, рыло красное...

Буран, слава богу, призатих, а я чувствий порешился, ничего не чувствую. Уж не помню, как и до деревни докатили... А пальцы у меня быдто палки сделались, стучат, обмерзли. Я на печку, попечитель на печку — саду-то... Слышу: поп хозяина кличет, за водкой его посылает. Вот ладно, принесли живчиком водку. Поп стакан себе, друтой мне: «Эй, ямщик, пей...» Поблагословился, выпил. Он вдругорядь: стакан себе, стакан мне: «Пей еще». Выпил... Партоманет вынимает: «Вот тебе прогоны, а вот тебе еще два целковых, потому как ты пострадал...» — «Покорно, мол, благодарны и на этом, два рубля на чай деньги не малые, ну только что вы, батюшка, полжисти у меня отняли... Дай бог вам». — «Ничего, говорит, чадо, поправишься...» А попечитель на печке сидит, дрожит весь, его не попотчевал поп-то... Вино мне в голову вдарило, вышел я как очумелый, руки, словно в кипятке, ноют, быдто ножом от костей мясо сострагивают... Я хозяину рубль — тащи водки — уж очинно попечителя сделалось жалко — подал попечителю, подал хозяину, сам выпил, потому терпенья нет... Опосля того свалился, не помню, чего и было... Попечитель через четыре дня богу душу отдал, а я вот вишь как обсовершенствовался... Вот те и Ванька Хлюст! Вот те и золотые пальчики... Вот так и маюсь, отец, всю

жисть свою...

— Чего поделаешь, сударик... — откликнулся душевным голосом дед, — попала в колесо собака — пищит, да бежит. Так и человека жисть ущемить может, ежели. Ау, брат... От што...

Ванька вскинул на деда глаза:

— Чегой-то раздумье долеть меня начало... Сон от меня по ночам прочь бежит. Ворочаешься, ворочаешься ночью, словно медведь, с боку на бок, потом сядешь, да и думаешь... А о чем, спрашивается? О жисти да о Дунюшке... Обо всем, вобщем, думаешь.

И, вздохнув, добавил:

— Жисть — штука великая, дедушка...

— Да, не малая, паренек.

— Она кому власть, а другой от нее окарачь ползет... Пришел я как-то к попу, уж когда по миру ходить, бродяжить начал: «Здравия желаю, батюшка!» — «Ты кто таков?» — «А вот, смотрите, — сам руки искалеченные показываю, — признали?» — «Нет». — «А помните буран-то? Окажите такую божескую милость, определите меня хоть в пономари...» Повернулся поп в сердцах, вышел в друту горницу, три пятака медных вынес: «На!» — «Да что вы, батюшка... Да на вас креста нет». — «Проваливай, проваливай со Христом... А то живо работника крикну... Эй, Яфим!»... Я тут так слезами и захлебнулся. Ну, ловко он меня... поприветствовал... Дай бог... Это за что ж, дедушка? В сердцах-то за что? Не он ли виноват в убожестве-то моем?.. А?.. Как же так не пожалеть калеку? Разве не такой же я есть человек, а?.. Разве не из одного теста?

— Из одного дерева, брат Ванька, бывают лопаты и иконы. На иконы богу молятся, а лопатой дерьмо гребут... Так, милай, и люди, бывают разной выделки... От што... Они, брат, хозяев в жизни, а мы что? Так, слякоть...

— Дык рази в том есть правда? Ну-ка скажи.

— Правда-то на небе, Ванька... А, сказывают, семь верст до небес, да и те кочедурами... От што... Стало быть, такой придел положен, чтобы по земле ползать. Отползал свое — ложись, умирай.

— Приде-е-л? — насмешливо протянул бродяга и вдруг взвился: — А ежели я не жалаю придела-то?! Что мне придел? Я сам себе придел! Вот те и придел. Вот захочу, останусь, захочу — торнусь в омут, и крышка... Ха! придел!..

Дед устался на бродягу, подумал минуту, ответил:

— От жисти, брат, не уйдешь, Ванька: все равно поймает.

Ванька задумался, ничего не ответил деду... И погрезилось вдруг Ваньке, что тайга все знает и чувствует, на все может дать совет мудрый, только выслушай ее, только сумей угадать, что она шепчет.

— Ну, а Дунька-то как же, Дунька-то? — громко спросил дед.

— Что?.. — встрепенулся бродяга и лениво перевел на деда все еще затуманенные глаза...

— Дунька-то, говорю, любушка-то твоя?

— Ох, и не спрашивай... — упавшим голосом сказал Ванька. — Еще в больнице лежал, слышно было, что девка того гляди ума тряхнется. А

как пришел я, беспальный-то да с костылем-то, да как увидела она меня, аж обмерла вся — на шею друг дружке бросилась, да и завывли вряд страшным голосом... «Сиротиночка ты моя, — говорит, — сиротиночка...» А потом за нее жених стал свататься...

И Ванька едва слышно добавил:

— А она головой да в прорубь...

Хоть тихо сказал Ванька, а ему опять померещилось, что тайга учуяла и отозвалась таким же шепотом: «Головой да в прорубь...» И на речке кто-то откланкулся.

— Чу! — испугался Ванька. — Слышишь, дед?

— Ничего не слышу. Ты што это?

Бродяга встал на четвереньки, прислушался и, быстро поднявшись, закултыхал к речке, подпираясь батоном.

— Эй, куда? — крикнул ему вдогонку Григорий.

Жучка в обнимку с Тимшей спит у костра, дрыгает ногами и жалобно повизгивает, — сон, надо быть, видит. Дед ласково гладит пса и сам с собой тихо рассуждает:

— Нет, чевой-то не ладное с ним, с Ванюхой-то. Пра-а-во... Шибко тоскует.

Ш

Дед подымается, крихтит, растирает затекшую спину и, сгорбившись, тянется к котелку:

— А, мотри, упрела уха-то.

И не своим, бабьим голосом, ухмыляясь, монотонно бубнит, как в дудку аудит:

Табашники к табаку-у-у,

Пьяницы к кабаку-у-у,

Обжоры к у-у-ужину!.. Потом, вместе с проснувшимся внуком, торопливо усаживается возле котелка.

Вскоре на зов приходит и Ванька. Лицо бродяги спокойно, но что-то таится в глубине его усталых глаз.

Дед вытащил из мешка деревянную обмызанную ложку и все тем же смешливым голосом, весело подмигнув Ваньке, сказал:

— Люди за хлеб, а я разве ослеп? Ну-ка-а раз! А ты что, Тимша, зевашь? Имай рыбу-то... первый сорт мяса: от хвоста грудинка...

От ухи валит пар. Старик ест так, что за ушами пищит. Челюсти его работают сосредоточенно и жадно. Тимша чавкает, то и дело утирая нос рукой и чему-то радостно улыбаясь. А Ванька ест вяло, нехотя, печальный такой сидит, пасмурный.

Дед, зорко покосившись на бродягу, вдруг заулыбался, положил, не торопясь, ложку, пощупал мешок, вытащил бутылку и, подняв ее выше головы, весело прохрипел:

— Ну-ка, братья, зелено, — не прокисло бы оно... Самосядочки хошь, Ванька? Хоррошая штука. У нас, в тайге, старухи ее из хлеба делают... Зна-

ешь, поди?.. На-ка, благословись стакашком...

Тот, очнувшись и вскинув на деда белые свои брови, сглотнул жадно слюну:

— Благодарим, дедушка Григорий. Мы не пьем...

— Ты кому другому это скажи, — смеясь, кричит дед. — Не пьешь... Нешто не вижу я, как кадык-от у тебя заползал. Пей, тебе говорят!..

Ванька смущенно скребет за ухом и, круто передернув плечами, тянется дрожащими беспальными руками к самодельному берестяному стакашку:

— Ну, за ласку твою, отец! Пригрел меня, сиротину.

— Во здравие, — откликается дед.

Ванька чамкает губами, сердито сплевывает, крутит головой и говорит:

— Ух, анафема! Штука лукавая... Ране, бывало, я, действительно, завей горе веревочкой, водку эту самую довольно сурьезно сосал. Ну только те-перича — аминь!..

Костер ярко пылал, тьма по сторонам клубилась, а вековые кедры — богатыри таежные — гурьбой обступили костер и, хмурясь, протягивали лапы свои к теплу и свету.

Уха подходит к концу. Дед всех удалей из котелка черпает и балагурит, стараясь распотешить компанию. Тимша смеется во все звонкое горло, то и дело расплескивая из ложки уху, но Ванька грустен.

Псы нетерпеливо топчутся, повизгивают и просительно гавкают тонкими благопристойными голосами, а дед, чавкая беззубым ртом рыбу и вкусно обсасывая кости, небылицы рассказывает:

— И как лег это, значит, я, не поблагословившись, не успел еще и заснуть-то путем, глядя: чертенок, будь он проклят, скок на меня...

— Всамделишный?.. Большущий?.. — широко открыв глаза, спрашивает Тимша.

— Да как тебе сказать, не соврать: вершков этак пять, не более... Я его кэк сгреб в кулак, так всего, окаянного, и зажал. Только рога одни поверх кулака торчат, да темя видать... Вот ладно... И стал я крутом шарить, а сам думаю, как бы его, собаку, опаранить по маковке-то, чем бог послал...

Босоногий Тимша, пыхтя и по-стариковски покрякивая, укрылся шубой, циркал сквозь зубы в огонь и облизывался на пекшиеся в золе кедровые шишки. Вдруг Ванька, перевалившись на бок, подполз к бутылке:

— Дед, а дед... Можно, ежели?..

— Сышь, сышь...

Ванька облапил бутылку, задрал вверх кудрявую голову и жадными глотками выпил все вино. Глаза его заблестели задором, а лицо сделалось бледным и злым.

Дед на Ваньку уставился с любопытством, улыбнуться хотел — улыбки не было.

Ванька про себя всхлипнул, покрутил удрученно головой и, свирепо погрозив тьме, стал, ругаясь, выкрикивать:

— Эвона, моклышки-то, видишь, старик? А полено-то видишь?.. — ткнул он в мертвую руку. — Ха-ха! Понимай, брат. Чувствуй!.. А ни-и-чего-о... Слава богу, не жалуемся, живем богато: дом о семи жердях с подъездом!

Дед не спускал с Ваньки удивленных глаз, костер оправлять начал. А Ванька, проворно поднявшись, посовался носом и, ненавистно тыкая в небо обезображенной рукой, взревел:

— Проклятые!! Мучители!! Ууух вы!! Бо-о-ог!..

Дед от неожиданности чуть котелок с чаем не опрокинул, вздрогнул, выпрямился:

— Ванька, опомнись!.. Ванька, одумайся!..

Бродяга сразу смолк, словно грудь надорвал, и, еле переводя дух, угловато опустился на землю.

К нему Верный подошел, смотрит в глаза, ластится. Обнюхал уродливые руки и стал ласково лизать.

Ванька тяжело вздохнул.

— Скажи мне по чистой совести, как перед истинным, скажи мне, дед, веришь ты в бога, в правду-матушку веруешь? — заговорил бродяга срывающимся голосом.

Поскреб дед в раздумье голову и, бросая в огонь валежник, не спеша ответил:

— Алтайцы богу не молятся, у них дворы скотом ломятся. А наш русак, хоша просит вышнего, кола нет лишнего: кругом бегом... Это у нас в тайге така присказка. А я тебе, сударик, вот что скажу: бога я завсегда в сердце имею. И тебе советую. Понял?.. Вот что, мила-а-й!..

Ванька мигает часто, молчит, потом медленно, точно сам с собой, говорит:

— Ну ладно... Ежели веришь, стало быть, бог есть, по-твоему?..

— Дурр-а-ак... За такое слово сто раз дурак... По самое это место... — педит сквозь зубы дед.

— Ну ладно. Стало быть, есть, — заключает Ванька. — А где же он?.. Я ли ему не молился?.. Я ли не ползал перед ним на карачках? У святителя Иннокентия в Иркутском был. Ты ушутил — при моих-то ногах!.. Идешь, бывало, в мороз ночью, вскинешь голову вверх, а там звезды, да месяц по небу ходит... «Господи, шепчешь, господи. Оглянись на Ваньку, пошли исцеленье. Чего тебе стоит, господи. Не дай загинуть!.. Душа моя, господи, душа опаршивела, коростой, как пес гнилой, вся покрылась...» Да ну плакать, да ну кувыркаться в землю, в снег башкой... Я, брат, слезоточив, из меня слеза даже неудержимо катится. Встанешь, утрешь рыло-то, да на небо взглянешь, а там все по-старому, только месяц смотрит на тебя да ухмыляется... А грех все на душе камнем лежит... — закончил он тихо и низко опустил голову.

— Да какой у тебя грех-от? Какие у нас с тобой могут быть грехи?.. Ну-ка...

Ванька деланно захихикал и торопливо, скороговоркой пробормотал:

— У меня, дед, грехов сорок мешков. Один грех продал — всех выпустил. Разбродились который куда: кто по кабакам, кто по дуракам, а одного вот у вас на заимке пымали... Ххе... — и, помолчав, добавил: — Поди, и грехов-то никаких нет на свете... Каки таки грехи бывают, ты знаешь, дед?..

— Как какие? — встрепенулся старик и, придвинувшись вплотную к

калеке, стал подгибать по очереди корявые пальцы и перечислять монотонным, как у начетчика, голосом:

— Непослушание, нерадение, паки блуд, лихонмство, гордыня — дочь дьявола, злоненавистничество, и самый смертный грех: хула на духа свята...

— Ха-ха-ха! Здо-о-рово... Расписал, как размазал... А ежели какого зловредного человека жисти решитъ?.. Это как?.. Грех, али как?.. По макровке ежели фомкой кокнуть, ломником? — И в голосе Ваньки замечен был хмель.

— Дуррак... Язви те!..

— Х-х-х-ха... — хрипел бродяга... — Не любишь?.. А ежели от которого, окромя зла, никакой корысти, как от гадины, тогда как? А?..

— Как никакой корысти? Ме-ельница!..

— Ну, вот хоть от меня, напримерича. Какой прок во мне? И какой я есть человек для миру?.. Я столь же миру-то нужен, как дыра в мосту... Вот и следоват раздавить меня, как таракана. И я так умствую, что тому человеку-то за меня, как за паука за доброго, ежели убить меня, сорок грехов убавится. Ххы...

— Статуй этакий... Ельман, прости бог... Пей-ка чай-то, умная твоя башка со вишам. Оно лучше дело-то будет. Ошпарь-ка душеньку-то...

Чай пьют без сахару из деревянных чашек. Дед натолкал в чашку пшеничных сухарей и, прихлебывая, говорит резонно:

— Вот смерть придет, узнаешь, каки таки грехи-то бывают. Пей-ка...

— А что мне смерть? — оживился калека. — Нешто я боюсь смерти? Да хошь сейчас!.. Нашел чем пугать Ваньку... Я, дед, в прорубь бросался — вытащили, давился в лесу — веревка лопнула... А ты — смерть!..

— Ой, Ванька... Не торопись умирать...

— А как же жить-то мне, ты подумай? Ну, куды я?..

— Жисть-то нам единова дается. Эх, Ва-а-нька...

— Ну-к чо?..

— Жалеть, мотри, будешь...

— Я, брат, дед, подохну скоро. Чую, что околеть я должен невдолге: замерзну али так где окочурюсь... Что мне смерть?.. Харкнуть да растереть... Во!.. Не боюсь я ее вот ни на эстолько, — и Ванька прижал единственным пальцем кончик костыля.

— Ой, вре... — недоверчиво вставил дед.

— Вот те и вре, — передразнил калека.

— Ой, паря, вре...

— Тебе, может, жить-то хорошо... дак...

— Тому хорошо, у кого брюхо большо, — перебил дед. — А ты живи да бога благодари. Мир должен как-никак прокормить тебя. Без этого нельзя...

— А рука-то?

— Руку напрочь отнять...

— А душа-то покалечена, промерзла наскрозь?..

— Ха, душа!.. Да она, может, почище, чем у кого другого прочего... От што...

— Да ты дурак, дед, прости бог, али умный?! — крикнул Ванька и ткнул

деда в грудь. — Ежели я кудрявый был, ежели я пригожий был, и девки от меня таяли?.. А теперича... На-ка вот. Ты ушутил?..

И, поднявшись во весь рост, Ванька, постукивая костылем о лежавшую возле лесину, раздельно произнес:

— Землю зря топтать ежели, в том моего согласия нет!.. Понял?..

Старик ничего не ответил, а только сказал:

— Пей-ка еще. Чаю много!

— Благодарим...

— А ты пей без сумленья... От чаю на брюхе веселей делается. От што...

У Ваньки корявое лицо укоризной покрылось, и он, опускаясь на землю, сказал:

— Брюхо тут при чем, ежели душа просится на волю...

— А ты, чтобы тебя через сапог в пятку язвило... Он опять свое... Ххе!.. — запавшие, вдавленные временем глаза старика грустно улыбнулись. — Как же я-то? Ведь во мне полторы жисти сидит, а я бы еще три прожил... Че-ортушка, прости бог, этакий... Право!

И, чтоб потешить загрустившего Ваньку, он вынул из-за пазухи табакерку и, опять не своим, смешливым голосом, разыграл шутку:

— К голому голяку, к бедному бедняку, к нашему деду Масалову понюхать табачку носового. А для чего же табак нюхать? На гору одышка не берет, под гору спотычка не живет... Ну-ка ра-аз!.. — и подморгнул дремавшему Тимше. Понюхал, крикнул громко, по-цыгански: — Кахы!.. — и сам себе ответил: — Кто крикнет, тому два!..

— Ну и ласковый же характер у тебя, дед, — чуть ухмыльнулся Ванька.

Дед улыбается, кутает Тимшу в шубу.

— Спи, благословясь...

Тимшу сон не берет: ему хочется послушать, что говорят большие. Но те молчат, и Тимша заводит сам разговор с дедом.

— А смертынька, дедушка, по земле ходит?.. — И, не получив ответа, продолжает:

— Это пошто ж она, скажи на милость, ходит-то?..

— А вот по то, что тебя не спросила... По этому самому...

Дед опять набивает обе ноздри табаком, чихает свирепо, с присвистом, и приговаривает:

— Чи-хи... Неумытому в рыло!..

— Неумытый-то кто, дедушка, черт?..

— А вот дрыхни, тогда и узнаешь, кто...

— Нет, вправду?

— А вот вправду и есть...

Становилось холодно: туман пополз от речки седыми лохмами. Норовил он, цепляясь за стволы деревьев и кусты боярки, подняться ввысь, но таежный сумрак давил его к земле. Справа, над речкой, в прогалинке, серебрился месяц, и его тихий голубой свет встал и расплескался над объятой мраком тайгой.

Костер меркнет. Старик нехотя подымается, бросает смолье и укладывается спать. Бродяга, свернувшись калачиком, лежит молча, должно быть, спит. Возле него Верный.

Тимша пыхтит под шубой, с Жучкой возится, а потом, высунув голову, говорит деду:

— А надьсы я обортня на заимке видел с парнишками... Здоро-ве-енный...

— Что и говорит...

— Нет, вправду... Кобелем борзым прикинулся... Матеру-у-ушший...

— С тобой-то слово, — подсмеивается над внуком дед, сладко позевывая.

Тот обиженно сглатывает, глазенки блестят огнем, и он рассказывает дальше, стараясь придать голосу вес:

— Я схватил кость аграма-а-аднишую, да кэ-эк этим костем-то звездану кобеля-то по роже!..

— Ври-ври...

— Вот-то и ври-ври... — Тимша вылез из-под шубы, лицо его вытянулось страхом, и он, сам себя пугаясь, прохрипел: — Дык кобель-от так весь тут тебе и рассы-ы-выпался. Аж искрушки полетели!..

Когда старик загремел густым смехом, Тимша, смутившись, виновато улыбнулся и юркнул под шубу...

— Вот как выволоку тебя за волосья, — сказал, хихикая, дед, — да спущу штаны... Эвона чо городит... Баран этакий!

Дед вскоре начинает с присвистом всхрапывать, и мальчонка, надражавшись досыта под шубой, тоже крепко засыпает.

IV

Костер погас. Ушел с неба месяц. Передвинулись звезды. Неприглядным мраком охватило тайгу. Стоит тайга, не шелохнется, спит. Самое глухое время наступило: без звуков и шорохов, словно вместе с месяцем исчезла вся жизнь.

— Господи, батюшка... — послышалось еле внятно.

Это Ванька шепчет. Возится во тьме, всхлипывает, Молчит.

— Дед, а дедушка. Спишь?..

Не слышит, намаялся, спит старик крепко.

— Ох, батюшки мои, батюшки... Что ж это будет... А?..

Слышно — ползет к деду:

— Где ты тут? Проснись-ко, Григорий... Эй!

— Кто тут? Ты, Тимша?

— Нет, я, дедушка...

— Ты, Ванька?..

— Я... Я... Страх на меня навалился, дед! Порешу я свою жисть! — в голосе его большие дрожат слезы.

— Ну, не паршивец ли ты?.. — зло и укоризненно шепчет дед. — Ну, не озорной ли ты малый?.. Чтоб на себя руки наложить? Тьфу! Удди от меня к ляду, дьявол этакий!..

Молчание. Опять тьма поглотила звуки.

— Дык чижалехонько ведь... Сам не рад поди... Душа во мне запищала... Ау, брат... Сумленье к самому сердцу подкатилось. Гложет, окаянное, как собака кость, дыхнуть не дает. Хошь стой, хошь падай... Прямо край!

Дед молчит. Неужели спать хочет? Нет. К его сердцу жалость вдруг прихлынула, кровью облилось его старое, изжившееся сердце.

— Ну, скажи на милость... по чистой совести, — шепчет бродяга. — Ну кому нужен я? Каков теперича прок от меня? Одна помеха...

— Как кому? Себе нужен.

— И себе не нужен, — еще тише шепчет. — Жил я, радовался всему на свете, а люди меня в яму сбросили... Слеп я там, руки-ноги поломал, и нутро у меня порешилось. Ну, куда я должен? А из ямы мне не вылезти, а смерть забыла про меня — нейдет... Как тут? И еще раз тебя, отец, предупреждаю, попомни: зря топтать землю — в том моего согласия нет!..

— Терпи. Значит, терпи, парнище... От што...

— Терпи... А ежели и терпелка-то спортилась, ржой покрылась... Тады как? Молчит старик, что сказать — не знает.

— Вот видишь?.. Молчишь, дед... Я бы давно ушел, да тайга держит: живи, говорит... — задумчиво вымолвил бродяга и, шевельнувшись, крикнул с угрозой:

— А уйду-таки!.. Нет, дедушка, я уйду... Как хошь, брат...

Тот все еще молчит, не может с мыслями собраться.

— Нет, нет, уйду... Уйду-уйду... Как хошь...

Тогда дед все таким же отечески-раздраженным, чуть насмешливым, чуть укоризненным голосом сказал:

— Ты еще молод, сударик. Жисти не знаешь... Тебя еще жареный петух в брюхо не клевал... От што-о-о...

— Боюсь я ее, окаянной!.. Смерти этой самой!..

— А как же ты даве... — обрадовался дед.

— Зря тогда молчал, похвалялся. А теперича... Вернись ли, дедушка Григорий, как и расставаться с жистью-то?.. Неужели ты не боишься?..

Дед зеваает, бормочет молитву и, не торопясь, чеканя каждое слово, говорит:

— А чего ее бояться-то?.. Бедному, брат Ванька, умереть легко: стоит только прищуриться... От што-о-о... Сама придет, никуда, брат, не денешься... А ты не кликай ее... Грех... От што-о-о...

И минута, и другая проходит. Оба молчат... Только Тимша тоненько во сне хохочет под шубой, да вдали ухает филин.

Дед чиркает спичку и разжигает костер. Тени торопливо пляшут спросонья, наскакывая гурьбой на что попало, и под их полусонной пляской горбатый нос деда начинает трястись, лицо то становится огромным и плоским, как лопата, то собирается в клубок и пышет хохотом, то отливается в страшную рожу с перекосившимся в страхе, сумасшедшим взглядом.

Ванька согнулся в дугу, словно лесинной пристукнуло — сидит неподвижно, низко понуря голову... Жив ли? Ярко вспыхнул костер, но нет в огне силы, стал потухать.

Дед укладывается, крестит размашисто вокруг себя тьму и охает.

Ванька молчит, только плечи вдруг ходуном заходили и затряслась

голова. И из его груди прорываются робко придушенные вздохи и всхлипывания.

— Ты чо это, Ванька? — тревожно бросает дед.

Тот борется с собой, но, видно, совладать не может, начинает, уже не сдерживаясь, выть чужим голосом, сплевывая сердито и ляская по-волчьи зубами.

Костер гаснет, вверху ветер начинается, и под легкий шелест тайги Ванька надрывается звериным хриплым воем.

— Ванька!.. — кричит дед.

— Ууу... Ууууу...

Ветер все пуще, зашепталась тайга, всполошилась. Сумаспешный вой, навевая ужас, будоражил тьму, до боли сверлил сердце деда, наполняя неизъяснимым страхом все кругом.

— Да ты опалел!!! — кричит испуганно дед. — Что ты, черт, как лесовик!.. Аж жуть берет!..

Бродяга смолк, до крови закусил губы. А тайга брюзжит, вершинами машет, спорит о чем-то с ветром.

Ветер, злясь, треплет встречные деревья и спешит дальше, вглубь, будит тайгу. Шумит тайга, шумит. Капля за каплей падает дождь.

— Григорий... — помедля немного, позвал Ванька решительным голосом.

— Ну, что, родимый? — учуяв что-то, отвечает ласково дед. — Ты подька поближе сюда... А то ишь тайга-то матушка гуторит... От так... Ну-ка...

И во тьме чуть слышно:

— Покаяться я тебе должен, как перед богом... Видно, капут пришел мне... Не совладать... Ау, брат!.. Жила во мне у сердца лопнула...

Помолчал. Вздохнул. И дед вздохнул.

— Попа-то... Помнишь?.. Ведь я спалил... Я... А ты как думал?

— Ни-и-чего... — еще ласковей отвечал дед, — ох, ми-ла- а-й... Так ему и надо, крохобору.

— Дунюшку-то... Дунюшку-то ведь... я... порешил...

— Нно-о-о?

— Я... Я... Не досталась чтоб... Уманил я ее к речке, да в прорубь...

Ву-у-у!.. Ухухууу...

И сквозь вой слышен строгий, властный окрик деда:

— Ах ты, проклятая твоя душа!.. Варнак ты!.. Варначище, язви те!..

— Про-сти-и... Христом прошу...

— Прочь уди!!

— А ты пожалей, слышь, дедушка...

— Пожалеть? Вон я тебя пожалею, жиган ты этакий! Вот ужо. Душегуб проклятый...

Ванька скачет прочь от деда, как от журавля лягушка... — И ты?! И ты, дед?! С попом вместех?!

Ветер ураганом взвился по тайге, обрывая шелковые хвоя. Угольки в костре вспыхнули и зарницей на миг осветили поляну. Тайга заревела, затре-

пала вершинами. Дерево где-то ухнуло во тьме и с треском и стоном упало на землю.

Дождь тихо идет. Ураган умчался, лишь ветер робко блуждал меж хвон тайги.

Калека съжился в клубок, лежит на боку, к сосне привалившись, и зубы его от волнения лихорадочно стучат. Чувствует Ванька, что нечем дышать становится: тоска душит, змеей подкатилась к горлу. Лежит, думает, глаза открыты. И не может понять, то ли наяву мерещится, то ли во сне видит жизнь свою, да не ту, что тучей надвинулась, камнем повисла на шее, а новую, светлую и радостную, которая в удел бы досталась Ваньке, не случись с ним греха. Вон он сильный, кровь бешует в жилах, на щеках румянец играет. Тройку каурых, своих собственных коней, закладывает в наборчатую сбрую, кореннику шаркунцы серебряные подвязывает. Возле него карапуз топчется: «Тягенька, — бормочет, — тягенька...» Дуня вышла, румяная такая, дородная. Подошла, обняла Ваньку, в глаза, усмехаячись, заглядывает и умильным голосом шепчет: «Соколик мой... Боровая моя ягодка».

Лежит Ванька. Спать не спит — глаза открыты.

— Ванька, — любовно окликает дед.

— Ну?..

— Ты меня, Ванька, в слезы вогнал...

Бродяга засопел, что-то сказать силился, но уста молчали.

Дед кричит, ворочается с боку на бок:

— Ты... не убивец, Ванька... Я чую это... И пошто ты, например, таку неправду на себя прималя?

Ванька Хлюст точно тьму рубит:

— Душа требует.

— Как так душа? Бог простит, брат. Он все простит. Все грехи твои на обидчиков переложит. Чувшь?.. А я принож тебе предоставлю к зиме... От што... Страдания твои не малые. Он, брат, все видит. От што, мила-а-й... Не робей... От што... Жить у меня будешь в тепле.

Ванька, повалившись на грудь и обхватив голову руками, скулит, как малый ребенок, и не может от волнения понять, что говорит дед...

— Слышишь?..

А тот все скулит и ничего не отвечает.

Уснул дед и уже бредит во сне.

В глубине слышится шепот: то Ванька молится, стучаясь лбом в землю.

— Богородица... богородица... Не дай загинуть...

Стонет в болоте выпь, точно тупым ножом по стеклу скоблит, небо плачет, возвращая земле ее слезы, тайга шумит — и чуть внятно всхлипывает Ванька.

Потом все умолкает...

Час проходит. Другой проходит. Нагулялся ветер, поздний гость, пал устало на дно тайги. И снова стоят в вышине и тихо мерцают омытые слезами звезды.

Но чу!.. Застонал Ванька, заметался... Знать, страх подполз к его изголовью и отогнал прочь тазжные сны.

...Темно. Костер погас, в пепел рассыпался. Тихо. Словно смерть вошла сюда, и погасила свет, и смела все звуки.

...Верный гавкнул спросонья и залился тревожным лаем. Побежал куда-то, ворчит, мечется, поблескивая в темноте угольками глаз. Потом завыл... таким протяжным, тонким, со слезами, голосом.

В тайге еще темно было, а небо уж начало бледнеть, и потянуло сырым холодом. Ночь кончалась.

— Ванюха! Ванюха-а!.. — крикнул пробудившийся дед.

Но никто не ответил ему.

ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ

Путевые очерки

I. Первые этапы

В начале мая я выехал на Алтай, — который так манил меня и с которым я был знаком ранее со стороны верхней Бии, Телецкого озера, Чулышманской долины и Катунки до Манжерока.

Весна нонче поздняя, на пароходе холодно.

Едва выбрались на Обь, снег повалил, засвистел ветер. Пассажиры ежились, кутались во что придется и походили на осенних коченеющих мух. Неумолчно звонок звенел; пассажиры усердно «требовали».

Внизу, под нами, ревели песни, гармошка гавкала, кто-то трепака катал. В такую стужу поневоле плясать пойдешь.

Переселенцы едут со всем скарбом: корытами, ушатами, сковородниками, горшками. Ведь умудряются люди за четыре тысячи верст в тайгу дрова тащить.

Какой-то курносый парень «с мухой» все зубоскалил над переселенцами, а те уныло молчали, то зубы показывали, щетинились и отходили прочь.

А парень все свое: еще стаканчик треснул, да еще, козырем ходит возле «рассейских» тетенок, заигрывает, присваивается: «Эх, тетка, красны рукава». Наконец, подмигнув молодому, стоящему разиня рот, тамбовцу, под общий хохот поет:

В Кольвани я хворил —
Лапти с напуском носил.

И что за город Бийск? И какой там голова сидит? Что за бийские улицы, что за отвратительная, невообразимая грязь. Богатый, разжиревший на монгольских хлебах город не может устроить себе сносных условий жизни. Улицы — сплошная топь, вонь, мерзость, азиатчина. Дороги мостятся щепой, навозом, дохлыми котятками, опорками, пимами. На углу домишко ломают, куда мусор валить? На дорогу; куда печку валить? На дорогу, все втопчут в грязь. Это не улицы, а сплошные отвалы. И сколько ни составляй протоколов полиция, протоколами дорогу не вымостишь. Надо по постным дням по всем улицам городского голову в телеге возить — авось одумается, авось догадается сделать заем да вымостить город. Граждане!! Если себя не жаль, пожалейте хоть извозничьих бедных кляч. Я на одной улице видел лошадиную вверх копытом ногу. Неужто это кормилица кобыленка живьем вхлопалась в ваши, бийцы, провалы? Граждане! Вы принюхались и притерпелись, но свежему человеку в вашем городе невыносимо.

В середине мая я выехал на многогрешный и многострадальный Чуйский тракт.

Погода чудная. В природе какое-то общее ликование: все залито солнцем, все в тепле тонет.

В Нижне-Катунском Катунь широко разлилась. Вода мутная и холодная. На пароме много «дорожников» — ямщиков, идущих с товарами через Чуйский тракт в Кобдо. Груз на двуколках — в простой телеге по тракту, оказывается, трудно ехать, телега вконец может «замотать» лошадедку: подъемы крутые, повороты невозможные, грязь — путь трудный.

Говорят разные ужасы о прошлой зиме, погубившей половину скота «в орде» — у теленгитов, калмыков, киргизов. Видимо, большая трагедия разыгралась прошлой зимой в холодных горах Алтая. Вот увидим.

От Нижне-Катунского к Смоленскому местность чуть всхолмлена: сюда докатилась легкая волна Алтая. Сеют, боронят. Кто в четыре, кто в пять борон. Сторона лошаадьми богатая. Кое-где березовые колки да мелкий реденький кустарник.

— Вот тут роща была, да вырубил. Одно дерево у часовни оставили... — говорит ямщик.

— А где дрова берете?

— В камню, в горах.

Вдали еле видны зигзаги алтайских предгорий, охваченных дымкой дали. Слева гора Бубырган царит. Кой-где по равнине стоят серо-желтые столбы дыма.

— Это солому старую жгут, объеда.

По пути колодезь с журавлем.

— Из него весной ноне мужика вытащили убитого. Облез весь. Никто теперь воду не берет. Кажется, освящать хотят. Воду отольют до дна, песочку подсыпают и ладно. Чистенькая водица набежит.

Дальше едем, крест стоит.

— А тут ямщика одного кончили.

Верстах в двух от Смоленского вырастает огромный плоский увал, и за ним тонут дали, даже Алтай наполовину скрылся, и только вершины его все еще маячат. Но лишь вы взберетесь на взлобок увала — сразу все всплывает вверх: и Алтай и дали со столбами желтого дыма.

А село как на ладони сделалось — «сразу поднесли его», — все в кудрявых деревьях, красивое издали, но обычное и своим назьмом, и неряшливостью улиц.

Алтай все надвигается и надвигается, идет на вас. Горы стыдливо закрыты голубыми фатами. Целомудрием от них вест издали, непорочной

чистотой. Тройка ваша бежит вперед, а Алтай все ближе становится. Горы сбрасывают одну за другой воздушные пелены, прекрасную наготу свою открывают, чаруют вас, обещают, что-то сулят. Вблизи перед вами увал-гора. Изукрашена волей человека — все в коврах. Чернеет черными коврами, желтеет желтыми коврами, зеленеет лугами зелеными.

За ней, дальше, на другой горе три дыма, три сизых столба плывут к небу. Табун гусей кружится. Над селом Точильным, на высоком увале, церковь с золотым крестом, а сбоку села стоит на карауле зеленым чумом сопка.

Путь к Старой Белокурихе лежит. Картина красивая. Зеленый-зеленый бархатный увал, по которому бежит коричневая дорога. Справа песок над речкой встал красно-желтым обрывом-стеной. А на верху, на свежей цветистой луговине, только что срубленная молодая часовенка, такая кокетливая, такая выкрутасистая. Плотники возле нее без шапок работают. Один из них все примеряется мужичьим своим, чутким к прекрасному глазом, куда бы еще приляпать хорошенькую, вроде петушка, штучку.

Небо голубое. В небе белым бисером гуси кружатся. Горы отдельными сопками обходят вас, ловко заходят в тыл и с боков, и вы чувствуете, что незаметно, с каждым шагом попадаете все крепче в сладкий плен Алтая.

Алтай идет на вас.

Все безлесными местами еду. Приятно было увидеть вблизи Белокурихи две сиротливые молоденькие сосенки. То ли на Алтай торопятся, то ли вырвались из гор на волю.

Из Белокурихи дальше вечерний путь.

На горы, совсем близкие, ложился сумрак. Чем дальше едем, все темней. Горы тесным силуэтом справа стоят, высокими туманами кроются. И я боюсь подумать, что за горами. Горы в серое небо упираются. А вдруг за ними ничего нет, вдруг ничего нет!

А вдруг за ними страх живет. Я боюсь. Я перестаю об этом думать.

На двух тройках со спутниками едем.

Ямщик-мальчонка сзади гикает, удалой парень. Дорогу хорошо видать, кони бойки. Еще можно слева разглядеть долину, всю в желтых весенних огоньках. Они таким ярким ковром усеяли поляну, что и серые сумерки не могут скрыть их от усталого взора.

Ямщики останавливают лошадей. Один совсем карапуз, на вид лет девяти. Другой — парень взрослый. Подходят друг к другу, закуривают. Карапуз говорит тоненько, но остроумно, с подковыркою, зубоскал славный.

— Тебе сколько лет? — спрашиваю.

— Шестнадцать.

— Почему такой маленький ростом!

— Мы все с восемнадцати годов начинаем расти, все братья так. Сначала маленькие, а потом вдруг вымахают, — пищит он, дымя папироской.

Другой ямщик, парень, держа в зубах папироску и закуривая от спички карапуза, говорит ему:

— Тебе бы надо большому быть, мать у тебя эвон какая рослая.

Мальчонка озорно в ответ пищит:

— А отец-то кто? Мураш?

Парень прыскает со смеху, папироска незакуренной летит изо рта на землю, он срывает свою шапку и, со смехом вскрикнув: «язви-те!», ударяет шапкой карапуза. Из шапки мука летит.

Все темней и темней становится. Месяца нет: месяц, должно быть, за черными хребтами бражничает, камам алтайским камлать пособляет, араккой алтайской умывается.

— Вот тут поблизости, — говорит мой ямщик-парень, — есть деревня, там все расейские одни. Дык там, барин, полюбовные драки бывают о праздниках...

— Полюбовные драки?

— Да. Таков уж у них обычай. Как денек свободный выдался, глядишь, стенка на стенку и полезли. Человек до пятьсот пластаются. С ребят начинают. А «лежучего» не бьют, который свалился. Ну и мнут бока! Так лупят, что страсти. Глядеть больно.

— Ведь убить можно.

Ямщик быстро обертывается и, протестуя, кричит:

— Привышны! У них часто. Страсть любят.

Месяц из-за гор свой золотой рог показал. Вот и Алтайское. На крыльце земской подрумяненная дама в шляпе с пером.

— Кто такая? — спрашиваю хозяина.

Тот шепчет:

— Со стариком с одним едет, с чуйцем. Из Бийска мамзель. Месяц над горами стоит, во все лицо ухмыляется.

II. От Алтайского до Муюты

Алтайское — большое торговое село. Больше пяти тысяч жителей. Каменные торговые помещения. Большой магазин Фирсова, бийского купца. Приказчики в воротничках и манжетах, кассирша в модной прическе — все на городской лад.

Как раз базарный день был. Народу множество. По дорогам все подъезжают и подъезжают.

Народ рослый, краснощекий, широкий в кости.

По главной улице на некоторых домах и лачугах самодельные вывески: здесь пимокат живет, тут слесарь, там сапожник. На одной вывеске надпись нет, на ней нарисована палитра, большой бильярд, и к нему привязана маленькая лошаденка. Вот и разгадай этот ребус.

Хозяин «земской» старик. Он отводит в сторону и, косясь на своих баб, шепчет:

— Ты мне за услуги-то давай.

Бабы говорят:

— Ты старику-то не давай, нам давай.

Старик говорит:

— Здесь в Алтайском бабы плохо живут: выйдет замуж да сбежит. А потом в прислути к кому. А ночь с ребятами валяется.

— Со своими детьми?

— Нет, с парнями. Баба у нас подмоченная...

От Алтайского к Черге дорога все время идет в Узкой долине. Горы со всех сторон встали. Издали кажется, что нет пути вперед, что ямщик с дороги сбился, не туда несут кони. Кругом горы. Куда ж пойдет дорога? Она нырнула вниз и стелется по дну долины возле самой речки. Речка играет, весной воды много, быстро струится навстречу нам.

По пути большое село Сараса, надвое разрозненное речкой Милое весной село. Сплошной черемуховый сад. Белыми пушистыми гроздьями цветет черемуха. Бледно-розовыми бутонами цветут в садах дикие яблони. Ароматом пропитан воздух. Во дворах лачуг и избышек зеленые луговинки. Сараса шумит, свежая и прозрачная.

— А это бахчи в полугоре на солнцепеке-то, — говорит ямщик.

Следующее селение — Нижний Комар.

— Церковь есть у вас?

— Нету. Молебен есть.

Молебен — это изба во дворике, на двух столбах маленькие колокола, а огромный могильный крест стоит прислоненный к стене «молебна». Сам «молебен» без креста.

Далее Комарский перевал начинается, крутой, нелепый, трудный для лошадей. С перевала открывается широкий горный ландшафт.

Мимолетный летний дождь прошел. И вновь заблестало солнце. Жарко. Где-то гром прогудел. Попадаются разбитые грозой лиственницы.

Ямщик говорит:

— И людей убивает: как-то сразу троих у нас убило — брата да двух сестер. Ямщик словоохотлив:

— А то, ленись, я и сам попал в переплет. Только это я приехал в Муэту на земскую, а туча синим-синя накатилась из-за гор. Молния как стегнет, гром как треснет, я и присел, огромно. Коренник на колени пал, а присяжки как подхватят его да попрут: изгородь порешили да в лес как начали чесать. Очухался я — гляжу: баба на дворе в луже валяется, потом гляжу — подыматься стала, поднялась да к стене, оперлась о стену, стоит, плачет, из ума ее вышибло. Оказалось, что телеграфный столб рядышком с земской в щепы разразило, в мелкую мочалу измочалить могло. С тех пор побавваться начал.

— Говорят, кого громом убьет, душа в рай попадет?

— Ну, этого мы не знаем. Ни чох, ни мох, А как здесь ежели хорошо, нам и раю не надо. Оттоль никто не приходил, сроду-родясь. Поди, ничего и нет там, как по-твоему?

Черга. Бывшее дачное, ныне опальное село. Все в горах, зеленых, лесистых.

Крестьяне скучают по дачникам.

— Это она все наделала, барыня одна из Томскова, дохтурша. Дачу здесь выстроила, а дачу-то ее позалонись сожгли какие-то варнаки. Она и разобиделась, да и стала наговаривать на Чергу: и воздух-то здесь тяжелый, и назмьму-то много. Так всех и отвадила. А промежду прочим, у нас воздух подходящий: эн мы каки все икряные.

— Так никто и не приезжает к вам?

— Вот второе лето никого нет.

Подымаюсь на гору по откосу речки Черги. Навстречу старик идет, две четверти водки несет.

— Это кому, дедушка, зелье-то несешь? Себя, что ли, травить хочешь?

— Нет. А это Степан Назарыч в компанстве гуляет, второй день пьют. Ну-к, ему.

В Черге последняя монополюшка. Дальше нет. Возле нее уйма народу, как утром в городе, стоят длинным хвостом.

— Это почему такая бойкая торговля?

— А ишь, скоро Троица. Вот и бьются хрещеные, как у улья пчелы.

Едем дальше. При дороге оседланный конь стоит, а возле него, на луговине, что-то блестит шарообразное. Это оказывается — плешивая голова старого дедушки на солнце играет. Лежит старик на траве, сладко спит, и бутылка торчит из кармана.

— Пусть его спит со Христом, — говорит ямщик, молодой, ласковый бородатый дядя, — это наш муютинский. Все горюет, сердяга: старуха у него померла недавно. Вот и остался он один, как перст. С горя пить начал. А вином нешто горе зальешь? Я его вчера из речки вытащил пьяного, чуть не захлебался. Опоздай я малость — утонул бы. Ехал из Черги, за водкой ездил, да дорогой-то все и пробовал, а как стал брод переезжать, и чебурахнулся в воду: видно, спал на коне-то.

Горы вы, горы Алтайские! Кто разукрасил вас цветами и травами в ваш весенний медовый месяц май!

Зеленые, зеленые крутые горы. Скалы выступают, шершавые. Одна, другая терраса перед горами. А в ущельях, среди зеленых кустов, разбросаны розовые букеты маральника. Вот они окружили, как школьники любимую учительницу, как дети мать, только что зазеленевшую молодую лиственницу; там унизали подножие скатившегося с кручи обломка скалы; там розовой дорожкой стегнули к самому верху сопки. Нет, это не человек украсил розами склоны гор и их лесистые ущелья. А бордюры желтой акации, а бутоны огоньков, синие присы, марьины коренья? Не белый ли ангел по

зорям утренним слетает с белых вершин снегов в долины и рукою райского украшает склоны гор?

В кустах боярки и акации, среди зарослей тальника и черемухи, что кудрявой стеной встали по берегам речек, звоном звенит птичья многоголосная песня. И откуда их столько набралось, этих порхающих цветов Алтая?

А на полях, в густых, горных травах, ютится во множестве прелестный голосистый жаворонок. Что за милая, радующая душу птичка: вьется и вьется над своим гнездом, над желторотыми птенцами своими, и все поет, и все поет, и молится, и плачет. Святая птица, безгрешная. Нет ни к чему в ее сердце зла, одна любовь, один гимн радости бытия, один восторг. Безгрешное творенье, солнцево дитя.

Село Муюта. Тут «Русь» помаленьку кончается, и начинается царство инородцев, «орды».

Если вы где-нибудь в Онгудае или Кош-Агаче, за сотни верст отсюда, спросите:

— А где бы мне сухарей заказать? А где бы мне достать рабочих лошадей, купить картошки?

Вам ответ:

— Это надо «в Русь» покупать, в Алтайском, например.

Вы невольно улыбаетесь и спрашиваете:

— А здесь что же?

— Здесь орда. Тут этого такого ничего не найдешь, чтобы, например, зелени али овощу.

Ну, ладно. Заглянем в «орду».

III. Преддверия Орды

Муюта — большое селение, наполовину русское, наполовину теленгитское. Есть церковь. Почти все инородцы крещеные. Они очень религиозны. В аилах, разбросанных в ущельях гор и долинах горных речек, еще много некрещеных.

Большинство их исповедуют новую веру, бурханизм, введенную лет восемь тому назад знаменитым Чотом из Карлыка. А староверов, шаманистов, осталось не так много.

Я еще не успел как следует ознакомиться с особенностями бурханизма, не чистого, конечно, бурханизма, имеющего за собою тысячелетнюю давность и философскую догму, а бурханизма особого, чисто алтайского, приуроченного к пониманию новообращенных инородцев. Да сам апостол Чот, действующий под внушением лам, кроме силы воли и широкого размаха темной, непросвещенной мысли, ничем иным не отличается. Он, кажется, безграмотен. А потому и новая вера получилась какая-то странная, особая, алтайская, своя. В ней, поскольку мне удалось выяснить из расспросов, старый шаманствующий культ перепелся и перепутался как попало

с чистым ламаизмом. Но так ли, иначе ли, а в основу новой веры все-таки положен принцип единобожия.

Под влиянием ламаизма изменились внешние формы отношений.

Например, прежде, при встречах, инородцы приветствовали друг друга: — Эзэнь! Эзэнь!

Теперь приветствуют:

— Якши! Якши (джякши)!

В огонь плевать нельзя. Огонь — нечто священное. Кровавые жертвы (камлание, убой лошадей и т. д.) отменены.

Камы (шаманы) разжалованы, бубны и костюмы камов сожжены. Пьянство и курение табаку не одобряется (хотя процветает по-прежнему). Жертва богу — вместо крови животных — молоко, которым брызгают в огонь. Возле чумов (юрт) белые березки натыканы, на них белые лоскутки ситцу. Вместо меховых, сплюснутых с боков, огромных шапок носят легкие тулейки с большими разноцветными кистями. Это все внешняя сторона. С внутренним содержанием новой веры я не знаком совершенно.

На дворе ямщика, пока лошадей запрягают, сидя на завалинке, веду разговор с пожилым теленгитом.

— Ты Кыркына знаешь, Григорья?

— Кто такой Кыркын?

— Мой родня, на Аносе, картины делает...

— А-а... Гуркина? Знаю.

— А Потанина-старика знаешь?

— Григория Николаевича?

— Да, я ему сказки сказывал. Он хороший старик, прямо божеский старик.

И теленгит, почмокав губами, спрашивает:

— А где он теперь?

— В кыргызы уехал, — отвечаю, — кыргызские песни списывает.

— Еще все-то трудится?! — воскликнул изумленно теленгит и привскочил с завалинки. — Ох ты, господи. Ха!

Имя Григория Николаевича здесь чтится, по всему тракту известен он, все его знают, все его любят. «Это наш друг, это лучший человек, пожалуйста, давай ему поклон. Пожалуйста, говори спасибо».

Везде, везде, где бы я ни завел речь о Потанине.

В некоторых местах Алтая популярно и имя профессора Сапожникова. Особенно в Катанде, на Уймонском тракте.

Один чиновник, бывший в Катанде, мне рассказывал:

— Приезжаю в Катанду. Крестьяне меня окружили, спрашивают: «А что, Василь Василич будет к нам нынче?» — «Какой Василий Василич?» Даже удивились, руками замахали, закричали все враз: «Да как же ты Василь Василича не знаешь?! Да ведь он на Белуху лазил, — и, улыбаясь, продолжают рассказывать: — В прошлом году к нам приехал из Германии немецкий поп, на Белуху подыматься хотел. Мы ему не присоветовали, убьешься, мол, тебе не залезть, а он: а как же Сапожников лазил? А мы: дык то Василь Василич, где ж тебе насупротив Василь Василича, да нечего тебе там и высматривать, а коли любопытно, в книжке прочитай, у Василь

Василича все прописано. А тебе нечего там делать. Ты, немец, можешь там калоши потерять».

Местная интеллигенция в притрактовых селениях знает и Георгия Гребенщикова и Георгия Вяткина.

IV. Страшный кам

От Муюты до Шебалиной 19 верст. Мой ямщик, сам хозяин, лет 40, рожден от смешанного брака — русской и теленгита.

Задняя тройка все отстает. Хозяин, придерживая первую тройку, кричит работнику:

— У тебя пристяжка не везет, ты ее дери! Ишь, коренник упарился...

Тот ухмыляется. Его скуластое лицо очень добродушное. Он крещеный калмык. Имя ему — Тит. Опять трогаемся. Тит вновь отстает.

Хозяин кричит:

— Дери!

— Деру... Не лезет... — откликается Тит.

Мы с ямщиком улыбаемся. Да как и не улыбаться; врут Тит, — а лицо медно-красное, нос плющаткой, глаза раскосые, щелочками и по-русски говорит плохо. Какой же это Тит?

Ямщик мой говорит. Толкует о том о сем. Колокольчики звенят, шаркунцы брякают. Останавливаем лошадей, подвязываем колокольчики, чтоб не мешали.

— Камы теперь в щели убрались, по речкам живут, боятся, — говорит ямщик. — Вот недалеко отсюда живут два кама. Одного Мамыром звать, его в Томск возили для показа, а вот другой... О! Тот страшный кам: все узнать может или человека съесть...

— То есть как съесть? Разве он людоед?

— Пошто? Он так изведет, просто человек чахнуть начнет и пропадет, подохнет.

— И часто он съедает?

— Пошто? Никогда не съедает. Он старик справедливый. Вот только раз с ним и было... Тогда, действительно...

— Ну-ка, расскажи, брат.

— Лет с 30 тому назад это было. Я мальчонкой тогда был. И кам этот молодой был еще. Вот, значит, окрестили его.

— Зачем же он крестился?

— А видишь ли, его батька-то с кем-то подрался пьяный, да в драке-то голову прошиб другому, вот его и засудили в тюрьму. А орда тюрьмы знаешь как боится? Ужаси. Ему и говорят, ежели окрестишься с семьей, тогда простим. Ну, он и решил, значит. Вот, значит, так кам и окрестился.

Потом слух пошел, что он камать продолжает. А в то время священник строгий был в Муюте. Надо, говорит, его проучить. Заманили его, значит, кама, в деревню, силом притащили. А как выгтащили на обрыв, на горку, он им и говорит: «Мне только вас жалко, а то обернулся бы медведем и улетел бы». Ну, ладно. Привели его в Муюту, а уж вечер. Он и говорит попу:

«Батюшка, ты меня бить не вели. Это же верно. Ну, только что я камлаю, не могу бросить, а то меня шайтан давит, мне тяжело. Я грешный, ну, я за это сам и отвечу. А бить меня не приказывай». Однако его стали бить.

— Кто? Русские?

— Русские. А инородцы жалели. Русский злой, зверь. Инородец жалостливый. Повели его по улице. Велели в бубен бить. Потом опять дупить начали... «За что меня бьете? Кому я худо какое сделал?» Заплакал. Мы тоже, которые инородцы, заплакали.

Помолчал ямщик. Лошади шли в гору шагом.

— Потом как загрозился. Говорит мужикам: «Вот и году не пройдет, у одного из вас отелится корова, а теленок, пестренький, пропадет. Тогда вспомните меня». Ушел кам. И верно. Как сказал, так все и случилось. Родился теленок, пропал. А кам две семьи съел, которые били. Так один за другим и стали валиться. Обе семьи вымерли, с детьми и стариками. Начисто. А третий мужик, из третьей семьи, был догадливый, хитрый. Купил четверть водки и пошел к каму с повинной. Простил его. На земской-то, может, видел мужика? Ну так это он самый.

— Что ж, он и теперь камлает?

— Камлает. Ему нельзя без этого. Его тогда шайтаны задушат. Их много. Они работы себе требуют. Этот кам самый настоящий, страшный. Его весь Алтай боится. А за он никому не делает. Все узнает. Болезнь прогоняет.

Ямщик вытащил из-за голенища длинную монгольскую трубку, закурил.

— И вот с тех пор, уж сколько лет прошло, как кому умереть в Муюте, ночью по улице одной, по переулку бубен стучит. Так и идет, сам собой трясает, бубенцы звенят, а бубен: ту-ту-ту! Ту-туту! Грохочет, а никого нет. Просто страх. Потом тише, тише, так в горы и уйдет. Опять крикнул Титу:— Дери пристяжку-то!

— Деру, не лезет.

— Ну, выпряги ее да привяжи сзади.

V. Шебалина — Топучая

Местность все приподнимается. Дорога, то выбегая на увалы, то спускаясь с них, постепенно, но настойчиво ползет вверх. Шебалина без малого на версту приподнята над уровнем моря. Здесь только начало весны.

Горы стоят бурые. Еще спят сверху травы, недавно снег сошел. Лишь подола гор да южные их склоны зеленеют молодой травой. Кой-где маральник начинает раскрывать свои розовые бутоны.

Шебалина — значительное торговое село. Несколько лавок есть. Имеются маральники — сады для маралов.

По всему Чуйскому тракту только в двух пунктах встречаются маральники: в Муюте и Шебалиной. В последней — большой маральник у местного жителя Попова. Около 500 маралов. Маральник занимает огромную площадь, около сотни десятин. Высокой, из толстых жердей изгородью охвачена зеленая луговина, часть лесистой скалы и один из рукавов речки Семы. Маралы бродят по зеленой траве испуганные, подпускают близко.

Самки с маленькими маралятами скрываются за горой, в зарослях леса. Там они будут расти, а как окрепнут, самки приведут их в стадо. Любо маралам топтать шелковую зелень. Но скоро и для них наступит время великого переполоха и скорби. К петровкам начнут им отпиливать молодые, еще не отвердевшие рога. Верхами на лошадях, с гиком и свистом, станут носиться всадники между скалой и изгородью — по лужайке, будут загонять перепуганных маралов в узкий, тесный коридор. А там ямы. Провалится марал в яму, только голова виднеется. Тут ему и крышка, прощай, рога!

— Неужели они не могут перескочить заплота?

— Нет, не могут, высоко. Как-то был же случай, перемахнул один. Искали, искали, нет нигде. А он, как перебежал речку, да вместо того, чтоб на волю удариться, взял вот в этот, видишь в лесу, маральник заскочил, в чужой, к чужим маралам.

Маралы ценились по 70 и даже по 100 рублей. Теперь спрос на рога прекратился и цена на марала упала до 50–30 рублей.

Дорога к деревне Топучей после недавно стаявших снегов и весенних дождей — ужасна. Местами — сплошные топи. Лошади, везущие груз в Кош-Агач, в Монголию, из сил выбиваются, ямщики надрываются от ругани, всячески понося и лошадей, и дорогу, и свою судьбу, и кладь, которую везут, и кушца, давшего эту кладь. Тысячи людей идут косогором, направляются в обход дороге, наваливают воза, увечат лошадей, увечатся сами. Косогоры все размыты и заболочены массой ключей, дорога не проездна, сплошная топь, где хочешь, там и поезжай. При въезде в самую деревню два воза в грязи стоят. Так застряли, что и колес не видать. Валяются дуги, сломанные оси и колеса.

— Топучая, так она Топучая и есть. Чтобы ей в тартарары провалиться.

— Да, дорожка убойная.

Перед деревней дорога идет вдоль каменной, в обрывах, горы. По горе тропинка вьется меж камней. По тропинке баба тащится. На руках у бабы рыжий теленок. За бабой — корова и впереди корова. Передняя останавливается, мычит, теленка нюхает, бабе ходу не дает; та кричит на нее: «ксы!», ногой пинает. А теленок грузный, бабе тяжело. Поставит его на тропинку да с боков придерживает растопыренными руками: как бы в пропасть не упал. И все это на большой высоте. А как поставит, корова подойдет, мычит, таращится и бабу лижет, того гляди, столкнет вниз. Баба опять: «ксы, холера!», теленка на плечо, шагов 10 пройдет, нет, грузно.

Оказывается, корова ночью на самой вершине горы отеллась. Баба с утра его оттуда тащит, а домой притащит, когда будет ночь.

Много ямщиков ехало. Все видели, смеялись. Никто не помог. Да, спасибо, калмык верхом проезжал. Остановился, пособил с горы спуститься бабе, перекинул теленка через седло и отвез в избу к чужой ему, русской бабе.

Та рада, вся мокрая, вся истомленная, говорит русским ямщикам:

— Вот спасибо Чолтушу. Ух, умаялась. Они вот все такие, все алтай-

цы, даром что которые нехристи. Ежели, к примеру, лошадь потеряется, ты только попроси его, любого, чайком попой да сухариков пообещай с фунтик — непременно найдет... Чего говорить, народ смиренный.

Небольшая деревня Топучая торчит в расширившейся здесь долине речки Семы, вблизи ее истоков. Дно долины болотистое. Высота над уровнем моря 1 верста с лишком. Деревня существует лет 30. Хлебопашеством стали заниматься четыре года тому назад. Посеяли. Как раз год выдался исключительный, сильные жары были. Уродился хороший хлеб. Инею раннего тоже не было. Сняли урожай добрый.

— Ну, знамо, это взманило всех, — говорит хозяин земской. — Начали разрабатывать. Я даже жнейку купил. А на второй и третий год все гило от разных холодов. Так и побросали теперь многие. Что ж, я в прошлом году на 70 рублей семян засеял, а в обрат получил рублей на 10... Так кого тут... Эвона в прошлом году в самый Ильин день, это в июле-то, когда самые жары живут, у нас снег в четверть выпал да двое суток и пролежал. Такой холодина завернул, что страсть. Ну, все и померзло сразу. Которые еще пашут. Вот и нынче запахивали. А погляди-ка полосы-то. На фоминой сеяли, а сегодня 20 мая, а ты погляди, хлеб еще только всходить зачал, вот этакенький, едва видать. Кого тут...

— Чем же вы кормитесь?

— Мы ямщиками живы. Ямщика мимо нас прет, как саранчи. Грузов-то ведь эвона сколько идет, большие тысячи. Ну, а ямщику что надо? Ямщику надо сена. Вот мы сено и заготовляем. Пудов с пятьсот заготовишь да зимой по целковому пуд и продаешь. Кое место орехи, кое место рыбешка али охота, тоже вроде промысла, А то и сами в извоз отправляемся. Вот и пробиваемся.

— Откуда переселились сюда?

— А из разных мест, кто из Алтайского, кто из Смоленского, из Муноты, из Бийска.

— Что же вас тащило сюда?

— Да будто полагали, что приволья больше здесь.

VI. Усмирители

Я ночевал в Топучей. Вечером за самоваром сидела большая компания: два приезжих купца, фельдшер, ямщики, хозяин земской. О всякой всячине разговаривали. Между прочим, кто-то речь завел о том, как Чот новую веру вводил.

Купец говорит:

— Ведь он раньше-то простым пастухом был. Да что-то не поладил со своими и ушел в Монголию. Там сколько лет по ихним монастырям шатался. Потом опять пришел. Да и стал новую веру пуцать. Эвона как взбаламутил всех. Тут его и усмирили.

Один из крестьян сказал:

— Я его тоже усмирлял.

— Ну-ка, дядя, расскажи.

— Да чего рассказывать-то? Так... одна прокламация только. Сбили это, значит, народу по волостям подходяще, чтобы, значит, на Кырлык идти, где они орудовали, инородцы-то.

На полу, в кути, выпивший маляр лежал. Он идет по тракту малярной работы искать. А тут вот он отдыхать хочет, «с устатку дернул», лежит. Он слушал внимательно, что-то бормотал и улыбался, потом крикнул:

— А вы инородцев били? Грабители?!

— Нет, мы не били. Она сами разбежались.

— Толку-у-й слепой с подлекарем.

— Нет, правду. А которые не хотели уходить волей, тех арестовали, да в Бийск. И вместе с Чот Челпановым. Некоторые алтайцы к нам обращались: «Чего же делать-то, — спрашивали, — у нас дома сено, работа... А мы все побросали: баб, детей, скот. Нам домой надо, а нас держат, свои же не пускают, лозами дерут. Говорят, что зимы не будет, денег не надо держать, ничего не надо, снегу не будет, все будет зелено».

— Толку-уй...

— А там двое суток жил. Наших человек сто собралось...

— Врешь, в пятьсот не уложишь, — кричит маляр.

— Ну, пусть по-твоему. Говорили, что девочка Чота, дочь, быдто их бог, быдто она то ребенком оказывает, то стариком, луну показывает, солнце. Мы там две ночи ночевали, а не видали ничего.

Торговый прервал рассказчика:

— Я о ту пору в Онгудае жил. Как началась эта кутерьма-то, как начали по волости ездить, да народ повешать, все мужики наши перепугались. Думали, что и будет. Думали, многие тысячи орды валит с войной. Думали, всем карачун будет. Вовсе даже зря весь шум подняли. Только народ перепугали. Какая может быть опасность от алтайцев, да разве они могут кому обиду причинить. Так, одно пустое мечтание, одна неосновательность. Ха! Бунт... Сообразили, додумались... Ну, мужики, знамо, перетрусил у нас в Онгудае, в таможенно бросились, к управителю. Тот, конечно, человек образованный, успокоил. А то, было, ополоумели все. Ей-бог.

— То-то и оно-то, — откликается маляр.

— Вот шесты у них да веточки березовые привязаны, это видели, — опять начинают крестьяне. — Чот им все прекратил, все камлание, бубны все велел пожечь, одежду ихнюю. А как вернулись к себе, это алтайцы-то, ото всего отрекаться, отказываться, значит, начали. Кто торговал, бросил все: «бери!» Ну, другие, которые из нашего брата, из крестьян, попользовались, это правда. Все гребли себе. Ну, только что не силой, а с согласия.

— Ах вы, хамы! — рывкнул маляр и плюнул.

VII. Семинский перевал – Кеньга

От Топучей начинается пологий подъем на Семинский хребет. Подъем около девяти верст. Он идет по лесистому месту и выводит на небольшую безлесую площадку. С нее открывается великолепный вид на синееющие впереди малые хребты. Перед этим все лесом едешь, ничего не видеть, а лишь вырвешься на простор, на вершину перевала, все вдруг пеленой снеговых хребтов всколыхнется и остановится.

Девятиверстный спуск приводит к жилищу ямщика, к станции Песчаной. Далее следует еще подъем, перевал через так называемое Каменное седло и спуск к озеру, лежащему на широкой луговой равнине, окруженной безлесыми хребтами.

Озеро небольшое, версты четыре в окружности, тихое, голубое. Лодочка у берега стоит, белая палатка чья-то виднеется: хозяин промышляет рыбу.

У калмыков про озеро множество легенд. На дне этого озера большой волшебник живет — Морская корова.

Эта корова зла никому не делает, а пугать пугает. Как осень установится, льдом скует воду, корова начинает реветь страшным ревом.

Трудно тогда на озере жить.

Ночи темные-темные, ветер по степи рыскает, из ущелья в ущелье носится и воет адским своим воем Морская корова.

— Мы приметку сделали, — говорит калмык, — ежели озеро шибко стонет, год для скота будет легкий, корма хорошие будут. Ежели озеро молчит — трудный.

Русские крестьяне говорят:

— Какая там корова, одни враки. А оттого оно и стонет, что воздух снизу выходит, из воды подымается, лед разрывает да в щель-то и идет снизу, вот и воет. Это верно, что с непривычки мурашки по спине полезут.

Чудо про озеро рассказывают калмыки и русские. На озере нет дна. Как-то мерили, веревки не хватило. А в глубине будто бы вода винтом ходит. Пригнал калмык диких своих коней к озеру. Поймал двух, связал их вместе, чтоб те не разбежались, чтоб удобнее было вновь поймать, связал и опять отпустил на волю. А те перепугались да в озеро. А озеро глубокое, захватило их винтом, на дно утянуло. Погибли лошади. За хребтом, верстах в пятидесяти отсюда, есть другое озеро — Елбань. И вот в этом озере месяц спустя и нашли трупы двух погибших связанных вместе лошадей. Неужели оба эти озера сообщаются?

Спустившись в приозерную степь, дорога становится ровной, плотной, словно асфальтной. Утомленные кони вдруг оживают, закусывают удила и несут нас вперед к небольшому селенью Кеньге, столице калмыцкого царства.

VIII. Калмыки

При въезде в Кенгу стоит большой двухэтажный дом с амбарами на широком дворе — усадьба знатного калмыка Аргамай Кульджича Кульджина. Она особняком стоит. За ней луговина, вся уставленная коническими, крытыми корьем чумами, а дальше — церковь, инородное управление, каталажка, школа, земская и два-три дома.

За чашкой калмыцкого чая, сваренного с молоком, солью и талканом, веду беседу с Аргамаем Кульджичем. Он человек начитанный, богатый, предприимчивый. Не раз бывал в Питере.

Он владеет огромными табунами лошадей. Он желал бы поставлять для сибирских частей русской армии особой породы лошадь, выносливую в горных перевалах, приспособленную к суровым зимам. Для этого ему нужны хорошие производители из главного коннозаводства и 20000 десятин земли. Производителей ему дали, в земле же он получил полный отказ.

— Поеду в Питер хлопотать, — говорит он, посматривая на меня умными, с огоньком глазами. — Ежели откажут на Алтае дать, по Иртышу просить буду. Ежели и там не дадут, весь скот за границу угоню, в Монголии жить буду, либо все брошу, закончу, стану без дела жить.

Но разве такая натура, как Аргамай, может бездельничать. Он и скотоводством занимается, и землю пашет, и торговлю ведет. Рахманинские горячие ключи хотел ведь под свою руку взять, курорт там устроить. Конечно, следовало бы поощрить такого предприимчивого калмыка. Тем более, что дело улучшения породы алтайских лошадей — дело значительной государственной важности.

— Ну, как живут наши калмыки?

— Житье наше плохое. Кабинет обвел нас межой, лишил простора. Жить стало трудно. Нашему народу надо много земли — у нас скота много. Скот от бескормицы падает. Падет скот — вымрут калмыки. Надо нас жалеть. Мы со своей землей пришли в верноподданство, мы не с голыми руками пришли. Нас не воевали, сами пришли. Нас монголы да Кигтай обижали. Мы стали просить у русских защиты. Нам казачью линию поставили, охранять начали, а на землю выдали бумагу, грамоту. А грамоту мы затеряли.

Помолчали. На полу сидели калмыки. Один старик ввязался в разговор:

— Шибко худой жизнь. Конины колот, корова колот, себе-та надота. Чего да нету? Чай да нету, мука да нету. А надо. Баран колот. Все пропал чиста.

И он часто замигал своими узкими глазами и отвернулся.

Аргамай сказал:

— Житье наше неважное. Первая причина — калмык не умеет сено заготавливать, скотина на подножном корму ходит. Вот в прошлом году глубокий снег выпал в нашей бесснежной равнине, скота погибло больше тысячи. Половину скота убавило. А у других весь скот пал. Вторая причина — леса не дают, коры драть нельзя, а скоту необходим теплый хлев: в долине большие ветры живут, лес обязательно надо калмыку, а запретили брать. Третья, самая главная, — скотогоны десятки тысяч скота гоняют по

нашей земле из Монголии. Мало ли сколько кормов съедят, сколько травы стопчут. Да еще иной раз скотина хворая идет, вредную слону оставляет на траве. Наша заражается. От этого — повальный падеж. Нонче у нас, в прошлом году в Топучей, да каждый год. Надо другой путь избрать для прогона. Хотя бы на Катунь. Там и скота меньше и земли больше. Это можно доказать цифрами.

Аргамай вдруг улыбнулся.

— Что?

— Да тут смешное вышло. Когда Чот вводил веру, он запретил на пять лет лес рубить. Это глупо. А тут вскоре и от лесничего запрещение на лес вышло. Получилось смешное совпадение, калмыки ведь знали: «Начальство то разгоняет нас, то по нашей вере, то по новой поступает, ничего не разберешь».

Я говорю Аргамаю:

— Ну а что, если б правительство всем кенгыгинским калмыкам дало бы общую площадь земли и сказало бы: «Вот вам земля, как хотите, так и устраивайтесь». То же самое и катунским калмыкам.

— Это было бы очень хорошо.

IX. Беседа с зайсаном

В дальнейшем пути я встретил калмыцкого зайсана. Он был выпивши, и, так как земская была занята военными, топографами, он расположился со своим адъютантом под навесом амбара на мягких кошмах и подушках. Он был жирный, с узкими заплавывшими глазками, с косичкой на бритой голове. Когда я подошел к нему и поздоровался, он тяжело поднялся с своего ложа, часто закивал головой, сделал по-военному под козырек (хотя был без шапки) и крикнул адъютанту, чтоб тот скорее обул его. И никак я не мог убедить его, что можно великолепно разговаривать и разувшись.

— Нельзя, нельзя, нельзя, — скороговоркой проговорил зайсан и дал адъютанту легкий подзатыльник.

И вот мы, сидя друг против друга на кошме, стали беседовать. Человек пять русских подошло.

Меня разбирал смех, когда девятипудовый зайсан при каждой фразе прикладывал по-военному руку к бритой без шапки голове и всякий раз извинялся, что он выпивши:

— Извините, извините, извините.

— Вы мне, пожалуйста, не козыряйте, я человек простой.

— Нельзя, нельзя, нельзя... Таштан! — крикнул он адъютанту и сделал жест рукой сверху вниз.

Адъютант всакивает, делает по направлению ко мне шаг и плутовато, с улыбкой косясь на своего господина, смешно раскорячивает ноги и кланяется мне в землю.

— Проси, проси, проси! — приказывает зайсан, опять делая под козырек и кивая головой.

Адъютант, растерянно улыбаясь, сюсюкает:

— Проси, проси, проси...

Я заливаюсь хохотом, угощаю зайсана и адъютанта папироской, все улыбаются: и зайсан, и адъютант, и ямщики, и мы, наконец, заключаем условие разговаривать попросту.

Зайсан положил мне руку на плечо и, указывая крючковатым пальцем на заречную гору, заговорил:

— Вот эту гору видишь? Что в ней есть? Пастбище есть? Один камень. Как жить, чем скот кормить? Тыща десятин в ней. Нам дали. Чего на ней есть?

Крестьяне поддакивают:

— Тут какое угодье. Самый камень. Вот теперь вид у горы зеленый: это дождички шли нынче, трава и позеленела. Да вот уже жары пойдут — вся счахнет. Иной раз живет весна жаркая, так все лето и стоит этот подол красным, головой все побуреет.

— Так где ж скот-то пасут?

— Да вот по логам и бьется. Еще есть у них земляшка. Та под пашню. Тоже немного.

— Раньше лучше было?

Зайсан отвечает:

— Известно, лучше. Раньше — куда хочешь гони скотину, запрету не было, вся земля была наша. А теперь одним обществам хорошие куски попали, другим худые. Раньше равенние было. Кто на плохом корму — в хороший гнал, к соседям. Те не препятствовали. Лучше было бы всему нашему народу сообща отмежевать сколько есть нашей земли.

И вдруг, схватив мою руку и припав к ней потным своим широким лбом, зайсан заговорил:

— Пиши, пожалуйста, в газету, пожалуйста, пиши Таптан!..

Я изумился. Наконец-то наконец, и темный калмык уверовал в силу печатного слова.

Выслушали мы мнение по земельному вопросу людей богатых и власть имущих, так сказать, местных феодалов, воля которых для своего народа — закон, его же не преЙдоши, и капитал которых так же беспощадно и неотразимо в бараний рог гнет бедноту, как и толстая мошна любого нашего истинно русского Колупаева.

Надо выслушать и мнение другой стороны.

Х. «Особое мнение»

С «другой стороной» я на днях встретился в Улале. «Другая сторона» — видный кабинетский агент, бывший земский статистик.

Он говорит:

— Внутринадельное размежевание калмыцких земель имеет положительные и отрицательные стороны. Но положительных больше. У зайсанов огромная власть. Зайсан имеет полное право пустить на землю его рода за деньги, за водку русских переселенцев. Примеров таких сколько угодно. Таким образом, инородческая земля расхищалась за счет обогащения одного лица, зайсана. С наделами это исчезает. Прежде зайсан, или вообще богач, не довольствуясь своим пастбищем, своей долиной, беспрепятственно гнал свой скот в любое, не принадлежащее ему пастбище. И пострадавший от потравы не смел пикнуть: богач сживет его со свету. Теперь этого не может быть. И понятно, почему богачи всячески противятся введению новых порядков.

— А позвольте вас спросить, почему на днях калмыки на верховьях речки Песчаной отказали землемеру давать рабочих, потребных для размежевания? И когда из Барнаула распорядились нанимать в счет калмыков рабочих со стороны, калмыки, наконец, согласились?

— Этого я не слышал.

— А я, извините, слышал.

— По всей вероятности, это произошло опять-таки под давлением богачей.

— Вы думаете?

— Я в этом уверен. Ну, так вот. Теперь дальше. По Чуйскому тракту калмыкам земли досталось мало. Но где же ее взять. Ведь вы сами видели, какой ничтожный фонд удобной земли в тех местах. Но поверьте мне, что Кабинет все отдал, что мог. Вот не угодно ли взглянуть на карту.

И с этими словами он вытащил огромную, с двуспальную простыню, карту:

— Все, что осталось у Кабинета, покрашено синей краской. Вот видите, какие ничтожные остались клочки. И они представляют собою голые, никому не нужные скалы. Вся земля, ушедшая в надел, передана Кабинетом казне. Казна будет выплачивать Кабинету за каждую десятину по 22 копейки в продолжение 19 лет, конечно, взимая эти деньги с новых владельцев, затем следующие 19 лет на тех же основаниях население будет выкупать у казны землю в собственность.

— А какие ж отрицательные стороны вы заметили в нарезке калмыкам земли?

— Вы знакомы с укладом калмыцкой жизни?

— Отчасти.

— Раньше, до последних дней, калмык зимовал в одном месте, а на летовку угонял скот в другое место, куда-нибудь в лог, в долину речки. Калмык говорил: «Я не дурак, чтобы делать, как русские: те накосят сено за пять, за десять верст, да и возят домой целую зиму. Я лучше скот угоню к сену». Теперь же этого сделать нельзя. Та долина, тот луг, куда он и его предки из года в год летовали, отошли другому обществу. Раз. Далее, калмык женил трех сыновей. Каждый из них расположился в хорошем месте, где есть вода, где достаточно луговых пастбищ. Отец гонит скот на летовку

к сыну, брат к брату, сын к отцу, смотря по тому, где лучше, и соразмеряясь с числом голов скота. И в таких случаях приходилось гнать табуны за 30 и 40 верст и по чужим пастбищам, которые, строго говоря, чужими не были, были общие калмыцкие. И никто этим не возмущался, потому что вчера Мамыр прогнал свои стада чрез пастбища Короси, а завтра Короси погонит чрез луга Мамыра. Теперь же этого сделать нельзя. Два. Словом, это правильно, что в данное время происходит полная ломка всему укладу инородческой жизни. Конечно, все это ставит калмыка в тупик. Но поверьте, что некоторые из них начинают, присмотревшись да подумавши, понимать и благотворность новых порядков. Беднота начинает понимать.

В каждом нашем отряде несколько переводчиков калмыков. Мы тайна посылали их узнавать мнения бедноты. И кто из бедноты посмышленей — довольны. Они только все еще плохо усваивают, как это вдруг земля стала его, что никто не посмеет, ни Аргамай, ни Манчжи, забраться на его землю со стадами. И вот как-то является калмык и начинает просить топографа объяснить ему, что значит выражение «его земля, собственная». Тот ему объясняет. «Но ведь Манчжи может пригнать ко мне свой скот?» — «Нет, не может. Если его скот зайдет, ты взыщешь с него за потраву». — «Как я могу взыскать с быков? Что толкуешь... Если б сам Манчжи пришел и стал есть мою траву, с него можно взыскать. А чего возьмешь с быка? Бык ничего не заплатит». — «Манчжи заплатит». — «Как смею я с него просить. Я ему должен. Он осердится, муки не даст».

— Не знаю, не знаю, — сказал я, — но многие жалуются, что мало земли, что негде скоту пастись...

— А где ж ее взять, если нету. Вот недавно на Песчаной, которую вы упомянули, кержаки землю нарезали. Тем значительно меньше, чем калмыкам. Кержаки бунт подняли. Доходило дело до властей. «Нам все одно здесь не жить. Уйдем. Всю землю орде роздали».

Здесь я приведу свой разговор с крестьянином села Онгудая Черепановым, бывшим переводчиком при топографе, работавшем на Песчаной.

— Кержаки, они нагрязливы. С краю-то, как населились, вовсе утесняли калмыков. Зайдут в аил да как хозяева и командуют: скот режут, калмыков бьют, всячески изгиляют. Ежели возле аила хорошая земля, начинают ее пахать безо всякого. Пашут да и все. А земля чужая, калмыцкая. Калмыки, знамо, народ смиренный, поплачут да в другое перекочуют место. Аилышко оставят. Кержаки все сожгут. Недавно коня застрелили калмыцкого да в лес затащили, завалили чащей. Всячески выживают. За это, за упорство за ихнее, им мало земли дали. А калмыкам больше и лучше. Они все-таки в этой местности хозяева.

XI. Еще о Чоте Челпанове

Встретил я господина, который видел Чота и говорил с ним. Вот его рассказ:

— Нас было трое. Мы в тех местах, где Чот, работы от Кабинета производили. Мы знали, что Чота трудно увидеть, он уклоняется от всяческих встреч. Остановились вблизи его юрты, посылаем человека: «Зови хоть обманом, хоть как, только достань его». Пришел Чот. Стали его угощать, стали чрез переводчика расспрашивать. Он высокий, сильный, малоподвижный, самый обыкновенный, даже в глазах нет ничего особенного.

— Как ты вводил веру свою?

— Дочь моя бродила по лесам. Дочь моя встретила на белом коне белого всадника. Белый всадник сказал ей: «Объяви народу, пусть бросят камлать, пусть свою прежнюю веру найдут, пусть вереск жгут, молоко приносят в жертву, прогонят камов». Дочь испугалась, мне передала. Я испугался. Я стал искать белого всадника, но не мог найти. А народ услышал про это, начал собираться в нашей юрте. И вот я встретил белого на белом коне всадника. «Я царь мира, Ойрот, которого вы ждете». И повторил то, что сказал дочери. Я вернулся к своим и стал насмехаться над камами, стал говорить, что они мошенники, обманщики, что они служат злому духу, а забыли Духа доброго, того, кому поклонялись раньше. Тогда все испугались, ожидая, что вот явится сам Эрлик и всех пожрет. Но ничего не случилось. Тогда я начал устранять новую веру, ту самую, которая была у нас, но которую мы забыли.

— Какая же основа вашей веры?

Чот оживляется, передает переводчику:

— Солнце, луна, земля, вода, огонь — одно. Одно божество. Все — одно. Один Бог, один Бурхан.

Переводчик говорит:

— Солнце, луна, земля, вода и огонь — все равно. Что луна, что вода — все равно.

Чот, уловив грубую неточность перевода, сверкая глазами и крутя ручкой, кричит:

— Одно, одно! Одно! А не равно!!

Мы кивнули головой, и он успокоился.

— Ты говоришь: новая твоя вера — это прежняя, забытая, вера ваших предков. Как народ мог забыть веру свою, как мог пренебречь добрым духом, а молиться лишь духу злому?

— Народ раньше молился только доброму духу. Но добрый дух милостивый, он не взыщет, если иной раз ему и не помолиться. А злой дух всегда возле человека, он рад проглотить душу человеческую, рад зацапнуть ее, поразить болезнью. Вот человек и стал упрощать злого духа: «Пожалуйста, не тронь; чего хочешь возьми, только отступишь. Мы тебе кровавую жертву принесем, мы тебя славить будем». Так это поклонение черту и усилилось, а доброго духа народ забыл. Этому помогли камы.

— Расскажите что-нибудь о том, как вас разгромили русские?

Чот долго молчит, потом отвечает:

— Я ничего не помню. Мы мирно молились. Потом пришли русские. Меня ударили. Я больше ничего не помню. Моя душа над землей трепыхалась в то время. Поэтому я все забыл.

— А что означает: мы встречали в долинах дощатые помосты, по углам шесты с шарами и белыми и желтыми лентами?

— Там мы молимся. Там наши ярлыкчи, наши вестники поют стихи, которые они слагают.

Рассказчик сообщил мне несколько таких стихов, переведенных одним из священников на русский язык и уже где-то напечатанных.

Вот они:

Беленький цветочек
Северного места
От любви к Алтаю
Раскрывается.

Пятилетний ребенок,
Прославляя Бурхана,
Молится ему.

Сорок две пуговицы
Можешь ли застегнуть враз?
Ученье Бурхана
Можешь ли скоро понять?

Рубящий дом
О четырех углах,
Топор остр.
Сорок племен угнетающий
Сердитый русский народ.

Мы еще о многом хотели расспросить его, но Чот несколько раз, перевирая наши вопросы, спрашивал:

— Где мне найти правду? Научите. Меня разорили то ли русские, то ли свои. Пожгли все, скот угнали, лошадей угнали, все разграбили. Где правда? Кто может заступиться за меня? У кого милости искать?

Возле нас сидели несколько калмыков и благоговейно смотрели на Чота.

Мы спросили. И некстати спросили:

— Скажи, Чот, почему прежде калмыки оказывали тебе всякие почести:

с седла снимали, держали стремена, а теперь равнодушны к тебе?

Чот молчит. А калмыки — не понравился им вопрос, застыдились, все враз встали и пошли, будто по делу, кто к коню, седло поправить, кто к речке, воды попить.

Чот ничего не ответил. Только вздохнул. А калмыки, спрошенные после, когда Чот ушел домой, сказали:

— Хотя новая наша вера лучше старой, но мы видим, что русское начальство недоволено им. И мы поэтому подозреваем, что в этой вере есть что-то плохое. А что — не знаем. Не можем увидеть. Поэтому боимся открыто оказывать почести Чоту. Боимся, как бы не донесли начальству староверы. И почему начальство не одобряет нашей веры? Ведь она лучше старой?

Рассказчик закончил:

— Я слышал, что где-то сидит на Алтае лама. Кажется, из новообращенных. Лама будто бы говорит: «Это учение — ламаизм, особый, алтайский, временный. Калмыки — дети. С ними надо по-детски поступать. Давать то, что доступно их пониманию. Когда созреют — догма веры расширится и приблизится к истине».

XII. Русско-калмыцкий той

Той по-калмыцки — свадьба. Хочу рассказать о довольно оригинальной черте местных обычаев, случайно встреченной мною в Кеньге.

Едва я подъехал к земской, как увидел вблизи сборни, на площади, целую толпу калмыков, три курящихся костра, над которыми висели огромные котлы, весело спящих собачонок, похрапывающих на привязи лошадей. Настроение праздничное. Солнечный день.

— Это что? — ямщика спрашиваю.

— Той.

— Калмык, что ли, женился?

— Нет, русский русскую взял. От ямщика земского умыком в жены деваху сбрал. Третьеводнись обвенчались, а теперь вот гуляют, угощают калмыков. Теперь все по-калмыцки пойдет, весь обряд, потому как они среди калмыков живут. Обязаны вроде уважения сделать, без этого нельзя. Вот ужо выпьем.

Мой ямщик облизнулся, взглянул в сторону котлов. Я поближе подошел. На траве окровавленная конская шкура лежит, коня хозяин заколол. 45 рублей конь стоил. В двух котлах алтайцам конина варится, в третьем — баранина русским. У костра несколько сельниц-корытец стоит — это тарелки для пиршества. Карлик-калмык, старичишка в длинном балахоне, у котлов топчется. Ножом мясо в котлах ворошит. Лицо у него острое, морщинистое, бороденка хохолком. Ему молодые алтайцы помогают. К баранине верзила-мужик приставлен да ребятишки.

От избы молодых к огнищу, от огнища к земской, от земской к хибарке снует народ, бабы, молодежь — все заняты приготовлением.

На лошадей человек пять ребят усаживают, на бегунцов, без седел, «байга» — бег — будет. Хозяин выходит, отец жениха, высокий, усы книзу, давно не бритый, улыбочивый, в руках первый приз несет: бутылку водки и розовый шарф. Бегунцы уж за поскотиной, а приз привязан за горлышко к высокому песту. Потасилин приз в поле. «Бегут, бегут!» Все туда бросились. А собачонки к баранине. Однако карлик, быстро выхватив кол из котла, огрел одну из них вдоль спины. Отскочили псы, сели возле, ждут, не заведется ли маленький человек с большим колом.

Вот и бегунцы прискакали. Приз достался молодому парню. Взял водку, домой помчался. Народ, улыбаясь, идет назад.

Один из алтайцев что-то кричал, с жаром жестикулируя и выразительно играя черными глазами, что-то старался доказать стремящейся к огнищу толпе. Хохотал. Ему подсобляли другие. Он строен и прям, чисто бритый, голова коротко острижена, с проседью волосы, милое, живое, подвижное лицо. Это калмык-«каморщик», за каталажкой надсматривает. Ему не нравится, что водку взял себе победитель, водка должна в круг идти, водка ничья, общая. Но его успокаивают: хозяин водки много выставит, запас большой сделан. Тогда он, прищелкнув языком и подмигнув соседу, кричит: «якши!» и вновь раскатывается хохотом. Молодые тоже в толпе идут обнявшись: он высокий, за шею ее обхватил, она низенькая, в красной кофточке, беленькая, обняла мужа за талию. Идут, ничего не видят, ни бегунцов, ни клубящихся паром котлов; толпа вправо, они влево, толпа у огнища осела, как пчелы у улья жужжат, они в поле, где колосится рожь, где звенит под солнцем песня жаворонка. Однако их окликает отец:

— Ваня! Съезди с молодой за Аргамею, зови.

Гости начинают усаживаться у огнища на лугу по большой дуге. В центре бороваобразный, пудов девяти, жирный, весь в черном, бывший зайсан, черный, с опухшими глазами, бронзовый, безбородый, с маленькими усами, пучеглазый. Входит в круг виночерпий. Наливает стакашек, подходит к бывшему зайсану, опускается перед ним на корточки и, подобострастно склонив голову, подает зайсану водку. Взял и немедленно опрокинул в рот, не поморщившись. Следующий стакан подносится другому калмыку. Тот, взяв стакан, подходит почтительно к бывшему зайсану, опускается на корточки и передает ему, глотая слюны, водку. Толстяк открывает рот и выплескивает туда водку. И так продолжается очень долго. Бывший зайсан сидит смиренно, не певелясь, с застывшим лицом, будто далекий от всего этого, будто занятый другой, посторонней празднику думой, только рука его не устает работать и жадно раскрывается рот.

— Вот пьет так пьет! — удивляется один из стоящих сзади ямщиков.

Другой, сплюнув, говорит:

— А что ему значит, ежели он впился. Ему этот стакашек все одно, что слону дробина.

Последний стакан подносится сидящему с краю бедняку, тот берет, смотрит на стаканчик, будто колеблется — пить ли? Затем, вздохнув, приподнимается и несет другому, в синем бархатном кафтане калмыку. Тот пьет и дает бедняку затянуться в знак дружбы свою трубку. Курит, спле-

вывает и отдает обратно. Это калмыки распили первую четверть. Эта водка их собственная, не хозяйская: по обычному праву, шкура убитого коня принадлежит гостям. Они пожелали вернуть ее хозяину за четверть водки. Котлы вскипели. Вынимают мясо, раскладывают по корытцам. Гости сидят молча. Бывший зайсан начинает плакать и мутными глазами впервые обводит лениво толпу. Ждут Аргамая. Но он прислал ответ: «Я не люблю пьянства и пьяных не люблю, я приду после. Бабу пошлю». Глядят: от богатого Аргамеева дома выступают, неуклюже переваливаясь в нескладных своих сапожищах, три женщины в праздничных бархатных шубах с бархатными сзади крыльями, как у архиерейских певчих, в широких, сплюснутых с боков меховых шапках. Хозяин русский по-калмыцки командует:

— Отырар ет тиерге! (Садитесь мясо есть!)

Все усаживаются по три, по четыре человека у корытцев с мясом. Женщины к огнищу не подходят, а направляются в избу молодых. С ними молодая девушка, Аргамая дочь, в голубой бархатной шубе с лисьим воротом, в круглой расшитой бархатной шапке, лицом бела, румяна, глаза весенними листочками, черные. Сказкой голубой плывет, мягко ступая по зеленому лугу. Вскоре почетные гости вышли из избы и, подойдя к огнищу, уселись в круг. К ним примкнули другие женщины. Явились молодые. Оба горят, до краев счастьем полны, у него в руках поднос с водкой, у нее — мелко накрошенные на тарелке блины. Гостей обносят, обносят водкой посторонних зрителей. Выпивают, закусывают, кладут деньги. Хозяин еще три четверти притащил.

— А ты бы в железное ведро вылил: разобьют стекло-то.

Началось великое чавканье и питье. Языки развязались. Смех у каждого корыта зазвенел. Бывший зайсан, как на каменку, поддает себе в рот водку. Покачиваться начинает и сам с собой бубнить. Старик-карлик с ковшом, насаженным на палку, от котлов к корытам бегаёт, бульон в мясо подливает. Понес да калмыку ногу обварил: тот окрысился, при дамах очень отчетливо и смачно по-русски его выругал. Все пьют, чавкают. В одном месте брань. Кричит калмык. Волосы его вперед зачесаны, глаза серые, лицо треугольное желтое. Он кричит и тянется к соседу драться, тот, обороняясь, отползает на четвереньках прочь, а крикун ругается, грозит рукой, и голова его трясется, как у паралитика. И у другого, и у третьего котла начинается ссора. Бывший зайсан уж на боку лежит возле другого, в красном камзоле калмыка: сгреб его за камзол и норовит поставить на голову, пятками вверх. Но это ему не удастся, хотя калмык, почтения ради, не сопротивляется и, улыбаясь, смиренно сидит. Зайсан долго возле него примеряется, наконец, рассерженный, отползает прочь и начинает петь и добродушно хохотать. Я иду лошадей заказать. Но ямщики выпивши:

— Нельзя ли повременить?

Кто-то затаскивает меня в избу, где чай, водка, всевозможные яства. Там много народу: сватья, свояки, тетки, гости. Родных молодой нет: девица сбежала от отца-матери и крадучись повенчалась. В другой половине избы — алтайцы гуляют. Чай пьют. У стенки молоденькая, с русскими чертами девушка. Только что вошла в избу, села на стул, опустила низко голову

и заплакала. Выпивши. Возле нее пучеглазая инородка Верочка. Девушку утешают, конфетку суют в нос, пряничек, но та закрыла лицо руками и заливается горькими.

— О чем она плачет?

— Да мужа боится.

— Разве она замужняя?

— Да. Инородка она. Привыкла свою арачку пить, выпила русской водки и ослабела. Боится, что муж прибьет.

Ко мне в двадцатый раз пристает пьяненький, седобородый, румяный сотский. Бог весть как сюда затесавшийся проездом из Катанды. В двадцатый раз он говорит мне:

— Позвольте рассказать вам свою жизнь. Жизнь моя горькая.

Но сватья в двадцатый раз подхватывает его под руку и уводит выпить. Выхожу на улицу. Старый подходит алтаец. Он и раньше несколько раз подходил ко мне — подойдет, поклонится, пошепчет что-то и уйдет. Веснущатый, старый-престарый, с открытой, грязнейшей морщинистой грудью. Он, оказывается, очень беден. Были коровы, пали в голодную зиму. Ничего нет. Никого нет. Сирота. Русский мне говорит:

— Он хороший старик. Я сам ничего не имею, а ему помогаю. То на табачишко дашь, то на хлеб. Как ему не помочь. Ему надо помочь.

Гляжу, у корыт свалка началась. Вскочат два петуха, махнут кулаками, мимо. Бух оба! Ползают, кричат.

А иные изрядно вцепятся. Разнимают их. У бритого каморщика вид дикий стал. Без рубахи, в одном пиджаке, голое тело, пупок. От кучки к кучке носится, норовит растаскивать дерущихся, каморкой грозит: «Законопачу!» — но тут же, не стерпев, всплывает кому-нибудь хорошего леца, и оба летят кувыркком на землю.

Бывший зайсан все рад с себя сбросить. В одних шароварах плавает, едва переставляя ноги. Вид его ужасен. Он до того жирен и обвис телом, что ребятишки бьют в ладоши и кричат: «Баба, баба!..» И последний костюм у зайсана сползает вниз, но услужливая меньшая братия, следующая по его пятам, не дает случиться этому греху.

Драки как следует пошли. Бились кулаками, но больше шумели и падали на луговину. Дрались так, зря: драка освящена обычаем. Плох тот праздник, где не расквасят друг другу носы. Это обида хозяину. Другое дело, если удастся как следует зааать друг другу трепку. Тогда калмык будет, проспавшись, радостно говорить:

— Шибко хорошо гулял моя. Глаз подбивал, ребра толोक! — и покажет на фонарь у глаза.

Хорошо, что алтайцы не научились у русских пускать в ход ножи и оглобли.

В красном камзоле калмык, встав на колени, припал лицом к земле, сложил руки ладонями вместе и заунывно воет: то ли плачет, то ли поет песню. К нему на коне старик подъехал, на коня его затащил. Упал калмык.

Старик еще двух покликнул. Затащили, как куль, на коня, за ноги держат по бокам, а голова у калмыка чуть не под брюхо лошади свесилась. Старик

на седло вскочил, коня тронул, опять калмык грохнулся прямо коню в ноги. Конь умный, не тронул.

Многие калмыки были трезвые.

Спрашиваю писаря:

— Почему бывшему зайсану такой почет?

— Боятся. Они, зайсаны, строго поступают. Где на гулянье привяжет пьяного да непокладистого к дереву и стой. У них власть большая. Однако недолго им осталось. С августа на русское положение переведут, волости будут образованы.

— Зайсанами богатых или умных калмыки выбирают?

— И то и другое. Вот бедный нонче выбран был. Поправляться начал. Они ведь, некоторые, здорово берут со своих. Приедет: «давай!», а то накажет.

Кони готовы: брякают бубенцы, тархтят колеса. Наступал вечер. Калмыки разъезжались, выписывая всем туловищем мыслете на прямо и быстро бегущих лошадях. Где-то две гармошки играли. Молодые, плотно обнявшись и пошатываясь, направлялись в вечернее тихое поле. За чернеющие горы садилось солнце. Сразу потянуло холодом и ароматом горной степи.

Прекрасная молодая калмычка в голубом своем бархатном камзоле, алтайских гор дочь, и раз и другой в мах пролетела на коне. То скроется где-нибудь за склоном горы, то вновь вырвется на долину.

Вихрем носится, голубой сказкой порхает, вся цветущая, как незабудки цветущей цвет.

XIII. Древние памятники

От Кеньги к Онгудаю дорога идет красивою долиною Урсула. В 17 верстах от Кеньги — деревня Туехта, единственный пункт на всем Чуйском тракте, где скотогон может обстричь своих овец, идущих в Бийск из Монголии. Своего рода овечья парикмахерская. Стрижкой занимаются по преимуществу женщины.

Иная, которая проворная, может за день до 70 овец обкорнать. Рубля два заработать может.

За Туехтой начинают встречаться древние курганы, по местному бугры, остатки прежних жилищ, каменные бабы. Все эти памятники, попадающиеся то здесь, то там вплоть до монгольской границы, свидетельствуют о когда-то живших здесь и ушедших отсюда иных насельниках, седая память о которых сохранилась лишь в местных былинах.

Вот, например, возле Ини есть камень-баба. Это огромная тонкая плита, больше сажени в квадрате, ловко воткнутая торчком в землю. Стоишь возле нее, маленький, и думаешь: «Как мог дикий человек умудриться ее, матушку, трехсотпудовую, притащить сюда, поднять на ребро и врыть в землю?» Но наше недоумение тут же разрешает наш проводник.

Он рассказывает:

— В нетеперешние времена, когда белой березы на свете не было, проезжал этим местом сильный богатырь. Ему нужно было на Чую попасть, а

брода он не знал. Поехал без брода, а река глубокая да быстрая: конь чуть не захлебался. Однако выплыл, лишь потник, что у коня под седлом, подмочил. Надо потник высушить. Огляделся богатырь кругом — ни одного дерева, огляделся кругом — ни одного кустика: ровная степь среди гор, потник повесить для просушки не на что. Залез тогда богатырь на гору, выворотил каменнице, да как хватит с горы! Как гвоздь камень вторгнулся, на сажень в землю ушел. Вот этот самый и есть. Так старики сказывают.

Искал я на этом камне письмен — нету. Лишь сбоку высечен нож, да еще расписались беллами в своей безграмотности проходившие недавно «братья Климовы».

Кстати надо заметить, что русский человек очень любит увековечить свое имя: все дома, скалы, камни исписаны автографами проезжающих вперемешку с непотребными словами, во что бы то ни стало нацарапать которые так зудится хулиганская рука.

За Туехтой, вблизи реки Талды саженьях в 50 от дороги, две хорошо сохранившиеся каменные бабы с искусно высеченными лицами. Давно бы их необходимо было выкопать и увезти в музей. Не место им здесь. На их каменных носах упражняются в метании камней проходящие возчики груза. До поклонения искусству они не доросли, им мало дано, с них короток и спрос, но с сибирского общества такое пренебрежение к изваяниям древних — взывает.

— Скажи мне, друг, — обращаюсь я к калмыку, — что значат эти круглые, неглубокие, заросшие травой и бурьяном ямы, охваченные кольцом из булы? Таких ям много. То в одиночку встречаются, то по две, по три. Иногда их целая улица в два поезда.

— Мы не знаем. Говорят, что жилища, юрты живших здесь людей. Вот видишь, много камней столбами стоят — это ихнее кладбище. Видишь, в стороне большой камень стоит — тут богатырь зарыт. Вот и говорят, что в этих ямах жили люди. А сверху у них надстройки из кошмы или коры были. А кругом все было камнями завалено для тепла. Так они и жили. Потом прошел слух, что белое дерево на земле появилось, белая береза. Слух прошел, что вместе с деревом где-то белый царь родился, которому дано их покорить. Они очень испугались. Они сказали: «Пришло время умереть нам добровольно». Сделали над жилищами на деревянных столбах помосты, нагрузили помосты камнями, зашли каждый в свою яму, помолились, распрощались друг с другом и подрубили деревянные столбы. Камни рухнули на них и задавили. Так старики сказывают.

XIV. Онгудай

Онгудай. Последний культурный до Кош-Агача поселок. Здесь телеграф имеется, есть с живой душой люди, можно встретить относительный уют. Онгудай. Его российские переселенцы часто «Возгудай» зовут. Въедет с своего парусиною кибиткой в самое село, да и спрашивает какую-нибудь всю в кумаче бабу:

— А скоро ль, тетенька, Возгудай будет?

Та хохочет и отвечает ему:

— Не доходя прошедши.

Придорожная трава пыльная, притрактовая баба вольная. Про онгудайскую бабу широко слава идет.

— Онгудайская — охо-хо-о-о...

Онгудайский мужик — проворный, говорун. Живут себе, питаются у тракта хорошо, извозом занимаются, сено для ямщиков готовят, хлеб сеют. Не заметил я, чтоб они «до смерти работали», но что «до полусмерти пьют», — это я высмотрел прекрасно. И откуда они берут водку? Монополька почти за 200 верст от них, в Алтайском. Не арыки ли, проведенные сметливой рукой сибиряка по всему селу, по каждому огороду, несут в себе это окаянное пойло, эту гадкую отраву души и тела?

Когда же этому конец?

Русский мужик погряз, русский мужик вконец пропивается, он на вымирание себя обрекает, он в пьяном виде зачинает детей, производит больное, нервное потомство. Дай бог, чтоб я ошибался. Но преступно на это закрывать глаза. Если мужик сам не может выпростаться из болота, надо его схватить за волосы, вытащить и поставить на гору: «Иди и впредь не греши!» Но кто, кто это сделает, где у нас такой богатырь? Родился ли? А надо что-нибудь делать, надо торопиться. Время летит быстро, а зеленый черт с зелеными глазищами орудует вовсю.

Онгудай село красивое. Уж осенью взобрался я на гору и глянул на село. День ясный был. Под ногами желтый лист лежал, деревья оголялись. А кругом все еще зеленели горы. Село сверху маленьким кажется, «но неправдашним», как сказал бы крестьянский мальчуган. Две улицы по селу прошли. Две церкви, старая и новая на пригорке красуются в зеленых рощах. Вдоль села Урсул гремит, по селу речка Онгудай течет, а от нее голубыми не пыльными тропинками бегут в канавках холодные ручейки — арыки. То здесь, то там среди села стоят зеленые колки: ели, лиственницы сбежались кучками и шепчутся. Кругом села желтеющие нивы: хлеб убран, сложен в желтые огромные зароды. Целая улица их. Нынче урожай хорош. Какая жара. Воздвиженьев день, а солнце печет немилосердно. И уж кстати замечу. Что за Алтай, что за страна сюрпризов! Вечером туча зашла, засняла молния, гром загрохотал. На другой день хиус подул, холоду нагнал, на третий день, 16 сентября, из Топучей в Шелаболиху я приехал на санях, зима была. А потом опять лето настало, теплое, бабье лето.

Онгудай село торговое. Зимой там ярмарка бывает, приезжают на ярмарку монголы на верблюдах за мукой.

XV. Веселые кержаки

Онгудайский ямщик стонет, рошчет на судьбу:

— И что ж это, господи, за напасть! Этакий наш окаянный станок. В одну сторону, к Кеньге, 35 верст, ну, тут хоть дорога ровная, в другую 42 версты. Это изволь-ка через Чике-Таман-то перелезть. Убой. Прямой убой для коней. И чего не сделают еще станка: один до Туехты, другой до Хабаровки. Чего ж это начальство-то... шутит, что ли, или смеется?!

Действительно, станок трудный. Чике-Таман — это своего рода колокольня Ивана Великого, причем неразумная природа так ухитрилась поставить, что мудрым строителям тракта пришлось вести дорогу чрез самый крестик этой колокольни. Но прежде, чем подойти к сему страшному перевалу, остановимся на минутку в попутной кержацкой деревне Хабаровке.

Хабаровка славится изобилием плодов земных; картошки, капусты, всяческих хлебных злаков, изредка арбузов, еще славится сильными бородачьи мужиками, дородными молодухами, как красный мак, цветущими в любое время года, а больше всего — необычайно веселым медовым пивом, называемым по-кержацки «травянушкой». Травянушка весьма крепкая, быка с ног свалит.

— С трех стаканов человек обязательно должен с копытков слететь,— говорят про свое исчадие веселые кержаки.

Как только начнет пчела мед таскать, кержак принимается варить травянушку. И по праздникам дым коромыслом стоит по деревне. Самый же большой разгул начинается с осени, когда убран хлеб и подведены итоги лету. Ведь вот тоже гуляют; удало гуляют, православный, не подвертывайся под руку — запоят до смерти, молодой джигит-киргиз, не попадайся бабам-озорницам, скачи на своем удаалом коне куда глаза глядят! С треском гуляют кержаки. А между тем во всем у них видно довольство, видна любовь к земле.

Православные говорят про них:

— Первые разбойники...

— Как так?

— Грабители, самые первейшие конокрады.

Но мне этому верить не хочется.

XVI. «Черт-атаман»

Чике-Таман. Прежде всего изречение, нацарапанное на придорожном столбе, на самой вершине перевала рукою отчаявшегося ямщика: «Ета не Чекегаман, а Черт-атаман, сорок восемь грехов». В этом все сказано, вылита вся желчь наругавшегося донельзя человека, замучившего себя и погубившего здесь, может быть, не одну лошадь.

Чике-Таман — огромный горный кряж, преградивший путь в долину Улегома, куда выходит тракт. Вы подъезжаете вплотную к горе, выходите из повозки и пешком поднимаетесь по бесконечным извилинам тракта, подобно пьяному мужику, выписывавшему мыслете по крутому склону горы,

и, измучившись, благополучно достигаете вершины перевала. А лошади тем временем надрываются над вашим экипажем. Вы поднялись на сто шестьдесят сажен и на столько же должны спуститься. А горизонтальное расстояние между крайними точками подъема и спуска всего одна верста. Все эти отдельные зигзаги тракта очень коротки и узки, радиусы закруглений малы, уклоны велики. Телега в закруглениях иногда не может повернуться: колеса висят над ничем не огражденной пропастью. Еще один неловкий шаг лошади, и она вместе с возом сорвется вниз.

И вот тут-то начинается ад. В особенности весной, или во время дождей, когда дорога покрывается лишней грязью.

Ругань самая отъявленная, какую только может выдумать озверелый человеческий ум, грохочет в горах. Ямщики режут дикими, сумасшедшими голосами, — глаза у них свирепые, руки разбойные — палками и камнями бьют лошадей, лошадиные тощие бока, как барабан пустой, отдаются на удары, лошадь еле дышит, у ней в глазах темно, она сердце насадила, у ней ноги дрожат, бока от палок ноют, в глазах ужасная боль стоит и мука.

— Но, холера! Но, падина! (...)

— Что ты делаешь! — кричу я. — Как ты смеешь бить свою кормилицу?

— А она, черт, не видит, куда везет... Ишь напрокинула...

Но как может знать лошадь, куда ей идти, если заблудились при постройке сами строители, проводят тракт не там, где нужно.

1913

ЧУЙСКИЕ БЫЛИ

Эх, да как стегнула по Алтаю Чуя, священная река. Белые стоят на горизонте горы, все в вечных снегах, Чуйские Альпы, земли надгробие. В них родится Чуя, священная река.

Сначала степью течет она: ни лесу здесь нет, ни сочных трав. Зато отсюда ближе небо, ярче звезды, чище, прозрачней воздух.

Вся степь, во времена минувшие, до самых горных маковок была водой залита: века веков плескалось здесь озеро голубой волной. И стерегли это озеро каменные витязи. Чуйские Альпы, богатыри алтайские, плечо в плечо стояли каменной стеной.

Но не удозорили, не усмотрели: обмануло их озеро, убаюкала их зыбун-волна, уснули крепко. А вода прорвала себе ход, проточила горы и хлынула.

Гул пошел по Алтаю, земля затряслась, осыпались камни. Широко волна хлещет, опрокидывает скалы, грохочет и стонет и мчится вдалеке бешеным потоком.

Это Чуя, рожденная в снегах, горами плененная, вырвалась на волю и понеслась меж расступившихся в страхе Алтайских гор.

А озеро обсохло, и дно его превратилось в песчаную Чуйскую степь.

Так стародавняя быль говорит.

На Чуйской степи есть маленький русский поселок Кош-Агач. Такой маленький, что с гор, обнявших степь каменным кольцом, его не приметить.

Через Кош-Агач Чуйский тракт идет. Узкой тропой соединил он сибирский город Бийск с монгольским — Кобдо.

Весь бы этот тракт серебром можно вымостить да золотом, что загребл-и-захапали купцы у алтайцев и монголов.

Весь бы тракт можно слезами залить, что сочинилсь из узких глаз полудиких, с чистой душой кочевников; такой большой обидой и горем наделил их русский неистовый, алчный хищник.

Так говорит про купцов недавняя быль.

Бурным шумом шумит, шорохом шелковым...

Эй, подожди, Чуя, вода холодная! Куда бежишь, куда по камням вскачь мчишься? Стой, Чуя, стой! Расскажи нам вчерашние и сегодняшние были свои.

I. Зеркальце

Зеркальце как зеркальце. Маленькое, круглое, цена ему — пятак.

Купец их с дюжину привез в горную степь. Давно дело было, в этот заброшенный край еще никто зеркал не важивал.

Думает купец:

«Надо калмыкам продать, надо калмыков нагреть. Греха тут нету: калмык не человек, — зверь, и душа у него, как у пса, — пар. Зверь и зверь».

Едет купец в гости к своему другу, калмыку Аргамаю, которого не раз надувал.

Вечером приехал, к огоньку. Аргамай в юрте сидит, толстый, сильный. Один у камелька сидит, баранью кость гложет и мурлычет песню о том, как он завтра на заре будет кочевать к снегам, где такие вкусные сочные травы — сладь скоту.

— Эзень! — поздоровался купец.

— Эзень, эзень! — откликнулся Аргамай, всматриваясь в пришедшего.

— А-а-а... Эвон кто! Друг... — радостно вскрикнул и уступил гостю свое место.

У костра засуетился, — огонь ярче вспыхнул, — полбарана положил в котел, чай по-калмыцки готовить начал: с молоком, жареным ячменем и солью.

— Баб нету... Один больной, другой в гости укатил к отцу.

— Нет ли арачки?

— Бар, бар... — и подал в турсуке самодельную из молока водку.

Сидят, беседуют. Огонек весело горит. Арачка вкусная, теплая, по жилам загуляла, в мозг ударила, дала волю языку.

Калмык смеется, и купец смеется, по плечу Аргамая похлопывает, льстивые речи говорит:

— Ни у кого таких коней нет, как у тебя. Самые лучшие быки у тебя. Самые лучшие бараны у тебя. Ты богатый. Жена у тебя красивая.

Говорит, арачку пьет, баранину ест.

Аргамаю любо, слушает, смеется и, чтобы не остаться в долгу, говорит гостю:

— Ты самый хороший есть. Самый верный... Друг...

Вспомнил купец про зеркальце.

Думает:

«Надо подарить. Убыток небольшой — пятак».

Достал, показывает.

— На-ка, поглядишь.

Смотрит Аргамай пристально. Приковало его зеркало.

— Это кто?

— Да ты...

— Как я?! Это шайтан!

— Нет, ты...

Молчит, еще пристальней всматривается, недоверчиво на купца смотрит, говорит ему:

— Чего врешь?! Нету!.. Шуба-то моя, а рожа сроду не видал, не знаю!..

Купец блаженно улыбается, а калмык от нетерпенья заерзал по войлоку, руки дрожат, крепко уцепились за волшебное зеркало. Сроду такой чудесной штуки калмык не видывал.

— Да ты надень шапку-то... Видишь?.. Ты!..

Смотрит калмык — его шапка в зеркале, косу смотрит — его коса, с ленточкой, бородавка на носу его, — ущупал...

— Ха-ха-ха!.. Продай... Делай милость, продай!

А купец совсем обмяк, радость другу своему доставить хочет, говорит:

— Да я тебе его...

— Делай милость, продай... Сколько хочешь возьми!..

И вдруг купеческая душа в подаюю алчность покатилась.

— Нельзя... — чуть дрогнув голосом, сказал купец.

— Возьми быка... Ребятам, бабам казать буду... Ха-ха-ха... Пусть смотрят рожам...

— Нет, нельзя, — твердо купец сказал и легонько зеркальце к себе тянет.

Аргамай не дает...

— Два быка, три быка!.. Хороших!..

— Что ты, я сам дороже заплатил... В Москве добыл... Знаешь, слышал?

Чуть не плачет Аргамай, большой ребенок:

— Возьми четыре быка... Пожалуйста, возьми, друг!..

— Пойдем быков ловить, — жадно сказал купец.

Аргамай смеется плутовато, зеркальце подальше прячет, на купца с опаской смотрит, не продешевил ли тот, не отобрал бы...

Ласково ему говорит тонким своим голосом:

— Ты самый хороший есть... Самый верный... Друг...

Поздно ночью возвращался к себе в стан пьяный купец. И, выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете, весело вслух думал:

— Он на то и калмык, чтобы его учить. На то он и татарская лопатка.

II. Часы

Жил-был ласковый торгаш с мышинными глазами. Он такой хитрый, что любого шайтана мог трижды перехитрить.

Плут.

Приезжает к нему старый киргиз Юсуп.

Посидел, покалякал, кое-что купил.

А торгаш только что свежий товар из города, из Руси получил.

— Купи часы...

Взял киргиз в руки часы, полюбовался ими, языком прищелкнул:

— Живой... Стукат...

— Купи!..

Вздыхнул Юсуп. Надо бы купить — не себе, а сыну, доброму джититу. Эх, надо бы купить.

— Я бы купил. Денег нет... Вот будут, куплю.

Не любил Юсуп в долги залезать.

Водкой купец угостил его, целый стакан подал:

— Пей!

Магометанская вера строгая: водку запрещает пить. Однако Юсуп с хо-рошим человеком маленько выпить может, греха таить нечего.

А водка злая, крепкая, рот обожгла, веселым туманом обложила сердце.

Еще стакан подал:

— Пей на здоровье!

Очень ласковый торгаш.

Попрощался Юсуп, сел на своего верблюда, поехал.

Степью ехал. Тихо было в степи. Лишь кузнечики неумолчно в траве трещали. Небо бледное, в бледных звездах — белых лебедях. Из-за снеговых хребтов подымалась луна.

Едет старый Юсуп, улыбается, с верблюдом разговор ведет и, пьяненький, начинает напевать:

— Вот месяц смотрит... Алла-алла... Круглый, зоркий, как глаза великого аллаха... Светит мне, светит верблюду...

Дальше едет... Тихо в степи... Кто-то навстречу скачет... Свой...

Проскакал джигит. На ходу кричит что-то, но Юсуп не слышит. В небо глядит, месяцу слезящимися глазами подмигивает. Месяц щурится и ярче освещает степь.

Поет Юсуп:

— Месяц, месяц... Золотой мой месяц... Мне хорошо, я был бедняк, а вот выпил вина — богатый стал. Я старый, как в реке черный камень... Вот куплю часы... Урус часы привез... Я их куплю... Часы, часы... Гей, часы. Живые...

И он громко рассмеялся.

И заронился в его голове серебряные мысли, как те круглые, маленькие, блестящие часы, которые он видел у торговца. Их много, не пять, не десять, много. Он все их купит, все часы купит, он всем раздарит. Старой своей жене, молодой жене да дочке... Сыну, джигиту, трое часов повесит, себе целый десяток... Ха-ха... Пусть тикают, пусть вертят стрелками. Это больно хорошо... Он верблюду часы подарит, он быку подарит. Пусть и бык при часах ходит... Хе-хе...

Вдруг слышит: застонала степь. Дробный топот по степи звучит, отчетливый и быстрый. То кони скачут, бьют копытом землю, гудит земля.

«Ага, свои...» — думает Юсуп.

Весело Юсупу. Огоньком вино по жилам бродит.

«Остановиться надо. Потолковать надо...»

Нагоняют. Купец. С ним люди...

— У меня, друг, часы пропали... Которые ты в руках держал...

«Пропали так пропали... Ха-ха... Эка штука. При чем же тут Юсуп?»

— Я не брал, — говорит он, улыбаясь старым своим бронзовым лицом. — Пусть аллах меня с коня столкнет, когда я над пропастью поеду. Я не брал...

Ласково торгош отвечает:

— Да мы знаем, что не брал. Вот я с понятиями еду, всех обыскиваем... Вас много в лавке было...

— Ищи, пожалуйста, ищи!

Верблюда посохом по ногам слегка ударил, опустился верблюд на колени. Юсуп слез и с готовностью подошел к купцу, раскорячивая по-пьяному ноги. Глаза черные лучистые, открыто на купца глядят. Лицо добродушное, доверчивое, бороденка хохолком — дрожит.

— Пожалуйста, ищи. Не брал...

Стали обыскивать. Халат растегнули... И вдруг...

— Ой, алла, алла!.. — за пазухой часы.

У киргиза глаза широкие, рот открылся, замер киргиз... И, схватившись

за голову, закричал упавшим, рвущимся голосом:

— Вой-вой-вой!.. Не брал!..

Торгаш на всю степь взревел:

— Ребята, вяжи!.. В тюрьму его!..

Вмиг месяц колесом по небу завертелся и упал, серебряными нитками осыпались звезды, небо почернело, всколыхнулась под ногами степь.

Бросился Юсуп на колени, скривил свой старый рот и заскулил жалобно. И не знал, не видел из-за слез, куда ползти, кого молить, где торгош, ласковый его друг.

— Ой, не надо тюрьма... Ради бога, не делай... Ради бога... Чего хочешь, проси...

Взял купец верблюда, велел пригнать на заре трех лучших игреневых жеребцов. И с честью возвратился восвояси.

III. Тавро

Купец Неправедный, рода крестьянского, в молодости пастухом был, из Монголии гонял хозяину овец.

— Я умный, — хвастался он, — богатым буду обязательно.

И верно. Разбогател — распыхался вскорости.

Народ говорил про него:

— У этого рука не дрогнет. Он крест сбросил, а совесть-то пяткой приотптал.

И задумал он в Кобдо ехать, там орудовать.

Приехал, лавочку открыл, руки загребущие расставил, хайло свое, рот щучий открыл широко.

Но рыба ловилась все мелкая, осетры к другим торговцам плавали, и ему стало завидно.

— Это что за дела, — как-то сказал он в Иркутске, в клубе, сидя в компании кушцов, — вот кого ежели б по башке шкворнем съезанить да капиталом завладеть.

Кушцы возмутились:

— Негодяй!! — И немедленно спустили его с лестницы.

Почти в одно время с кушцом Неправедным поселился в Монголии, в городе Кобдо, тихий монгол Раптан, торговый человек. Он старик, ему восьмой десяток идет. У него три сына, два внука. Все вместе торгуют, одним живут домом.

Раптан старик хороший, норовит по правде торговать.

Подружился он с Неправедным, в гости ходит, к себе принимает.

Неправедный тихоней прикинулся, ласково обращается с монголом и со всей его семьей. Дружба завязалась тесная.

Говорит как-то Раптан другу:

— У меня душа не на месте. Я из Китая удрал, кредиторам много должен. Как Большой Кулак бушевал в Китае, у меня три магазина разграбили. Я и удрал сюда. Вот расторговался.

Год за годом протекли, десять лет прошло. В дугу согнуло время старого монгола, плохо видеть стал, плохо слышать стал, и день и ночь богу молится, готовит себя к смерти.

А друга своего первого, русского купца Неправедного, не забывает: и у него гостит, и к себе часто зовет, угощает его, подарки делает — то коров пригонит, то бегунца саврасого подарит, то пришлет купеческой жене куска два китайской чесучи.

Живет старик спокойно, прежние кредиторы потеряли его след, все пути к нему поросли бурьяном.

И вдруг напасть... Из Китая беда идет, нищету тащит за собой на веревочке.

Пришел к старому Раптану монгол и говорит:

— Ой, Раптан, берегись. Тебя ищут, тебя завтра схватят, все возьмут: чиновник в очках из Китая едет долг с тебя получать.

Раптан не сразу понял: и раз и другой переспросил гонца. А как понял, — запатался, на пол сел, в глазах темный песок, в груди льды идут.

— Я никому не должен. Я им был должен, трем купцам. Но у меня все разграбил Большой Кулак. Пусть с грабителей ищут, пусть с правительства требуют. Я не должен.

И мрачный, опираясь на костыль, побрел к своему другу купцу Неправедному.

Пришел и тихим, старческим голосом говорит ему:

— Вот ты умный, все законы знаешь, все порядки знаешь... Ты добрый, ты друг. Научи, что делать. Защити.

Еще что-то сказать хотел, но запрыгали губы, пропали все слова, слезы полились. Лицо застыло, потеряло жизнь. Слезы льются из запавших черных глаз, а лицо спокойно. Голова низко опущена.

Страшно сделалось купцу, жалость большая родилась в сердце. Говорит купец:

— А очень просто... И ни черта не получат...

Поднял старик голову:

— А как, друг?

Купец по комнате похаживал, красную бороду утюжил, что-то обдумывал.

— У тебя сколько голов скота?

— Верблюдов сто, быков две тысячи, лошадей с лишним тысяча, овцам счету нет... Забыл...

Сел купец, цепочкой играет на толстом животе, на лбу пот выступил: жарко.

— А очень просто! — крикнул он, хлопнув монгола по плечу. — Слушай! — глаза пошли искрами.

Монгол рот разинул, благоговейно руки сложил: вот мудрость божия польется из уст купца.

— Сейчас же кледи на весь свой скот мое тавро, мою мету. А на подмогу я приказчиков пошлю, к утру все оборудуют.

— Так-так... — кивает головой монгол.

— И скажешь, что скот не твой, а мой...

— Так-так...

— А сколько у тебя товару?

— Тысяч на двести серебром.

— Скажи, что и товар не твой, а мой... Я завтра для отвода глаз и в лавку твою сяду. А ты мне вексель выдай на двести тысяч серебром. Понял?.. Так чиновник и уедет не солоно хлебавши, — поговорка у нас, русских, такая есть... А я тебе все потом верну. Не сомневайся...

Старик встал, опираясь на костыль, низко-низко купцу поклонился:

— Мы тебе верим... Мы тебе верим, друг, Ван Ваныч...

Прошло два дня, томительных и длинных.

У стариков время быстро летит: день за днем, неделя за неделей, — глядь, и год прокатил.

Но эти два дня старому монголу показались вечностью. Душа начеку была, вся преображенная, насторожившаяся до предела: словно старик переходил по тонкой жердочке через пропасть, а жердочка гнется — вот-вот слетишь... Ему и по земле-то ходить горе, а тут приказано идти по тропинке зыбкой.

Жутко старику.

И началась у него новая жизнь: вышел в поле, с пастухами своими живет, свой скот, меченный новым тавром купца, караулит.

А купец в его лавке сидит, торговлю ведет, ждет китайского, в очках, чиновника. Три хозяйских Раптановых сына — вроде приказчиков, тут же в лавке, робкие, прихлопнутые горем, как капканом зайцы.

В полтретьем дне — хватя! — обломилась жердочка.

Охнул старый монгол, затрясся весь: как волк перед овцой, вырос перед ним в желтой кофте чиновник.

— Я знаю, ты — Раптан, из-под Калгана, ты торговый человек, большой должник. Ты богатый. Суд постановил взыскать с тебя долг.

Вдруг душа монгола выпрямилась, взмахнула крыльями.

Твердым голосом сказал монгол:

— Да, я Раптан, честный монгол, старик. Я был богат. Теперь я беден, как после стрижки овца.

— Что-о-о? — грозно протянул чиновник. — А это чье стадо?

— Это стадо хозяйское, русского купца. Поди, справься... Вот тавро его, иди, смотри. Весь скот его. Я служу в пастухах.

Удивился чиновник, сухие губы зло кусает, очки сорвал, опять надел, кашлянул и сердито повернулся так быстро, что шелковая коса его больнохватила старого монгола по лицу.

Потом чиновник бежал в лавку, бежал в дом к купцу Неправедному.

И ничего не получил.

Купец на славу угостил его тремя щами, тремя кашами — рисовой кашей с маслом, рисовой кашей с миндальным молоком, рисовой кашей с черной ягодкой.

Три наливками поил самодельными, пахучими, прямо с погребца принесла сама хозяйка. Холодные наливки, а огоньком веселым окатили-обо-

жгли китайское сердце. Китаец то плачет, то смеется. Ему жалко с русским купцом расстаться, уж очень хороший человек, жаль, жаль... Плачет китаец, разливается, очки уронил, подымать стал — упал, лопнули очки...

Купец с ним по-монгольски прекрасно говорит. Раптана ругает: «Мошеник!» — его, купца русского, тоже нагрел старый плут. Раптан выдал вексель на двести тысяч серебром, а в лавке его и на сто тысяч товару нет.

Говорит так, вексель китайцу в нос сует, а сам смешливо кричит по-русски жене:

— Ожарь-ка, Мавра, этой образине собачью ногу... Слопает...

Так ни с чем китаец и уехал. Даже собственных очков лишился...

Месяц прошел, другой прошел, прокатился год. Купец все время твердит Раптану:

— Ты ему не верь: он караулит. Они, китайцы, хитрые. Подкараулит, да все и отберет... Еще надо помедлить. Пока паси мое стадо, а я буду торговать...

— Это, друг, мое стадо...

— Ну, ладно, там видно будет.

Но сыновья и внуки рогатать начали:

— Иди, проси купца. Теперь ничего, опасности нет. Поблагодари нашего друга, успокой, пусть о нас не заботится...

Надел старик свой новый синий шелковый халат, большие круглые очки надел, взял две ценных вазы, еще ларчик взял из слоновой кости, золотом и серебром его наполнил. Сына своего старшего захватил с собой.

Пошли.

И опять почудилось старому монголу, что он идет через пропасть по тонкой скользкой жердочке, а все небо закрыла желтая туча, и будто гром рожочет: «Как дойдет Раптан до пропасти, гряну молнией и поражу».

Говорит монгол сыну:

— Ох, что-то мне неможется. Возьми меня под руку — упаду.

Кой-как пришли.

Старик отдышался и торжественно сказал купцу:

— Вот мы хотим благодарить нашего друга. Мы принесли тебе дары. Прими от нас наши дары, и да сохранит тебя бог со всем твоим домом.

И старик упал вместе с сыном купцу в ноги. Принял купец дары, сказал:

— Спасибо...

Хозяйка унесла дары и заперла в кованный большущий сундук с тремя замками.

— Теперь, друг, позволь тебе напомнить о моем векселе. Ты забыл... Но это ничего, у тебя дел много, забыть легко. Вот мы просим тебя, верни...

Взвилась-вздыбилась купеческая мохнатая душа... Вылупил купец глаза, выбрал в грудь воздух побольше и, ткнув в дверь пальцем, гаркнул:

— Вон!! Вон!! Все мое — и скот и лавка! Вексель я протестовал... Все мое!! Вон!!

Часто-часто замигал старый монгол, торопливо попятился от своего друга, что-то хотел крикнуть, но, видно, пришел конец, взмахнул руками и

грохнулся. Умер старик.

Осиротели дети и внуки Раптана.

То тот, то другой из них заходил к купцу Неправедному. Он их в дом уже не пускал, разговоры вел на крыльце.

— Мы, друг, думаем, что ты пошутил... Мы, друг, разорились. Нам нечего есть... У нас жены, дети, у нас старая мать... Пожалей.

Но купец и не думал жалеть: сердце его твердое.

Искали они правды — нет правды нигде. В суд подали — нет в судах правды, консулу челом били — правды не нашли.

Последний край пришел: целой гурьбой, все до единого, ввалилось во двор семейство старика Раптана и подняло гам, как на отлете птицы: бабы воют, плачут ребята, мужчины стоят суровые и молча ждут.

Вышел купец.

Все зараз закричали:

— У тебя камень, а не сердце. У тебя змея в груди. Ограбил. Ограбил. Ограбил... Не уйдем отсюда... Убивай!..

Купеческое сердце растаяло:

— Ну вот что, ребятунки. Мне вас жалко. Я вам работу дам... Кто помоложе, пусть мои стада пасет, жалованье положу хорошее... А вы трое будете у меня вроде возчиков: мой товар в Русь повезете.

Долго монголы плакали.

А купец в благоденствии до седых волос дожил. Денег невпроворот у него. Дела идут хорошо. Он иногда любил похвастываться:

— У меня есть тридцать верблюдов. И ежели я все свои дела прикончу, все обменяю на серебро — дык мне на своих верблюдах этого серебра не вывезти в Русь, не упоместить... Вот как бог помог мне, царь небесный, батюшка.

IV. Живые мешки

Еще недавно город Кобдо китайским был. Китайцы большую торговлю вели с монголами, большие магазины имели в Кобдо. Русские тоже торговали.

И вот между китайскими и монгольскими купцами завязалась однажды жестокая распря, войнишка началась — чего-то не поделили торгаша: монголы стали китайцев колотить, жечь и грабить китайские товары.

Тяжелое настало для китайских купцов время.

К русским друзьям своим, к русским купцам обратились за помощью: купите наши товары за бесценок. Укройте нас.

Русские возрадовались.

Кровь рекой течет по улицам, дым клубится, раздаются вопли, гремят выстрелы — ад сошел на землю.

А русским любо. Русский купец шире расправляет свой карман, черным вороном кричит, зорко высматривает пададь.

Как-то ночью, весь в слезах, весь в страхе прибегает к русскому купцу китаец.

Пал перед ним на колени, у ног ползает, сапоги смазные целует и не может слова сказать, языка лишился.

Купец знает, в чем дело. Купец ласковый.

Это его друг, богатый китаец Чанбо, миллионщик.

Подымает его с полу, усаживает в кресло, воды принес, папироску предложил.

— Ты что, друг?

Как грянет на улице пушка, как привскочит до потолка китайский купец, миллионщик Чанбо.

— Ой, друг... Пожалуйста, пойдем ко мне. Тебе бог поможет. Спаси, умоляю...

— Идем, — сказал купец и тяжело вздохнул.

Добрый был. Китайцы и монголы уважали его. Истово на образа перекрестился, крикнул жене:

— Благословляй!

Молодая жена — в слезы.

— С нами бог, — сказал купец и быстро вышел с китайцем Чанбо на улицу.

Жена за ними:

— Степа! Не ходи... Пусть Чанбо у нас сидит...

— Пошла к ляду, дура!.. — зло купец отвечает ей. — Торчи дома, карауль ребят... Нас не потрогают...

Чанбо по-русски немного понимает: выграла душа его, на купца, как на святого, смотрит, в ноги ему бух, опять смазные сапоги целовать начал, купчихе кричит:

— Бабушка, бабушка!.. Пасибо...

И оба побежали дальше.

Тьма была. Только справа стояло зарево от горевшей башни. Слышались отдельные выстрелы. Издали доносилось тысячеголосое галденье китайских солдат.

— Много ваших войск-то? — прошептал купец.

— Много, — тихо ответил китаец.

— А чья возьмет?

— Пожалуй, нас перережут...

Китаец тащил купца за рукав. Во тьме наткнулись они на что-то, и оба упали.

— Это наши убитые, — прошептал китаец, захныкал и запричитал. А купец перекрестился. Опять пошли. Звуки крепи. В воздухе пахло дымом, порохом.

Навстречу поналась целая стая собак. Они выли, подлаивали, щелкали зубами, грызлись, невидимыми клубками катаясь по земле.

— Входи, — сказал китаец.

Они вошли в калитку глинобитной, выходящей на улицу стены. Фанза китаец, склады и лавки стояли в глубине огромного двора.

Вдруг китаец остановился. Остановился и купец. Замерли. Кто-то хрипит во тьме.

Китаец ухнул, завопил:

— Зарезали... Брата зарезали...

Но нет!.. Знакомый слышится зов:

— Чанбо! Чанбо!.. Иди скорей...

Бросился Чанбо своему юному брату на шею, а тот говорит цепенеющим от страха голосом:

— Двое врагов были. Мы с приказчиком отстреливались. Приказчика зарезали, ушли... Грозили вернуться. Я боюсь, Чанбо... Чу, как хрипит приказчик... Боюсь...

— Не бойся, — успокаивает купец, — при мне не имеют полного права тронуть... — Говорит так, а сам тоже не может зуб на зуб попасть.

Все трое вошли в фанзу. Огонь зажгли.

— Со мной не потрогают. Нам, русским, монголы заявили: кто боится — уходи за город. Кто не боится — сиди на месте: русским никакого худа не будет.

И не успел сказать, как шум на улице послышался, загалдели люди, близко где-то затрещали выстрелы.

— Идут!!

Заметались братья, не знают, что делать, куда укрыться.

— Полезайте на всякий случай в лавку, заройтесь в товар.

Но там одним китайцам страшно.

— Тогда айда в мешки! Мешки пустые есть?

— Есть.

Два больших мешка живо притащили, сели в них, купец прочно завязал каждый мешок и поставил в угол.

— Сидите смиренно, скажу, что это мои мешки с верблюжьей шерстью. Только ни гугу. Не шевелись!..

А в сердце купца уже вступила соблазнительная алчность.

«Нет, нет...» — зло отмахивается купец.

Рев все ближе. Рядом. Отдельные выкрики ясно слышатся.

Купец выбегает с фонарем на крыльцо.

— Эй, что надо?! — кричит ворвавшимся во двор монголам.

Тех много. Факелы в руках. Возбужденные, в зверей обратившиеся, пьяные кровью, бегут шумной ватагой к крыльцу.

— Что надо?! Стой!! — нарочно по-русски кричит купец.

Бегут к крыльцу, галдят, сверкают большими ножами, ружья наготове, дубины подняты.

— Ты русский? — крикнул один из них, подбежав вплотную.

— А ты не видишь? — по-монгольски строго говорит купец. Растаял в сердце страх.

— Не видим... Темно... Где Чанбо?

— Нету.

— Врешь!

— Нет, не вру!!! — сердится купец. — Товар не смей поджигать: мой товар. Все кушил я!.. Русский!.. Я!!!

Остановились.

— А то казаков кликну своих. Русских! Солдат!

— Мы тебя не тронем. Товар твой не тронем... Мы китайцев режем... У нас война... Где Чанбо с братом?..

И хлынули в дом. Купец за ними.

«Убей...» — соблазняет купца алчность.

Купец молчит, тяжело дышит... Лоб холодным потом покрылся, замораживает сердце.

Толпа по закоулкам в лавке шныряет, в сундуки заглядывает, а на мешки внимания не обращает.

«Убей, убей. Все твое будет», — неотвязно мерещится купцу.

— Мое!..

Не то крик вырвался, не то зарницей мысль стегнула в ошалелой голове купца.

«Война все простит, все покроет...»

Черный свой голос, задыхаясь, подает купец:

— Чанбо нет, брата его нет. Слышите?!

Обомлевшие китайцы, едва дыша, богу молятся, русского друга прославляют и радуются последнему своею страшной радостью.

— Слышите?! Чанбо нет, брата его нет: они далеко убежали...

А сам мигнул монголам и предал китайцев твердым жестом недогнущей руки.

Два кривых ножа сверкнули, два ножа кровью обгарились... Не стало братьев.

А купец?

Купец всю эту ночь, как ушли монголы, на верблюдах китайский товар к себе возил. Весь следующий день возил. Всю неделю возил.

Он молчал, ни с кем не говорил, только рукой указывал. Как кончил с товаром, пить стал.

V. Гнус

Был купец, по прозвищу Гнус.

Лицом курносый, борода лопатой, глаза яблоками, на лоб вылезли, наглые. Корпусом толст, голосом зычен: как гаркнет в поле — лошади парохались в стороны.

А удал в нем степная, дикая: скакать бы ему на бешеном коне по полю, глушить бы проезжих с товарами ямщиков, чиновников, купцов.

Да так оно и было.

Ведь черт его знает! Ведь горы золота нажил человек, а любил, бывало, пошлать темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побарантчить. Видно, кровь в сердце кипучая была. Подобрал себе шайку отпетых и стал с ними по горам гулять. Удали через край в Гнусе, а скупость сказочная. Несколько лавок у него. Весь округ должен ему.

Долги собирал он натурою: возьмет у калмыка телят двадцать за долг, за какие-нибудь двадцать кирпичей чаю, по рублю кирпич, да и скажет ему:

— Ты, друг, оставь телят-то у себя. Где их буду пасти, у меня земли нету.

Калмык пасет их год, и другой, и третий. А потерять или продать — не смеет: телята все купеческим, Гнуса, клеймом мечены.

На третий год посылает Гнус подручного и берет своих трехлетних быков.

А калмык по простоте душевной думает:

«Все верно, все так... Теленок был, бог растил — бык стал...»

Как-то монгол задолжал Гнусу целковый. Хорошую у него трубку купил. Монголу без трубки нельзя, как красавице без румян. Бедный, немущий монгол.

Гнус сказал:

— Вернешь мне через год за целковый пять шкур сурка: процент на тебя накладываю.

Монгол с процентом очень хорошо знаком: монголы купцами обучены, процент вот где у них сидит, ради процента — чтоб его шайтан съел, — все они и бедные, и живут по горло в долгах, в кабале вечной.

И случилось так, что у монгола не оказалось к концу года лишних шкур: на сторону продал, повинности справил, семью кормил в голодный год. Уплатил всего две шкуры.

— На будущий год уплатишь мне две овцы и три шкуры. Процент накладываю.

Монгол отлично понимает, что такое процент, тяжело вздохнул монгол, но делать нечего.

Вот и второй год кончается. Дела еще хуже идут. Одну овцу притащил.

— Теперь ты будешь должен мне годовалого бычка и пять овец. Теперь все дорого, доставка дорогая. Большой процент накладываю.

До пяти быков дошло дело, до пяти верблюдов. А каждый верблюд сотню рублей стоит.

И век бы сидеть в неоплаченных долгах монголу, да догадался, умер. Процент сгубил молодца.

А и всего-то трубку купил, вещь малую.

Но были случаи и почернее.

Лихие молодцы киргизы. Но и Гнус охулки на руку не положит.

Завел себе весь наряд киргизский: малахай бархатный с лисьей выпушкой сделал, чатпор березовый вырезал — такую палку, с корневищем на конце, трахнешь по голове — череп, как арбуз спелый, разлетается! А конь у Гнуса — черту брат: ветер нипочем ему: что ветер! — стрелу певучую обогнать может. Гнус атаманом стал.

И никто об этом не догадывался. Только ночь темная, да широкая степь, да горы знали. Да еще те, несчастные... Но те слова не вымолвят, немую жалобу с собой уносят в землю.

Надумал Гнус караван с серебром обогнуть: серебра в Монголию идет много, в слитках, серебро там ценится.

Издали начал выслеживать Гнус, за границу проводил, в Монголию. Там степь, жилья нету, кричи сколько хочешь, плачь, умоляй — степь все выслушает скорбно, но защиты не даст.

Идет караван степью и не чувствует беды. А беда по пятам крадется,

жметя у гор, серая, как серый щебень — курум.

Идет караван ходко, но и солнце не дремлет, книзу катится, вот-вот съедет на сизые хребты. Караван торопится: в степи воды мало, надо у речки ночевать, а до речки десять верст.

Как пал сумрак, говор речки послышался. И люди, и лошади обрадовались: отдых.

Не успели еще коней выпрячь — вихрем налетела шайка... Арканы в ход пошли, руки ямщикам вязать начали, конвойных смяли, — много ли их, всего три человека. Один сопротивляться стал...

И быть бы злу великому, но кто-то помешал: то ли казаки из Кобдо в Кош-Агач почту везли, то ли знакомый купец ехал — гикнул Гнус, и вся его ватага умчалась в горы.

«Сорвалось», — сердито думает Гнус, губы себе в кровь искусал, коня взмылил и долго, ругаясь, грозил кулаком золотому огоньку, что робко замингал у речки.

Этим дело не кончилось. Начальство узнало, кликнуло клич.

— Ребята! Кто желает разбойников ловить? Кто хочет получить награду? Шаг вперед!

Выискалось двадцать пять казаков, двадцать пять отпетых голов. Снарядились, поехали чуть свет в путь-дорогу с казацкой песней, с бубнами. Лихо кони мчат, лихо скачут: степь ровная, с гор прохладой веет.

К горам подъехали казаки, в балку заглянули — пусто, в долину речки заглянули — нет следов, дальше поехали, песни не поются, смолкли бубны. Тихо едут, слова не проронят: как бы не спугнуть врага.

Вот и дню конец, а казаки еще и привала не делали, утомились, по сухарям соскучились; лошади похрамывают, корму просят.

Остановились на ночлег.

Гроза надвигалась. Сумрак наполнил степь, скрыл горы. Вдали безмолвно играла молния: вспыхнет там где-то за хребтами, потрепещет над варут всплывшими из мрака вершинами и тихо погаснет.

— Дождь будет, — сказали казаки и быстро палатки раскинули.

— Гроза идет, — сказали казаки, поужинали, чаю кирпичного напились и завалились спать.

Гроза надвигалась.

Две грозы надвигались на казаков. Светлая гроза, с молнией и ливнем. Черная гроза — Гнус, душа коварная.

Карауль, сторожевой казак, карауль!.. Черная гроза — опасная.

Сторожевой казак, Петр Байкалов, боится небесной грозы, его громом в детстве еще оглушило. Стоит Байкалов, молитву шепчет, винтовку дрожащей рукой поглаживает, собирается старшего будить. А старший злой: Байкалов и его боится, и грозы боится, не знает, как быть.

Гроза надвигается быстро, ветерок впереди нее идет, разметает степную дорогу, вольную.

Байкалов к самой палатке подошел, а войти не смеет. На небо опасливо смотрит, как бы оттуда стрелой гремучей не пустили. Небо огнем кроется,

взрапивает казак, крестится:

— Свят, свят, свят.

Гром глухо стучит и рассыпается по горам горохом.

Тьма. Ветер травой шуршит, ветер палатку треплет, стал накрапывать дождь.

Тьма густая, предательская. И ничего-то в ней не видать, ничего-то в ней не слышать: лишь сухая трава шуршит.

Эй, смотри, казак!.. Как блеснет молния — смотри!

Товарищи храпят, пуце всех старший храпит и что-то во сне бормочет. И чует казак, две грозы идут; вторую, черную, сердцем чувствует, защемило сердце тоской...

Крестится казак:

— Господи, спаси... Чего-то чижало...

В небе молния золотой веревочкой с краю в край стегнула, засняла степь, гром ударил близко... Байкалов проворно залез в палатку и с головой шинелью закрылся.

Эх, казак, казак...

Шорохи по степи ползут, много шорохов...

То не дождь ли льет-поливает, не град ли барабанит по земле?

Нет, не дождь... Нет, не град...

Шорохи крепче, сильней. Это смерть по равнине хлещет.

Две грозы грянули враз над казаками. Гроза огненная грохотом все заполнила... А черная гроза с лешевым гиком и посвистом мертвой лавой пронеслась: три тысячи бешеных коней во весь опор проскакали по спящим казацким телам.

Одну слякоть оставил от казаков Гнус, душа звериная.

Далеко стегнула по Алтаю Чуя, священная река!.. Бурлит по крутому склону, вся седая, вся косматая, ярко камни точит, грозит своим гневом человеку. Стой, Чуя, стой!.. Глади — восход стал розовым... День идет, день идет, ночь кончилась... Еще немного — и твои волны запоют иные песни и будут сказывать новые были, светлые и радостные. Да не повторится прошлое, да не затмит оно грядущего дня. Эй, останови, Чуя, гнев свой, не точи яро камни... Милости, Чуя, священная река; больше милости!

1914

СУД СКОРЫЙ

Во время обеда, когда изрядно «на радостях» подвыпили, Борька, между прочим, сказал:

— Ребята!.. А знаете что? — и обвел всех смеющимися полупьяным взглядом. — Давайте-ка завтра тунгусов судить. Идет?

Верзила прохрипел :

— Идет... Это мы можем. По тунгусам я хаживал... Всякие явления пустить могу.

Долго сговаривались, как это все устроить, шумели и пили вино, обдумали все, как следует, хохотали и пели, целовались и ссорились, мирились и плакали, жаловались друг другу, как скучно жить, как тяжело жить, и, если бы не вино, надо б лезть в петлю, вино все уносит, вино дает покой человеку, а потому надо пить, и пили, и плакали, и ссорились, пока наступил рассвет.

Василий — тунгус богатый. Он взял пять мешков муки ржаной, два мешка белой, сколько надо сахару и чаю, сукна и кожи, дробы, свинца и пороху, немного вина, две горсти конфет, бисеру и ситцу, заплатил за покупку тысячу белок, двенадцать сохатин и остался должен сто рублей и пятнадцать копеек. Но Гришка — человек ласковый, он пятнадцать копеек скопил и еще подарил вдобавок тунгусу очки, а его бабе маленькое зеркальце.

Оба, муж и жена, остались очень довольны. Тунгуска гляделась в зеркало, а у нее напереерыв вырывали его из рук ее дети, тоже гляделись, хохотали, все враз тараторили, тыча пальцами в волшебное стекло и строя гримасы.

Василий, в очках, часто мигал глазами, и, улыбаясь, вопросительно говорил:

— Однако, хорошо видать?.. А то глаз худой стал, совсем моя слепился, белка мимо маленько стрелят...

Он выбегал в тайгу, к реке, смотрел на противоположный берег, на бледные огоньки летних северных звезд, чмокал губами, крутил головой и, хотя ему ломило глаза, он, войдя в избу говорил радостно:

— Однако, лучше?.. Совсем близил...

— Приближает?

— Би-ли-и-зко...

Он выпил водки, напился чаю, закусил и чувствовал себя хорошо.

Старый Унекан был несговорчив и зол. Ему ничего пока, кроме водки, покупать не надо: у него запас дома хороший. Он принес пятьсот белок и двух чернобурых лисиц. Триста белок он уплатил за старый долг покойного отца Конго, двести — променял на серебряный для Чочак пояс.

А вот лисиц хотел продать, но Гришка мало дает.

Старик деньги любит, особенно серебряные рубли, звонкие, круглые, большие. У него их много.

Вот и теперь надо бы побольше взять у торгового этих рублей да за-

рыть их в тайге, под колодиной: пригодятся... как не пригодятся, конечно, пригодятся: помрет — Чочак оставит, Конго оставит, оба бедные, ничего нет у них, а он их жалеет, пуще себя жалеет, но Гришка, бессовестная рожа, совсем неподходящие речи толкует, смеется, волчья душа этакая, скалит зубы да и на!

Унекан просит по сто рублей за лисицу и десять бутылок вина, а Гришка дает пять бутылок вина и по три рубля. Старик кричит, спорит:

— Больно дешевила, друг... Пошто так...

— Как хошь, не надо...

— Пошто не надо?.. Надо! Шибко хорош, бери... Пасибо толковать будишь... Бери!

Но Гришка и слушать не хочет. Он встал и, громко засвистав песню, пошел в амбар.

— Готово али нет? — спросил он Борьку.

— Готово.

Еще громче и удалей свистя, он трусцой бежит в избу и говорит приторно-взволнованным голосом:

— Вот что, дружки... Судья скоро приедет сюда. Всех тунгусов судить будет.

Конго и Василий встали с мест, так перепугались. А старый Унекан, выдавший виды, спросил насмешливо:

— Какой судить?.. Чего мелешь?..

— А вот увидишь. Плыли мы вчера, обогнали его, верхом на лошади едет. Большой начальник...

Но Унекан не унимался:

— Чего путал... Вчера нету было, сегодня есть?.. Врал!.. Какой лошадь, сроду нет...

Гришка опять вышел, тунгусы же все сразу что-то заговорили, к ним пристала баба, зашептались и завсхлипывали ребята.

Унекан кричал громче всех, размахивал руками, зло выколачивал о скамейку свою медную трубку, бил себя в грудь, и сквозь тунгусский гул голо-сов раздавались русские слова:

— Мошеник... Плут... — Начальник надо толковать... В избе никого, кроме тунгусов, не было. Рабочие топили баню.

Вдруг раздались один за другим два выстрела. Эхо покатилося по тайге. Потом явственно зазвенели бубенцы, опять прибежал Гришка и крикнул тунгусам:

— Ребята, выходи!

Все вышли, кроме Унекана, и остановились у избы, а Унекан прильнула к окну и смотрел с любопытством, что будет дальше.

Бубенцы слышались все яснее и яснее. Опять раздался в тайге выстрел. Сквозь деревья замелькал движущийся огонек, ближе, ближе, что-то храпело там и фыркало. Наконец, показался верхом на лошади человек. Лошадь кто-то вел в поводу с зажженным факелом.

Гришка возился около амбарчика, торопливо втыкая в землю две пал-

ки. Воткнув их, он подпалил, ухмыляясь, ниточки. Вдруг вспыхнуло пламя, зашипело и двумя Огненными хвостами шаркнуло в небо, загрохотало в вышине, рассыпалось в падучие звезды и растаяло.

Тунгусы попятились назад, хватаясь друг за друга; старый Унекан отскочил от окна.

Всадник подъехал в тунгусам и заорал зычным голосом:

— Здорово, орда!

Все стояли, раскрыв рты, мjali в руках камзолы и, пораженные, глядели и на невиданную здесь лошадь, и на огромную, всю усыпанную крестами и звездами, фигуру всадника,

На голове Оглашенного был надет, ручкой вперед, эмалированный горшок, отчего одутловатые щеки его еще более раздались в стороны, а усы грозно были опущены книзу.

В ручке посуды, как кивер в каске, была укреплена сделанная из конских волос якутская махалка от комаров. Через плечо, по солдатскому мундиру, повязан синий шарф, а сверху него, на груди лежала вырезанная из жести цепь, с большим посредине крестом.

Оглашенный был пьян, он сидел на лошади криво — одна нога выше другой — и держался обеими руками за гриву.

Рабочие стояли и улыбались, некоторые начали острить.

— Никак кобыла-то под хмельком, седока-то не сдержит...

— Сдержит... Не брякнись, Оглашенный: тут коренья... Держись за хвост...

Гришка что-то шепнул им, они замолкли, и все, как один, сняли с голов шапки, переглядываясь друг с другом.

Затем Оглашенный, Борька и Гришка зашли в избу и сели за стол. По углам стола горели четыре свечи, вставленные в подсвечники из ножек дикого оленя, под потолком висела зажженная лампада, в избе было светло и жарко.

Рабочие жались у печки, курия и плюя на пол, скалили тихомолком зубы, а некоторые дремали.

Тунгусы, выстроившись в ряд, почтительно стояли, ожидая грозы.

На столе книга, оракул, единственная в стане.

«Закон», — думает Унекан, глядя на потрепанную книгу, и, ткнув Конго в бок, шепнул ему:

— Закон.

Оглашенный засопел, закашлялся пропойным кашлем и принялся чихать.

Тунгусы кричали:

— Здоровья пуще, батюшка, здоровья пуще...

Оглашенный бодался, махал рукой и, весь от напряжения и водки красный, чихал и чихал, колебля пол.

Наконец, сказал:

— Который есть тунгус Унекан?..

Старик сделал шаг вперед и твердо ответил:

— Я.

— Ты?

— А кто же боле?.. Я..

— Который есть на лицо тунгус Конго?..

Унекан потянул за рукав Конго, тот робко шагнул вперед, встал рядом со стариком и, поглядев на ноги, ровно ли стоит, боязливо, робким голосом, не поднимая головы, ответил:

— Моя налсо..

— Т-э-к-с, тэк-с, тэк-с...

— А для чего у тебя на морде дуля?

Конго стоял, красный и растерянный, не понимал, что спрашивает судьба, и, поглядывая на Унекана детскими глазами.

Тот дерзко сказал:

— Какой такой дуля?.. Толкуй лучше..

— Молчать!.. — крикнул Оглашенный. И все вздрогнули.

Рабочие, дремавшие у печки, открыли глаза и, поглядев осовелым взглядом, плянули и выругались.

— Пошто молчать?.. Говорить нада... Чево кричишь?.. Слышу...

— Молчать, тебе говорят!..

— Пошто злой... — сверкая глазами, кричал старик. — Чего гаркашь? Не глушился, слышу...

Тунгусы приободрились, шевельнулись, переступили с ноги на ногу, обтирая пот с взмокших лиц.

Унекан опустил на пол, поджав под себя ноги, и говорил:

— Ну, чево дале-то?

— Встать!..

— Ну, ладна... Устал... старик, поди... Обсуждай скорее... Ночь...

Опять поднялся Унекан и стал закуривать трубку.

Гришка нагнулся и шепнул в ухо судьбе. Тот, уставившись на Василья, строго спросил:

— Ты есть тунгус Василий?

— Моя, господин начальник, моя будит, — виновато, глотая слова, ответила тунгус чужим голосом.

— Сколько у тебя оленей, али орон по-вашему, по-тунгусскому?

Тот долго подгибал пальцы рук, шевеля губами: тунго, дюр-дяр, плян-дяр, нямади, да боле, да боле...

Унекан опять дерзким голосом ввязался, вновь, по забывчивости, садясь на пол:

— Тебе коли надо, поди, считай сам... Один бог знат...

Оглашенный привскочил, ударив каблуками в пол, и рывкнул:

— Молчать!.. Встать!..

— Ачать — сать... — всплеснув руками и подпрыгивая, взвизгнула Васильева жена. Рабочие грохнули хохотом и улыбнулся Борька.

— Тебе еще, старому лешему, морда не бита, нет?!

Унекан, шлепая губами и задыхаясь от злобы, стоял к судьбе в пол-обо-

рота и срывающимся голосом через плечо бросал ему острые, крикливые слова:

— Такой закон не есть был!.. Пошто мордам... Кажы такой закон, где?!

— Вот, погоди, я те покажу!

— Ну, ладно, буду погодил, кажы, пожалуйста!!

Гришка опять нагнулся к Оглашенному, опять пошептались. Двое рабочих храпели; тунгуска, сидя с ребятами вдоль лавки на полу, икала и охала.

Оглашенный встал и заявил:

— Суд удаляется в кухню на совещание. По выходе будет объявлен вердикт и сделан перерыв.

И твердой, грузной походкой, задев ногой табуретку, вышел в кухню, притворив за собой дверь.

Он выпил там водки, вытер усы, закрутил их кверху, кашлянул и торжественно направился в ту половину, где происходил суд.

Борька тем временем шептал тунгусам:

— Не бойся, дружки: я заступаюсь.

Между тем суд заставил Унекана отдать пушнину...

В избе было очень жарко и душно, пахло прелью, табаком, потом и винным перегаром. Тунгусы еле держались на ногах, тоскуя по свободе, рабочих не было. У Оглашенного больше и больше наливалась на лбу жила и подергивалась верхняя губа.

— А ты, Гришка, сволочь, — спокойным голосом сказал он вдруг хозяину, когда Унекан убежал за пушниной.

Тот, учуяв в Оглашенном зверя, заерзал на скамейке, посмотрев на брата, сердито нахмурился, но ничего не сказал.

— Ты меня за сколько нанимал в год, а? За пятьсот?.. А?

— После, после... — отвертываясь и избегая страшных глаз, скрипел Гришка.

— После?! — крикнул Оглашенный, и лицо побагровело. — После?.. Когда это — после?? Там пятьсот сулил, а сюда привез, сотню говоришь?!

Конго с Василием удивленно наблюдали происходящее и во все лицо приятно улыбались, прикрываясь ладонями.

Вошел, волоча лисиц, Унекан. Глаза его были хитры и решительны. Он пошептался с тунгусами, указывая пальцем на Оглашенного, посоветовался с ними, поспорил. Наконец, те враз ответили ему:

— Добро... Это ладно...

Тогда Унекан подошел к столу, положил обе шкуры возле Оглашенного, и уже тонким, покорным и занскивающим голосом, сказал:

— Вот, батюшка... Получай, батюшка... Пасибо, батюшка...

Потом тем же тоном, спросил:

— Ты самый большой в городу начальник, али самый большущий есть?

— Есть, брат, есть... Там все есть, там не тайга...

— Есть? Добро, — сказал Унекан и, подойдя к Конго с Василием, подмигнул им: тогда все трое дружно опустили на колени и устремили на

Оглашенного, как на икону в церкви, полные упования и мольбы глаза.

Унекан теперь твердым, решительным голосом, держа сложенные на животе руки начал:

— Судья, батюшка, пиши такой расписка, я толковать буду, ты толкуй большущему, делай милость, толкуй: приказчик самый плут...

— Плут... — испуганно вторили остальные тунгусы...

— Борька самый плут есть...

— Плут...

— Гришка самый плут, борони бог как... все пугал, все врал... Маленько вовсе обижат, мошейник шибко...

Оглашенный захохотал, потрошил себе волосы и сказал:

— Гришка мошейник, дед, это верно... Он, подлец, и меня надул...

— Молчи, тварь!! — зашипел, брызгая слюной, Гришка и ударил кулаком по столу.

Оглашенный едва успел открыть рот, как раздался резкий, словно удар косы о камень, голос тунгуса:

— Сам молчи!.. Что больна!.. — подскочив вплотную к Гришке, кричал Унекан. — Мошейник и есть... Что больна!.. — Все громче и громче звенел его голос, и вздрагивали толстые губы. — В тюрьму сажать надо?! Сам, плут, сиди... обирал больна, богат стал больна, всех тунгусов давил! Вот начальник учить тебя будит, Борьку учить будит... Что больна... Плут!.. Тащи его, судья-батюшка... Пуще тащи!..

— Ха-ха-ха... — деланно и зло захохотал озлившийся Гришка, — дурак, ты, старый черт, и больше ничего... Судья?! Это, по твоему, судья?! На, тебе, судью голоштанную, на! — взвился вдруг и, стиснув зубы, вмиг сорвал с растерявшегося было Оглашенного цепь, кресты, ленты. — Н-на, смотри!!

Вихрем влетела в избу Маша...

Бей его, Гришенька, бей! — и вцепилась в щеку Оглашенного.

Тот качнулся, хрюкнул и, взревев медведем:

— А-а!.. Так?! — опрокинул разом стол и с страшной силой сгреб Гришку за горло. — Будешь?.. — насадиво хрипел Оглашенный. — Будешь тунгусов обирать?!

Тунгусы выскакали в окна, как только началась свалка.

— Убегай, Конго... убегай!.. — не чуя земли под ногами, кричал товарищу Унекан.

В избу ввалились рабочие.

По тайге расстилался поднявшийся с реки туман. Храпела, отбиваясь от гнуса, лошадь, и заливались на разные лады переполошенные собаки.

Конго и Унекан быстро собрали своих восемь оленей, оседлали и поехали в обратный путь.

Василий с семьей долго еще ходили по темным провалам тайги.

— Мо-о-до! Мод-мод-мод... — звенели призывные женские голоса.

НА БИЕ

I

Однажды летом, в середине августа, наш плот, миновав благополучно бушующие пороги красавицы Бии, пристал у лесного кордона, притаившегося среди зеленеющих лесов левого, низменного берега. Как раз напротив, на противоположном берегу, вздымались кверху мощным увалом Ажи — горы. Одетые зеленым ковром сочных трав, с молодым кудрявым березняком по террасам и складкам увалов, эти горы уходили вниз и вверх по реке, видно было, покуда глаз хватал, как то здесь, то там льнули к ним, словно дети к матери, многочисленные заимки. А вот за тем увалом, верстах в трех отсюда, разбросился своими домишками аил алтайца Сурубашкина. Точно с разбегу наскочил на гору, да дух заняло — не добежал до вершины и остановился на поддороге: «хорошо и тут». День был, после вчерашнего дождичка, ясный, солнечный. Все блестело необычайно свежими, сочными красками, точно сегодня законченная, еще не успевшая просохнуть, картина. И гладь успокоенной здесь реки с отраженным куполом голубого неба да зеленеющими берегами, и величественный массив Ажей-гор с игрушечными заимками свободолюбивых староверов — все это, млея на солнце, словно замерло в сладкой истоме, словно молилось без слов, одними, чуть вытнтыми, вздохами да благоуханием каждой былинки и травки.

Мы стояли на берегу и любовались,

— А не худо бы поесть да чайку напиться, — сказал один из нас.

Крикнули рабочим:

— Эй, на плоту!

Те зашевелились, высыпали на берег и стали направлять костры да котелки настораживать. Но в это время к нам подошел господин в форме лесничего и, познакомившись, пригласил к себе.

— Ну, как? Не скучаете здесь? — спросил я.

— Привычка, знаете. А потом, дела так много, что и скучать некогда. Почти все лето в седле: участок огромный, а везде надо побывать — там пожар, там порубка, здесь лес продать надо.

— Кабинетский?

— Да...

— Кусочек добрый.

— Чего лучше. А потом, у меня маленькое хозяйство: коровы, лошаденки, огород. У меня и дыни, и арбузы, и всякая всячина. Вот сегодня «помочь»: траву кошу, сено на зиму заготавливаю. Не желаете ли поглядеть? Картина для вас, горожан, эффектная. Палаша, живо самовар! — крикнул он пробегавшей девке.

— Чичас... — вильнула хвостом, убежала.

Невдалеке, меж редкого молодого сосняка, пестрели яркими цветами группы мужиков и баб — местных черневых татар. Большинство их стояли или, растянувшись, валялись в тени, но, завидев нас, зашевелились, вскочили и с ожесточением принялись махать косами.

— Лодыри. Пока стоишь — работают, отошел — кончено дело... А

вечером все придут водку пить да угощаться; кто вовсе не работал, и тот придет...

Подошли вплотную.

— Помогай бог!..

— Пасибо, пасибо! — все враз крикнули.

Мужики в белых холщовых штанах и рубахах с кумачными выпушками на плечах и подмышками, а бабы либо в ярких ситцевых, либо в холщовых, вроде рубах, платях.

Смуглые, в большинстве чумазые, неряшливые, с черными глазами и волосами, высокие, сильные — они были красивы под лучами солнца и пестрели своими белыми, желтыми, голубыми и красными нарядами, как цветки среди буйной, густой травы.

Постояли, полюбовались. А через четверть часа сидели за самоварчиком и о том о сем калякали.

— А вот не угодно ли яблочков сибирских покушать... только, извините, всего два осталось, — предложила хозяйка и вынула из шкафа настоящие яблоки.

Мы ахнули:

— Как!.. Неужели?.. Сибирские?!

Мы о сибирских яблоках знали только понаслышке. А некоторые сибиряки сибирскими яблоками зовут обыкновенную картошку.

Попробовали. Вкусно.

— Вот с работами мимо пойдете — загляните, — сказал лесничий, — это под Сайдыпом, верстах в пятнадцати от Бии, у Глаголева.

— Непременно. А кто такой Глаголев?

— Старик очень почтенный. Бывший чиновник.

Петр Николаевич, товарищ наш, человек немецкой складки, учинил лесничему форменный опрос относительно глаголевского сада и записал в книжку. Так как мы угостились преотменного вкуса и крепости медовой брагой, языки наши как следует поразвязались, и мы болтали без умолку, подтрунивая над Петром Николаевичем.

А тот потел, фыркал, косясь на нас через пенсне убийственным, с лукавой улыбкой, подслеповатым взглядом, и пунктуально, шаг за шагом, снимал опрос. Когда он дошел до собак и, при всеобщем хохоте, стал записывать их клички, мы поняли, что пора идти спать.

Да кстати и брага в кувшине усохла изрядно.

II

День проходил за днем, мы продвигались с работами версты по четыре в сутки. С каждым шагом перед нашими глазами разворачивались все новые и новые картины, одна другой лучше, красочней.

Когда идешь по незнакомой горной реке, никогда не угадаешь, какую еще панораму она откроет тебе... Ну, хотя бы вон тот зеленый увал, спустившийся в реку, как голова допотопного зверя, поросшая, словно гривой, остроконечным пихтачом.

Смотришь и по аналогии рисуешь себе зеленеющую цветами и травами поляну, виденную раньше вон за таким же увалом.

Подошел, заглянул и ахнул! Опять новое, опять неожиданно-прекрасное, еще не виданное.

Горы свесились тут своими оголенными каменными глыбами и отвесной стеной ушли в воду, а река, торопливо обогнув «носулю» увала, бросилась на эту каменную грудь и, ударившись, рассыпалась белой пеной, захохотала, закричалась под лучами солнца и понеслась дальше, волна за волной, опрокидывая по пути оборвавшиеся с утеса камни. А утес стоит да стоит, улыбается добродушно многочисленными глазами пещер и вымоин, да, словно брови, хмурит он на челе своем морщины, подернутые мохом времени.

А дальше опять анд, за ним покуривающая сизым дымком займка...

Вечерет. Солнце вот-вот спрячется в горах. Понесло холодком. Запахло рекой и пряным запахом хвойного леса.

Плот наш то еле двигается по гладкой поверхности вод, то, попав на стрежь, несется как бешеный.

— Как этот бом прозывается? — спрашиваю лоцмана.

— А кто его знает... Бом да и бом... Быдто прозвищу нету...

— Ну, как нету!... — слышится с гребей.

Говорит бородатый человек в плисовой рубахе, шляпа набекрень. Пришел «с Расей» за счастьем в Сибирь.

— Второй год здесь толкаюсь, по Бие, к татарам поприсмотрелся... Они народ любопытный, у них, мотри, кажинному ручейку, кажинной балочке прозвище дадено, камень, к примеру, весь-то с кулак, шапкой прикрыть, расщерился надвое, вроде вилашек — у них прозвище: «аирташ»; скала ушла в поднебесье, да козырем верхушечка натулилась — у них опять кличка: «карлач уязы» — ласточкино гнездо, значит. Они, брат, все примечают, любят земельку свою, всему названье дают... Как в святцах...

И, вынув из кармана горсть кедровых орехов, погрыз-погрыз да еще сказал:

— А то и песню сложат хорошую... Едет — поет, идет — поет... Что видит, про то и поет: река — про реку, девка — про девку, орла вымотрит — про орла песня сложена. Доброй души люди, что и говорить...

— Что и говорить, — подхватил другой дядя, сибиряк, — с таким народом жить можно... Ничего...

А лоцман спросил:

— Ну, а как же насчет Глаголева господина?.. Пойдете, што ль, по яблоки-то?.. По утру как раз на то место потрафим...

— А далеко до него от берега-то?.. — полюбопытствовали.

— Ка-а-ко далеко, — ответил лоцман, — эдак, как тебе сказать — не соврать, версты четыре либо пять, не боле...

— Ой, больше... Как же лесничий добрый пятнадцать верст считает?..

— Мало чего тебе лесничий наскажет... Поди сам-от и не был там... А я скрозь это место знаю... Зашурясь пройду...

— Не врешь?..

— На вот тебе... Пошто врать, мы не врем... — Обиделся, посмотрел поперх наших голов на видневшиеся вдали бяляки и лоцманским, особым голосом закричал:

— О-о-п!.. Ударь лева-а! Еще раз-о-ок!.. Оп!..

Плот пролетел возле самых бяляков, качнулся, затрепал в связях.

— Надо иматься, однако... темнеть зачало. Чуть было на камень не натакался. Ишь взмыривает, пропастина...

И опять заревел:

— О-о-п!.. Давай к берегу!.. Бей речно!! Бей сильно!!! Еще!! Оп!..

Плот лениво завернул к подрезистому приглубому берегу, и минут через десять мы уже сидели возле костров, кипятили чайники и сговаривались о завтрашней прогулке в фруктовый глаголевский сад.

III

На другой день с полден мы вчетвером направились в экскурсию. Перекусили кой-чего всухомятку, да с тем и пошли, далеко ль тут: час туда, час обратно, да там часа два — к обеду как раз вернемся.

— Так версты четыре, говоришь?

— Четыре либо пять, — откликнулся лоцман.

Поверили: человек резонный.

— Вот я вам все обскажу, слушайте: вот так прямехонько через речонку — курице по брюхо, — Куют прозывается — а там заимка... Как заимку пройдешь, все вправо держись, все вправо — упрешься в гору, а как гору перевалишь, тут тебе и Глаголев господин... Его, брат, сразу узнаешь... Бородица — во, по пояс... Поди сивый стал теперича... По бороде сразу приделаешь, кто таков... Ну, в час добрый... Со Христом!..

Впереди шел Владимир, высокий, лет двадцати малый, с покатыми, как у борца, плечами и в короткой не по росту рубахе, за ним жизнерадостный, коренастый Вася с энергичными глазами и чуть пробивающимися усиками. А мы с Петром Николаевичем плелись сзади. Петр Николаевич был малый добрый, товарищ хороший, но трус, каких мало. И, кроме сего, обладал секретом нагонять тоску даже на самую бесшабашную компанию.

— Василий Петрович, Василий Петрович, — говорит он нудным голосом, — а как думаете, тут есть медведи?

Тот молчит, словно не слышит.

— А, Василий Петрович... Есть?

Чтобы отвязаться, Вася кричит раздраженно:

— Есть, есть!.. Они тут еще с прошлого года вас караулят...

А вот и речка. Поискали-поискали брод — нашли, перебрались по камушкам. А Петр Николаевич — человек упрямый — пошел напрямки. И нам было видно, как он, подобрав полы азяма, скакал поперек речки.

— Гоп-ля... Гоп-ля... Гоп!.. — и как раз угодил в омут, чуть не по пояс. Вырутался, выполз на берег. Сидит, отливает из сапог воду кричит:

— Господа, обождите меня... Я сей-ча-а-а-с...

Дождались, опять пошли. День был пасмурный. Дул ветерок. По небу бежали, торопясь к востоку, низкие облака. Пахло дождем и сыростью. Прошли версты две. А вон и займка. Да не одна, а целых, кажется, пять. Речка, крутясь и извиваясь, опять пересекла нам дорогу, но, славу богу, возле самых займок на нее наложен из двух сплоченных бревен мост. Бревна ослизли, а берега высоки и круты, да и речонка пыжится тут, переливаясь по камням, как и заправская. Хоть страшно было, а перешли, кто ползком на четвереньках, благо займочники не видят, а кто похрабрей — на ногах. Поручней не было. Займочник до этого еще не додумался, а может, нарочно такой мост наладил: мы, дескать, ни в ком не нуждаемся. Да и то сказать: сюда, в этакую глушь, кроме урядника, никто почти из посторонних-то и не заглядывал никогда. А урядник ежели и появится за недоимкой да проползет лишний раз по ослизлым бревнам, эка невидаль! За это ему жалованье от казны идет. Итак, мы возле займок.

IV

— Молодуха, эй, молодуха! — крикнули мы доившей корову женщине. Повернулась, встала. Высокая, статная, с приятным смугло-розовым лицом и бойкими приветливыми глазами.

— А как нам на займку Глаголева пробраться?

— Глаголева? — переспросила она нараспев.

— Да.

— Порфирия Яковлевича, што ль?

— Да, да.

— А вам зачем? — заулыбалась, сверкнув белыми, один к одному, зубами. Мы стояли, опершись на изгородку, и тоже улыбались столь неожиданному допросу. Потом сказали ей цель нашего путешествия.

— А вы кто такие будете?

Опять допрос.

— Мы исследуем Бию: глубины промеряем, планы с порогов снимаем, пробуем, нельзя ль пароходы по реке пустить...

— А-а-а... Водяные землемеры, значит, будете?..

— Вроде этого...

— Так-так... — задумалась.

Тут одно облачко разорвалось надвое, и солнце ленивыми лучами стало заливать, не торопясь, окрестность. Вот вспыхнула серебром речка, улыбнулись белые, чистенькие домики займки, зарделся ярко зеленеющий лес на цепи холмов. И вдруг, что за чудо! Вместе с радостным лучом солнца раздались откуда-то, совсем близко, печальные звуки похоронного пения. Мы вздрогнули, переглянулись, — посмотрели по сторонам. Да, вот оно что! Там, за речкой, в полугоре, стоят в неподвижных, понурых позах люди, человек двадцать. Двое, нагнувшись, копают землю лопатами, а остальные поют да плачут. И чем ярче светило солнце, чем наряднее одевались под его лучами леса и горы, тем безутешнее плакало пение. Баба отставила по-дойник. Мы спросили ее:

— Что это?

— А девочку заимочники хоронят. Луки Митрича дочку... Сгорела вчерась, сердешная.

— Большая?

— Да лет этак десяти поди будет... Ох, родименькая моя, о-о-х... Глашенька ты моя... Ягодка моя борова-а-я...

Женщина заморгала часто-часто, скорбью покрылось лицо ее, засморкалась, прикрылась передником и жалобным голосом запричитала.

Из заимок, то здесь, то там, бежали, ловко перепрыгивая через соседние изгороди, парни и девки, молодые мужики и бабы, а старики со старухами степенно выступали из калиток, и все, с опечаленными лицами, спешили туда, к тому залитому солнцем зеленому увалу, где хоронили девочку.

— Ох, милые мои, побегу... ох, побегу... Ох, Глашенька ты моя...

И, причитая, направилась к калитке.

— Она родная, что ли, тебе?

— Неродная, да лучше родной... Мы здесь — все родные. Пошли рядом с ней.

— Как же сгорела-то она?

— Да как... Знамо, грех! Отец-то с матерью в город за товаром уехали вчерась, — торговцы они, — и посейчас еще нету их, баушка одна слепая. Сами-то не ране как в воскресенье приедут. Ну, а девочка-то, знамо ума нет, разложила костер на дворе, картошку варить себе с баушкой к ужину, а платишко-то у ней возьми да и займись полымем...

Баба засморкалась, сморщилась вся, всхлинула раз-другой и, успокоившись, продолжала:

— Взнялась огнем вся, несчастненькая, да с перепугу, видно, и языка лишилась. Подала голос, когда уж почернела вся... Промаялась ночь-то, а к утру вот и представилась... Ласковая такая да обходительная была. Все заимочники в голос ревели возле нее всю ноченьку... Да где тут... Не свят дух, не поможешь...

— А доктора нет поблизости?

— Како тут доктора, попа и того нет, вишь, сами хороним. Вот батьке с маткой горе-то будет!..

Остановилась, посмотрела на нас заплаканными глазами и сказала:

— А вы вот по эфтой дорожке так и идите, все по закоулку, по закоулку, никуда не задавайтесь, ни вправо, ни влево... Дойдете до Комаровой заимки, а там и к Глаголеву дорогу спросите...

— А далеко еще до Глаголева-то?

— А кто е знат... У нас не меряно... Верст поди с десяток набежит...

— С десяток?! — удивились мы.

— А кто е знат... Може, и мене... Ну, прощайте, пока...

Мы постояли с минуту и пошли дальше.

— А вы яичек свеженьких не купите либо шанежек, — крикнула нам вдогонку и, когда мы отказались, опять прозвенела серебристым голосом:

— Ну, в час добрый!

И бегом — заторопилась к могилке.

V

Пока дорога шла у подножия холмов, по сухому месту, подвигались вперед быстро, но вот, одно за другим, стали попадаться небольшие болотца. Дорога совершенно терялась в них, а для пешеходов по обочинам налажены были, чрез бегущие тут ключи, переходы из жердочек. И, по мере того как болота попадались все чаще и чаще, путь становился трудней. Каждый из нас запасся по дороге хорошим колом и, балансируя, как по канату, перебирался по жердочкам чрез опасное место.

— Гоп-ля, гоп-ля-гоп! — выкрикивал отчаянно Петр Николаевич и на самом вязком месте неуклонно срывался в болото.

Отстал от нас изрядно:

— Эй, господа... я быстро не могу... я человек близору-у-кий...

Приходилось ждать.

А солнышко опять спряталось за тучи, и начал крапывать дождик. На душе стало грустно и от только что виденной картины, и от плохой дороги, и от обложенного свинцовыми облаками неба. Ноги ныли, нервы от постоянного напряжения устали, стучало сердце. А время шло да шло. Уж скоро четыре часа, а займки что-то не видно. Вот тебе и пять верст!.. Стали ругать лоцмана, заочно посылая его ко всем чертям.

— Господа, займка! — крикнул Владимир, шедший сажень в пятидесяти от нас.

— Далеко?

— Нет... Версты две будет... С гаком...

— Тьфу, черт ее задави!..

Идем дальше, ругаемся.

Вдруг залилась собака, за ней другая.

— А ведь мы, господа, верст восемь добрых отбрыкали, — сказал кто-то.

Собаки набросились, точно с цепи сорвались, и, несмотря на окрики и цыканье девчонки, сидевшей под окном домика, они до тех пор насакивали на нас, задрав хвосты и скаля острые зубы, пока не съездили одну из них вдоль спины жердю.

— Девочка, а девочка!

— Ну, чо надо?.. — пропищала та.

— Глаголеву займку знаешь?..

— Ну, знаю...

— Как пройти туда?

— Вон, э-эвона крыши-то выглядывают из леску...

— Тут и есть Глаголев?

— Как бы не так... Нет, брат, до него еще пошагаешь. Это только еще Наумовска займка. Дойдешь, спросишь...

— Как Наумовска, что ты мелешь?.. — возмутились мы, — нам же сказали, что от Бии верст пять до Глаголева.

— Вот те и пять... Нет, брат, пошагаешь... Отседова верстов поди восемь будет...

Мы расхохотались ей прямо в глаза:

— Ничего ты не смыслишь, девахал..

И пошли по дороге вперед. А побитая собачонка изловчилась-таки подкрасться сзади и спаять за ногу отставшего Петра Николаевича. Хамкнула и, поджав хвост, быстро отскочила в кусты. Тот ахнул диким голосом, торнулся носом, вскочил, опять упал и тогда только закричал, как заплакал:

— Господа. погодите... я пенсне обронил...

Но ждать мы не желали.

Вася крикнул:

— Скорее идите... Вы нас погубите... Ночь на дворе, а тут волки бешеные рыщут по болотам...

— Серьезно?! — стонет Петр Николаевичи, не дождавшись ответа, подбирает повыше полы и рысью догоняет нас.

Действительно, стало темнеть: время предосеннее.

VI

Сразу же за займой болота кончились, и дорога, опушенная буйным кустарником, пошла в гору и скоро врезалась в молодой лиственный лес, за которым синели вдали таежные дебри. Шли быстро. Страшно хотелось есть, но желание скорей достичь цели подбавляло нам силы и бодрости. Подсмеивались над собой, над шустрой девчонкой, над лоцманом, и все были уверены, что видневшаяся вдали займка и есть не что иное, как глаголевский рай.

А вот и лесок. Стоит себе, притих, нахмурился. Дорога опять стала грязной, и мы направились возле нее, по опушке.

Ранняя здесь осень успела уже наложить руку на теряющие свои ризы леса. Пред этим были два-три утренника. Кой-где поблекла травка, стали желтеть помаленьку да осыпаться листья берез и осин. Зато боярка да бузина с рябиной стояли разряженные всеми цветами теплых тонов от ярко-кирпичного до густо-фиолетового, почти сизого. И гроздьи их свешивались красными шапками, как бы приглашая сорвать и отведать впитанные ими лучи солнца, запах ветра да соки земли.

Костяника так рдела на яркой зелени лесной травы, что даже и в сумерках бросалась в глаза своими холодными, алыми, как кровь, ягодками. Срывали и ели, чтобы утолить жажду. Вдруг лесок разбежался в стороны, и сразу, по склонам увала, встала перед нами займка. Все здесь жило, двигалось. Множество коров толкались тут возле домов и домишек. Сновали собаки, храпели, помахивая хвостами, лошади. Бабы с подойниками и ребятишки сутились, галдели. Мужиков не было видно. Впрочем, под окном одной займки бородатый дядя обихаживал, с молотком в руках, сенокосилку. Кой-где в окнах мерцали огоньки. А тут же почти рядом, в ложбине, за мостиком через речку, виднелся обнесенный новым дощатым заплотом участок земли и среди него два «справных» дома.

Мы сразу догадались:

— Наконец-то Глаголев.

Очень обрадовались. Вася подбоченился, заулыбался, чтоб попробовать голос, запел весело:

Кончен, кончен дальний путь...

Мы тоже, кто как умел, подхватили и, радостные, направилсь было к тем домам, но Петр Николаевич, человек во всех отношениях премудрый, сказал:

— Не лучше ль нам справиться, пустят ли туда ночевать?.. Эй, тетенька, а тетенька! Подойдите-ка на минутку.

Тетенька одернула подол, подошла. А потом подошел и волосатый дядя. — Ведь это, если не ошибаюсь, Глаголева занмка?

Мы стояли, улыбалсь и нетерпеливо ожидали утвердительного ответа.

Баба молча почесала зад, а дядя кашлянул в кулак, зевнул не торопясь, взглянул искоса, спросил:

— А вы кто такие сами-то?

И опять пришлось «начинать сначала».

— Да эта занмка Глаголева, что ль? — почти крикнули мы.

— Которая?..

— Да вот...

Повернул опять, не торопясь, голову, посмотрел прищуренными, подслеповатыми глазами на белый заплот и так же медленно перевел глаза на нас:

— Вот эта? — указал рукой.

— Ну да?! — горячились мы.

— Да вы кто такие сами-то?

— Тьфу!.. Тетенька, милая, хоть ты скажи, бога ради...

Та утерла проворно нос указательным пальцем и бухнула:

— Нет, еще до Глаголева упрешь, мотри... Рубаху-то выжмешь..

Мы так и присели от изумления и тупой злобы ко всему на свете.

Петр Николаевич пожелтел сразу — что случилось с ним всегда, когда он злился, — и, взглянув чрез пенсне в плутоватое лицо бабы, унылым голосом, не без яда, сказал:

— Чтоб вам, тетенька, типун на язык за ваши слова.

Та, усмехнувшись, ответила:

— В ефтом разе уж мы не виноваты... А только что до Глаголева еще верстов пять будет..

Мы стали втроем совещаться — как быть, а Петр Николаевич продолжал в том же духе:

— А у вас, тетенька, муж есть?

— Неужли — без мужа... знамо, есть...

— Чтоб у него борода отсохла, тетенька...

— Вот дурной... Да чо ты, в уме?.. Ха-ха-ха... Ну и дурно-о-ой...

— Да ка-а-к же, — хнычет Петр Николаевич, — обида ведь: перли-перли, верст десять пробухали; я глубину всех болот перемерил, в речке выкупался, иззяб, кушать хочется, и вдруг — пять верст еще... У-ю-ю-ю... — и Петр Николаевич сокрушенно закрутил головой...

Мнения разделились. Я да Вася во что бы то ни стало решили доползти

до Глаголева, — все одно: день потерян, а путешествие в тайге ночью интересно новизной впечатлений, — а двое других настаивали переночевать здесь, чтоб утром, чуть свет, тронуться в путь.

Мотивировка их сводилась всего к двум словам:

— Ночь... тайга...

А для нас двоих, наоборот, это-то и служило приманкой. Наконец нам удалось склонить Владимира, а за ним должен был подчиниться решению большинства и Петр Николаевич.

Распрошались.

— А то ночевали бы... У нас ноне слободно: хозяина нет... — сказала тетка, обхватив руками прущую наружу грудь, и насмешливо улыбнулась.

Однако пошла.

— Мотри, никуда не свертывай... Они будут, сверточка, а вы все прямо; да на леву сторону все поглядывайте... Огонь на горе увидите — тут тебе и Глаголев живет.

Когда прошли шагов двадцать, Петр Николаевич, хлопнув ладонью сначала по одному карману, потом по другому, вынул записную книжку с карандашом и, остановившись, крикнул, стараясь придать ирриность своему плаксивому голосу:

— Эй, тетенька!..

— Ну, чо еще?..

— А как вапа девичья фамилия?

Мы шагали втроем дальше; а тетка рассыпалась мелким смешком и весело закричала:

— А подь ты от меня!.. Стекланные твои глаза... Просмешиник...

Мы хотели было раскатиться хохотом, но, вспомнив, что Петр Николаевич человек премудрый и что не зря же он допытывает тетку, от смеха, по молчаливому уговору, воздержались.

VII

У займки, в полугоре, сумерки только что наступили, но в низине, куда мы спустились, чувствовалось, что чрез полчаса, много — час, наступит ночь.

Ну и отлично. Дорога шла лугом, и по бокам ее, то здесь, то там вздымались душистые стога свежего сена. Вон туман стелется, цепляясь за кусты: должно быть, у горы болотце. Пронеслось над нами стадо уток, за ним — другое. Вася вскинул ружье, но опоздал. Опять стог, огороженный жердями. А вдали, куда бежит дорога, что-то чернеет. Мы знаем, что это тайга.

По поляне попадаются деревья, в одиночку и целыми островками. На лево, рядом с ними, темные увалы холмов. Где-то стучит топор. Это, наверное, доканчивают просеку рабочие землемера, межующего землю, — так сказали нам на займке. Идем быстрее и, чтоб не скучно было, поем песни. Вдруг дорога разлетелась в разные стороны: одна вправо, другая влево, а третья — меж ними. Пошли прямо, как учила нас тетка. Но та дорога скоро

разбилась опять на три, одна из них, что поменьше, круто завернула влево. Вот тут-то мы и призадумались. Пошли на разведки.

А кругом становилось темней да темней.

Левая перешла скоро в просеку, с вешками посредине, и там затерялась куда-то, правая — увязла в болоте, пошли по средней.

Стало холодеть. Справа тоже показались горы. А в небе ни звездочки: серое-серое, неприветливое, висело оно над нами. Шли мы хмурые, не уверенные — туда ли идем.

Опять утки. Вася прицелился. Глухо раздался выстрел и замер; а чрез секунд пять вдруг пред нами в горах что-то грохнуло и мягкими, рокошущими звуками покатилося-покатилося, дальше да тише, и, не успев замереть, с новой силой загрохотало вправо, рассыпалось, притихло, переброшилось влево, там грохнуло и таким же мягким, все убывающим рокотом унеслось вдаль и пало где-то в тайге.

Мы стояли как зачарованные и слушали:

— Вот так эхо!

Опять выстрелили и слушали вновь.

Потом сильными голосами взяли аккорд:

— А-а-а!!

Укатились звуки, замерли, и вдруг, в разных местах, одна за другой, гармонией откликнулись горы. Это было так необычно, так трогательно и красиво, что мы повторяли еще и еще, забыв о дороге. Однако пошли. Наш путь пересекала какая-то хорошо проторенная дорога, а сажень через сто — другая. Черт знает сколько дорог!..

— А ведь мы, господа, заблудились!

— Ну, вот еще...

Но все мы чувствовали, что наверное сбились с пути... А сумрак ближе да ближе. Вот кончается скоро поляна, и тайга поглотит нас всех.

Вася сзади кричит:

— Обождите, пистоны я потерял сейчас!..

Плохо. В тайге без ружья плохо.

Петр Николаевич почувствовал это сильнее всех и первый побежал на помощь Васе.

Искали с полчаса: все сажень на десять выползали, найти не могли. Сожгли полкоробки спичек.

— Я, господа, дальше не пойду, я лучше вернусь, — говорит Петр Николаевич и, не получив ответа, предлагает: — Давайте-ка, пока не поздно, залеземте до утра в стог...

Но мы схватываем его под руки и толкаем вперед.

Поляна кончилась, пошел перелесок, за ним — тайга. Темная-темная, приняла она нас, но мы люди бывалые — не боимся, идем.

Стало так темно, что мы больше не видим друг друга, только два белых картуза сереют, да слышатся хлюпающие шаги по грязной, после дождя, дороге.

— Стоп!.. Ух, — язвы те!.. — слышится время от времени недовольный голос Петра Николаевича: должно быть, натывается на деревья да пни.

Заухал, заржал где-то филин. А ему откликнулся другой.

— Животная ночная... — сказал Вася и спросил: — А вы, Петр Николаевич, животная какая?

Тот, помедлив, жалобно отвечает:

— Денная...

— А зачем же вы на ночь глядя пошли?..

— По глу-упости... Я думал, что близко... Кабы знал — не пошел бы.

Впереди всех хлопает Владимир.

— Господа, — кричит он, — дорога пропала!..

Подошли. Ползает на четвереньках и щупает руками землю. Мы очутились на какой-то сплошь истоптанной копытами поляне. Ползаем сами, щупаем, ничего не можем понять...

— Сюда, господа, сюда!.. — опять кричит Владимир. — Нашел!..

Спотыкаясь и падая, бежим на голос. Верно, дорога... Но не другая ли? Ну, да теперь все равно. Идем. Чувствуем, что сваяли дурака, не оставшись ночевать на займке.

Кто-то из нас сказал:

— А ведь эта дорога идет, пожалуй, на прииски, что по Лебеди... Верст сто пройдешь и жилья не встретишь.

В тайге что-то хрустнуло.

— Не медведь ли?!

А ружья нет, без пистонов оно — палка.

— Ребята, медведь!!

И мы сразу, что есть силы, заорали, чтоб напугать.

— Это я-а-а... — стонет в ответ Петр Николаевич. — Где тут дорога-то?..

Варут, среди тьмы, откуда-то сверху, с увала, что с левой руки, яркий женский голос:

— Э-го-о-о-ой!..

Ах, как обрадовались мы тогда. Боже, как обрадовались!

— Огонек, огонек на горе...

— Где?..

Погас огонь и больше не появлялся.

Мы принялись кричать все враз...

Голос не откликнулся.

— Глаголев!.. Глаголев!..

Слышим:

— Э-э-э-эй!.. — кричит опять женщина, где-то далеко-далеко, чуть слышно и как будто в другом уже месте.

— Гла-го-лев!.. Гла-го-лев!!

Молчание. Кричали полчаса. Ни звука...

Вася зарядил ружье, насыпал в капсулю пороха, а Владимир поджег. Ружье плюнуло польемем, грохнуло, заорало. Но вновь тишина, и только слышно было, как тяжело дышали наши груди.

— Это — русалка...

Кто-то сказал глупость — а мороз подрал по коже, чакнули зубы.

— Русалочка, милая, захохочи!.. Зачем и куда завела ты нас? — шутил Вася.

— Я бы предложил, господа, идти налево, прямо к тому месту, откуда кричали... — сказал Петр Николаевич.

Но, сообразив, что ночью по незнакомой тайге ходить опасно — можно погибнуть, — решили идти вперед, не теряя дороги:

— Авось дойдем, хоть к утру, до какой-нибудь займки.

Голод совсем пропал, только ноги дрожали, да в груди ползали злорадия и жуть.

VIII

Когда мы, достаточно измучившись, начали мало-помалу терять мужество, встал перед нами неприятный вопрос:

— Что же делать?

Назад идти, на займку — безрассудно: в такой тьме не найти даже стога сена. Ночевать в тайге — без ружья опасно. И кроме того, стало холодно. Положение было не из приятных. Решили: ощупью подвигаться вперед. Хоть на душе у нас было больно плохо, но там где-то на дне, как уголек в золе, чуть мелькала надежда: авось! Молча шли кой-как вперед. Останавливались, прислушивались к тайге. Но ни звука, ни шороха. Да полно, есть ли тайга-то? Так темно и тихо... Не погиб ли я? Существует ли что-нибудь возле меня, кроме тьмы, тишины и жути? А может быть, сон?

— Господа... — тихо спрашиваю я.

Отвечают. Это хорошо. Хоть дрожащими голосами ответили, а на душе стало легче.

— Господа, — стараюсь говорить громко, — давай-ка напушаем березу, надерем бересты, факелов понаделаем и с песнями пойдем вперед.

Предложение принимается, и через минуту Петр Николаевич кричит:

— Ее-сть береза...

Вот зажгли факел, за ним вспыхнул впереди другой. Тьма расступилась, запрыгала. Всюду поползли черные тени от нас самих, от стволов и пней. Береста фыркала, трещала, а густой дым клубился ввысь, сливаясь с чем-то черным, бездонным. Сгрудились все, пошли проворно, пока горят огни. Вдруг видим: прет на нас из тьмы какое-то серое чудище, храпит.

— Стой, стрелять буду! — слышится незнакомый окрик... — Вы кто такие?!

А у нас возьми да, как на грех, факелы и погасли. И опять стала тьма. Ох, какая зловещая была минута.

Ббах!! — грохнул вдруг выстрел... Ббах!!! — другой.

— Да ты ошалел? — как зарезанные заорали мы...

— А вы кто такие? — опять злой голос прорезал тьму, совсем близко от нас.

— Где Глаголев живет?

— Я вам такого Глаголева покажу, что унеси бог тепленьких!.. — загремел голос, и слышно было, как сломилось оружие, как вставились в стволы свежие патроны.

— Мы не жулики, мы вот кто...

— А-а-а, — более дружелюбно протянул голос и добавил совсем мягко: — А то кто е знат... Вот прошлым летом также, было, укокошили нас... С припсков, должно...

Трясущимися от волнения руками зажгли факел. Глядим — стоит перед нами верховой, здоровенный, на белом коне, мужик и угрюмо щупает нас глазами, держа наготове ружье. Заметив, должно быть, две форменные фуражки — успокоился окончательно.

— А я с соседней займки, с версту подале отсюда. Промеж нас, вишь, уговор с Глаголевым: ежели у него ночью выстрел — я к нему должен на помощь, а у меня — он ко мне... Так это вы стреляли-то даве?..

— Где ж Глаголев-то?..

— А вот на горе, против вас... Каких-нибудь сто печатных сажен...

— Сделай милость, проводи, полтину дадим...

Согласился:

— Ну, я впереди, а вы не отставай, держись прямо за лошадью... А то тут ключик... Айда!

Такими ослепительными улыбками сияли наши физиономии, что, кажется, было б светло и без факелов. Шли, хохотали, рассказывая замочнику наши злоключения.

Хохотал и он.

— Еще как вы на зверя не натакались...

— А есть тут? — хриплым шепотом спросил Петр Николаевич.

— Тут-то? Ха-ха... Сколь хошь.

Петр Николаевич вздрогнул всем телом и зашагал ближе к лошади, пуливно косясь по сторонам. Наконец миновали ключик, поросший колючими кустами кочкарника, и уперлись в гору.

— Глаголе-ев!.. Эй, Глаголев... — закричал всадник. Мелькнул сверху огонек, и женский голос ответил:

— Что-о-о?..

— Ты, Аннушка?

— Я...

— Вот гостей пымал... Господа к вам идут в гости... Сады смотреть... Сам-то старик спит?

— Нет еще...

— Ну так вот, примайте...

И, обратясь к нам, сказал:

— Ну, давайте деньги... Вот по этой тропке карапайтесь вверх. Как раз в калитку.

Я порылся в кошельке и сунул провожатому в руку полтину. Тот завозился в седле, чиркнул спичку и внимательно осмотрел монету: не надули бы!

— Ну, благодарим... Прощайте-ка.

И, отъехав, крикнул сквозь тьму:

— А я, грешным делом, так и подумал, что вы, современем, варначье. Ха-ха-ха!.. Уж извините...

IX

Наконец-то. Перед нами домик окна в четыре. Крылечком выходит во двор, застроенный сарайчиками, клетушками, навесами. Хотя наружная дверь была настежь, однако доступ в сени преграждался низенькой, странного устройства, калиткой, а за ней, по пояс скрытые, стояли, сгрудившись, трое: высокий, с огромной окладистой бородой, старик, молоденькая, лет шестнадцати, девушка да пожилая женщина. Старик держал фонарь и, сделав руку козырьком, пристально разглядывал нас. Лица их были бледны, глаза светились тревогой и любопытством.

— Вы кто такие, господа?..

Здороваемся, называем себя...

— А-а... так-так... Милости просим, милости просим... — а сам калитку не отмыкает. Начался допрос: как про него узнали, почему заблудились, кто стрелял? Наконец протянул, перегнувшись через калиточку, руку:

— Ну, здравствуйте — ка... Вот теперь пожалуйста.

Вынул из скобок запор, отворил дверцу.

— Аннушка, внеси ружьишки-то в комнату...

Та, конфузливо улыбнувшись, взяла стоящие в углу три ружья и, хихикнув, скрылась в комнаты, а старик сказал:

— Вы, милостивые государи, изрядно-таки напугали нас... вишь, какой гостинец был для встречи приготовлен... Уж извините. Живем в страхе... Место глухое... Вот так же прошлым летом...

И он рассказал, как их чуть не убили какие-то проходимцы с золотых приисков.

— Это не вы ли нам голосок подавали? — спросил Вася девушку. Та суетилась, накрывала на стол, возилась возле самовара.

— Я... — улыбнулась, стрельнув глазами.

— А мы вас за русалочку приняли. Почему ж вы не откликнулись нам, злодейка?

— Потому, как Порфирий Яковлевич не велели. Мы попервости подумали, что евонный сын с города едет, Михайло... А потом слышим — нет: чужие, да много...

— Не только кричать... хе-хе-хе, — смеялся старик, — я и огонь велел в дому погасить... В тайге опаска не вредит... А народ всякий бывает... Иной хуже зверя...

— Сколько верст до Бии считаете? Мы оттуда шли...

— Семнадцать...

— Семнадцать?! Алловко!!

Мы с таким волчьим аппетитом набросились на свежее роскошное сливочное масло, на чай, на душистый, только что порезанный мед, что, — не знаю, как товарищам, — а мне было-таки стыдненько.

Нас засыпали вопросами. Мы отвечали, сами спрашивали, много смеялись, но что отвечали и о чем спрашивали — хорошенько не помню, очень хотелось спать. Да и товарищи изрядно позевывали.

Помню только очень хорошо, как среди чая Глаголев куда-то исчез с

ключами и фонарем и минут через десять явился с яблоками в корзине.

Все мы очень дивились, всячески рассматривали яблоки: и на ладони взвешивали, и на свет смотрели. Наконец стали есть. Петр Николаевич, по обыкновению своему, священнодействовал. Через полчаса мы разбросали по полу свои азямы и кой-какую хозяйскую «лопотину», грохнулись как попало и уснули богатырским сном.

Х

В путь двинулись, неся по очереди два пудовых ящичка меду. Потом, на полдороге этот мед мы трижды прокляли, так как ящички оттянули нам руки. Мой ящик был связан лычной веревкой с большой петлей. Я умудрился петлю надеть на шею, ящик все время тянул меня вперед, нагибая к земле. Я пыхтел, спотыкался на кочки, но все-таки кое-как продвигался. Дорога была скверная, и ее тоже пришлось проклясть трижды.

Назад шли ровно пять часов.

Домой пришли втроем: Вася остался у молодой красивой займочницы — купить свеженьких яичек да шанежек...

— Эй, позови-ка сюда лоцмана!

Пришел. Взглянул на нас — смекнул, в чем дело — стоит, виновато улыбается. Глаза бегают.

— А сколько верст отсюда до Глаголева?

Молчит, смотрит на нас, улыбается. Потом снял картуз, изо всех сил поскреб темя, опять надел и тогда только с виноватой ужимочкой ответил:

— Да верст поди шесть... Либо девять...

Мы взялись за бока и покатались со смеху.

А лоцман, поцарапав по очереди то бока, то спину, бубнил:

— Кто е знает... Знамо, не меряно... Все говорили быдто, что четыре.

1914



КОЛДОВСКОЙ ЦВЕТOK

I

Дедушка Изот — настоящий таежный охотник, медвежатник. Вдоль и поперек на тысячу верст тайгу исходил; белковать ли, медведей ли бить — первый мастак. А соболя попадет — срежет за милую душу и соболя.

И чего-чего он только не видал в тайге:

— Ты думаешь, эту просеку люди вели? Нет... Это ураган саданул, ишь какую широкую дорогу сделал... А меня, парень, почитай на сотню сажень отмахнуло вихрем-то, сколь без памяти лежал. А молодой еще тогда был, самосильный...

Изот и леших сколько раз в тайге видал:

Он хозяин здесь... Только что хрещеному человеку он не душевреден... Иду как-то я с Лыской, а он, падло, нагнул рябину, да и жрет прямо ртом...

Он и тунгусов, и шаманов их, самых страшных, самых могучих, видывал:

— Тунгусов здесь, в тайге, много. Ух, и шаманы же у них в старину были: посмотришь на него раз, умирать будешь, и то вспомянешь...

Бродить мне по тайге с Изотом весело. Заговорит-заговорит — знай слушай.

Да и тайга зимой красоты небывалой. Вся опушенная белым снегом, густая и непролазная, она кажется какой-то завороженной сказкой, каким-то волшебным полусном.

Мы с дедом еле тащим ноги, направляясь на ярко-золотой отблеск вечерней зари.

Жучка, высунув язык, черным пятном ныряет по сугробам и устало тьякает, когда упавшая с сосны шишка обнаружит пританцвавшегося на вершине зверька.

До нашего зимовья, крохотной лачуги, добрых версты две. Сумрак все настойчивей выползает из берлог и падей, заря гаснет, в небе одна за другой вспыхивают звезды.

— Ну-ка, паря, приналяжем, — кряхтит дед и надбавляет шагу.

А вот и зимовье.

Маленькое, пять шагов в длину, пять в ширину, наскоро срубленное и кой-как протыканное мхом, оно нам с дедом милее каменных палат.

Жучка хозяйственно обежала избушку и, полаяв на все четыре стороны, первая шмыгнула в полуоткрытую дверь.

II

Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, поглядывая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку.

— Дед, открой, пожалуйста, дверь.

— Пошто... Этак, брат, нам и хаты не согреть. Уткнись, коли так, ры-

лом-то в шубу... Он чичас к потолку подымется... От та-а-к...

Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, и воздух стал быстро нагреваться.

— Ну, садись, — скомандовал дед раскатистым своим басом, — а я дыру открою, надо дым на волю выпустить. — И, весь окутанный облаками дыма, полез на нары, чтоб открыть под самым потолком задвинутую доской продушину.

Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвон, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами колеблющимся голубоватым пологом плавал дым.

— Да-а-а... — тянет дед, настораживая к костру котелок с оленьим мясом, — ты говоришь, тайга... Тайга, брат, охо-хо-о-о-о... И народ в ней другой, особый — прямо тебе скажу, дикий народ.

Дед стоит у костра вдвое перегнувшись и, опаски ради, придерживает левой рукой огромную свою сивую бородицу.

— Да и вправду молвить — ну кто округ нас есть живой! Медведь да тунгус — вот и весь свет... Куда ни кинься — тайга... Лес, лес да дыра в небо. И никакой к нам пути-дороги... А все ж таки...

Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил.

— А и промеж нас иным часом бывает... Нет-нет да и... Тьфу! чтоб те пятнало, окаянного! — вдруг плюнул дед. — Гляди, каку дыру прожег, — и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоравшие дрова.

— Что же промеж вас бывает-то?

— А как тебе сказать... Ну, быдто сумалење в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет... Вот взвился бы птицей да улетел бы к самому небунку... Да-а-а... А то тайга, тайга, никакого тебе вздыху нет... Скушно... Да вот погоди ужо, я те расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком, прямо будем говорить, с моим родителем,

Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок: обдирали с них пушистые шкурки и связывали их, хвостами вместе, по двенадцати штук в бунты.

Жучка, нажравшись до отвала белок, подседа к огоньку и вскоре, подремывая, стала клевать своим острым носом.

Дед притащил еще охапку дров и сказал:

— Ну, паря, давай укладываться спать.

— А случай-то?..

— А ты ложись знай: ночь долгая... Поди намаялся день-то деньской...

III

Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленьими шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит.

Черные, покрытые густой сажей потолок и стены тихо колышутся в лучах костра, а за крохотным, над скамьей, оконцем, сквозь вставленную

прозрачную льдинку мерещится голубая таежная ночь.

Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру.

— Ну, вот теперича, коли так, слушай....

Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот.

— Ну, дак вот, я и говорю. На моих памятях это дело-то приключилось, а я втапору мальцом был. Да и вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятей что-то неладное доспелось, чего-то тосковать тятя начал. А жили мы, надо тебя упредить, справно. Сядет, бывало, тятя под окошко, подшибется рукой, да и сидит, как статуи, молча. «Ты чегой-то, Терентий?» — мамынька окликнет. «Так, ничего». Мамынька на реку сбегает, баню протопит, придет, а он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на-ка щербы покушай». — «Нет, не надо». — «Не брюхо ли у тебя схватило?» А отец этак срыву ответит: «Вот тут у меня болит... вот тут, понимаешь?» А сам по сердцу ладонью стучает. «Ну-к иди, не то, в баньку, похвощись». «Дура!» — крикнет отец, вскочит, сорвет с гвоздя картуз да марш вон. А мамынька — выть. Уж ночью придет батя, к петухам почитай. Вот день, вот другой, вот третий... Батя сам не в себе. Потом оклемается — опять за работу... Недели две так продюжит, а тут опять к нему лихо причешется. Ах ты, господи! А то пить учнет.

И пьет, и пьет, фу ты, пропасть! Так вот и маялся. «Да с чего это с тобой, Терентий, сделалось?» — мамынька спросит. «Тоскливо мне... Тоска... Понимаешь, тоска...» — а у самого слезы. «Дык, дай я тебя натру, благословясь, сорокапритошником, от сорока приток, сорока болезней способствует». — «Молчи, дура, баба», — и весь сказ. И вот, братец ты мой, теперича, слушай, какая оказия стряслась. Спишь, нет?

— Я слушаю.

— То-то. Ну вот... Заходит к нам в этак-то время бродяжка, так, мозгляк какой-то, ночевать просится. Ну, что ж, ночевать так ночевать, места не жалко. Накормили его, значит, напоили. «Откуда бог несет?» — «По хрещеным хожу, питаюсь. А вот, — говорит, — верстах в десяти от вас — чудо». — «Какое чудо?» — отец обрадовался. «Да, — говорит, — по Нижней Тунгуске из Енисейска-города на Лену в каторгу преступников в лодке бечевою тянут, а средь них, — говорит, — знаменитый разбойник Горкин с полюбовницей». — «А чем же он знаменитый?» — «Да его, — говорит, — никакие цепи, никакие остроги не держат... Слово такое знает, сколь раз убегал... Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою». У тятки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот! — кричит мне тятя. — Оболакайся живчиком, пойдем глядеть». Ну, иначе, мамынька умолила тятю, — не потрогал меня, один ушел. Вот ждать мы тятеньку, ждать — нету. Опосля того, этак через неделю времени, бряк в окно: «Эй, отворитесь-ка». А ночь была глухая. «Ну, — говорит, — Акулина, вот чудо, дак чудо видал я», — и начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я разиня рот слушал.

«Вот прихожу, — говорит, — я на Еремкину Луку, а там действительно

костер горит, возле костра люди. А туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, — говорит, — народ. Гляжу — все чужие. И вижу, у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазами, я так назад и подался. «Чего, — говорит, — испужался», — а сама возьми да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, — говорит, — не видал, ну, до чего у ней, — говорит, — глаза удивительные, как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша. Да. «А главная-то рыбина в лодке, в шитике», — говорят мне. Я туда. Сидит мужичище, вроде цыгана, нос горбатый, борода черная, цепями весь окован. Как взглянул я на него, сробел, жуть на меня напала, плюнул я, — век, мол, тебя не видеть. Вот начал народ суетиться у лодок, время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, — ну, прямо королева. «Дозвольте мне, — говорит, — на эту гору подняться. Лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку супротив воды тянуть трудно, лодка огромная — шитик. Старший ей говорит: «Ну, ладно, идн, никуда ты в тайге не скроешься». Вдругорядь улыбнулась женщина, подобрала юбочку да айда на гору, а шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, — говорит мой родитель, покойна головушка, — дожидаюсь ее, прямо ну вот, скажи на милость, все бы на нее глядел, ну прямо околдовала, дьявол. Долго ли, коротко ли, — говорит, — ждал, ну только гляжу: спускается с горы, маячит сквозь туман, сама в веселых мыслях и какой-то цветок в руке держит, травинку. «Вот, — говорит, — мужичок: сколь времени я такой цветок искала, нигде не могла найти, опричь этого места. Беги, — говорит, — мужичок, к лодке, а я с этим цветком под водой пойду, я вас наздогоню», и не успела, батюшка ты мой, вымолвить, подбежала к крутому берегу да чебурах в воду, только гул пошел. Я — ай-ай! караул! — да ну по кустам вдоль берега тесать, быдто заяц... А туман страшный; сколь разов, — говорит, — я под берег кубарем летал. Ну, кой-как догониш шитик. «Стой, — кричу, — стой! Женщина утопла!» Шитик к берегу, я вскочил, — говорит, — туда, начал все чередом обсказывать, так, мол, и так, и вдруг в это самое времечко как взиграет вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то: «Ну, вот и я!» — а сама сухохонька, быдто и в воде не бывала. Мы все так и осатанели. Шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался, шепотком разговоры ведут, боятся, как бы она, колдовка-то, какого худа не сделала: как махнет цветком, да оборотит всех медведями али гадиной какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. «Вы меня не пужайтесь!» Ну, мы ничего, оправились».

Мой родитель с неделю с ними плавал, она еще разов пяток таким же побытом под водой ходила. Да...

Ну, теперича, паря, давай курнем.

IV

Накурившись власть, дед приподнялся, задвинул дымовую продушину, огладил Жучку и снова лег.

— Ну, дак вот, парень... На чем бишь я остановился-то... Да-а-а... Этово, как сво... Да-а-а...

Наконец, собравшись с мыслями, дед начал:

— И с этого самого времени родитель мой, покойна головушка, в отделку загрустил, окончательно умом тряхнулся. Самое лето наступило, пора сенокосная, тут только давай-давай. А он как-то утречком: «Ну, прощай, баба... прощай, сынок... А я пойду...» — «Куда ты, что ты?..» — «Пойду счастье пытаться». — «Очнись, одумайся...» А он свое. Так, братец ты мой, и скрылся. Плакали мы с мамынькой, плакали: как быть, куда деваться? Объявили миру, стали у мира помочи просить. Вот всей деревней с неделю по тайге шарились, да разве сыщешь: тайга эн какая, конца-краю ей нет...

А тут пошел это я с ружьишкой линных уток пострелять по Ереме-реке. Вот, братец ты мой, подхожу-то я к берегу, слышу: схлопало что-то по воде. Я испужался, схоронился за сосну, высматриваю. Опосля гляжу: человек посередь реки вынырнул да к берегу по саженкам чешет. Глядеть, глядеть — господи, царь небесный, да ведь это тятя, я к нему. «Тятенька, — кричу, — тятенька!» Подбежал, повис у него на шее да ну реветь в голос: «Ты что же, тятенька, задумал?» — «А я, сынок, цветки пытаю всякие... Мне колдовской цветок обязательно надо сыскать... Пойдем-ка». И повел меня в кусты. Шалашик у него там сделан, а кусты густущие, век не найти бы... Возле шалаша на козлиных жердочка строганая, а на ней всякие нанизаны травы. «Вот эти все перепробовал, в них силы нету настоящей». — «Тятенька, мамынька меня за тобой послала... Пойдем». — «Обожди, сынок. Айда к речке!» Вот повел меня к берегу. Разулся опять, разоблолся, взял из кучки один цветок белый, зажал в горсть, разбежался да бултых в воду, на самое дно. Ну, я стою разиня рот, дивлюсь. Опять тятя нырк наверх посередь речки, фырчит, отдувается, аж захлебался весь. «Не тот, — кричит, — не тот!.. Дай-кось синенький». Да так до самого вечера и нырял все с разными цветками.

Ну, одначе, сговорил я его. Пошли мы с ним домой. Как вошли в тайгу, сели под елочку, я ему и говорю: «Зачем же тебе, тятя, такой цветок?» Он похлопал это меня по плечу, вот как сейчас помню, да таково ли ласково вымолвил: «Ах, сынок, сынок... Еще молодой ты, чего знаешь... Скушно человеку, сынок... Вот как скушно... Ты слышал, говорит, сказку, как Иван, царской сын золотых кудрей, на колдовском коне за три девять земель ездил, али про жар-птицу, али про ковер-самолет?.. Вот то-то и есть, сынок! Да кабы мне такой цветок-то колдовской найти... Ха! Да я бы сквозь все земли прошел, я бы все небушко надзвездное вольной птахой выпорхал... Ух ты, господи!..» Обнял он меня, да таково ли страшно задышал... Я уставился на тятю, а у него слезы так ручьем и хлещут...

Дед пофыркал носом и незаметно смахнул набежавшую слезу. Под ногами тихо взлаивала во сне Жучка. А в костре попискивали, о чем-то шептались золотые угольки.

— Ну, как ты думаешь, чем же вся эта побывальщина окончилась? — спросил дед, повернувшись на бок, ко мне лицом.

— Не знаю.

— А окончилась она так, милый... Вернулся отец и все нам с мамынькой по хозяйству справил. Вперед всех с поля убрались. Да. И вот в позднюю пору, уж когда деревья начали призадумываться, а в лесу красный лист обозначился, опять тоска к отцу подкатилась. Он мамыньке, царство ей небесное, ни гугу, а все со мной больше разговор имел. Как-то раз и говорит: «Я теперича, Изот, по-другому надумал цветы пытаться». Не прошло и трех дней, хватъ-похватъ, тяткин и след простыл. Ну, тут опять и началось у нас с мамынькой. Она и к попу-то ездила, и знахарок-то выпытывала, и шамана от тунгусов примала, — нет. Прямо как канул.

Уж ко движению дело подходило, на хребты снег пал. Сидим мы как-то с матерью, сумерничаем... Приходит в избу сосед наш Онисим. Покрестился на святы. «Здорово, говорит, живете», — а сам топчется. У нас с матерью так сердце и захолонуло. «Ох, не с добром ты, я вижу, Онисим», — мамынька молвила, а он: «Так что Терентий ваш нашелся». — «Где?!» — «Известно, в тайге». — «Ну!» — «Зверь его, видно, зашиб, медведь». Матерь моя так с лавки и покатила. А он; «Ехали мы, — говорит, — из кедровника, с орехов, глядим — что за оказия! — из-под хворосту ноги торчат. Раскидали хворост, а там Терентий вниз лицом лежит, а в горстке у него цветок желтенький зажат быдто».

Дед, помолчав, прибавил:

— Вот те и все. И весь сказ мой. Вот я и мекаю: однако он, родитель-то мой, покойна головушка, медведя цветком-то покорить хотел да в поднебесье лететь на нем, навроде сивки-бурки... А?

Дед замолк и долго лежал, тяжело вздыхая. Костер прогорал, в зимовье стоял колеблющийся сумрак, а голубой сноп, лившийся через ледяное оконце, нащупывал что-то под нарами, шарил в темном углу, кого-то выслеживая и карауля.

Возле зимовья вдруг послышался скрип снега, будто грузный человек взад-вперед ходит, и тихий, надвигающийся из тайги разговор. Жучка, заблестев глазами, сторожко подняла голову и, потянув ноздрями воздух, октависто заворчала.

— Дедушка, чуешь?

— Стой-ко, ужо..,

Мы приподнялись, сидим, опершись руками в землю, и чутко прислушиваемся. Да, голоса... Говорят медленно, тихим распевом, много голосов. Все ближе, ближе...

— Ах, окая-а-нный, а?.. — испуганно шепчет дед, крестится и тянется тихонько за ружьем. А голоса громче, шумней...

Жучка, вся ошетинившись и рыча, подступает к двери. Кто-то за дверью стоит, торопливо шарится, скобку ищет...

— Стой, держи... Хватай ружье!..

И уж не разобрать, что творится там, за стеной: все смешалось в еще далеком, но быстро растущем вое.

— Жучка, узы!..

И вдруг тут, среди нас, застонало, завывало, загайкало, дверь рванули — гайгага-а-а!.. — дверь настезь.

— Свят, свят!..

Ворвалось, ввалилось что-то безликое, все в белом, крутануло, плюнуло, разметало весь костер, холодом глаза залепило, заухало...

— Аминь, аминь!.. — взревел дед и грянул из ружья... — Сгинь, нечистая сила, сгинь!.. — и все смолкло.

Я, не попадая зуб на зуб, стоял возле деда в глубокой тьме. Жучка жалась к ногам и испуганно повизгивала. Дед трясущимися руками чиркнул спичку, лучину зажег. Весь пол, нары и мы сами были запорошены снегом, а дверь — плотно закрыта.

Дед перекрестился: «Ну-ко, благослови, Христос», — и как-то по-особому, с хитринкой улыбаясь, стал разводить костер.

— Вот они, нечистики-то... Чуешь?.. Ишь как я его из ружья-то ожег подходящие.

В двери зияла пробитая пулей дыра.

— Это ураган, — заметил я.

Дед круто обернулся ко мне, выпрямился, ударившись головой о потолок, и зло крикнул:

— Ураган?! Как не ураган!.. Много ты смыслишь... Вот пойдём-ка по дрова.

Мы вышли. Тайга не шелохнется. Полный месяц в мутно-белом кругу высоко стоял над тайгой. Снег на полянке переливался алмазами, и кругом была холодная тишина.

— Ну, где ж тебе ураган? А?.. — подступал ко мне дед.

— А видишь, как запорошило тропу...

— Тропу-у-у?! Толкуй слепой с подлекарем... Вот те и тропу... Тащи дрова-то... Умник!

Вновь засиял костер. Мы вывели набившийся в зимовье снег и стали укладываться спать.

— Это оттого, что я маху дал, забыл дверь окстить.

И дедушка Изот залез на нары, закрестил торжественно дымовую продушину, потом стал крестить дверь, шепча какие-то тайные слова и сплевывая через левое плечо.

Была глухая полночь. Меня одолевала дрема. Я засыпал под раскатисто-плавный голос деда:

— Вот так же лег я, не поблагословившись, в зимовье одном, а там блазнило, значит, по ночам рахало... Да-а-а...

Всю ночь мучили меня страшные сны: то филином летал я над тайгой, то боролся с медведем, то нырял на дно реки за колдовским цветком.

СИБИРСКИЙ ДЕД

Посвящается Григорию Николаевичу Потанину

I

По селам слух прошел: австрийцев на постой из города гонят, австрияков.

Кто такие эти самые австрияки — никто путем не знал. Хотя в городах крестьяне видали их частенько: народ, кажется, чистый, тихий, ничего народ. Но это в городе. А запусти-ка его в деревню, еще неизвестно, каким он там себя окажет. Вдруг бунт поднимет, вдруг красного петуха пустит, али девок да солдаток мутить начнет.

Дедушка Пров — настоящий сибирский кедр, мужик самосильный, всей семье глава. Он крепко постановил в своем сердце: этому не быть, ни австрияка поганого, ни другого басурманина он к себе не пустит.

И все об этом по селу знали и словам Прова верили:

— У нашего Прова Силыча слово — олово.

Пришел к Прову староста:

— Так что, дедушка, пленного тебе... Как хошь...

— А это видел?! — крикнул дед и наставил старосте кукиш.

Приехал урядник списки составлять:

— Ну, Пров, принимай австрийца...

— Да ты в уме, твое благородие!.. Да ты ошалел!

— Закон. Ничего не попишешь: у тебя хата большая.

— Врешь, твое благородие!.. Этому не быть!..

Поташили Прова на отсидку, на три дня в каталажку заперли, авось прохладится там, другие мысли в голову вступят.

Сидит дед за решеткой, не сдастся:

— А что такое каталага?.. Да мы ее, матушку, всей деревней ладили... И моих, поди, бревна три есть: да я тут, как у себя на печке, полный, можно сказать, хозяин.

В другой раз приехал господин урядник:

— Ну, как? Согласен?

— Кто? Я?! — сверкнул глазами Пров, оцетинился весь, на лысине испарина выступила.

— Я в своей избе царь и бог... Не жалаю!..

Урядник кашлянул в рукав, покрутил левый ус:

— А ежели в тюрьму за такие поступки...

— Хоть в каторгу! — сжал кулаки Пров и грохнул по столу.

Урядник сгреб портфель, надел задом наперед папаху и, засвистав простуженным носом, юркнул на улицу.

Все село ахнуло, узнав про дедов разговор.

— Ха! Молодца дедка. Воевать могит.

— Гляди, паря, какой упорный... А?..

А тем временем австрийцев на село пригнали: кому одного, кому двух

поставили.

Пришел к Прову священник, стал его упрасивать. Пришли к Прову соседи, товарищи, просят Прова:

— Да что ты, на самом деле... Что ты, бог с тобой...

Пров долго молчал. Сидит пытит, седую бородищу потеревливает.

А возле него внучка увивается, черноглазая Дунька: и так и этак зайдет, все норовит поймать дедов взор.

Как брызнет на нее дед глазами, защипало морозом пятки у босоногой Дунюшки... Однако, захлебнувшись, она пропищала, прижимаясь к деду:

— Дедушка... А дедшка... Душка...

— Ну?

— Прими стряка... Прими...

— Пшла!... — ожег ее дед, но тотчас же улыбнулся.

А как улыбнулся, махнул рукой:

— Ну, вот что, хрещенные... Так и быть... Давайте мне его, собаку...

Все село, узнавши, ухмыльнулось:

— Ага, Пров... На попят пошел... Хе-хе.

II

Пришел австриец: на правом боку сумка через плечо, у сумки — чайничек болтается, на левой стороне — желтые полусапожки. Ничего, собой чистый, краснощекий, шапка с медной пуговкой.

Пришел, пролопотал по-своему, поклонился деду:

— Убирайся к черту. Язви-тя, — отвернувшись, сплюнул дед.

Семья у деда большая: старуха, две солдатки, девка да пятеро внучат.

Спать легли рано: нечего зря керосин изводить. Поужинали, чайку хлебнули всласть и на боковую.

Австрийца дед к столу не допустил.

— Пускай у порога жрет...

Австриец покушал на сундучке хлеба, чаю кружку подали, выпил, творожку бабка подсунула — съел.

Лежит дед на полу на шубе и все брюзжит, всех на свете лает: и господина урядника, и батюшку, и кума, а пуще всех — австрийца.

— Халера бы его задавила... Язви его в хвост. Еще упрет чего-нибудь, анафима.

И все брюзжит, все брюзжит. А то себя начнет чистить.

— Старый пес... Запустил-таки жабу... Обогрел... Они, дьяволы, сынов наших убивают, а их тут чаями-сахарами... У-у, пропастина...

Австриец у печки лежит, шинелишку свою подкинул, молчит, о чем-то думает. О чем австрийцу думать? О том, как бы к солдаткам пробраться, как бы коня утнать, как бы деду башку топором оттяпать, да из сундука мошну стянуть.

Дед к сундуку крепко плечом прижался, да в головы топор положил, боится глаза сомкнуть.

— Старуха! Зажги-ка лампу: пусть горит...

На австрияка смотрит. Тот смиренно лежит, думает, глаза открыты. О чем

он думает? О вишневых садах своих думает, о жене, о сыне... Эх, скрипицу бы сюда... Взыграть бы на скрипице песню... Вздохнул австрияк...

«Ишь ты... Вздохнул...» — думает дед.

Борется дед с дремой, плечом еще крепче на сундук навалился, топор нащупал: тут, острый.

— Вы!.. Чего ржете? Чего беса тешите? Дрыхни!..

Присмирели солдатки.

— Это Дунька... Чикочется...

— А вот ужо-ка я ее...

Встал дед, подбросил в железную печь дровишек, жарко в избе сделалось.

— Нет, его, варнака, в хлев бы, к баранам бы... А то, ишь ты, развалился...

Брахло такое...

Разомлеял дед в тепле, уснул. И приснился ему сон страшный: будто боров нос ему откусил, будто подошел к деду, хрюкнул, да как цапнет за нос.

— Горим!..

— Ково?! — вскочил дед и схватился за топор.

Старуха лампочку подкручивает:

— Зря горит...

Старик перевел дух, перекрестился, лег и уснул крепко.

III

Утром, ни свет ни заря, пробудился Пров. Ставни скрипят, ветер под крышей воеет...

«Буран...» — думает дед. Старуха печь топить собирается. Трехшерстный котиче об австрийца трется, хвост трубой, мурлычет, песни ему напевает, латится. Австриец за ухом ему щекочет, оглаживает, а коту любо.

— Буран, — говорит дед старухе, — ишь как воеет, ишь выкручивает...

Солдатка еле ставни открыла, до пол-окон снегу насыпало, страсть.

— Надо за сеном собираться... — кряхтит дед.

Австриец живо встрепенулся, валенки с печи достает, полушубок хозяйский надевает, рукавицы ищет.

— Эй, ты!.. Голова — два уха!.. — взревел дед. — Ты куда это, супостат, а?! Скидывай!..

Австриец остановился как вкопанный, трубку изо рта выхватил:

— Сено... ехай... туда...

— Какое сено? — разинув рот, приподнялся Пров с шубы. — Сам поеду...

— Ты старый... борода... седой... ты на печку лезь... Спай...

Дед окаменел.

— Да, ведь, тебе не найги...

— Мальца посылай... Кажет...

Дед призадумался, на австрияка во все глаза смотрит. Лицо у австрияка румяное, лукавства во взгляде нет.

— Эй, Мишка! — крикнул дед внуку. — Оболокайся живчиком... Айда с австрияком...

Умылся дед, богу стал молиться.

«Господи, спаси помилуй... Тоже поехал... Рабо-о-тничек. Ха... Ище



парнишку-то там... как бы... Боже, милостивый буди нам, грешным... Собачья шерсть... Алилуй, алилуй, господи».

Помолившись, Пров перетряс все доспехи пленного, сумку вывернул:

— Храни бог, ножа нет ли... Али пистолета... Кни-ижница...

Он поднял маленькую, в переплете, книжицу.

— Эй, бабка... Глянь-ка. Богородица это, што ли, срисована?

— Она... Стало быть, она, матушка...

— Да-а... — удивленно протянул Пров, — ишь ты... — и все аккуратно сложил в сумку.

Еще печь не протопилась, заскрипел под окнами снег.

Дунька давно австрийца у окна караулит, продышала в стекле глазок.

— Стряк едет. Воз везет. Гли-кось, деда, гли-кось!..

Дед поперхнулся чаем и закашлялся. Австриец, весь запорошенный снегом, вошел в избу. Пров, далеко вытянув левую ногу и подбоченившись, позвал:

— Эй, служба... Как имя твоё? Кличка-то?

— Вацлав.

— Ну, Асаф так Асаф... Залазь-ка, Асаф, за стол, садись чай пить... Дай-ка ему, бабка, штгей..

За день Вацлав воды бабам натаскал, дров наколол, снег расчистил.

— От, пес... Какой горячий... А?.. — брюзжал все время дед, ухмыляясь в бороду.

Пров спать лег без топора, а утром встал попозже.

— А где стряк?

— По дрова уехал...

— Ха!.. Чисто камедь... — улыбнулся дед и сладко позевнул.

За обедом Вацлав много рассказывал ломаным своим языком. Пров плохо понимал его речь, поддакивал:

— А ты луи пуще кашу-то... Не робей...

На третий день не утерпел дед: достал из сундука денег, пошептался с бабкой и направился задом к торговому человеку.

— Отмерь-ка ты мне, сделай милость, двух сортов ситцу... с разводами... на пару рубрах... А на третью — кумачу...

Отмерял торговый человек.

— Покажь-ка ты мне на штаны сукнишка... Дело. Отмерь, что полагается. С удовольствием отмерял торговый.

— Ну, теперича опояску давай. Шпанку давай.

— Это кому ж, Пров Силыч? — осклабился торговый человек...

— А надо. Кому придется, — улыбнулся дед.

Принес домой. Похлопал по плечу австрийца:

— На, Асаф, получай... Потому как ты очень сердитый на работу, дороже ты мне всего... Эй, женски!.. Качай ему всю амуницию...

Австриец широко улыбался, тер рукой переносицу и от удовольствия усиленно сопел.

— А вот ужо сучку пестренькую удавим, дак... я тебе рукавицы справлю... Ничо... Живи со Христом, — сказал Пров и еще раз потрепал Вацлава по плечу.

ВАРИН СОН

Посвящается Павлу Николаевичу Медведеву

I

Варя Лесникова никак не могла ясно себе представить, что такое война. Она видела, как по городу ходят с песнями солдаты, как на базаре толкуются в неукладожных штроблетах пленные австрийцы, как недавно огромная толпа с флагами рекой лилась по улицам и кричала «ура».

В прошлую пятницу все учебные заведения города устраивали манифестации: с разноцветными флагами и музыкой целый день попарно маршем разгуливали от гимназии к реальному, от реального к управе, от управы к губернатору. Всем было очень весело: под звуки музыки, не умолкая, звонкими голосами кричали:

— Да здравствует Бельгия!

А сзади, из тысячной, примкнувшей к шествию толпы, одиноко доносилось:

— Эй, ребятаки. Грянь марсельезу! Грянь!

— Сербии ура! Англии ура! Урра!

И снова музыка, и снова многоголосое нестройное пение.

Встречные пленные либо ныряли, согнувшись, в переулки, либо делали под козырек и, чему-то печально улыбаясь, проходили мимо, а те, что из немцев, крепко зажимали ладонями уши, зло отворачивались.

— Долой Германию! Да здравствует Франция! Урра!

Несмотря на то что день был морозный — гимназистки частенько прятали носы в муфты, а у восьмиклассника Коли Фунтикова защекали усы и борода, — несмотря на усталость, все учащиеся были весьма довольны манифестацией: пошла насмарку и геометрия, и латынь, и немецкий, да и назавтра обещано послабление. Потом в той гимназии, где училась Варя Лесникова, стали готовиться к патриотическому вечеру. Через неделю у реалистов также будет патриотический вечер, у коммерсантов был только что.

Словом, война совсем, совсем не страшная. Хотя позабрали порядочно на войну народа: у трех Вариных подруг братьев взяли, у Сашеньки Востропиной — отца и дядю, но у Вари в семье, слава богу, пока все благополучно. Вот только няниного сына, Прохора, утнали.

II

В воскресенье погода установилась добрая. После трескучих морозов сразу потеплело. Небо ласковое, синее, и деревья в Варином саду, нарядившись в легкие пушистые кружева, были задумчивы и чисты.

Брат Вари, гимназистик Миша, и с ним целая стая ребятешек весь день вели отважную игру. Они, гикая и ухарски свистя, шумно носились по двору и саду, барахтались в сугробах и с азартом друг друга тузили. Старая няня два раза выходила в своей кацавейке в сад звать домой Мишу.

— У нас война. Проваливай!

И когда она настойчиво вышла в третий, то, будучи принята за неприятельского шпиона, едва не угодила в плен, причем, поспешно отступая, она отделалась лишь тем, что военный летчик Карась ловко метнул с аэроплана бомбу, то есть, забравшись на сарай, лопатой свалил на няню свесившуюся снежную глыбу.

— Эх ты! Ну-ка! — крикнула перепуганная нянька, навсегда покидая поле братоубийственной войны.

И лишь под вечер, когда зажгли огни, Миша явился домой. Тяжело сопя, он вошел в свою комнату, хлопнув дверью.

Варя отложила в сторону задачник и пошла навестить брата. Замыв Мише разбитый нос, ворчливая няня прикладывала к синяку под глазом большой старинный пятак:

— Добалуешься ты до дела, добалуешься...

Из дальнейших пререканий няни с братом Варя узнала, что нос Мише разбил «неприятель», когда они брали траншею, а фонарь под глазом подставили неприятельские скрытые саперы, сцапав Мишу в хлесту.

— И зачем вы, озорники, палочьями-то бьетесь? — скрипела няня.

— Война! Понимаешь: война.

— А кабы он тебе вышиб глаз-то?

— Наплевать: война.

Хотя отец назвал Мишу болваном, а мать на три дня оставила его без сладкого, он чувствовал себя героем: гордо ходил с завязанным глазом по комнатам, пугал воинственным кличем маленькую собачонку Зорьку, а когда поздно вечером ординарец командующего армией, гимназист-приготовишка, крадучись, принес ему за храбрость вырезанный из жести крест, Миша так преисполнился восторгом, что, неистово крича, бросился галопом в залу, вскочил на стул, залез на пианино, спрыгнул на пол, боднул подвернувшуюся няню, а потом, влетев в коридор, поймал за левую ногу улыбавшегося ординарца и поволок его в столовую. Ординарец, маленький карапуз в большой папахе и шинели до пят, испуганно скакал на правой ноге за Мишей, сюсюкая тонким голосом:

— Брось... не балуйся... Отстань!

III

Когда легли спать, Миша долго посвящал Варю в свои военные дела. Кавалерийские набег, фланг, тыл, встречный бой и много других странных и непонятных слов услышала в эту ночь Варя.

— Иди и ты к нам.

— Я, Мишенька, боюсь.

— Ха, боюсь. А как же взаправдышная-то война?..

Ведь там по тысяче убивают. Почитай-ка в газетах.

— Неужели, Миша, по тысяче?

— Натурально...

Варя задумалась. Она представила себе тысячу солдат, обреченных на смерть, и среди них вдруг увидела няниного сына Прохора, того самого ласкового дядю Прохора, который в прошлую зиму возил снег с ихнего двора и устраивал детям гору. Сердце ее запрыгало, а душу охватила жалость. И не тысячу ей было жаль чужих, незнакомых солдат, а вот этого самого дядю Прохора, которого с такими слезами провожала летом на войну няня. Варя вспомнила последний день разлуки, когда дядя Прохор, огромный и высокий, выше папы, стоял, пофыркивая носом, среди кухни, а перед ним, привалившись спиной печке, вся в слезах, няня. Она левой рукой размазывала по лицу слезы, а правой крестила сына, приговаривая: «Прошенька ты мой, милый ты мой. Ох, горюшко...» Папа дал Прохору три золотых и долго ему что-то наказывал. Прохор часто кивал в ответ в скобку стриженной головой, смущенно утюжил бороду и тер кулаком глаза. Мама дала ему образок: «Как пойдешь в бой, помолись», а Миша, с обнаженным деревянным мечом, в наклейных кудельных усах и в желтых погонах из Вариных подвязок, держал возле печки почетный караул и молча, по-военному, ел глазами дядю Прохора. «Уж вы, в случае чего... барин... старуху-то мою...» — не договорил дядя Прохор, и глаза его заплакали, а няня, всплеснув руками, завывала в голос и бросилась к нему на шею. Когда слезы прошибли дядю Прохора, Миша враз опустил с плеча меч и завсхлипывал, а она, Варя, побежала в свою комнату, схватила с комода глиняную копилаку, набитую серебряными, принадлежащими ей, деньгами, и, вернувшись в кухню, незаметно всунула ее в карман дяди Прохора. Прохор стоял великаном; он придерживал плачущую няню и говорил ей: «Ну, будет, бабка, ну, чего ты! Все идут. Авось как не то».

И вот, вспомнив все это и вновь пережив, Варя долго лежала молча.

На камине тикали часы, в саду за окном шумели деревья, у ворот сонно постукивал в колотушку сторож.

— Кто же их убивает? Немцы? — наконец спросила, тяжело дыша, Варя.

— Естественно, немцы.

Варя быстро приподнялась на кровати, сжала кулачки и нервно крикнула:

— Немцы подлые! Я их ненавижу. Подлые! — и, закрыв руками лицо, торнулась в подушку,

Миша в ответ радостно хихикнул, погасил электрическую лампочку и, помолчав, таинственно прошептал:

— Хочешь, бежим? Ежели согласна немцев бить... бежим с нами... нас трое собирается. Добровольцы.

Сбросив одеяло, он подсел на кровать к Варе, захлебываясь, быстро заговорил:

— Степа Прыщиков бежит. Многие бегут. Ты почитай газеты. У одного реалиста три Георгия. Разведки... пластуны... знамя... Я на коне. Ты на коне. Дядя Прохор... Бежим!

Но Варя, отмахиваясь локтями, не слушала. Она что-то странное оглядывала внутренним взором, вся вздрагивая: ей представилось, что немец налетел на дядю Прохора и ударил его по шее саблей, а дядя Прохор, замахав

руками, как обезглавленный петух крыльями, пустился бежать без головы по полю.

Варя отшатнулась, крикнула.

— Ты чего? — привстав, бросил Миша.

— Я, Мишенька, боюсь. Зачем ты мне рассказываешь? Я боюсь.

— Ну... значит, баба.

IV

Мише так и не удалось склонить сестру к побегу на войну. Да и весь его заговор предательски был открыт глупой нянькой. Она нашла у него под кроватью старинный ржавый пистолет, зазубренный косарь и походную торбу, набитую сухарями и чаем.

У Миши поднялись дыбом волосы, когда в спальню крупными шагами вошел папа.

— Это что значит? Откуда у тебя эта дрянь? — держа руки в карманах, кивнул он глазами на Мишины доспехи, коварно разложенные няней на лежанке,

Мише, прежде чем ответить отцу, необходимо было вернуть самообладание, нужно было не ударить лицом в грязь перед этой девчонкой Варькой, которой он вчера еще так красноречиво говорил про свою отвагу и которая тут же торчит возле няньки и, всячески ужимаясь, вот-вот прыснет смехом. Миша, не поднимая глаз и угадывая все творящееся возле него, мысленно поклялся накрутить сестре косичку тотчас же, как кончится «дело».

— Ты оглох, что ли? — повторил отец.

— Нет, слышу... — весь вспыхнув и вновь почувствовав себя героем, поднял Миша на отца черные, с огоньком глаза.

— Ишь, набылчился... — пробурчала няня. — Ты чего это на папашеньку-то волчонком смотришь? Проси прощенья!

Миша вдруг вообразил себя попавшимся в немецкий плен русским солдатом и решил держаться гордо и надменно.

— Это оружие из арсенала, — сказал он и, заложив руки назад, зашагал по комнате, крепко стуча каблуками.

— Из арсена-а-ла? — протянул отец. — Из какого арсенала? А? И это из арсенала? — пряча в усах ядовитую улыбку, вытащил он из торбы круг заплесневевшей колбасы. — И это из арсенала? А? — уже гремел отец, держа в руках красный кисет с махоркой. — И трубка из арсенала?

Миша круто остановился и, кусая нервно губы, сквозь слезы выкрикивал:

— Я солдат. Понимаешь, солдат... Я иду родину защищать.

Отец поднял на лоб очки, уперся в Мишу чуть подслеповатыми глазами и топнул:

— Я те такую защиту покажу, я те такой кисет с махоркой пропишу.

— А вот и не пропишешь...

— Что? Что-о-о?..

— Не имеешь права. Теперь все порядочные люди...

— Молчать! Марш за уроки! Нянька, выбрось всю эту дрянь в дыру!
Варя, зажав фартуком рот, громко фыркнула, посматривая, как толсто-бокая няня сгребает в подол с лежанки Мишино добро.
— Не смей, не смей! — закричал Миша и бросился к няньке.
— Марш за уроки! — схватив за руки, поволок отец Мишу к двери.
— Не буду... Не надо... Я не хочу учиться...
— Что? Ах ты болван!
Отец втащил его в свою спальню и для острастки вытянул вдоль спины подтяжками.

V

Поруганный в своих порывах, Миша, всхлипывая, лежал на кровати. Варя, всячески стараясь угодить брату, принесла ему на ужин кружку молока и сладный пончик.

— Ты, Мишенька, будто раненый, а я будто сестра милосердия... Ладно? — говорила она, приглаживая черные волосы брата. — Это все из-за немцев, Мишенька. А на папу ты не сердись... И на няню не сердись... Ладно?

Отворилась дверь, вошла в белом капоте мама.

— Дети, спать... Поздно уж.

— Сейчас, мамочка...

И Варя стала укладываться.

— А ты что ж, сын милый... Бежать хотел? Из родительского дома бежать?

Миша, обхватив горячими руками шею матери и целуя ее душистые волосы, прыгающим голосом заговорил:

— Мамочка, милая... Я же это не вправду... Я же это так...

Поцеловав детей, мать тихо пошла из комнаты. Задержалась у двери, еще раз взглянула на рядом стоявшие кровати и скрылась за портьерой. Варя, выглядывая из-под одеяла, шептала брату о том, как гимназистки заготавливают для солдат и офицеров подарки к праздникам, как по вечерам они собираются два раза в неделю в гимназии и там, вместе с учительницами и классными дамами, сортируют и распределяют по пакетам подарки.

— В каждый пакет, Мишенька, положим записки... Как ты думаешь, что бы мне написать?

Миша что-то пробормотал, засыпая.

— Что, Мишенька? — громко спросила Варя.

— Спи, вот что, — заскрипел возле нее голос няни.

Варя приподнялась, окинула комнату сонными глазами и, увидев сидящую у столика няню, спросила:

— Это, нянечка, кому носки? Прохору вяжешь?

— Ему, ягодка, ему... Ужо-ко какой холод будет там... страсть... А ты молилась ли богу-то?

— Молилась, нянечка... За папу, за маму, за сводников. А за немцев не надо, нянечка?

— Пошто? Молись... И за немцев молись... Хоть оно действительно

что...

— За них — грех, нянечка... Они подлые...

— На вот те... Ишь ты... А как же Христосеньку-то нашего, боженьку-то, распинали, то ли не вороги, то ли не лиходеи, а он, батюшка, царь-то наш небесный, всех простил, всех пожалел. За всех молняся. А что ж немец... Нешто ему не больно? Подумай-кось...

— А они зачем воюют?

— Ха, чудная... Да ить цари велят... Как тут?

Варя задумалась и вопросительно переводила дремотный свой взгляд то на ласковое морщинистое лицо няни, то на образ Спаса с играющим огоньком лампадки.

А няня, мелькая спицами и низко склоняясь над чулком, завела своим скрипучим старческим голосом:

— Вот так же в Крымскую войну забрали моего родителя, царство ему небесное. Еще мы тогда крепостные были, помещичьи, я чуть помню. И ходила тогда по небу звезда-хвостунья. И такая была огромная звезда, что и не вымолвить: хвостом своим почитай полнебушка застилала. Все хрещеные тогда думали, что конец свету пришел... Да...

Няня сладко зевает, крестит рот и, поправив очки, еще ниже склоняется над работой.

— А о турецкой-то о войне мужа моего убили, превечный ему покой, хозяина... Прошенька-то по второму году после него остался.

VI

На другой день Миша вернулся из гимназии расстроенный. Учитель немецкого языка, Федор Карлович Штоль, издавна служивший мишенью ребяческих проказ, совершенно зря влепил ему единицу и пожаловался на него директору.

А случилось это так. Лысый и толстый, похожий на пивовара, Федор Карлович ввалился по-медвежьи в класс и, подняв к потолку руку с вытянутым указательным пальцем, интригуяще возгласил:

— Ого!

При этом он хитро улыбнулся и, прицелкнув языком, подмигнул гимназистам.

— А что такое? Федор Карлович, что?

— Ого! Как наши рюски сторофо немцев бьют. Ого!.. Рюски молодец.

В ответ класс грянул хохотом, а Миша, вскочив на парту, пронзительно свистнул и прокричал:

— Немец-перец... кол-баса!

Учитель смутился, покраснел, бросил на стол журнал и, пошлепав бритыми губами, крикнул:

— Шо? Шо такое? Болван! Рюски свин!

А потом кол в журнале, директор, весь класс без обеда, нагоняй всем, а Мише — особая распекация.

Придя домой, Миша зло швырнул ранец под стол, поддел ногой ры-

жего кота и пошел в свою комнату, резанув на ходу перочинным ножом дорожки обон.

Когда он шагнул в свою комнату, к нему вся в слезах прибежала Варя:

— Дядю Прохора-то... Мишенька... Милый...

А на кушетке, скорчившись, лежала вниз лицом няня и, обхватив голову, выла в голос.

Миша подошел быстро к матери, которая, стоя у окна, перечитывала письмо от Прохора, заглядывая через ее плечо, стал бегать глазами по строчкам.

«...Так что я тепереча, слава богу, в госпитале. Ну только что левой рученьки своей лишился, ну, еще отняли по колен ногу...»

Миша ясно представил себе дядю Прохора, его дюжую фигуру, его бородатое румяное лицо. Строчки были написаны вкривь и вкось, самыми обыкновенными чернилами, но они, как живые, звучали мягким и ласковым голосом дяди Прохора, будто он сам вернулся сюда, взял Мишу на руки и вот рассказывает ему о своей беде. «Обо мне же не сумлевайтесь, бог не без милости. Ну только что кто же теперича Мишеньке лыжи мастерить будет али барышине Варваре Ивановне гору? Ну я же теперь навек калека».

Вдруг строчки запрыгали, побежали к правому углу листа, и Миша смахнул с глаз слезы, крикнул и крепко прикусил прыгавшие губы.

После ужина он написал Прохору длинное письмо, в котором уверял его, что он, Миша, с товарищем Степой Прыщиковым, ей-богу, убегут на войну бить немцев. Они отомстят за Прохора!

Спать легли сегодня поздно. Все с няней возились, за доктором бегали. Няня заболела.

Варя еще вчера до смерти надоела папе и маме, по десять раз спрашивая, что бы такое написать на записочках для трех солдатских пакетов.

А теперь, перед самым сном, она, сидя рядом с Мишей, твердой рукой, не колеблясь, выводила на каждой из трех записок:

«Храбрый воин! Заколи, пожалуйста, двух немцев».

Написала, перечла:

— Так им и надо: пусть Прохора не убивают, — и вложила в пакеты.

Ложась спать, Миша сказал ей:

— А я все-таки, Варька, убегу...

— Куда?

— Немцев бить.

Варя, чуть помолчав, ответила:

— Мишенька, и я...

VII

Долго в эту ночь не спалось Варя.

Няня раза два тяжело поднималась со своей кровати и, охая, подходила к ней.

— Нянечка, мне не спится... Поговори со мной, нянечка...

Старуха опускалась на стул и, вся скрючившись, начинала о чем-то рассказывать.

Слушает — не слушает Варя, глаза закрыты, вот-вот уснет.

— Ох, горе-горе...

Варя открывает глаза, удивленно смотрит на няню, а та поднялась со стула, уходит собирается и плачущим голосом говорит:

— Сердечушко-то во мне все изныло. Батюшка ты мой, Прошенька.

— Нянечка... Ты не горюй, нянечка... Не плачь.

— Ах, Варюшка... Жаль ведь... Какой он теперича есть человек? Кто его кормить, поить станет... Охо-хо...

Старуха стоит, пошатываясь, у кровати, а туго повязанная полотенцем голова ее трясется.

— Ну, ангел с тобой, хранитель с тобой... Спи, дитятко, спи.

Она крестит старческой дрожащей рукой Варю и, так же охая, уходит.

Варя, закутавшись в мягкое одеяло, долго еще перебирает в памяти свои беседы с Мишей, и вот мечты вдруг подхватили ее на сказочный ковер-самолет и несут в неведомое далеко. И не может Варя понять: сон или явь это.

Вот они едут с Мишей и Степой Прыщиковым в вагоне. Варя сидит в самом углу купе. Она в белом с красным крестом фартуке. Ей весело смотреть в окно вагона, за которым крутит и метет вьюга, а ей тепло. Она любит брата и Степу, как те в огромных папахах, с золотыми эполетами, рассматривают карту, что-то записывают в книжечку и горячо спорят.

— А куда же вы, девочка, едете? — услышала Варя голос.

— Немцев бить...

— То есть как бить? Вы же милосердная.

— Нет, не бить... Перевязывать... Солдатиков лечить.

Варя открыла глаза, высвободила из-под одеяла руку, нащупала стенку кровати и опять зажмурилась. «Сон», — подумала Варя, но в это время Мишенька подошел к ней и, играя золотым кинжальчиком, сказал:

— А мы скоро, Варька, на воздушном шаре полетим... — сказал так и дернул ее за косичку.

Варя отмахнулась: «Отстань». Глядь: папа и мама по бокам ее сидят.

— Папочка, и ты? И ты, мамочка, с нами?

— Да, — сказали они, — мы только до станции...

— Варька, крепче держись! Держись!

Чувствует Варя — несутся они по воздуху высоко-высоко, наравне с птицами.

— Ах, Мишенька! Я сорвусь, — шепчет она и видит, как зеленым ковром легли под ней поля с лесами, с речками, деревни видят, города, много городов.

— Лесникова! — вдруг услышала она голос учителя географии и вся замерла. — Слушайте, Лесникова, покажите мне, где Казань, где Москва... Назовите мне эту реку.

Оглянулась Варя — учитель в подозрную трубу смотрит вниз, а рукой какое-то колесо переводит.

— Ну?

А она, Варя Лесникова, фартучек свой быстро-быстро перебирает, думает: «Господи, дай бог сон... сон... Нет, не сон».

— Я... не подготовилась...

— Спускай! Садись! Легче! — командует Миша, и шар их плавно при-
ник к только что сжатым нивам. Варя, сильно вздрогнув, прыгнула на зем-
лю и сразу догадалась, что про учителя географии был сон. И все трое —
Миша, Степа и она — побежали к тому месту, где радостно играла музыка.

Быстрее и быстрее несутся они, схватившись за руки, а впереди и с бо-
ков бегут солдаты, скачет конница, и все кричат звонкими голосами:

— Вперед! Вперед!

Ярко солнце светит, гудит земля от топота.

— Пospешай, чадо! — знакомый слышит Варя голос.

То батюшка, отец Сергей, бежит с крестом возле нее и, улыбаясь, осе-
няет ее благословением. А вдали по полосе няня торопится, машет Вале
рукой:

— Варечка, не отставай, дитятко, не отставай!

А сама на бегу то упадет, то поднимается.

— Вперед! Вперед! — со всех сторон льется клич.

И уже все поле покрыто воинством, знамена реют в воздухе, ядерная
песня звенит, на белых конях генералы мчатся.

— Победа! Победа!

Пушки, должно быть, грянули, колокола залились, все ликует, движется.

— Нянечка! — кричит Варя и машет ей голубым флагом... — Нянечка!

Ура!

И все поле, весь лес, весь воздух загудели от этого крика:

— Ура! Ура! — перекатывалось и дрожало от земли до неба.

— Левей, левей! — кричит батюшка, отец Сергей.

И няня:

— Сюда, Варенька, за мной, к Прохору. Эвот Прохор-то...

И вот отбились они от воинства, повернули влево, к лесу, а воинство,
вместе с Мишей и Степой, все удаляясь, все замолкая, уходило, расплыва-
лось и скрылось за синими туманами.

Вот видит Варя: русские солдаты с ружьями стоят.

— Прохор! Дядя Прохор! — вскринула Варя и только хотела бросить-
ся к нему, как отец Сергей строго погрозил ей пальцем и сказал:

— Нельзя... Не подобает... — а сам вынул из-под рясы три Вариных
пакетика и передал солдатам.

Пока солдаты развязывали веревочки, пока читали Варини записки, ви-
дит Варя: против каждого русского солдата по два вражьи воина стоят. Ли-
цом угрюмые, усатые, на ружья руками уперлись. А за ними, тут же, сидя,
пригорюнившись, вражьи женщины, возле женщин вражьи дети играют,
на руки просятся, к старикам.

Вдруг наши солдаты, и Прохор с ними, крикнули:

— Колоть, что ли? Эй, Варя!.. Вот тут в записочках...

Вся в страхе взглянула Варя на вражьи женщин, на детей, на стариков:
сердце ее замерло, остановилось. Она приникла лицом к земле и, горько
плача, застонала:

— Ой, ой! Не убивайте!

И поднялось враз великое смятение, шум стал особьей, будто огромные крылья, уносясь, секли воздух, будто под взмахом мимолетной бури зашуршал, звеня, камыш.

А Варя все плакала, плакала, боясь оторвать от сырой земли голову и открыть глаза.

— Ну, вставай. Что лежишь, — говорит над ней няня, — чего стонешь?

И приподнимает ее с земли. Открыла Варя глаза, очнулась.

— Нянечка... Дорогая моя нянечка... Сон-то какой я видела.

И вся прильнула к рыхлому, с запахом лекарств, телу няни.

Шторы опущены... В комнате полумрак.

VIII

Наскоро умывшись и поцеловав в морду рыжего кота, Варя вышла в столовую, где папа, сидя за стаканом чаю, читал газету. Увидев Варю, он, улыбаясь, ласково забрюзжал:

— Ну-ка, ну-ка, засонюшка, поди-ка сюда, поди: я тебя за левое ушко...

И, притянув к себе дочь, поцеловал ее в голубой бант на голове.

— Ну, садись, пей чай... Закуси.

— Некогда, папочка... Я опоздала... Ой, папочка, и закон не подготовила, задачку не решила... А где мама? Спит? А знаешь, папочка, сон-то какой я видела?

Так, тараторя своим серебряным голосом, Варя на ходу проглотила стакан молока и побежала в гимназию.

— А тюрочки-то свои не забыла? — крикнул ей отец.

— Взяла, папочка, взяла.

Возле гимназии стоял большой, запряженный парой фургон с красной надписью: «Жертвуйте на передовые позиции».

— За вещами? — спросила Варя, и у нее сильно забило сердце, словно она вдруг чего-то испугалась.

— Так точно, барышня, — ответил ей бородатый, похожий на Прохора кучер, оглаживая коренника.

Звонок дали на десять минут раньше, чтоб до уроков отобрать заготовленные для солдат подарки. Варя села за парту и торопливо стала развязывать свои пакетики.

Варя еще утром решила другие вложить записочки, но, как ни придумывала она, что бы такое написать в них, ничего не приходило в голову. В кровати думала, дорогой думала. Эх, жаль, папу не спросила, а классная дама торошит девочек.

— Лесникова? Вы что копаетесь?

— Сейчас, Марья Ивановна, сейчас!..

И уж некогда ей было раздумывать, некогда новые записочки писать. Она глубоко обмакнула перо, перекрестилась мысленно и к словам: «Храбрый воин! Заколи, пожалуйста, двух немцев», — вся вспыхнув, добавила: «Только не до смерти»...

ТАЙГА

Повесть

Посвящается Ксении Михайловне Жихаревой

*И тогда небеса с шумом
прейдут, в стихии же, сжигаемы,
разрушатся, земля и все дела
на ней сгорят... Но мы нового
небеси и новой земли чаем,
где правда живет.
Второе послание ап. Петра,
гл. III, ст. 10 и 13*

I

Кедровка — деревня таежная. Все в ней было по-своему, по-таежному. И своя правда была — особая, и свои грехи — особые, и люди в ней были другие. Не было в ней простору: кругом лес, тайга со всех сторон нахлынула, замкнула свет, лишь маленький клочок неба оставила.

Деревня — домов тридцать, а кладбище за поскотиной большое, хватило бы на добрый городок.

Когда она появилась на божий свет, — никто путем не знал. Только дедка Назар, вот уже второй век коротавший, сидя на печи, говаривал, еле ворочая непослушным языком:

— Еще когда Пётр царем служил, наша деревня-то родилась. Дедушка мой Изот Кедров, покойна головушка, с каторги быдто бы бежал да сел тут. Так и пошло, благословясь, от нашего кореню.

Земли в Кедровке было немного: кой-где по увалам и падым, вдоль речки, да там, на той горе, что приподнялась желтой лысиной над тайгою. Впрочем, мужик и не дорожил землей: ему тайга давала все — и белку, и соболя, и медведя, и орех. Но за последнее время стал падать зверовой промысел, вздоржал хлеб — и тогда топор загулял по тайге, глубоко врезаясь в ее недра.

Загресала тайга, заухала, в спор вступила с человеком: насылала медведей на его жилище, пугала лешими. Но устоял человек, все перенес, а тайгу все-таки покорил. И там, где к небу вздымались вековые деревья, теперь зелеными коврами легли веселые нивы.

Деревня жила день за днем, год за годом. Проходили десятки лет.

Старики просили тихой смерти, безропотно умирали, крепко надеясь, что вот там, за могилой, начнется что-то хорошее и светлое, то самое, о чем так болело сердце, скучала душа.

Старики любили друг другу жаловаться на сыновей и внуков, что отбились от рук, совсем из отцовской воли ушли, никого знать не хотят — ни бога, ни черта.

— Мы за богом-то эва как следим, — корили они молодежь, — а вы что?.. Эх вы, окаянные!..

Но и старики и старухи за богом следили плохо. Да как же: вот какая свара идет между народом, друг другу рады горло перегрызть. А из-за чего, спрашивается, — путем никто уяснить не может.

У солдатки Аффимьи телка сдохла — рады. Петруха Тетерев с вина сгорел, Акулину оставил саму четвертую — рады. У Якова мальчонка кашей подавился, помер — рады. Жена Обабка, баба беднеющая, тройню родила — рады! И всегда так случалось, что сначала как будто жалость падет на сердце, словно кто свечку зажег и осветил душу, тепло так, приятно, а потом, — подошел черт с черной харей, дунул на эту свечечку и притоптал копытом. Вдруг становилось темно в душе, вдруг начинало ползать в ней что-то холодное и подмывающее, и тогда про жену Обабка говорили, зло пыхтя и ворочая глазами: «Так ей, суке, и надо». Но почему работающая жена пропойцы Обабка — сука, какое она кому зло сделала, — разве не больно, разве не обидно ей? Никто такого вопроса себе не задавал, каждому казалось, что эта тихая Обабкина жена действительно всем надоела и всех обидела, действительно виновата, что все, сколько есть в деревне народу, из-за нее, суки, так плохо живут, впроголодь живут, неумытые и темные, донельзя забитые нуждой, озверелые люди, всеми забытые и брошенные, как слепые под забор котятка.

Так каждый ко всем относился, все к каждому.

А вот Ивану Безродному прошлой зимой шесть лисиц в кулемки попали, а нонче у Петрухи Зуева рожь хорошая вымахала: у иных градом прибило, у него стена стеной. Этих ненавидеть стали, «черт помогает», говорили. Вдовуха Лукерья лавчонку открыла и богатеть начала — гумно спалили: «не смей». Дядя Изот пьянствовать бросил: «Врешь, старик, на небо полез?..» — засмеяли мужика, проходу не давали, пить стал пуще, с вина сгорел.

Кедровцы не любили, чтоб кто-либо выделялся из них: «Лучше других захотел? Нет, стой, осадил назад».

Так и жили в равненьи и злобствовании, в зависти и злорадстве, жили тупой жизнью зверей, без размышления и протеста, без понятия о добре и зле, без дороги, без мудрствований, попросту, — жили, чтоб есть, пить, пьянствовать, рожать детей, гореть с вина, морозить себе, по пьяному делу, руки и ноги, вышибать друг другу зубы, мириться и плакать, голодать и ругаться, рассказывать про попов и духовных скверные побасенки и ходить к ним на исповедь, бояться встретиться с попом и тащить его на полосу, чтоб бог дал дождя.

Мужья били жен молча и стиснув зубы. Били, не находя никакой вины за бабой, а так просто, со злобы, вымещающая на ней сердце за свою никчемную жизнь. А потом жалели их, целовались и плакали вместе, но проходила день, проходила неделя — и опять повторялись драки, и опять слышался рев то в одной, то в другой избе. Когда мужики отправлялись в тайгу, на промысел, бабы иной раз заводили пашни с оставшейся молодежью, с кем попало — с прохожим молодым бродягой, с попом-кутилой, с политическим ссыльным. И не всегда ради разврата, и иной раз по озорству, из же-

лания отомстить мужу, сделать ему больно.

Степка, любясь с пастухом Сидоркой, отлично знает, что кумушки все, с прикрасой, разболтают мужу, насажут то, чего и не было, — отлично все это знает и нарочно, может, только потому и делает так, что вот взбесится муж, будет тиранить ее, упрекать, изгаляться, а она, вся избитая, выбежит на середину улицы и заорет на весь белый свет: «Уйду, жиган, уйду, пропойца, к Петровану-слесарю, царскому преступнику, уйду!»

Детей рожали без боли и приготовлений, где придется: в лесу и в поле — все равно. Детей у всех было помногу: «Вали, Мавруха, ни-и-чего, хуже не будет».

Жизнь деревни Кедровки — испокон веку так завелось — кололась всегда надвое: то черная полоса, то светлая.

Уродится хлеб, удастся пушной промысел — светло на душе, отрадно. Ходят веселые и довольные, заломив набекрень шапку, разрядившись в сарафан поярче и со скрипами полусапожки. О нужде забыли: ведь вот только что была, еле убралась со двора, еще след не простыл за воротами, но ее не помнят и начинают жить так, как будто заказали ей все пути к возврату. Сладко принимались есть, фамильным чаем обзаводились, одежду spravляли, какую надо и какую не надо, — так, для форсу, гармошки двухрядные покупали, а наипаче предавались пьянству. Пили все, не исключая малых ребяток, едва отвыкших от соски.

Лица у всех становились веселыми, ясными и приветливыми, злоба на душе таяла, обиды предавались забвению, прежние враги мирились за бутылкой водки, лезли друг к другу целоваться и, плача пьяными слезами, клялись быть «побратимами» до гроба, а в подтверждение слов выполняли на улице и брали в рот землю.

Проходит год, идет другой. Мужики еще с весны начинают примечать, что белки нынче не жди. Это плохо. «Черт с лешим в карты, знать, играли, и леший проиграл всю белку». Зато хлеба будут хороши, вон какие вымахали, любо!

Но вдруг среди лета внезапно падал страшный гость — ранний иней, за ним другой. И все гибло.

Наступала тогда черная полоса жизни.

Эта полоса была живучая, годом не кончалась: жди два, а то и три года: «С ним, с богом-то, драться не полезешь».

Тогда постепенно, исподволь, как день сменяется вечером, снова наплывало на деревню зло. Со всех сторон, из болот и падей, вместе с туманом, неслышно, по-змеиному заползало оно в избы, туманило всем головы, разъедало сердца и рычащим бешеным псом ложилось у порогов.

По деревне, от двора к двору, натягивались тогда какие-то невидимые дьявольские нити. Кто их плел? Конечно, враг человеческий. В воздухе припахивало недобрым, и все становилось унылым и мрачным. Не услышишь больше светлого смеха: засмеются — зло горохом рассыплется; не услышишь и разухабистой вольной песни: запоют — словно кого хоронят; не звенит ласковый голос девушки: «Ах ты, Ваньша, карий глазоку», — слышится вздох молодой, тронутой горем, груди.

Лица становятся хмурыми, глаза голодными и завидующими, рот жадным, руки неудержными, в сердце нарастает боль. Хочется кого-нибудь укусить, уколоть, урвать, выругать, сжить со свету. А иной раз хочется — и откуда прилетит вдруг хотенье! — встать посереде улицы и каждому сказать: «Ребятюшки, а ну, пойдём, а ну, наляжем — не подастся ли?» Куда пойдём, на что наляжем — кто его знает. «Ребятюшки, ворочай все сверху донизу!» Пожалуй, надрывай глотку. Тайга обратно вернет крик и захохочет.

Вот Спирька-солдат из Питера пришел, домой вернулся, — Спиридон Павлыч Иконников. Всем насказал разных небылиц: и какие города бывают, и какие там люди, и какой свет по ночам пускают... Мало ли он рассказывал!

Потом ушел, окаянный, не захотел остаться дома: «Нешто можно здесь жить... Что я — зверь, что ли?» Побохвалился-побохвалился — да ушел-таки... Слоняется где-нибудь, легкой жизни, сукин сын, ищет... Лодырь.

И так и этак ругали солдата Спирьку, что взманил, что указал перстом в небо, туда, где зори плавают, где все не так, все не по-здешнему, но в душе любили часто вспоминать его речи и втихомолку вздыхали.

II

Назимово — большое стародавнее таежное село.

Недалеко от Кедровки, и сотни верст нет — это не расстояние, — но жизнь там попримглядней. В Назимове и «царские преступники» — политики жили, и книжка по рукам ходила, и грамоте кой-кто из парней кумекал: школа была.

Там церковь каменная, колокол большущий, как бухнет-бухнет — долго гул идет, есть священник, купцы, да и от проезжей дороги недалеко. А проезжая дорога прямехонько упирается в уездный городишко, семьсот столбленных верст до города.

Однако греха и всяких поганых дел было много и в Назимове.

Торговый человек, Иван Степанович Бородулин, жил в двухэтажном доме с палисадником. Дом его по селу первый. Сам Бородулин мужик в соку, с большой черной бородищей, румяный, волосы в скобку, зубы белые, бабы его любят.

Со всеми ими помаленьку баловался Бородулин и, гордясь этим, говорил: «До женских я охоч. Пуще же всех нравилась ему солдатка Дарья, с которой он открыто жил.

Но гладкая солдатка Дарья жила в то же время с уголовным поселенцем Феденькой, а жена вора Феденьки, местная крестьянка, жила с кузнецом Афоней, а жена Афони жила с тремя назимовскими парнями и с «женатиком» Лапшой, жена же Лапши, ловкая баба Секлетинья, путалась с вдовым попом. Поп, не довольствуясь бабой Секлетиньей, своей стряпкой, увлеклся семипудовой купчихой Бородулиной, уехавшей в город лечить зоб.

Так оно колесом и шло.

Иван Степаныч Бородулин — купец не промах: всю округу в кулаке

зажал.

Кедровский староста Пров уж на что мужик самосильный, а тоже в долгу у Бородулина: колдуны шишиг таежных на Кедровку напустили, без малого весь скот у мужиков от поветрия чезнул — довелось с поклоном к кушцу идти.

Долго кряхтел Пров: жалко Анну, единую дочь, в люди отпускать, а надо. Убрались с полем, отправил Анну к Бородулину в работницы: хоть часть долга с плеч — и то дело. Матрена больно горевала, перед разлукой на дочку наглядывалась. Мудрено ли? Анна по деревне первая, да не по деревне: поди, нет ее краше да умнее по всей тайге, во всем русском царстве, — и в кого такая задалась?

Только вот Анну тоска грызет. Так как-то, скучно... нехватка в чем-то... Исподтиха-исподтиха, да как вцепится, словно лукавый пес... Точно не здешняя, не таежная, точно в хрустальном ключе родилась, что бежит из тайги да в речку, из речки в море, через весь белый свет, скучно Анне. Сама не знает отчего, а скучно... От жизни, что ли? Жизнь ли это? Стало быть, жизнь...

— В досюльное время, сказывают, лучше было, а теперь погляди кругом: тошнехонько, — сама с собой печаловалась Анна. — Люди не люди, выползут, мохнатые, потычутся носом, что положено, помытарятся да трухлявыми колодами хлоп в землю. А из тайги олять прут новые... Так и катятся: из тайги да на погост, под крестик. Вот и жизнь.

Особенно грустила Анна осенью, когда собирались к отлету птицы. С болючим горем отрывала от сердца крик:

— Журьныки, возьмите мою душеньку... да унесите...

И не с кем словом золотым перемолвиться, размыслом раскинуть. С Устином разве? Нет, Устин — старик, о божественном думает: ему тайга мила. С Кешкой? Темная душа, беззвездная. С родителем? У него сердце мозолистое: работай, ворочай за двоих, а дальше — тпру... Вот с Мошной, однако... Мошна старуха дошлая: много знает сказок, присказьев, побасок. При трескучей лучине занятно ее послушать: руками куделю прядешь, а душа над тайгой трепыхает...

В разлуке с Кедровкой Анна не жила, а пришла в Назимово — тоска пуще. И быть бы, пожалуй, худу, но встретила Андрея — и все перевернулось.

Как-то Бородулин потрепал ее по круглому плечу.

— Иди-ка, Анка, слетай к Андрею-политику, — знаешь? Чтоб диван пришел обить...

Вернулась Анна в радости.

— Ну? — хлопая на счетах, спросил Иван Степаныч.

— Придет, — и она чуть улыбнулась углами губ.

С того и началось. Впервые повстречала Анна такого человека. Шутка ли: учитель, ребят учил... Да и собой больно пригож... Что-то такое в лице, в глазах есть... этакое... едва оторвалась... Когда пришел Андрей, сама не своя: чуть самовар без воды не поставила, накрывала чай — стакан разбила, а помогала Андрею гвозди заколачивать — руки ходуном.

Андрей не меньше Анны, второй уж год, скучал в тайге. Он тосковал о широких донских степях, где родился и вырос, о деле, которому служил, о тех чумазых малышах, что с плачем бежали через всю станицу, когда увозили его в город усатые жандармы.

— Здорово, Андрей, — как-то заглянула к нему Анна.

Тот поднял голову, откинул свисавший на лоб чуб, прищурил живые, зоркие глаза.

— А-а-а... знакомая... — радостно протянул он. — Ну, здравствуй, соколица. С чем пришла?

— Уж ты не обессуди, — и Анна смущенно улыbnулась. — Скучаю я здесь, Андреюшка... Однако домой удеру... напиши писульку родителю, — кажись, десятский едет в Кедровку... Скушно...

Анна облокотилась на верстак, опустила голову.

— Скучно, говоришь? Да, Анна, невесело... Ну, давай напишем...

Он писал, она с любопытством разглядывала его грустное молодое лицо с высоким лбом, большими черными глазами. Брови у него густы, усы чуть-чуть, в плечах широк, а руки девичьи.

— Ты, видать, из благородных... Ишь какой... пригожий.

С той поры часто урывалась она к Андрею: «Чевой-то потянуло к тебе».

— А грамоте хочешь знать? — как-то спросил он.

Даже руками всплеснула, а глаза сразу налились слезами, как цветы росой:

— Андрей, Андреюшка... голубчик...

День за днем катились. Крепкие морозы пришли. По-иному себя Анна чувствует: не видит Андрея день — скука завладеет, а придет к нему — уходить не хочется, так до петухов и сидит.

Достанет Андрей книгу, сядут поближе к печке да и коротают ночь: зимой в избе холодно, как закрутит буран, в углу снегу набьется, хоть лопатой гребни. О людях Андрей читает, чужестранных царствах, о небе, о солнце.

— Ты почитай о правде.

О правде Андрей читает. Хорошо слушать: вливается в душу светлое, новое; тайга уплывает, и Анна уж над нею, словно на высокой горе. Хорошо, должно быть, мир. Андрей по-особому читает, дойдет до места, остановится и много-много говорит, голос ласковый, речь складная, с простого начинается, а сведет на такое, что дух замрет.

— Да как же так, Андрей? Неужто верно? — поднимает Анна крутые брови.

— Верно. Только у вас, у мужиков, глаза завязаны.

Как-то вечером Анна сидела у Андрея. Она шла рубаху, негромко напевала проголосную:

— Уж ты гой еси, да ты светел месяц,

Хоть светло ты светишь,

Да не по-прежнему...

Андрей крупными шагами ходил из угла в угол.

— Ой, потакаешь ты,

Как ворам, плутам, разбойникам...

— Анна, — остановился Андрей и взял ее за руку. — Хорошо ты, Анна, поешь. У тебя столько слез в голосе... грусть...

Девушка перегрызла нитку, отложила шитье и сказала:



— Батюшка с матушкой лучше поют. Бывало, выпьют о празднике, сядут друг против дружки, подшибутся да и... Ну, беспреренно заплачешь.

— О чем же? — поглаживая ее голову, спросил Андрей.

— Да и сама не знаю... Тяжело делается... Быдто кто поклечет куда...

— Ну-ну... — сказал Андрей и опустилс возле Анны.

Та глядела перед собой, что-то вспоминала, к чему-то прислушивалась.

— Али вот ночью... Не заспится иным разом, — ну, хоть зарежь. А батюшка с матушкой похрапывают. Выйду на речку да и сяду у воды... Ночи летом светлые, а птицы в черемошнике, почитай, наскрозь поют... Сидишь и думаешь... Эх, думаешь, была бы богатырем, сгрбела бы громадный топориче да ну тайгу пластать... Вывела бы дороженьку прямехонько на белый свет...

Андрей поднял с полу стамеску, переставил с окна на пол примерзший пузырек с политурой. Анна подбросила в железную печку дров.

— Андреюшка, слушай-ка... Чевой-то сказать хотела. Да, вот чего... Не славно как-то... жизнь-то... Живешь, а словно бы не живешь, а так как-то...

Андрей откинул чуб и зашагал.

— Жизнь... Какая же это жизнь?.. — размахивая руками, говорил он. — Жрут, спят, дерутся, убивают... Дикое нечто, звериное...

— Ох, голубчик... Хуже зверья... Ты побывай-ка у нас в Кедровке... Жуть...

Андрей одернул черную суконную рубаху, подошел к верстаку и стал стругать.

— Уж больно плохо: бедность, руготня, убийство...

Анна сидела, склонив над шитьем голову.

— Эн Федот у нас, лавочник, — тихо говорила Анна, — обобрал как-то двух тунгусов, а чтоб концов не видно, дал им спирту гольного бутылки три в дорогу-то. Ну, напились в тайге, а мороз был страшительный — замерзли. А наши мужики — чего им, нешто жалко!.. За два ведра Федот всю деревню купил: ни гу-гу.

Свежая стружка под сильной рукой Андрея с визгом отделялась от бруса и желтыми кудряшками ложилась у ног. Пахло смолой.

— А то парни девкам помощь устраивают. Слыхал, поди?

— Да, обычай страшный. Изуверство. Грязь.

Андрей положил фуганок. На его лице отразилась боль. Он полузакрыв глаза и, покачиваясь, слушал Анну.

— Молвить-то стыдобушка, скверность... Чуть не угодила девка — уманят обманом за деревню да всем табуном... Тьфу!.. Срамота одна... Господи Христе... Да ить с парнями-то ребятенки, мотри, лезут да женатики... А то старичишка какой ульнет... Орет девка, быдто жилы тянут... Одну замучили: умом помутилась да с сопки на речку. А вся и провинка-то, что за безносика замуж не пошла...

Анна оторвалась от работы и уставилась в стену, словно в столбняке. Андрей, заложив руки назад, крупно шагал из угла в угол и что-то говорил Анне, но та думала свое.

Потрескивало и ворчало в печке пламя, а с улицы доносились крики и руготня: должно быть, начиналась поножовщина.

— А ты, Андреюшка, долго ли здесь проживешь-то?

— Не знаю... Может быть, всю жизнь, — упавшим голосом сказал Андрей.

Он подошел к низенькому оконцу и, согнувшись, уставился на мутную, в лунном свете, всю засыпанную снегом улицу.

— Проводи-ка... Пойду не то... — вздохнула Анна.

— Сиди...

Он опустил голову и задумался. Анна прижалась к нему, заглядывая в глаза. В них была печаль, ей показалось даже — слезы.

— Душно, Анна, скверно... Что-нибудь делать надо такое... ну, чтоб по-светлей было. Жизнь налаживать надо, Анна...

Голос его срывался.

— Охо-хо... Легко молвить, а ну-ка, приступись...

— А если ничего не выйдет, убегу...

Андрей быстро сорвался и зашагал по комнате, крепко сомкнув кисти рук.

— Убегу куда глаза глядят... В Америку!.. К черту!.. К дьяволу!..

— Андреюшка, и я с тобой...

— И ты?!

Он поймал ее протянутые руки и, весь загоревшись радостью, поднял ее с лавки.

— Я в согласье, — шептала Анна, вся дрожа. Потом, словно что вспомнив, удивленно вскинула брови. — Постой, Андрей... А здесь-то как же? Ведь сам же говоришь: темень, скверность... Зачем же убежать? А ты здесь свети. Хошь сколько посветишь, и то добро... Хошь лучиночкой немудрящей...

Андрей улыбнулся:

— Когда встанет солнце, по всей земле светло... без лучинки... сразу. А солнце там, Анна, за тайгой...

— Родной мой... желанный... Ты сам вот и есть солнышко-то.

Проводив Анну, Андрей до утра не спал. Он вынул карту и долго ее рассматривал. Да, конечно, можно... К весне он с Анной доберется до Лены... Следы запутать просто: будто муж с женой на золотые прииски пробираются. А по Лене пароходом... Ну, убегут... А что же дальше? Нет, одному надо... одному...

— Мечта... — роняет Андрей, и его губы складываются в ядовитую усмешку. — Мечта! — швыряет он карту на пол и ходит взад-вперед до изнеможения.

В Андрее с каждым днем росло нечто новое: то его манила тайга своим загадочным шумом, простая жизнь вместе с Анной и упорная борьба с таежной тьмой; то воля вставала перед ним, и сердце рвалось ей навстречу. Воля... красивое это слово... Что ж? Вить гнездо в тайге или подняться вместе с лебедями и лететь за моря?

Но вот как-то в праздник утром пришла к нему Анна. Бледная, растерянная. Не поздоровавшись, опустилась на скамью. Андрей возился над чучелом летяги-белки.

— Что с тобой?

Та не ответила, только вздохнула.

— Не Бородулин ли обидел?

Анна сидела потупившись.

— Да ты что? — шагнул к ней Андрей и взял ее дрожавшие холодные руки.

— Андреюшка... соколик... затяжелела... — прошептала Анна, закрывая лицо.

— Ну вот... так-так... — тянул Андрей, собираясь с мыслями и чувствуя, как перевернулось его сердце. — Вот и отлично... хорошо. Очень хорошо... Ну...

Анна ушла радостная. Не шла, а бежала. Ярко светило солнце. Снег слепил глаза. Была капель.

Андрей готовил товарищу длинное письмо:

Дружище. Теперь все ясно: я остаюсь в тайге. Надолго ли — покажет жизнь, но кажется — надолго... Буду посильно разгонять таежную жуть... Ты улыбнешься? Мелко, скажешь? Ну, что ж... Такова планида, как говорит здесь один купец-хват... Но вот в чем дело. Помнишь, я как-то писал тебе о своей подруге. Я с первого же знакомства привязался к ней, и чем дальше, тем крепче... И она для меня здесь, в тайге, — все. А сегодня она мне сказала...»

У Андрея шумело в голове, строчки прыгали. Он обмакнул перо и перечел написанное.

— Нет, не так... не то... К чему? Надо по-другому, — и разорвал письмо.

Пришла весна. Тайга закурила, заколыхала свои кадильницы, загудела обрадованным шумом и, простирая руки, глянула ввысь, навстречу солнцу, зелеными глазами.

Андрей любит уйти весной в тайгу на неделю, на две, чтобы упитаться вволю весенним хвойным запахом после долгого восьмимесячного сидения в четырех стенах.

По ночам, когда не было Анны, он выходил на улицу и, весь насторожившись, вслушивался в гусиный внятный говор:

— Га-га... Га-га-га... Га-га... Га-га-га...

Высоко, меж тайгой и тихим звездным небом, стая за стайей, вольной лавиной мчались на север гуси.

Андрей чувал, как все в нем закипает буйной радостью. Он жадно шарил глазами по небу, но, кроме мерцавших из голубого мрака звезд, ничего не видел.

— Надо идти...

И вскоре, в весенний вечер, Андрей горячо обнял Анну:

— Я в тайгу уйду, Анночка... теперь хорошо там.

— Чего тебе тайга?

— Тебе не понять, Анночка... Я люблю тайгу... Я скоро вернусь.

Утро настало. Взял Андрей с собой припасы, вскинул на плечо ружье, простился и бодро зашагал вадоль села.

— Не заблудись смотри... Прощай... Проща-а-ай!..

III

Лишь загудит весной тайга, бродяги надевают заплатанную торбу, берут жестяной котелок, суют за голенище отгоченный нож и выползают на божий свет из черных бань, брошенных избышек, зимовьев, обросшие волосами, шершавые и почерневшие от копоти за долгую северную зиму. Выпрямляют согнутые спины, щурятся на солнце, ищут в синеве небес белый лебединый бисер, прислушиваются к хлопотливому крику плывущих с юга птиц и, покорные зову тайги, рассыпаются по ее звериным тропам.

Солнце еще не закатилось, но скоро спрячется за хребтом: вот дрожат последние лучи его на макушках деревьев. Еще немного — скользнут мимо, в сереющий вечерний простор, ирастают. Тихо внизу, а там, над тайгой, ветерок погуливает, шелестит хвоей, вздорит.

— Тюля, кроши чай-то, — октавой сказал плечистый лысый старик, по прозвищу Лехман.

— Есть, — отрубил Тюля, лет тридцати парень, с простоватым круглым, толстогубым лицом, и, крикнув, завоzilся у мешка.

Лехман — старичина дюжий, бородача изжелта-седая, огромная, прядами сваялась, нос с горбинкой, взгляд угрюмый, брови густые, хмурые. А встанет, сутулый, да как гайкнет, — ох и рост же у деда, ох и голос труба трубой... Лехман и есть, весь зарос мохом, по всем статьям лесовик.

Двое других, Антон да Иван, чинили амуницию.

Иван, или, как его за веселый нрав зовут, Ванька Свистопляс, садит на какую-то бабью кофту заплаты и приговаривает:

— Вот это мундер — так мундер... — и гогочет селезнем, встряхивая кулдастой, как капустный кочан, головой.

Антон весь потный, худой, борода с проседью черная, метелочкой, щеки впалые и большие, задумчивые, в темных кругах глаза.

— Так-то, миленький, — говорит Антон, — это господь нас натолкнул друг на дружку... — и черпает берестяной ложечкой из деревянной чашки сухари.

— Господь... Как не господь... — гудит Лехман. — У тебя все господь. Встретились, да и вся недолга.

Ванька Свистопляс, досыта наевшись, пошел рубить сухую листвень: темнеть начало, а костер погасал.

Тюля лег на спину, помурлыкал себе под нос, потом вскочил и скрылся в лесу, весело свистя и потрескивая сучьями.

Сумрак надвигался со всех сторон, а вместе с ним пришел холод. Набросали в костер смолевых пней. Языки огня полизали пни — вкусно ли — и, отведав, сразу охватили пламенем, затрещали, занскрились, распространяя жар и свет.

Антон лежал, подставив теплу спину, и говорил, глядя перед собою сонными глазами:

— Вот, миленький, бог его ведает, доплетусь ли до родины.

— Дальний?..

— Из Воронежа. Есть такой хороший город Воронеж, родина моя.

Вдали стучал топор, и слышно было, как с шумом грохнуло наземь подрубленное Ванькой дерево.

Антон сел поближе к огню. Печальное восковое лицо его блестело от испарины, будто начинало подтаивать и оплывать в лучах костра.

— Я ведь, стариниушка, не простой... Я ведь духовного звания: сельского псаломщика сын, — начал он монотонным, глухим голосом. — Из семинарии меня, значит, выгнали: так, без прилежания учился, да и спиртными напиткам подвержен был. Отец же мой многосемейный, жизнь влачил бедную, даже на глаза меня не принял, и стал я с тех пор сам по себе. Ну что ж, думаю, надо как ни то... По писарской части у меня ничего не вышло, да и не по душе... Тянуло меня в поля, в леса, чтобы по дорогам, по большакам ходить, монастыри старинные осматривать... Любил я, грешным делом, все это. И уж подумывал в монахи пойти: есть такие монастыри удивительные, вон Сарова пустынь, ах ты богородица: леса, речки — прямо рай. Влекло меня к божеству, шибко влекло. Но все вышло на другой лад. Стал я, дедушка, маляром, а потом присмотрелся у монахов да и живописцем заделался, потянуло меня опять на Русь, по селам бродить начал.

Антон качнул головой, причмокнул, повел острыми плечами и вздохнул.

— Подружился я как-то в селе пригородном с поповской дочкой... Ну, конечно, весна, соловьи, благоухания... А сам в то время франт был: часы, куртка бархатная, шляпа и тому подобное. Словом, чтобы грех прикрыть, окрутил нас отец Никифор... Зажил я тут, можно сказать, во всем благополучии: жена красоты замечательной, пиши с нее картину: работы сколько хочешь — из других уездов присылали. Хар-рапо с Наташенькой жили. Так бы оно и катилось чередом, да грех выпел, люди меня за простоту растоптали...

— Человек на это горазд, — сказал Лехман.

Сквозь чапу продирался Ванька Свистопляс, волоча по земле сухие сучья.

— Пять лет жития моего сладкого было. А тут и... Подновлял я храм в одном селе. Благолепный храм, помещиками в старину приукрашен был изрядно. Ну вот. А в селе как раз ярмарка. Народищу навалило густо. Ну, сначала хорошо шло: подгрунтовал я, значит, праотцев в верхнем ярусе, а пока сохнут — евангелистов начал освежать. В церкви и жил, в закоулочке: приду, значит, вечером, побродивши по базару, меня на ночь и запрут, а чуть зорька — я уж за работу... И вот, милый, тут-то меня жизнь и ущемила...

— Запил, что ли? — спросил Лехман.

— Грешный человек, запил... Какой-то вроде актера, бритый, возле меня все юлил... С ним, значит, и того... Нашли меня на вторые сутки... «Как же тебе, Антон Иванович, не совестно! — крикнул на меня староста церковный. — И деньги все пропил?» — «Извините, говорю, пропил». А я действительно при начале двести целковых на позолоту да на краски взял. Староста размахнулся да раз меня в ухо! Горько мне сделалось, заплакал я... от стыда больше, потому — все меня уважали. А всему виной бритый: выманил у меня, у пьяненького, денежки-то, да и лататы... Он, подлец, и в

церковь ко мне захаживал, все иконами интересовался, знаток — это верно... Ну, ладно... Положили меня, значит, на вытрезвление к просвиrne, а за женой подводу отправили, потому знали, что я жену, как бога, чтл.

Антон помигал глазами, снял картузишко без козырька и вытер рукавом потный, с запавшими висками лоб.

— И вдруг ночью ввалился ко мне народ, руки скрутили да в волость. Вот так раз. Ничего понять не могу, потом дорогой слышу: церковь ограбили, венчик в камнях с иконы сняли, крест напрестольный, чашу с дарами и кружку вытрясли. Ловко. Я аж обмер. Даю отпор — знать не знаю. Обыск. Как тряхнули мою жилетку, а оттуда два пятака старинных екатерининских да медаль серебряная. «Ну, так и есть! — староста кричит. — Она самая, моя медаль... Вот и зарубинки. Самолично в кружку опустил!» Тут мне и погибель...

— Ха! — хакнул Лехман. — Это бритый.

— Неужто я?.. Стал бы я на господний храм руку подымать... Не тот человек я... а так, попал в сеть, как перепелка... А вступитья некому: брат старший в духовную академию обучаться поехал, родитель помер, отец Никифор помер... Так меня и закатали...

— А как же бритый-то? — враз спросили Лехман с Ванькой. — Чего ж ты его-то не упекарчил?..

— Где уж... Вишь, я какой?.. — развел Антон руками и как-то вкось ухмыльнулся. — Смирный я, нерасторопный... Всего меня придавило. Накатилось какое-то такое... ну, вроде как... Словом сказать — махнул на все рукой: так, видно, на роду написано...

Антон, тускло посматривая в сторону и думая о чем-то другом, рассеянно сказал:

— Объяснял я про бритого, как же... Ищи ветра в поле... будто в воду... А у меня — медаль...

Лехман и Ванька Свистопляс внимательно слушали. Голос Антона дрожал, впалые щеки разгорелись. Он тонкими пальцами, волнуясь, потереблял бороденку и почмыкивал утиным, с зашишкой на конце, носом.

— Как попал я в Сибирь, стал пить. Прямо пьяницей горьким сделался. Через это все здоровье потерял. До белой горячки, милые, допивался, по воздуху в избе летал. Вот быдто взвевьюсь вверх, с избой вместе, да и ну порхать.

Свистопляс рассыпался горошком и провел ладонью снизу вверх по курносому своему бабьему лицу.

— Это бывает! — весело крикнул он и подбоченился. — Я тоже так-то пивал, дык меня черти в ад спускали по трубе... Женить на жабе, так твою так, хотели да выгнали.

— И вот, милые, — вновь заговорил Антон, — так и жил я в нужде да лишении одиннадцать годиков. И так меня потянуло в родное место, что выразить вам не могу. Жена с дочкой сниться начали, голос подавали. Вот так сидишь в тайге, у речки, ночью, вдруг: «Анто-о-ша...» Вскочишь, перекрестишься, и только забудешься — опять: «Анто-о-ша...»

Антон вздрогнул и перекрестился.

— Не вытерпел, собрался в путь. Не много, не мало шел я, сказать по правде — ровно два года. Пришел это я в Воронеж вечером. А еще когда в тюрьме сидел, знал, что Наташенька с дочкой в город перебрались... Как же. Переночевал на постоялом, а утром в собор, стою в задку, трусь возле нищих, думаю: они в городе лучше всех знают каждого. И верно: узнал от них, что мой брат, Павел Иванович, овдовел и состоит ныне профессором семинарии духовной и метит, мол, в архиерей.

— О-о-о... — протянул Ванька. — В архиерей? Ловко.

— Да. А об моей Наташе ни слуху ни духу: ровно бы, говорят, такой и в городе нет. Потом про брата опять подумал: слава, мол, господу, ежели к такому чину готовится, это хорошо: чин ангельский, и человек должен быть души тихой. Вернулся я на постоялый вечером. Погрыз калачика, чайку испил, помолчался про себя богу, лег. Вдруг среди ночи сон: будто я в часовне один-одинешенек, стою на коленях и земные поклоны бью. А перед иконой богородицы единая свечечка маленькая. Горит, а свету нет. Потом разом как вспыхнет сияние. Я сразу ослеплен был, упал плашмя, головой в пол, и слышу твердый голос: «Иди, раб, будет указано!» Тут я, братцы, вскочил, гляжу, утро. Трясусь весь, зубами щелкаю, одеваться проворненько начал, да в штаны-то никак не могу уграфить...

— Гы-ы, — протянул, ослабься, Ванька, но Лехман молча пнул его в бок и мотнул головой Антону: — Ну-ка...

— Вот хорошо. Поплескался водичкой, смелость такую в себе почувствовал, что, кажется, все нипочем. Пришел в семинарию. «Павел Иванович дома?» — «Насчет доставки дров, что ли? Иди наверх, третья дверь справа». Иду, улыбаюсь, душа прыгает во мне: что-то будет? Хочу крикнуть ей: «Образумься, вернись!» Она отвечает: «Иди, будет указано». Чуть приоткрыла дверь, взглянул: однако — он, в мундире, чай пьет. Не пойду, думаю, а душа кричит: «Иди!» — да как толкнет меня в комнату. Ей-богу...

— Дела-а-а... — протянул дед и погладил кольчатые пряди бороды.

— «Братец», — сказал я. Он повернулся, точно его обожгло, поднялся: «Антон!» Глаза круглыми сделались, руками машет, шипит: «Да как ты мог, да как ты осмелился?» Я в ноги, ползу к нему да вою: «Братец мой, брат...» А он стоит как столб: «Ты подумал ли? Что тебе надо? Ты бежал?» — «Мне бы жену мою, Наташеньку, увидеть да Любочку...» — «Наташа умерла». — «Как?» Он помялся этак, подумал: «Она живет тут с одним... с помещиком... На содержании». Я уж на ногах стоял, встал с полу-то. Захватило у меня дух, в голове круженье сделалось. Оправился, однако, держусь за стену. «А Любочка, хоть бы на Любочку взглянуть...» Стою, жду ответа, всплеснула руками, а лицо, чую, дрожит, подбородок скачет, слезы по щекам текут, и все в глазах прыгает. А брат, как мышь в ловушке, бегаёт по комнате. Потом остановился, взглянул на меня исподлобья. «Ладно, — говорит, — жди». Схватил фуражку с кокардой, ключ достал. «Я, — говорит, — тебя запрю, чтобы прислуга...» Сел я на стул, сижу, думаю: «Эх, Наташа, Наташа...»

Антон умолк и закрыл лицо руками.

Лехман похлопал его по согнутой спине.

— А ты плюнь... Эка штука... Возьми сердце-то в зубы...

— Ах, милый, ведь больно... Веришь ли, тяжело ведь...

— Ну-ка, сказывай, как дочку-то встретил.

— Эхе-хе-е-е... Встретил!.. Я ее так встретил, что помирать буду — и то час тот вспомню... Лихой тот час был, ребятушки. Правильно в писании сказано: «Враги человеку домашние его...» Так оно и вышло.

— Не признала, что ль, за отца тебя?

— Не в этом дело-то, сударик... Слушай, уж доскажу... Вот жду я, жду, сам думаю: о чем говорить начнем с дочкой? А в мыслях я держал повидаваться с Любочкой да жену разыскать, ну, там пожить тайно, без огласки чтоб, с недельку, да и назад. Но, миленькие, тут-то, сидя на стуле, понял я и уразумел всей душой, что обратного пути мне нет, что назад уйти в Сибирь от дочери, от родины сил не хватит. Думай не думай — этому не быть. И вдруг злоба закипела. «Ах ты, окаянная душа, — сам себе шепчу. — Куда ты привела меня, зачем? Ведь на погибель ты, душа, привела меня...» Все тут всплыло сразу наверх, все, все, ребятушки. Вся жизнь, вся сладость прошлых дней моих счастливых, и друзья, и знакомые, и ласки жены... Всю душу во мне перевернуло. А что ж дальше? — думаю...

— Назад? Будь ты проклята, душа моя!

— А души-то и не бывает, — не утерпел Ванька.

— Тьфу, леший! — плюнул дед.

Антон встряхнул локтями и приподнятым голосом быстро-быстро заговорил:

— И такие во мне закружились мысли, что страх. Ничего не разберу, прямо вот ухватиться за них не могу, мелькают как пчелы или снег валит. Как начали жалить: «Давись, пока нет!.. Убей брата, а деньги в карман... В монахи, в схимники... Жену убей... Нет, любовника убей, дочь возьми...» Потом все умолкло, как метлой смело, и, чую, один только голос во мне выявляется: «Будет указано». Вдруг: дзинь-дзинь! Дверь отворилась: впереди братец, а зади два жандарма и пристав. Я вскочил, а милый братец протянул руку и сказал: «Вот!»

— А-а-ах, сволочь! — прошипел вдруг дед, судорожно сжимая пальцы.

Ванька плюнул в кулак и потряс им в воздухе:

— Так твою так!.. Вот это брат... Я б его, на твоём месте, по зубам да об голову... Я б его!..

Лехман встал, крикнул, сдвинул на затылок шитую из тряпок шапку, взял топор и начал сильными взмахами рубить возле угасавшего костра пень. Пень не поддавался, и дед, вдруг обозлившись, ругал топор, ругал Ваньку, ругал эту чертову коряжину-пень, — ни дна б ему, ни покрывки, окаянному, швырнул топор в тьму и куда-то быстро скрылся.

Антон молча вздыхал. Ванька Свистопяс на все лады сквернословил...

Два голоса вдали послышались: сердитый — Лехмана и виноватый — Тюли. Лехман кричал грубо и надсадило. Тюля робко возражал.

— Чтоб тебя, дикошарого... Мало тебе еще, че-орт...

— А как, не скоро придем в Кедровку-та?

— Не скоро-о?.. Твое дело пакостить...

Подошли.

— Ну, сухарей возьми, ну, крупы отсыпь... А порох-то зачем, сбрую-то зачем?.. Че-орт...

Тюля свалил у костра мешок награбленного в зимовье добра и стоял с улыбающимся, испуганно-виноватым лицом.

— Я в ответе буду.

— Ты, тварь? Ты! — рявкнул Лехман. — Наш путник только загаживаешь... Ведь поймают — всем нам башки оторвут.

Тюля поправил костер, взял мешок, приподнял, будто примеряясь, грузно ли, и, отбросив с сердцем в сторону, сел.

— А у нас в Расее... — начал было он, но Лехман, тяжело пыхтя, перебил его: — Давайте, братья, спать: ишь ночь.

Темно было кругом и тихо. А холод наплавывал все настойчивее. Спины у бродяг стали мерзнуть.

— А у нас в Расее... Дык... Эдак-то... — попробовал вновь завести разговор Тюля, шуря на Лехмана свои узкие поросячьи глаза.

— Брехун, — сказал дед и стал укладываться, подостлав на землю хвоя.

Лехман приподнялся, вздохнул, потер старую спину, задумался. Свою Лехман думу думает, таежную.

Тихо в тайге, замерла тайга. Обвели ее шиликуны чертой волшебной, околдовали неумытики зеленым сном. Спи, тайга, спи... Медведь-батюшка, спи. Сумрак пахучий, хвойный, караул тайгу: встань до небес, разлейся шире, укрой все пути-дороги, притуши огни.

Не шелохнет тайга. Ветер еще с вечера запутался в хвоях, дремлет. Вот хозяин поднимается, — белые туманы, выплывайте, — вот хозяин скоро встанет из мшистого болота. Финин, птица ночная, ухай, канюка, канючь, — хозяин фонарик отыскивает... Звери лесные, все твари летучие, жалючие, ползучие, залезайте в норы: хозяин идет, хозяин строгий... Расстилайтесь, белые туманы, расстилайтесь... Человек, не размыкай глаз: хозяин страшный, увидишь — умом тронешься, крепче спи... Тише, тише: хозяин потягивается, хозяин с золотого месяца когтем уголек отколупывает... Ох, тише: хозяин дубинку взял...

«Го-го-го-го-го-оо-о-о-о...»

— Кто это? Ты, дед?! — как гусь, вытянул шею Ванька.

Бродяги спали крепким сном.

IV

Только теперь почувствовала Анна, что Андрей и она — одно.

Когда наладилось у них с Андреем — веселая была, без песни не работала, а теперь словно подменили: тихая, молчаливая. А то — задумается, стоит столбом, у печки, не живая. Окликнут — вздрогнет. Бородулин сердиться стал.

— Я на тебя, Анка, штраф буду накладывать... Однако я тебя, девка, к себе в спальню утащу...

Но Анна строгим, укорчивым взглядом гасила купеческую кровь.

Давненько на нее Бородулин зарился: так, поиграть хотел. Надо бы Дашке отставку дать еще с осени. Анну приручить тогда — раз плюнуть, полагал купец, а теперича... Большого купец дал маху: у Андрея действительно рожа замечательная, благородный... без штанов, а в шляпе...

— Ты чего, быдто щелоком охлебалась? — как-то спросил Иван Степаныч Анну.

Промолчала Анна.

— Али все по Андрюхе тужишь?.. Смотри, девка, — погрозил шутовливо пальцем и поглядел на Анну по-грешному.

Но, когда глядел на Анну, вместе с грешной думой что-то новое шевельнулось в душе, словно зеленая травинка сквозь землю в чертополохе прорезалась.

«А что?.. — сам себя спрашивал купец. — Дело было бы...» — и улыбнулся.

И весь день улыбался.

Давно надо бы Андрею воротиться. И уж стало думаться Анне разное: не заблудился ли, медведю не попал ли? А вдруг в бега ударился! Не спится Анне по ночам, а ежели уснет — сон тягостный мучит, вскакивает Анна в страхе и долго сидит во тьме, трясется. Ведь вот стоял, наклонялся, гладил... Нету. Закричать бы, заплакать... горько-горько заплакать бы... Но не было слез.

Май за середку перевалил. Андрей не возвращался.

Товарищи-политики всполошились: все сроки прошли, пропал Андрей. Мужиков сбили, три дня всем селом в тайге шарили — нету.

— Убег, стерва, — сказал Бородулин мужикам. — Упорол... Наверняка упорол...

У Анны сердце кровью облилось. Все три дня не пила, не ела. Точно в дыму ходит, вся снутри горит. А как вернулись мужики ни с чем, обрядилась Анна во всю таежную мужичью «лопотину»: холщовые штаны надела, рубаху посконную, бродни, взяла винтовку у хозяина да двух собак и пошла с кривым солдатом в тайгу.

— Эк тебя подмывают лукавые-то... — ворчал Иван Степаныч. — Эк ты присуха-то корежит...

Долго они по тайге путались, верст на сто обогнули, весь порох расстреляли, — нет, не откликается. Так и вернулись домой, ободрались оба, солдат щетиной оброс, у Анны щеки провалились. Бородулин только головой покачал.

— Ну, как же... ты скажи... Ради бога, скажи... Куда схоронил? Где? — как-то пристала к Ивану Степанычу Анна.

— Кто? Я? Да ты ошалела, девка?

— Побойся бога... Отдай... Ну, отдай...

Иван Степаныч и на счетах брякать перестал. Долго, пристально смотрел на Анну. Стоит перед ним тихая, уже не кричит, не просит, глаза опустела, а губы дрожат, кривятся, не может совладать.

Бородулин поднялся и заботливо повел Анну вниз, в ее комнатку.

— Найдется.

Твердо сказал купец. Анна поверила и улыбнулась, а как стал гладить ее голову, поймала руку, заплакала — и вдруг ей сделалось легко.

И только засыпать начала, Бородулин так же твердо, как по сердцу молотом:

— Он давно дома у себя...

Анна поднялась — темно. Кто загасил? Где солнце? Где Андреюшкино солнце?

— Иван Степаныч! Даша! — кричит Анна.

Никто не отозвался. Только в углу, где рукомойник, капелька по капельке булькала в лохань вода.

— Иван Степаныч, Иван Степаныч!.. — идет босиком, простоволосая, половицы поскрипывают, двери сами собой отворяются.

Надо бегом, радостно стало, надо по задворкам, как тогда, как раньше...

— Ну, куда ж ты, стой! — Даша схватила ее сзади.

— К нему... к Андрею.

— Да ты что? Очухайся...

— Иван Степаныч сказал...

— Пойдем, пойдем... Когда это? Он вечер еще уплыл. Чего ты мелешь. Да и-и-ди-ка, телка!

Полная луна стояла в небе. Анна поглядела на луну, на голубую церковь, на Дашины черные глаза.

Стало быть, сон...

— А Анна-то твою... — сказала поутру Даша и постукала пальцем по лбу.

Старухи приплелись, застрекотали. То с уголька советуют sprыснуть, может, ответет, то в подворотню пролезть голой да на месяц по-собачьи влязать. Хорошо бы за упокой подать, батюшка добрый, ему только бутылку посули, отслужит панихиду, это помогает: душа у Андрея скучать начнет, ангел божий на дорогу выведет — иди.

Анна старух разглядывает, виски жала ладонями, голова болит. А старухи пуще; голоса крикливые, друг с дружкой сцепились, орут, слюнями брызжутся.

— Колдовка! — кричит горбатая. — Твое дело по ночам коровам вымя выгрызать...

— От колдовки слышу! Тьфу! — вскочила хромая, топнула кривой ногой и вся в дугу изогнулась.

— Ты вот свињицей оборачиваешься, оборотка чертова...

— Ну, ты... потрясучая!..

Анна стонет, голова гудит. Хоть бы Иван Степаныч пришел да выгнал. А старухи пуще.

Анна тихонько ноги спустила да рукой к ружью, — и страшным голосом на старух:

— Уходите...

Старухи, как овцы, стадом в дверь.

А по селу прокатилось: кедровская девка спятила.

Приехал из волости урядник, собрал сход.

— Искали, ребята?

— То-ись, скажи на милость, всю тайгу выползали.

— А покличьте-ка ее, эту фефелу-то вашу... как ее?..

Стали Анну звать — не идет, староста пришел — не идет, приказано силой взять.

— Ну, иди... Чего ты, право?

— Пошто я ему? Изгаляться, что ли? — сверкнула она взглядом, однако пошла.

Урядник на завалинке сидит: ногу отставил, руку в карман, глаза навыва-те, усы строгие, сам «с мухой».

— Ого, кобылица какая... Ядре-е-ная... — облизнулся он на Анну. — А ну-ка, говори, сударыня... Ты трепалась с Андреем, с политическим? А?

Анна гневно сдвинула брови и тяжело задышала, косясь через плечо на урядника.

— Ты оглохла? — пьяно кричал он. — Я те уши-то прочищу... потаскуха мокрохвостая!..

Как под бичом вздрогнула Анна.

— Бесстыжий... Тьфу! — злобно плюнула ему в лицо.

— А-а-а... Так?! — блеснув на солнце перстнем, он со всей силы ударила ее в висок.

— Ой, ты... — обхватила Анна голову. — Зверь!..

Урядник, весь налившийся кровью, вновь взмахнул кулаком, но мужики сгребли его и враз загрозили:

— Ваше благородие! Ты не смей!..

— Ты этого не моги!.. Девка чужая, девка одна...

— Что-о-о?.. — да как даст ногой Анне в живот. — В чижовку! Живо-о!

Анна перегнулась вся:

— Ребеночка убил... батюшки, убил!

И, дико крича, пустилась по деревне.

А от реки, развевая черной бородой, бежал на шум только что выкупавшийся Бородулин. Ему было видно, как в толпе, взлетая и падая, кого-то молотили кулаки: сверкнула пашка, взягнули в чищенных сапогах ноги — и толпа вдруг бросилась врассыпную.

— Бу-у-унт... Бу-у-унт... — ползая по земле, хрипел урядник.

— Петр Петрович! Ваше благородие... Да ты что?

— Запорю... В каторгу, сволочи...

Ивану Степанычу больших трудов стоило увести урядника домой. Привел, подал сам умыться, — вода в лохани заалела кровью, — сам перевязал ему подбитый глаз.

— На-ка вот, — отрезал ему лучшего сукна на шинель, — порвали, подлецы! — да еще добавил двадцать пять рублей.

— Ты лучше забудь... Мало ли чего... Ты с нашим народом не шути... Гольное зверье... Дрянь...

— Только бы начальство не дозналось... А с мужичками сочтемся... И девку тоже...

— Девка чего же... Девка ничего... Жаль все-таки... На-ка, дербулызни коньячку... На-ка рябиновочки...

Когда пьяного урядника положили поперек повозки, Иван Степаныч шепнул ямщику:

— Чебурахни его, анафему, куда ни то в лужу... где погуще... Понял?..

— У-устряпаю, — подмигнул веселый парень и, вскочив на облучок, вытянул вдоль спины и коренника, и лежавшего пластом урядника.

Иван Степаныч зычно захохотал вслед взвившейся тройке и кликнул новую свою стряпку, молодежавую вдовуху Фенюшку:

— Ну, как Анка-то?

— Да чего... лежит...

— Истопи-ка пожарче баенку да распарь-ка ее хорошенько, разотри. Чуешь?.. Редьки накопай — да редькой. Ну, живо!

Он лег спать рано, — выпито порядочно, — ухмылялся в бороду и приговаривал:

— Засужу... Хе-хе... вот те засужу...

Лежа думал: засудил бы, что тогда?.. Полсела угнали бы в тюрьму, сколько долгов пропало бы.

Поглядел на образ, на мягкий огонек лампы и громко сказал:

— Слава тебе, Микола милостивый, слава тебе...

От избытка сил Ивану Степанычу легко и весело, мысли приятные ронились, и во всем теле гулял легкий полугар. Чей-то голос знакомый послышался, Анкин не Анкин, глаза голубые приникли, кажется Анкины... да... ее глаза, Анкины.

Поднял купец веки, крякнул:

— Сходить нешто... проведать...

Но вот улыбка ушла с лица.

— Ужо исправнику собольков парочку подсортовать... Он его... Бродя-ага... Драться!

V

Завтра в Кедровке праздник. Каждый год в этот день из часовенки, или, как ее называли, полуперкви, что стояла среди кедровой рощи, поднимают кресты и всей деревней идут в поле, за поскотину, к трем заповедным, сухим теперь лиственницам — служить молебен.

После молебна начиналась попойка, а к вечеру утаром ходил по деревне разгул с пьяной песней, орлянкой, хороводами. К вечеру же заводились драки — кулаками и чем попало; доходило дело до ножовщины.

Пьянство продолжалось на другой и на третий день. За этот праздник вина выпивали много. В хороший год с радости: «Белка валом валит к нам в тайгу», в плохой год с горя: «Пропивай все к лешевой матери, все одно пропадать».

Вино всех равняло — и богатых, и бедных. У всех носы разбиты и одурманены головы, все орут песни, всем весело. Будущее, как бы оно плохо ни было, уходит куда-то далеко, в тайгу; мысли становятся короткими:

граница им — блестящий стаканчик с огненной жижицей, пьяные бороды, горластые бабьи рты. Все застилает серый радостный туман, и сквозь него смеется тайга, смеется поле, смеются белки: «Бери живьем, эй, бери, богатей, мужик!» И мужик брал: тянулся к штофу, бросался впрысядку, махал свирепо кулаками, вопил в овечьем стойле, торкнувшись головой в навоз: «Й-эх, да как уж шла-прошла наша гуля-а-а-нка!..»

Проходили эти три хмельные дня — и все снова начиналось по-старому, вновь наступала серая, унылая жизнь.

Кривая баба Овдоха еще третьего дня уехала за попом в Назимово. Вместо колесной дороги туда проложена тайгой верховая тропа с крутыми подъемами и спусками, с большими топкими «калтусами», перегороженная зачастую в три обхвата валежником. Овдоха сама поехала на пегашке, а под попа взяла стоялого Федотова жеребца, — поп грузный, не всякая лошадь увезет.

Уж закатилось солнце, попа все нет. Народ в бани повалил. Бани маленькие, с крохотным глазком избушечки, все, как одна, прокоптелые, словно нарочно вычерненные сажей — стояли над самым обрывом к речке. Две девахи, Настя с Варькой, выскочив окачиваться на улицу, первые увидели подъезжавшего попа и, стыдливо прикрываясь шайками, закричали проходившему с веником под мышкой человеку:

— Дяденька Митрий, батя едет, поп...

— Где?

— А вишь, — показала Настя шайкой и, вдруг спохватившись, суетливо прикрылась. — Что ты на меня-то пялишься!..

— У-ух!.. Па-атретики! — осклабясь, ударил себя по ляжкам Митрий и уронил веник, а девушки с хохотом юркнули в баню.

Поп проехал к толстоброухому Федоту, главному по деревне богатею. Криво что-то поп в седле сидит.

— Ты, батя, не пей до праздника-то, обожди мало-мало... — говорили ему, здороваясь и глотая слюни, красные после бани мужики.

Много их набралось к Федоту, накурили, наплевали, а батя сидел уж выпивши, ел со сметаной соленые грибы и, рюмка за рюмкой,пил водку.

— А позовите-ка сюда Прова Михайловича, чегой-то с дочкой его стряслось?

— Чего такое, батя?

Но староста Пров уж услышал про Анну от Овдохи.

Праздник завтра, гулянка, а у Прова в глазах черно.

— Езжай скорее, Пров, за дочкой... — охает жена. — Батюшка ты мой, царь небесный...

Пров долго сопел носом, потом, выйдя расхлябанной чужой походкой в сенцы, захлопнул за собой дверь и громко там засморкался. А поздним вечером, надев овчинный пиджак, ехал по тайге на бурой кривой своей лошаденке.

У всех печи томятся, бабы спуют взад да вперед, взад да вперед, тесто заводят, кур колют. Где-то барашек заблеял-заплакал: прощай, жизнь!.. Поросенок сумасшедшим голосом ревет. Ревел-ревел, сразу замолк, словно

обрадовался, что кончилось страшное. Два петуха безголовых пролетели поперек дороги, две старухи-ведьмы гнались за ними с окровавленными двумя топориками, бежали, тяжело сопя и задыхаясь, и сквозь стиснутые гнилые зубы зло посмеивались:

— А, не любишь? Это тебе, петька, не кур топтать...

Два кота сидели на воротах, уткнув друг в друга лбы, повиливали лениво хвостами и лукаво выводили, словно ребята в люльке гулькали.

Месяц, огромный, будто намащенный блиннице, одним глазом выглядывал из-за тайги: а ну-ка поглядим, как бабы стряпают.

Дымок вился из труб, вкусно пахло жареным, псы ловили на лету подачку или, болезненно взвизгнув, кубарем летели от пинка.

Девка песню завела, бежит с ведром к речке да поет.

— Ты сдурела? — стыдит встречный деа.

Хохочет:

— А чего? Думаешь, грех?

— Нет, спасенье...

Старики у часовни сидят, хоть не холодно, а в валенках: удобней. Трубки сосут, согнулись вавое, врут друг другу шутики, разные случаи рассказывают: «А эвона, в тайге-то, иду я, этта, иду...» — «Чего в тайге, со мной, ребята, у мельницы случилась оказия». Врут да врут. Завтра праздник, можно и по-врать. Завтра вино будет, знай гуляй! Дымокуры возле них курятся. Митька, парнишка-сопляк, то гнилушек, то назьму охачочку, то травы подбросит: зелеными клубами дым пластает и гонит комаров.

— Попа-то караулят ли?

— Укараулишь его, черта!

А батюшка, человек ядерный, в годках, лицо крупное, с запойным отеком, желтое, на приплюснутом носу румянец. Он действительно слова не сдержал: «Обрей мне полбашки, как каторжнику, ежели до праздника упьюсь», — а сам еле сидит за столом, бахвалится:

— Мужичье!..

Но мужиков в избе не было, одна бабка Агафья, теща лавочника Федота.

— Вы чего понимаете, а?.. Вы как обо мне, чалдоны, понимаете? Как ваша мление будет, а?!

— А так, что ты долгогривый, и больше ничего... Забуддыга... — брюзжит рассерженная бабка.

— Н-да-а... Н-да-а... — теребит поп красную с проседью бороду, икает и примиряюще говорит: — А ты лучше, девка, дай-ка еще грузачков-то...

Поп щурит глаза, всматривается в согбенную фигуру бабки и, прищелкнув игриво пальцами, говорит:

— Слушай-ка, молодуха...

Стоит старуха у печи со сковородником, печет к празднику блины.

— Я, девка, жениться думаю. А?.. Что мне, ведь я холостой.

— Пес ты, а не поп...

Священник озирается, — нет ли постороннего, — зеваает широкой пастью, крестит левою рукою рот, рявкает и, подмигнув, шипит:

— Слышь-ка, эй, молодуха... Ты куда меня положишь?.. А?..

Хихикает и шепчет:

— Ты приведи-ка мне бабенку, а?

Федот пришел. Старуха ожила.

— Гляди, чего говорит! — закричала зятю. — Грива этакая.

— А чего говорю?! — ворчит поп. — Дай-ка водки!

— Нету, батя... Завтра... Слушай-ка, чего сейчас сказывал караульщик...

Грит, чудится...

— Давай вина.

— Нету, батя, все.

Поп вскочил и, держась за стол, двинулся к Федоту.

— Я тебе покажу — нету! Давай!..

А у завалинки поселенец старичишка Беспамятный стоит пред мужиком, отказывается идти караулить ворота в назимовской поскотине.

— Вот тебе Христос, вот... Сижу это я, робяты, в шалаше, чую — ко сну клонит, борюсь-борюсь — нет, а время ка-быть раннее. Сбороло, братцы, меня: как сидел на дерюге, так и заснул. Вдруг слышу — бубенцы, бубенцы, лошади топочут, ямщик гикает. Вот тебе Христос, вот... Ну, думаю, по дороге кто-нибудь с приисков катит. Не иначе. «Отвори, старый черт!» — режут. Я вскочил без ума, подбежал к воротам. Никого. Тут у меня и волос торчком пошел... Вот тебе Христос, вот... Да так до трех разов... Я и побег без оглядки... Сроду теперича не пойду, подохнуть — не пойду.

Мужики посылать начали того, другого, третьего — не идут: праздник завтра. Однако согласился хромой непьющий парень Семка.

— Только с опаской, Семенушка, иди... Благословясь...

Месяц высоко поднялся. На буторке сидела собачонка пестренькая, смотрела на тайгу и, откинув назад левое ухо, полаивала:

«Гаф!.. Хаф-хаф...»

Взлает так и поведет ухом, дожидаясь.

И в тайге тихонько откликается: «гаф-хаф-хаф...»

Переступит передними ногами да опять. А сама о другом думает: хорошо бы поросячий бок стянуть; принохивается — пахнет отлично, но хозяин ей дома на хвост наступил, а баба поленом запустила. После. Вот уснут.

«Гаф! хаф-хаф...»

Митька-сопляк тихо крадется к ней с дубинкой. «Гаф! хаф-хаф...»

Да как даст собаке по башке. Собака с перепуту не знала куда и кинуться, забилась под амбар, визжит — больно.

Митьку мать разыскивает:

— Ты где, паскуда, мотаешься?.. Иди Оленку качать!

Да как даст Митьке по башке. Заплакал. Больно.

Ночь спускалась, а огней еще не тушили. Свет из окон желтыми полосками пересекал дорогу. А подвыпившему бездомовнику Яшке казалось, что это колодины набросаны: шел, пошатываясь, нес в обеих руках за горлышко две бутылки вина и высоко задира л ноги перед каждой полоской света — как бы не запнуться да бутылки не разбить.

Тише да тише в деревне становилось, гасли огоньки. Петухи запели.

У Федота шум во дворе.

— Черт, а не поп: квашню опрокинул с тестом!.. Тьфу!
Батюшка с закрученными назад руками мычит, ругается:
— Развя-зывает!..
— Врешь! — хрипит Федот. — Дрыхни-ка на свежем воздухе!..
И запирает попа на замок в амбаре.

Все огни погасли. Только покосившаяся избушка, что на отлете за деревней, не хочет спать. Единственное оконце, с коровьим пузырем вместо стекла, бельмасто смотрит на улицу. Тут старуха живет, по прозвищу Мошна. Вином приторговывает и сказки складно говорит. Одинокая она, земли нет, коровы нет, надо как-нибудь век доживать. Запаслась хмельным порядочно, на праздник хватит. Старуха пересчитала деньги, велика ли выручка, оказалось двадцать два рубля, — спустилась с лучиной в подполье, покопалась в углу, вынула берестяной туесок, спрятала в него деньги, зарыла. Опять выползла оттуда, косматая, жует беззубым ртом, гасит огонек в лохани. Мигнуло в последний раз бельмастое оконце и зашуррилось. Темно в избе, только лампадка теплится перед божницей.

Опустилась Мошна на колени, стукнулась в пол головой и громко, радостно сказала:

— Слава тебе, Микола милосливый, слава тебе.

Собачонка пестренькая опять на пригорок забралась, опасливо полаивает: «Гаф!.. хав-хав...»

VI

В селе Назимове в этот предпраздничный кедровский вечер любовница купца Бородулина, гладкая солдатка Дарья, долго прощалась у овинов со своим сердечным другом — уголовным поселенцем Феденькой.

— Не обмани, слышь... Окно приоткрой малость, я и... того, — строго наказывает коренастый черномазый ворнице Феденька, потирая ладонью щетинистый свой небритый подбородок.

Дарья, потулясь, молчит и наконец раздумчиво спрашивает:

— Да ладно ли, смотри?

— Эх ты, дуреха!.. — притворно-весело крикнул Феденька и обнял Дашу.

— Ну, была не была... — улыбнулась Даша, звонко поцеловала Феденьку и, шурша кумачным платом, неторопливо пошла вдоль заплота. Оглянулась, махнула белым фартуком и скрылась в калитку на задах бородулинского двора.

Купец Бородулин, как матерый медведь, расхаживал вперевалку по большой, с цветами и занавесками, комнате.

— Феня! — крикнул он. — Пожрать бы.

— Чичас-чичас, — откликнулась та из кухни.

«Женюсь, — вот подохнуть, женюсь», — думает купец, поскрипывая смазными сапогами. Брови напряженно сдвинуты над переносицей, — мозгами шевелит, — глаза упрямо всматриваются в будущее, а сердце, наполняясь кровью, бьет в грудь молотом: силы в купеческом теле много.

«Жену, может, в городе зарежут... Где ей перацию вынести!.. А не зарежут в больнице, так... тогда... Чего, всамделе, мне ребенка надо. Десять лет живу с бабой — ничего. А Анка — девка с пробой, ребят может таскать, да...»

— Фу-у-у-ты... — шумно отдувается купец и, взглянув смущенно на икону, садится к столу.

— Здравствуй, — сказала грудным низким голосом вошедшая солдатка Дарья.

— А где Анютка? — строго спросил купец.

— Где... Я почем знаю... где... Внизу, где ей больше-то...

Фенюшка принесла ужин.

Дарья выпить любила, но сегодня пила с оглядкой, а Бородулину подливала не скупясь:

— Пей с устатку-то... Сказывают, долг привез тебе займочник-то?

Она покосилась на письменный стол, куда Иван Степаныч прятал деньги, и сказала, блестя черными, чуть отуманенными вином глазами:

— Мне бы дал десяточку, а я тебе ночью сказку расскажу... Ладно? Ох, и ска-а-зка будет... как мед!

Придвинулась к Бородулину, припала румяной полной щекой к его плечу и снизу вверх дразнище заглядывала в глаза, полуоткрыв красивые свои насмешливые губы. От нее пахло кумачом и свежим сеном.

— Ваня, обними-и-и...

— Ешь баранину-то, остынет... — отодвинулся от Даши.

Феня еще дополнила графин. Выпили. Феня спать ушла.

Купец прилег на диван, жалуется — жить чего-то трудно стало, — голову на теплые Дарьины колени положил. Дарья гладит черные лохматые его волосы, целует в белый высокий лоб и осторожно, выпытывая купеческое сердце, говорит:

— Вот, как овдоеешь, женись на мне, Иван Степаныч...

— Дура... А солдат-то твой? муж-то?..

Даша тихонько хихикнула:

— С твоей мошной все можно...

— Я и без тебя знаю, на ком жениться-то... — осердился Бородулин.

Даша, вдруг савинув брови, пригрозила:

— Ну, гляди, купец...

А пальцы, перебиравшие его волосы, дрогнули, остановились.

— Принеси-ка лучше пивца холоденького, — заметно ослабевшим языком сказал примиряюще Иван Степаныч.

Пиво скоро сбороло Бородулина. Разуваясь и разбрасывая с плеча по разным углам сапоги и портянки, он пьяно бормотал:

— Йя все ммогу, Дашка... Вот захочу — шаркну сапогом в раму — и к черту... Ха!

Кукушка в часах выскочила, прокуковала и захлопнулась опять маленькой дверкой.

— Скольки?

— Десять, надо быть...

— Спать пора.. Ну-ка, Дашка, подсобляй..

Повела его к кровати. Лег.

— Никто мне не указ, да! Вот выскочу из окошка да как дам бабе по виску! Да... Поп? Попа за бороду... И ничего-о-о. Потому — я во всей волости первый... Верно?

— Ну, и спи со Христом.

— Йя все змогу... Поняла? Потому — Бороду-у-улин!.. Знай!.. — и неожиданно трезвым голосом добавил: — А вот Анютку я люблю...

Кошка вскочила на кровать, под одеяло к ним залезла.

— Анютка — золото... Йэх ты, как пройдет, бывало, по горнице: кажин-на жилак в ней свою песенку поет... Да...

Дарья схватила кошку за задние ноги и швырнула об печь. Кошка замяукала.

Купец зевал и крестил неверной рукой волосатый рот.

Дарья стала легонько всхрапывать, повернувшись лицом к стене и нарочно выставив из-под одеяла свою крутую спину с круглым наливным плечом.

— Дашка, спишь? — тихо спросил купец.

Та похрапывала и стонала.

— Эй, Дарья...

Полумрак был в комнате, а на улице бело. Тикали часы, да где-то далеко брякал колотушкой сторож.

Бородулин поднялся, спустил тихонько с кровати ноги на оленью шкуру, еще раз поглядел на Дарьино плечо, на черные раскинутые косы, задернул полог и, осторожно ступая, пошел в заднюю комнату, где была лестница на низ.

Лишь ушел купец — и холодом обдало Дарью, и жаром охватило, а сердце жгалось. Она вскочила и, крадучись, чтоб не скрипели половицы, побежала к письменному столу. Вдруг в соседней комнате Феня охнула и захрапела. Дарья схватилась в страхе за щеку и замерла, потом, быстро обшарив стол, распахнула окно и бросилась к кровати, держа в руке пачку денег.

Внизу, куда спустился Бородулин, были две большие комнаты, занятые лавкой с товаром, да третья маленькая: в ней жила Анна из Кедровки.

Подошел купец на цыпочках.

— Аннушка...

Дотронулся до ее колена. В рубахе девушка спала, не прикрывшись: жарко.

Та испуганно вздохнула, открыла глаза.

— Аннушка, милая ты моя Аннушка... — припал Бородулин лицом к кровати, а девушка прикрылась юбкой и встревожилась.

— Мне чего-то, Иван Степаныч, шибко неможется.

— Родная ты моя... вот я, пьяная рожа, пришел... Вот пришел... да... — шептал Бородулин в волнении. — Аннушка, тяжело... Родимая, тяжело...

Окна завешены, в комнате полумрак. Анна повела речь ровным, жалобным голосом, временами всхлипывая и вздыхая.

— А к батьке-то с матушкой неохота... Об Андрюше гадала, — воро-

жейка одна есть, — медведь заломал его... быдто. Полегчало мне...

— Никакого покою у меня, Аннушка, на душе нету... С супружницей у нас нелады... А вот ты мне шибко поглянулась... Да... Полюбил я тебя, Аннушка... Ох, и полюбил же.

— Уж и не знаю чего... Она ерданским песочком меня поила да отчитывала. На сердце-то у меня полегче стало... Раз, два, четыре... а дальше-то позабыла... Вот как он мне, разбойник, по виску-то порснул... урядник-то...

— Черт, окаянная сила... Я его еще достану... — тряхнул бородой Иван Степаныч и, грузно шевельнувшись, ласково погладил девушку по голове. — Миленькая ты моя... Вот подумай, Анка, жить будем... Женюсь... Бабу свою выгоню... Тебя вылечу, женюсь... Обзолочу, сахаром обсыплю...

— Уж и не знаю чего... Ишь, разум-то у меня короток стал... Сама не своя другой раз... Чего уж... Вот вернется уж.

— Кто, Аннушка, вернется? — глянул ей в глаза.

— Как кто? — сказала жестко, будто топором два раза стукнула по дереву. — Как кто? — приподнялась быстро на кровати, с силой оттолкнув купца. — Где Андреюшка мой?!

— Что ты, богова, — отступил купец от высокой, грозной Анны.

— Ребеночка убили, Андрюшу выпили!.. — она вскинула вверх руки, опрокинулась на кровать, затряслась вся, изогнулась. — Ой! ой! ой!..

— Господи помилуй... Девонька, что ты? — суетился отрезвевший купец.

— Фенька! Дашка! воды!

А наверху на весь дом бабний крик:

— Караул! Караул!

— Подай Андреюшку!..

— Что такое? — купец с толку сбился. — Аннушка, родимая...

— Карау-у-ул!..

— Кого? Кто?!

Несется вверх, а навстречу в рубахе Дарья, за ней Федосья.

— Живо, толстопятые черти... Живо к Анке!

Те трясутся, на спальню указывают, слова вымолвить не могут.

Купец туда. Морда чья-то лохматая, вымазанная сажей, в окне над открытым письменным столом торчала и — лишь вкатился купец — вмиг исчезла.

— Держи!.. М неистово взревел Бородулин, ружье со стены сорвал — не заряжено, топор поймал и, в чем был, загремел с лестницы.

— Держи, держи!.. — вопил он и, выдвывая по улице кривули, бежал в гору, где дремала в роще церковь. — Держи, держи!..

Старый караульщик на завалинке у своей избы лежал — проснулся, глаза кулаком протирает, кричит:

— Кто таков?! — и хватается за палку...

— Зарублю!.. Держи!..

— Бородулин... — шамкает старик и стучит испуганно в окошко. — Отопри калитку-то... Эй, бабка!..

Говорит ей во дворе:

— С топором бегаешь... Бородулин-то... Еще застрелит...

— Поди, приснилось? — улыбается старуха...

— Како? В подптанниках... Туда!.. Должно, опять до чертиков...

А Дарья с Фенюшкой на хозяйскую кровать забились, сидят рядом, одна другой красивее, подбородками уперлись в колени и трясутся. Феня говорит: «Боюсь», — и Даша говорит: «Боюсь», — Фенюшка по-своему, Дарья по-другому: в глазах у ней дьяволята шмыгают.

Феня говорит: «Догонит»... Даша: «Нет, уйдет!» — и, закинув руки за голову, сладко потягивается: «Эх, кабы мне денег поболее... Ух ты, господи!..»

Кукушка опять из окошечка выпрыгнула, кукукнула двенадцать и ушла спать.

Бородулин все еще по селу летал: было слышно, как по всем улицам собаки лаяли и выли хором на разные лады.

— А все-таки жаль Анку, надо бы к фершалу свозить, — вздохнула Феня, — этакую девку, этакую кралю варначище какой-то, царев преступник, мог присушить...

— Ты дура, Фенька... Да Андрюша-то, картинка-то писаная...

— Страсть красив: отворотясь не насмотришься...

— Да я б за ним, за соколом, на край света: бери!

И Даша смеющимся своим, задорным голосом, нараспев, тоненько выводила:

— Вот так легла бы на крова-а-точку, — и она раскинулась дразняще на перине, — спустила бы с правого плеча руба-ашечку... разметала бы по изголовью белы рученьки... Бери!..

Феня сидя хихикала и баском тянула:

— Ну, и дуре-о-о-ха...

— Я б его... Андрюша... Ягодка моя! — тиская подушку, играла Даша голосом.

Послышался шорох и легкий скрип половиц: будто кто крался. Феня отдернула занавеску.

— Ай! — словно птицы от выстрела, враз сорвались и с диким криком: «Взбесилась! Взбесилась!» — выскочили на улицу.

А за ними неистовая Анна:

— Убили, схоронили! Где он? Подайте мне его!..

VII

Вот и наступил в Кедровке праздник.

Утренняя заря как-то особо нарядно пала на тихие, еще не пробудившиеся небеса. Восток алел и загорался.

Солнца еще нет, но и слепой, настороживши душу, не ошибется указать, откуда оно, сверкая, покажет свое лучистое чело.

Чудилось, что там, на востоке, шепчут стоустую молитву и поют радостную песнь, которую никто не может услышать, но всяк чувствует.

Чувствует малиновка, разбуженная лучом зари: встрепенулась, открыла глазки и огласила утро трелью. Чувствует сторожевой журавль: стоял-стоял на одной ноге, очнулся, вытянул шею, взмахнул крыльями и закурькал.

Медведица спала в обнимку с медвежатами, но холод разбудил ее — ага, утро! — встала, рывкнула, всплыла на дыбы, медвежата очухались, посоветовались глазами с матерью и пошли все вперевалочку к ключу умыться. Ярко-золотая полоса восток прорезала, грядущему не терпится — надо заглотнуть, надо обрадовать — свет идет!

— Светает, — шепчет старая Мошна и, шамкая и прожевывая что-то беззубым ртом, спускается в подполье — целы ли двадцать два рубля.

Золотая полоса на востоке все шире, шире — кто-то приник к ней пламенным оком и заглядывает на зеленый мир.

Раскачивая ведрами и крестя на ходу сладкий попевочек, идет к речке молодуха. Холодно. Вздрагивает плечами и прибавляет ходу.

Где-то ворота проскрипели. Другие. Третьи.

Мычит корова. Баран проблеял, десяток откликнулся веселыми, бодро звучащими поутру голосами.

Столетний дедушка, в белой до колен рубашке, шаркая ногами, вышел из калитки, сделал руку козырьком и, обратясь серебряным лицом своим к востоку, истоиво закрестился, приговаривая:

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Молодуха назад идет:

— Здравствуй, дедушка...

— Здорово, батюшка... Кто таков?

— Я — Наталья... Не признал?

— А-а-а... Ну-ну... Наталья Матреновна. Как не признать... Здравствуй, Машенька, здравствуй... Спасет господь...

Та улыбается — лицо свежее, умылась на речке студенной водой — и, упруго покачиваясь, уходит.

Солнце встало. Весь мир светом наполнился. Вспыхнули огнем окна сцепившихся друг с другом, как в хороводе девушки, и приросших к горе избышек. Повеселел бархат пасмурной тайги. Засеребрился, заискрился крест часовни, а ворковавший на нем белый голубь стал розовым. Небо, чистое и бледное вверху и на востоке, все еще серело мглой на западе: туда умчались сраженные светом остатки ночных сил.

Деревня проснулась. Собачонки по дороге носятся, облаивая стадо. Баба помои из лохани вылила, сороки тут как тут, скачут, вырывая из-под носа у сонных ворон самые вкусные куски. Жучка на трех лапах — четвертую медведь отгрыз — лает на сорок: сама помои любит. Но те враз заливаются хохотом и, взмахнув крыльями, усаживаются на прясло.

Люди во дворах, в избах, на улице перекликаются ласковыми голосами: Иванушка, Дуня, братец.

Попахивает дегтем, навозом, гарью. Но вот повыше заберется солнце, тогда из-за реки повеет хвойным, таким бодрящим, острым запахом.

В логах и распадках речки еще стоят белые туманы. Раздумывают: растаять бесследно или спуститься к воде и припасть к зеленой щетке камыша?

Теплей и теплей становится. День будет жаркий. Солнце все выше забирает.

К часовне торопится старик Устин, усердный господу. Росту он маленького, лицом светел, в седенькой бородке, весь обликом в Николу-угодника, и взгляд голубых глаз такой же строгий, но милостивый. Сапоги его медвежьим салом смазаны — собаки принохиваются, щетинят спины и отрывисто хамкают, показывая злые зубы. Рубаха на Устине длинная, новая, еще не мытая, топорщится нескладно на сутулой спине, подпоясана тунгусским, шитым бисером поясом. В гору подымается Устин, а сапоги грузные, а в ногах силы мало, натрудил, болят, трудно идти в гору. Он еле отрывает сапоги от земли, сам весь вперед подался, с насадой тащит за собою ноги, как ненужную ношу, и кряхтит.

— Батю-то будить? — кричит ему Федот, выставив из калитки тугой живот в жилетке с цепью.

— Буди: вот чгчас ударю... Уж время. Эн где солнышко-то.

Вскоре прозвучал первый радостный удар небольшого колокола; удар за ударом лились от часовни звуки, катились в тайгу, а навстречу им в деревню торопливо плыли такие же, но далекие и робкие звоны неведомой часовенки, только что родившейся в тайге.

Петька, трех годов парнишка, прижимаясь к ногам матери, удивленно шептал, заложив в рот кулачок:

— Мамынька, это кто звоняет? — и кивал головой на тайгу, где была неведомая, как в сказке, часовенка.

— Дедушка Устин.

— Устин-то э-э-вог. А там медведь?

Старики и старухи поплелись, часто перебирая ногами и медленно поводясь вперед. Мужики тоже выходили на уллицу и лениво шагали, заложив руки назад, или усаживались где-нибудь на завалинке, чтобы в виду была часовня: пусть Устин дергает за веревку, идти что-то не хочется, вот батя выйдет, да пока еще обрядится, да женщины иконы поднимут, с крестами из часовни мимо на пашню пойдут — тогда можно и пристать. Вина-то хватит ли? К Мошине сбегать можно, денег нет — ничего, поверит, вот белки бог пошлет... Бом-бом... Медведь... Вот бы штук пяток промыслить, две красных шкура. Нет, лучше на прииски идти, там какую копейку заработать можно... В город бы, чего там есть — поглядеть бы... Тут в тайге умрешь, ничего не увидишь... Как бы к девкам не полез... Он у нас проворный, подберет полы да вприсядку... Ха-ха... Поп. Бузуям — бродяжне — надо окорот сделать, лабазы, паршивцы, грабят... Пакостники... Бам-бам... Господи помилуй, праздник... Баба на сносях, холера... Вот Палагу надо в сеновал затащить, девка добрая, леший ее задави... Бам... Бам... Господи спаси... Праздник... Тьфу ты пропасть, грех! Никола милостивый...

И лезут грешные мысли, лезут. Принохиваются мужики, пахнет хорошо: убоинкой пахнет — щи преют, оладьями пахнет. Вином по деревне понесло: рано бы, еще вино в подполье стоит, не откупорено, но у мужика в носу свербит, он заранее охмелел, веселье бесенята в глазах скачут, в ушах комариками кто-то попискивает. Глядят мужики на Устина, а тот все еще за веревку дергает, колокол поет, а в тайге откликается зеленая часовенка.

Федот прошел в суконном пиджаке и в шляпе. Народу на горе много

собралось. Мужики встали с завалинки, пошла гурьбой к часовне. Федот что-то говорит в толпе, руками размахивает, волосы коровьим маслом смазаны — блестят, цепь на брюхе блестит.

— Вот это поп, — говорит Федот, — открыл это я, значит, завозню, батя лежит вверх бородой, мычит... Мухи на рыло-то ему надели, быдто пчелиное гнездо... Что, думаю, такое...

— Надо подымать! — кричит Устин.

— Подымал, ругается.

— Иконы подымать, — поправляет Устин. — Без него управимся!

— А батя-то не придет? — спрашивают бабы.

— Даже невозможно. Он ночью-то, робяты, встал, да бражки сладкой с четверть и ополовинил.

Бабы улыбаются. К часовне молодяжник с ружьями подходит. Бабы прихорашиваются, поджимают поприветливей губы и наполняют праздничным смехом глаза.

Устин вдруг из звонаря главным человеком сделался.

— Тимоха, наяривай вовся! — командует он. — Ну, бабы, да и вы, мужички, которые попоштеннее, айда, благословясь.

Тимоха, в розовой рубахе парень, весело идет к звоннице и, широко улыбаясь, хитро подмигивает девкам и начинает радостный трезвон.

Из часовенки, мерно выступая, выходит с образом божьей матери Федот. За ним, по две в ряд, зардевшиеся и сразу похорошевшие, молодые бабы. Каждая пара несла икону, убранную крестиками, ленточками и бумажными цветами.

Когда вынесли крест и фонарь, вышел, держа в руке курящееся кадило, Устин, усердный господу. Народ с иконами стоял по обе стороны крыльца, Федот с Казанской на ступеньки забрался, держа на животе образ.

Устин в новой своей рубахе, обливаясь каплями пота, струившегося с морщинистого лба и лысины, низко по три раза кланяясь, покадил сначала Федоту, потом каждой иконе по очереди и махнул свободной рукой в сторону свирепо названивавшего, все еще улыбавшегося придурковатого Тимохи.

Но тот, встав на цыпочки и яростно перебирая колоколами, не догадывался, что надо кончать: служба начинается.

— Шабаш! — крикнул Устин, сердито покадив в сторону расхоронившегося звонаря.

Потом одернул рубаху, крикнул, переложил кадило в левую руку, поправил усы и бороду и бараньим голосом благоговейно начал:

— Благословен бог наш, робяты, навсегда и вныне и присно и во веки веков!

Сказав это, Устин усердно закрестился, а народ пропел: «Аминь».

Тимоха волчком подкатился к иконам, — ждять некогда, — бухнул каждой в землю, торопливо приложился, чуть образ у Федота не вышиб, — тот сказал ему: «Легше!» — и, протолкавшись сквозь толпу, опять встал под колокола.

Устин, воодушевившись, вновь замахал кадилом и запел:

— Радуйся, Никола и великий чудотво-о-рец!

Многоголосая толпа подхватила.

— Надай! — весело крикнул Устин, подав знак Тимохе.

— Айда, благословясь, робяты... Трогай...

Толпа всколыхнулась и запела под залихватый, плясовой Тимохин трезвон.

Но вдруг, заглушая все, загромыхали выстрелы. Ребятенки, взвизгивая и хохоча, били в ладоши, кувыркались перед поспешно заряжавшими шомпольные ружья парнями.

— Пли! — неистово кричал, задыхаясь от радости, парнишка Митька.

Парни палили залпами и в одиночку.

— А ну, громчей! — надсаживался Митька.

Все, предводимые Устином, двинулись вперед, медленно переступая и вздымая по дороге пыль.

Вспокоенные на веревках псы одурело выли, пела толпа, трещали всю дорогу выстрелы, а вдогонку летел веселый медный хохот.

Устин чинно шел впереди, окруженный беспоясыми, чумазыми, поддериживавшими штаны босыми мальчишенками, время от времени взмахивая кадилом, и заливался высоким голосом.

Митька раза три забежал вперед Устина и, повернувшись к нему лицом, пятился задом и нараспев слезливо просил:

— Дедушка Устин, покади-и-и мне... А деда, покади-и-и...

Но тот, весь ушедший в небеса, отстранял парнишку рукой и выводил:

— «Ну, взбранный воевода победительный...»

Митька вновь неотступно вяньгал:

— Покади-и-и...

— Пшел! — шипит Устин. — Вот я те покадю!.. — И, догоняя бабьи голоса, подхватывает: — «Ти-раби, твои, богородицы...»

Вся деревня шла за крестным ходом в поле.

Столетний Назар далеко отстал. Он с горы-то шибко побежал, девки шутили: «Куда ты, дедушка, успеешь...» Да и теперь, кажется, переставляет ноги быстро, локтями стучит старательно, а — удивительное дело — отстает. И у деда слезы на глазах, лицо все в кулачок сморщилось.

— Отстал, спасибо... — шамкает столетний и плачет, утираясь подолом рубахи. Сел на луговину, уставился мутными глазами на высоко поднявшееся солнышко.

— Праздничек Христов, помилуй нас.

Крестный ход остановился под тремя заповедными листовницами, у большого, еще прадедами врытого на самых полосах, креста.

Толпа стояла под лучами солнца. Было жарко, и всем хотелось попить холодненького и поесть.

А Устин все новое и новое заводит. Бабы устало повизгивали, мужики подхватывали сипло и неумело.

Красноголовый, весь в веснушках, дядя Обабок, чтобы заглушить куму Маланью, рядом с ним ревшую диким голосом, оттопыривал трубку

губы, выкатывал большие глаза и, подшибаясь каждый раз рукой, пускал местами такую оглушительную, не в тон, завойку, что ребяточки испуганно оглядывались на него и изумленно разевали рты, а мужики смеялись:

— Эк тебя проняло! А ты за Устином трафь... Чередом выводи, а не зря...

Устин без передыха пел, перебирая разные молитвы.

Слова молитв были чужие, непонятные для молящихся, они сухим песком ударяли в уши и отскакивали, как горох от стены, не трогая сердца. И только сознание, что сами поют и сами служат, окрыляло души, и у некоторых глаза были наполнены слезами.

Иногда Устин долго мямлил, не зная, как произнести возглас, кричал, махал усиленно кадилом, громко приговаривая:

— Вот, ну... Паки... паки...

Но ничего не выходило.

Пользуясь такой заминкой, лавочник Федот повернулся к Устину и произнес многолетие, после которого красноголовый Обабок, нимало не жалея горла, так сильно хватил врозь, что все сбились и засмеялись, даже строгий Устин улыбнулся. Красноголовый сконфузился, отер мокрое лицо, протискался в самый зад и молча стал на краю, задумчиво обхватив живот.

Наконец Устину подсказали:

— Станови народ на колени... Давай свою хрестьянскую...

Тогда Устин передернул плечами, задрал вверх бороду и громко прокричал, подражая священнику:

— Вот... ну... Айда на коле-е-ени!..

Толпа, словно дождавшись великой радости, многогрудно вздохнула, опустилась на колени и дружно приготовилась слушать свою «хрестьянскую».

Устин, весь преображенный и напитанный воодушевлением, четким и трогаящим голосом, то повышая, то понижая ноты, начал:

— Господи ты наш батюшка, воистинный Христос...

Все еще раз вздохнули, закрестились, забухали головами в землю, с надеждой поглядывая то на безоблачное, ласковое такое небо, то на седенького, в розовой новой рубахе, лысого Устина.

А тот, все больше и больше воодушевляясь, продолжал:

— Вот, всей деревней просим тебя, господи, помази рабам своим: дождичка нам пошли ко времени, хлебушка хошь какого уроди, пропитай нас всех, верных твоих хрестьян...

— Пропитай, господи, — вторила молитвенно толпа.

— Чтобы зверь лесной скотину не пакостил, чтоб белки поболее было в тайге, чтоб лиса в кулемки попадалась, чтоб всем нам, хрестьянам твоим верным, в животе и покаянии скончати... Вот... ну... этово...

— Конопля проси... Конопля... — глотая слезы, шепчут бабы.

— Бабам! — радостно восклицает Устин, потерявший было нить. — Бабам, верным нашим рабам, конопля уроди, боже наш. Чтоб всем нам в согласии жить, полюбовно, значит, без обиды, чтоб по-божецки... Да...

И Устин, уперев кулаками в землю, тяжело поднялся и, еле разгибая спину, закончил высоким выкриком:

— И во веки веко-о-в!

Многие из молящихся плакали от таких простых, милых сердцу слов молитвы.

Вскоре все кончилось, и толпа пестрой волной поплыла обратно в часовню, где неугомонный Тимоха так яростно набрякивал в колокола, словно желал во что бы то ни стало выбить из них голосистую душу.

С пригорка от часовни был виден кусочек сверкавшей на солнце речки и барахтавшееся в ней большое желтое бабье тело. Это поп выгонял из себя хмель, плавал, сильно ударяя по воде ногами, и гоготал на всю деревню.

Посмеялись крещеные и стали разбредаться со счастливыми лицами по домам.

Праздник начался хорошо.

VIII

Бахнул выстрел.

— Гоп-го-о-п... — чуть послышался голос.

— Это чадон ревет, — сказал Лехман.

— Не черт ли, дедушка? — прошептал Тюля, уперев руками в землю и готовясь вскочить.

— У нас, бывало, в Расее...

Светало. Туманом заволокло всю тайгу, и бродяги казались друг другу в неясной утренней полумгле какими-то серыми, словно пеплом покрытыми, огромными птицами.

Где-то тревожно кричит кукушка, над бродягами белка скачет: сухая хвоя полетела и густо падает в бороду Лехмана.

— Надо выстрел дать, — советует он Тюле.

Тот взял ружье, насыпал на палочку пороху, досуха вытер отсыревший кремль, свежий трут положил. Курок щелкнул, но трут не воспламенился, новый вставил — не берет. Бросил. Распятил рот до ушей, вложил четыре пальца и таким лешевым свистом резанул воздух, что, показалось Антону, дрогнул туман. Кукушка враз замолкла, белка оборвалась с лесины в потухший костер и, взмахнув хвостом, скрылась.

Бродяги захохотали и вдут смолкли.

— Братцы... Постойте!..

— Иди-и-и!.. Сюда-а-а!.. — гаркнули бродяги, враз поднявшись.

Затрещали сучья, зашуршала хвоя, все ближе, ближе, опять послышался крик почти рядом, и вдруг, как из-под земли вырос, встал из туманной мглы человек.

— Братцы...

Донельзя ободранный, высокий и согнувшийся, он стоял перед бродягами, покачиваясь и зябко подергивая плечами.

— Братцы... — еще раз сказал, опустился на землю и положил возле себя ружье.

Плечи острыми костяками торчали вровень с макушкой головы. Лицо

изможденное, весь колючий, всклокоченный, черный, глаза дикие.

Ванька испугался глаз, за Лехмана спрятался, а Тюля, засопев, пробормотал:

— А ну, перекрестись...

Лехман зыкнул на него:

— Разводи костер!

— Дедушка...

— Что, сударик? Это ты где себя? — и сел возле пришельца.

Тот схватил руку Лехмана, уперся в его плечо лбом и от сильного волнения едва выговорил:

— Чуть не сдох, братцы... Чуть не пропал...

Антон уж на коленях перед ним, гладит его по голове, душевно говорит:

— Ни-и-че-го-о... Ишь ты как... а?

Туман начал подбираться, сгущаясь в рваные, тянувшиеся понизу, плоские облака. Только в логах, где мочежины, он густо и надолго залег белым молоком.

Сквозь сонные вершины пробрызнули лучи восхода. Раздвинув ласково туман, они упали на корявый ствол распластавшегося над бродягами кедра. И полилось и заструилось небесное золото, закурились хвои, замерцали алмазы ночных рос. Всеми очами уставилась тайга в небо, закинула высоко голову, солнце приветствует, тайным шелестит зеленым шелестом, вся в улыбчивых слезах.

Благодать золотая на мир опускается, млеет тайга. Пойте, птицы, выползайте из нор, гады ползучие и кусучие, — грейтесь на солнце: солнце пожрало тьму. И ты, медведь-батюшка, иди гулять, иди: вон там холодная речка гуторит, вон там в дупле пчела пахучий мед кладет. Пойте, птицы, радуйтесь, славьте яркое солнце! Хозяин лесной, а ты не кручинься, сгинь, сгинь! — иди в болото спать, ты не печалуйся: над тайгой солнышко подолгу не загащивается.

Пред сосной, в тени, бьет Антон земные поклоны, умиленно взглядывая на медный, прислоненный к стволу, образок. Лехман с Тюлей все еще у ключика полощутся, Ванька чай кипятит.

Все зашевелились, к котелку примащиваются, расцвели все на солнце, зарозовели. Ожил и пришелец. Он улыбался, чашку за чашкой пил с сухарями чай: он неделю ничего не ел, вот белку третьего дня убил, пробовал невкусно, душа не принимает, порох кончился, спички кончились, без огня смерть.

Бродяги его не спрашивают, неловко. Сам стал рассказывать, как еще ранне весной из дома вышел. Он в тайге сколько раз хаживал, тайга ему знакома: то по солнцу идет, то по приметам. На пятнадцатые сутки, когда уж хотел домой идти, стал через речку по буреломине переходить, да и оборвался. Вода сразу обожгла, ножом резанула, а ночью холод ударил, иней пал. Простыл, свалился, сколько дней без памяти лежал — не знает. А пришел в чувство — во всем теле слабость, и соображение изменило, и нюх пропал сразу как-то, вдруг. С этого и началось. Бродил-бродил — не может как следует утрафить, все возле речки кружится. Нашел переход через речку, ту

самую лесину отыскал, — переполз кое-как на карачках, шел, шел, шел — тайга. Все места одно с другим схожи до крайности: листвень, ель, сосна, кедр, а сверху — небо с овчинку. Солнце в это время не показывалось: целую неделю морока стояли, весенние дожди выпадать начали. Что тут делать? Он в одну сторону, он в другую — нет, чует, что закружился окончательно. Глядит: опять к той — проклятой — лесине вышел.

— Тьфу! Сел под елью, с досады слезы покатились. Три заряда у меня осталось. Эх, думаю, трахну в рот. Представил себе это: вот я, молодой, сильный, кругом сосны шумят, птицы, цветы... и вдруг... Нет, думаю... еще рано...

Антон, вскинув брови, набожно перекрестился и жалеющим взглядом уставился на прищельца.

Все выше и выше вздымалось солнце. Туман исчез, и тайга ярко-зеленым живым морем вновь охватила сидевших у костра людей.

Каша упрела хорошо, обед был сытый.

— Ну что ж, товарищи, как? — спросил Лехман, засовывая за голенище бродней тщательно облизанную ложку. — Дальше пойдём али как?

— Я не могу, я очень утомился...

— Ну, так чо! — весело воскликнул Лехман. — Тогда, робята, давай отдыхать сядни... Куда спешить!

Ванька, насвистывая плясовую, на рыбалку отправился. Прищелец лежал, закинув за голову руки, глядел в небо. Дед корзину из молодых веток плел, Антон сидел возле него и чинил шапку.

Тюля так налушился каши из украденной крупы, что брюхо барабаном вздулось. Он, самодовольный, подполз к прищельцу и ядрено заулыбался:

— А ты, мил человек, женат?

— Женат.

— А ты из каковских?

Тот покосился на него, сказал:

— Я политический.

Тюля в ответ боднул головой, вскинул брови, крепко зажмурил глаза-щелочки, пошлепал, втягивая воздух, толстыми губами и принялся чихать:

— А я... ч-чих... а я... расейский... Ачих-чих! Тьфу!

— Эк тебя проняло!.. — крикнул дед.

— Ччих! Комар... комар в ноздре... Дык спалитический?

— Да.

— Ну, стало быть, земляк... — еле переводя дух, заключил Тюля и вновь, под общий смех, на все лады принялся чихать: он ползал враскорячку по земле, неистово тряс головой, тарачил на смеющегося Лехмана глаза и, весь багровый, грозил ему веселым кулаком.

Потом вдруг вскочил.

— Ах, обить твою медь! — и опрометью бросился в кусты.

Лехман, повалившись на бок, закатился громким хохотом:

— Вот так это Тюля, вот так расейский человек!

— А где мы примерно находимся? В каком месте? — осведомился прищелец.

— Да, однако, днях в трех-четырех от Кедровки, — ответил Лехман.

— Что?! — быстро приподнялся тот и уперся о землю локтем. — От какой Кедровки?

— От какой... Кедровка одна в этих местностях... От Назимовской...

Пришелец встал, встряхнул волосами и во все глаза уставился на Лехмана.

— Ух ты дьявол! — вдруг взвился вдали резкий, отчаянный Ванькин крик.

— Оле-ле-о-о!.. Ух ты! Дедка, дед, тащи ружье!.. Медведь, вот те Христос, медведь! Ух ты дьявол! Оле-ле-о-о!..

Лехман засуетился, с ружьем, согнувшись, к Ваньке кинулся, а навстречу Тюля из кустов чешет.

— Назад, дедка!.. Ведмедь там, ведмедь!..

Когда все успокоилось, Тюля развел от комаров курево и принялся врать Антону:

— Я, это, как отбился от своих от расейских самоходов, на Амур-реку ударился. И вели мы там, Антон, просек, чугулку ладил... Дык этих самых ведмедев-то, однако, штук шестьдесят враз на деревню выгнали... Ну, мужики тут их, голубчиков, и умыли. Мужики передом на них прут, а мы, значит, сзади напиром... Как начали качать, да как начали... Аж пух летит... Кто топором, кто из стрелябин... Знашь, така машина анжинерска... как порснешь-порснешь...

Андрей-политик лежал на спине, смотрел не мигая в небо и прислушивался к пушистому шелесту хвой.

«Неужели — близко?»

Много за это время Андрей передумал, много переживал.

— Анночка, — шепчет Андрей и видит голубые глаза, такие грустные и укорные, что сердце глухо замирает, а губы от волнения дрожат и прыгают.

И опять думает Андрей и не может оторваться от думы: колышется возле, шепчет, вдаль влечет, торопит — скорей, не медли...

И уж кружатся мысли радостные, радостно в ладоши бьют, звенят колокольчиками. Все страшное изжито, впереди радостный труд, впереди Аннины лучистые глаза и ее душа особенная, новая, не как у всех, новая Аннина душа.

— Вот ты, говоришь, спалитический... А скажи, сделай милость, что они, эти самые сполитики? — подает Лехман голос.

— У меня один знакомый такой был, вроде как из ваших... Что же, у вас шайка, что ли, такая?

Андрей не сразу оторвался от дум. На Лехмана смотрит: Лехман корзину плетет, Ванька с Тюлей за грудки друг друга берут, борются.

— За кого они, к примеру, стоят, в кого веруют?

— За народ стоят, за правду.

Лехман, положив руки на колени, долго и внимательно разглядывал Андрея, потом сказал:

— Так-так-так... Стало быть — верно: не впервой слышу... Дело доброе...

Солнце спускалось за тайгу. Напльвали сумерки.

А как замгала в небе бледная звезда, повел Ванька, лежа на брюхе, сказку:

— И вот, значит, жила-была парица-зменца, прекрасная королица... И пошел к ней мужик, по прозвищу Борма, правду искать... Вот ладно... Шел, значит, он, шел... И вдруг как выскочит из-за кустов страшный Оплетай, одна рука, одна нога... «А-а, правды захотел?!» — да как вопьется ему в лен, значит, в шиворот, и начал кровь сосать...

Андрей борется со сном, но глаза сами собой смыкаются, все куда-то плывет и затихает...

...— «Ты кто таков?» — «Я страшный Оплетай, одна рука, одна нога»...

Андрей перевернулся лицом к кедру и крепко заснул.

IX

Иван Степаныч Бородулин торопился из волости в родное село Назимово. Урядника в волости не застал: уехал на дальний прииск три тела подымать.

Бородулин знал, что вор кто-нибудь из назимовцев! а скорей всего «уголовная шпана».

«Жулик, черт. Поди, в Кедровку упорол... Там гулянка добрая... Вот коня сменю — и в путь».

И не от скупости это: триста пятьдесят рублей — раз плюнуть, из-за них Иван Степаныч не стал бы себя тревожить.

Но вот вчера, ночуя в тайге, он увидел сон: явилась Анна во всем красном и сказала: «Деньги найдешь — быть!» А что такое «быть» — не разъяснила.

И Бородулин всю дорогу думает о ней, никак не может отмахнуться, все мерещится ему Анна, сильная, ядреная.

Едет вперед и тайги не замечает, все спинуло куда-то, провалилось. Но вдруг в сознании всплывает зобастая, нелюбимая жена.

— Но, дьявол! — бьет Бородулин лошадь, крутом вмиг вырастает стеной тайга: вот сосны, вот пень, муравейник прижался к корням темной елки, попискивают и жалят комары.

Начинает купец думать о делах: надо земли прикупить... Но зачем, куда ему: умрет — кому оставит? «Эх, сына бы!»

«Деньги найдешь — быть...» — опять тихонько просачивается в душу; замелькали голубые задумчивые Аннины глаза, а тайга вновь стала куда-то уходить, заволакиваться серым, исчезли лошадь, солнце, комары. И Бородулин, сладко ощущая, как у него замирает сердце, как неотступно стоит перед взором Анна, соглашается радостно, что без Анны ему не жить.

«А жена? Убьешь?»

— Но, дьявол! — хлещет неповинного коня...

Солнце за полдни перевалило, когда он подъехал к Назимову.

Едет трусцой по улице, а навстречу народ бежит.

— Езжай скорей!.. Анка... Анка...

Бородулин вмах понесся к дому.

А вдогонку:

— Анна давилась... Анка... Анка...

Кубарем слетел с коня, сшиб с ног какую-то старуху:

— Прочь! — и, не помня себя, ввалился в дом.

Толпится возле кровати народ. Растолкал всех и метнул взглядом по бледному испуганному лицу Анны.

— Анютушка! Родимая!

— Шкура! — сквозь стиснутые зубы буркнула Дарья и сердито повернулась у кровати взад-вперед на каблуках.

— Ты меня прости, Иван Степаныч. Тяжко мне... Скука грызет... Прости, голубчик...

— Живучая... — вновь прошипела Дарья.

— Вон, жаба! — топнул Бородулин и, размахнувшись, влепил ей пощечину.

— Вон!!! Вон!.. Все вон!.. Всех перекострючу!..

Толпа бросилась кто куда, Дарья первая. Фенька на глаза попалась, размахнулся — раз!

— Это вы, стервы, с Дашкой!.. Укараулить не могли... Душу вышибу!..

— Иван Степаныч... — молила Анна.

Бородулин, шумно отдуваясь, запер все двери на крючок и, подойдя к Анне, грузно сел на табуретку. Как в лихорадке, стучали зубы, гудело в голове, пресекался голос, и все было как сон. Он крепко сжал виски, закрыл глаза, стараясь овладеть собой, но вдруг стал задыхаться: глаза испугались, забегали, руки ловили воздух, виски и лоб дали испарину, а табуретка выскользнула из-под дрожащих ног. Он ахнул, схватился за сердце, уткнулся в колени Анны и жутко, со свистом, застонал.

— Иван Степаныч... Бог с тобой!.. — вся в страхе вскочила Анна.

— Жива... Ну, Аннушка... Ну, родимая...

Встал, шатается, лицо налилось кровью, в глазах удивление и радость, будто впервые увидал Анну.

— Господи, жива... невредима, — твердил он прыгающим шепотом.

Долго умывался, мочил голову водой и, шумно отдуваясь, жаловался:

— Эка, сердце-то... чуть что — и зашлось... Фу-у ты... Неприятности все, ерунда...

Ноги все еще дрожали и подгибались в коленях.

— Ну, как же ты так? — успокоившись, подошел он к Анне. — Пошто так-то?.. Пакость одна, душевредство. Ну, не по нраву тебе здесь, к отцу не то поедем, в Кедровку...

— И здесь... и туда... — в раздумье говорила Анна, опустив голову и рассеянно посматривая исподлобья на Бородулина.

— А? Чего?

— А так. Что-нибудь... этакое, чтобы... Вот Андрей знает... Больше никому, никому! — Она подняла голову и пристукнула кулаком по колену. — Никому!

— Чего — никому?

— А так уж... никому.

Она вздохнула.

— Не вв-е-ерю, — растянула Анна и вдруг улыбнулась. — Ну, пойдём...

— Пойдём, Аннушка, — обрадовался Иван Степаныч, и они поднялись наверх.

— Вот, живи здесь, распоряжайся, — любовно сказал Иван Степаныч, но опять ударила в его сердце злорадия. — Водки! — крикнул Фене. — Приказчика сюда!

Пришел приказчик.

— Дашку сюда!

— Чичас, — сказал тот и скрылся.

— Ты не бей их, Иван Степаныч. Неужто не жаль тебе?

Бородулин грузно ходил по комнате, поскрипывая сапогами, Анна сидела у стола. Она то улыбалась, словно видела кого-то близкого, то вдруг становилась задумчива, а взгляд делался незрячим, будто глаза смотрели внутрь, о чем-то вспоминая.

— Привези ты ко мне, ради бога, матушку... Стосковалась...

— Ладно, Аннушка, привезу, — поспешно соглашался Бородулин.

— Поезжай скорее. Как увидишь Андрея — напиши...

— Аннушка... — как вкопанный остановился Бородулин.

— Ох, чегой-то я опять неладно... Голова горит.

Она облокотилась о стол и подперла голову рукой. Сбоку в нее ударяли лучи солнца, и Бородулину казалось, что ее побледневшее лицо с льняными волосами будто в венце из золота.

Анна лениво перевела взгляд на Бородулина и застыла. Глаза их встретились. Бородулин попятился, изумленно открыл рот. Ему ясно представилось, что не его видит Анна, а что-то другое, чего нет ни в нем, ни за избою, ни в тайге, во всем мире нет... Вот глаза ее ширятся, напряженно сдвинулись брови, лоб в складках; вся она как-то подалась вперед и порывисто задышала.

— Аннушка! — шагнул к ней Иван Степаныч. — Анна...

Та вздрогнула, ударившись локтем о стол, и робко улыбнулась.

— Не вспомнить... — протянула нежным, тоскующим голосом. — Не вспомнить...

— Ты чего это, Аннушка? — тихо сказал, стараясь скрыть тревогу, и наклонился к ней.

— Вот сидела бы я, да и плакала бы все...

— О чем же?..

— А о чем — не вспомнить...

Он взял Анну за плечи, прижал ее голову к своей груди и поцеловал в гладкий прямой пробор.

— Мне хорошо у тебя, Иван Степаныч, — зашептала Анна. — Только скука берет, тоска.

И Бородулин увидел, как из ее глаз покатались слезы. Он завздыхал, мысли бестолково заметались; не знал, что делать.

— Плюнь на это, плюнь!.. — вдруг радостно сказала Анна. — Сначала потеряла, потом нашла... Сожги все. По-новому будет... Сожги!

Ивану Степанычу вдруг жутко стало и приятно. Он дрожащей рукой,

покрывшейся холодным потом, вытащил платок и начал бережно вытирать слезы Анны. Ему хотелось сказать что-нибудь ласковое, бодрое, чтоб сразу просветлел у Анны разум. Он гладил ей голову, плечо, спину и чувствовал, что по всему его телу горячей волной полилась жалостливая отеческая к ней любовь.

— Сожги, сожги! — повторяет шепотом Анна, но он не слышит, своим полон, тайным и радостным.

Он теперь знает, он решил, и это будет! Он прилепит к себе Анну, уберет ее от лихого глаза, от наговора, он ее вылечит...

«Ребенок мой, дитя мое милое... Аннушка...»

— А как же, Иван Степаныч, ребеночек-то мой?

будто перехватив его мысль, спросила Анна. — Ведь ты, поди...

— Ну, что же, Аннушка... Об этом не думай... Я ребеночку рад, вырастим... Что ж такое... Ничего... роди...

Та подумала и сказала:

— Ты — хороший.

Голос у нее был тихий. Веселость и сила давно исчезли в нем.

— Вот что я тебе скажу, голубонька моя: ты ни о чем не думай, на все плюнь. Андрюшка? Тьфу! Плюнь да ногой разотри. Кабы он любил тебя, жиган такой, нешто сделал бы так, нешто ушел бы? Паршивец, и больше ничего... Подох? Туда ему и дорога. Будь он, собака, проклят... — раздраженно говорил Бородулин, опять хватаясь за сердце.

Анна слушает, опустив низко голову. Купец рядом на диване.

Мимо окон то и дело народ снует: возле дома задерживают шаг и, приоткрывая рты, настораживаются. Но купец говорит тихо, чтобы только Анна слышала:

— А вот я управлюсь с делами, в Иркутск поедем, к святителю Иннокентию. Город увидишь, людей. Во-о-от... Живи и ни об чем, значит, не думай... Да... Угодничек божий исцелит тебя, как ни то обрадует... знаешь, как поется в церкви: «радосте нечаянная...» Да-а-а...

Увидя кухарку, купец ласково сказал:

— Фенюшка... А ты побереги Анку-то... С рук на руки сдаю. Чуешь? Я тебе на платье шерстяного отрежу.

Сели обедать троим. После двух тарелок щей Иван Степаныч ленивой походкой вышел на улицу. Ему нездоровилось. Не отложить ли поездку до завтра? Он поглядел на небо, — вот если б дождь, — но небо было голубое и светило солнце.

— Ну, так я за матерью, — решительным голосом сказал он Анне и вскочил на буланого статного коня.

— Ну, смотри, Илюха... Понял? — погрозил он приказчику большим, обросшим волосами, кулаком...

— С богом, — сказал Илюха, боязливо покосившись на кулак.

— До свиданья! — крикнул Бородулин и стегнул лошаадь.

Приказчик с Феней пересмеялись, удивленно посматривая, как Анна машет фартуком и что-то бессвязно говорит.

Х

Бородулин до самой тайги скакал во весь дух.

После выпитого за обедом вина он стал чувствовать себя бодрей. Все мерещилась ему новая жизнь с Анной.

Самое лучшее ему от жены откупиться. Он не раз бивал ее, по пьяному делу, смертным боем. В прошлую масленицу все село покатывалось над тем, как он, пьяный, порол ременными вожжами охмелевшего попа и законную свою супругу, застав их в весьма веселом виде у просвирни. Поп без шапки удрал домой, а зобастая Марья Павловна, грузно бегая кругом большого стола, выкрикивала: «Нет тебе до меня дела... Давай мою тыщу, я уйду... Живи со своей Дашкой. Тыщу отдай, варнак!»

Лошадь шла рысью, похрапывала и тревожно поводила ушами. Все глуше и безмолвней становилась тайга. Небо только над тропой светлело бледной щелью, и нельзя было угадать, где солнце.

В душу Бородулина как-то исподволь, незаметно стала просачиваться грусть. Жена опять вспомнилась, а рядом с ней Анна. Вперед, в мечтах, свобода и новая жизнь без Дашки, без греха, а — странное дело! — нет в сердце радости. Иван Степаныч вяло осмотрелся кругом и зевнул. Его баюкали и зыбкая ступь лошади, и молчаливый сумрак дня. Стало ко сну клонить. Он весь устал: хорошо бы броситься на мшистый пригорок и заснуть. В голове шумело, хотелось потянуться, хотелось крикнуть. Хорошо бы кисленького выпить, холодного. Нешто повернуть коня? Нет, начато — кончено. А чтоб покорить грусть, и сонливость, и молчанье тайги, он запоет веселую.

Бородулин потрепал по крутой шее лошадь, откашлялся, расправил усы и затянул:

— Как-ы во темьнай нашей да стороньке

Возрастилась мать-тайга-а-а...

Ты таежная глухая,

Сама темьна сторона-а-а-аа...

Одинокими и чужими летят звуки во все стороны.

Бородулин смолк и прислушался. Песня замирала, путаясь в макушках леса. Он зычно крикнул и вновь насторожил слух. То ли эхо откликнулось, то ли голос позвал и захихикал. Иван Степаныч остановил лошадь. Тихо. Только в ушах гудит, а тоска все еще не бросает сердца.

«Надо бы Илюху взять... Черт... Дурак...»

Он стегнул коня и с версту ехал вскачь... Но лишь пошла лошадь шагом, беспокойство опять приступило, вновь что-то померещилось.

— Спотыкайся! — крикнул он лошади и, чтобы не чувствовать одиночества, то посвистывал, то вяло тянул-мурлыкал без слов песню.

Он поет, и тайга поет, уныло скулит-подвывает. Он оборвет, и тайга враз смолкнет, притаится, ждет.

— Ну, теперича... тово... — шепчет Бородулин.

Он знает, что тайга озорная, пакостливая: только поддайся, только запусти в душу страх, — крышка.

«Едет, едет...» — «Ну, еду». — «Ну и поезжай...»

В овраге стон послышался. По спине Бородулина ползут мурашки.

— Господи! — передохнул он. — Благовонный колокол надо пожертвовать...

— Господи, — сказал кто-то сзади.

Иван Степаныч, надвинув на глаза шляпу, круто рванул узду и поскакал на голос, весь дрожа. Нет никого. В овраге пусто, по дну ключик бежит, по берегам в белом цвету калина.

— Больно боязлив. Баба худая... Дурак, черт... — обругал себя Бородулин.

Кто-то опять застонал, закричал. Бородулин отмахнулся. Раскачиваясь от дремы в седле, он клевал носом.

«Неможется... свалюсь...»

Надвигался вечер. Небо посерело, сумрак сгустился в глубине тайги, а из низин тянуло серым холодом. Утомленный конь, спотыкаясь, бежал усталой рысью.

— Бойся! — вяло крикнул Бородулин и очнулся. — Надо поворотить...

Ну, зачем ему в Кедровку? Он приказчика пошлет, он стряпку пошлет.

«Деньги найдешь — быть». Чайку с малиной... в баню бы, венником похлестаться... «Батюшка, пожалей, родимый, пожалей...»

«Анка... Аннушка...»

«Подлец ты, кровопивец...» — «Прочь, харя прочь!» — «Я тебя знаю, подлеца». — «Кого такое?» — пытается спросить Иван Степаныч. Огненные круги в глазах рассыпаются искрами, голова совсем отяжелела и гудит.

— Уходи, я тебя не звал, — шепчет Иван Степаныч, — я за упокой молюсь, за твою душу каждую службу молюсь...

«Молишься? — шипит бродяга, тот самый, что сдал Бородулину большой самородок золота. — Сожег в бане да молиться начал?.. Ах ты плут...»

Ивана Степаныча вдруг качнуло, едва в седле усидел. Он передернул плечами и часто закрестился, пугливо косясь на потемневшую стену тайги.

— Обещаюсь тебе, господи, благовонный колокол купить, — озирается назад, не гонится ли кто. — Уж правильно... правильно жить буду... Спаси-помилуй!

А голова все тяжелеет, озноб вплотную охватил. Тянется к флаге и жадно пьет коньяк.

«Убил...» — «Кого убил?» — «Себя убил». — «Когда?» — «А помнишь... Завтра-то...»

«Завтра?...» — вздрагивает купец и слышит: пересмеваются тихим смехом обугленные, черные, как монахи в рясах, деревья таежной гари.

Мрачней и угрюмей становится тайга. Конь храпит, трясет головой, взмахивает хвостом, отбиваясь от комаров.

«Вот вытащи из болота, тогда дам рубль...» — «Ну и наплевать. И не вытасу...» — бредит во сне Бородулин, но чей-то голос все громче и уверенней:

— Эй, помоги, добрый человек, лошадь завязал!

«Ха-ха-ха... Лошадь? — усмехается купец. — На мне крест... Не больно-то возьмешь...»

— Помоги, батюшка...

И собачка залаяла.

— Пшел! — кричит, пробуждаясь, Бородулин и стегает коня.

— Стой, стой!.. Ради бога, помоги...

А собачка пуще.

Оглянулся: серое от болота катится.

— Кто таков, что нужно? — схватился Бородулин за ружье и видит: мужик подошел с собачкой.

— Дядя Пров?!

— Я... По дочку мы с Лысанькой к тебе ехали, — сказал мужик, оглаживая собачонку, — да, вишь, лошадь в болото завязил... Еду я, еду да задумался чегой-то, глядя, а лошадь-то и свернула... Увидала воду... Вот и бьюсь скольк времени... Ради бога, помоги...

Слез купец с коня. Ноги — как чужие. Сам дрожит. Озноб всю силу съел.

— Чего-то неможется, — сказал он Прову. — Вчерась возле речки ночевал в тайге, — простыл, видно.

Густые сумерки серели на прогалине, а в тайге из трущоб и падей выросла тьма. Болото, куда направились Пров и Бородулин, курилось белым холодным туманом, сквозь который прорывались испуганный храп и ржанье лошади, а в стороне старательно крикал коростель. Набросав вокруг лошади жердей, Бородулин за гриву, Пров за хвост вытащили ее и вывели на сухое место.

Пров боялся сам завести разговор о дочери, опасливо и испытующе поглядывал на купца, стараясь в его глазах выведать нужное.

Бородулин, почувствовав это, сказал:

— А девка твоя, слава богу, ничего...

— Ничего?! — воскликнул ликующим голосом Пров. — Ну-ка присядем на минутку, Иван Степаныч... А как же Овдоха путала...

— Какая Овдоха? — спросил купец, прикладывая к вискам холодный мох.

— Да тут... У нас в деревне... Баба одна кривая... За попом к вам ездила. Вот она и болтала, быдто бы...

— Врет, — раздумчиво ответил Бородулин и умолк, а сердце Прова сжалось и сильно застучало.

Бородулин хотел все рассказать отцу Анны, но не знал, как бы лучше подойти, с чего бы начать. Язык совсем потерял себя, непослушным сделался, и остановилась мысль.

Наконец собрался с духом.

— Видишь ли, Пров Михалыч... какие, значит, дела-то... Этово... как это... ну... Словом, я должен предупредить тебя... И все такое...

— Что? — упавшим голосом, затаив дыхание, спросил Пров.

— Одним словом, прямо тебе скажу, — раздался громкий и решительный голос Бородулина, — хошь ругай, хошь нет, а только что я твою Анку,

значит, Анну Прововну, полюбил и рассчитываю вместо хозяйки ее предель, а с своей женой развязаться... Да...

— Так-так-так... — скрывая радость, ответил равнодушно Пров, но левая нога его нетерпеливо задрывала, а рука затеребила бороду.

— За тобой без малого сто рублей долгу... Это с костей долой... За кобылку тоже скошу... Вроде подарка пусть, вроде уважения... Да-а-а...

— Это ничего... На этом благодарим...

Иван Степаныч тяжело сопел. Силы опять оставляли его, но он, напрягая волю, брал себя в руки.

Он, волнуясь, сказал:

— Ну, только что, видишь ли, какая вещь... Я тебе прямо без обиняков... Так что Анна твоя...

— Что?

— В тягостях... От Андрюхи, одного паршивца-политика...

— Ну-у-у?! — протянул Пров, повертывая голову к Бородулину, и глаза его сразу вспыхнули злом и широко открылись.

— Да, брат, да...

— Ее воля, — тихо ответил Пров и мучительно вздохнул.

Потом, будто передумав, он быстро поднялся, поправил кушак и зарычал, сжимая кулаки:

— Я его надвое разорву!.. У-у-ух ты мне!.. Ну, держись, дьявол!..

И, огромный, пошел, ругаясь, к лошади прижимистой медвежьей походкой.

— Стой-ка ты, стой! — кричит Бородулин и подымается. — Нет ведь его... Я бы его сам устукал... В тайге пропал... С весны еще... Ушел, да и крышка, подох...

Наступило молчание.

— А правда ли... — крикнул было Пров издали и, не докончив, остановился. — А правда ли, Овдоха языком трепала, что Анка не в себе?

— Правда, Пров Михалыч, — ответил Бородулин, — мало-мало есть...

Пров тихо подошел к кушцу и, порывисто дыша, остановился. В скобку стриженные, с густой проседью, волосы его разлохматились, суровое лицо как-то осело сразу, задергалось. Он закрыл его пригоршнями, шагнул к сохе и приник к ней головой.

— Дядя Пров, — Бородулин двинулся к нему.

— Ведь на всю волость, на всю волость девка-то... Ведь она за троих мужиков работница... О-о-х ты, боже мой... — задыхаясь, говорил он глухим голосом.

— Слушай-ка... Пров! — обхватив Прова за плечи, старался Бородулин повернуть его к себе лицом, но тот тряс головой и с болью бросал:

— Оставь, оставь... Не трог, пожалуйста...

У Бородулина дрожали ноги и от болезни, и от волнения, стучали зубы и горячим неском стегало по глазам.

А тот опавшим и прерывистым голосом, сморкаясь, твердил:

— Ну, чего я теперича старухе-то своей скажу, ну, чего? Научи ты меня, ради господи...

Бородулин молчал. Голова кружилась, и, чтобы не упасть, он схватился за соседнюю рябину.

— И не стыдно тебе, Иван Степаныч: не мог уберечьи девку-та... Эх ты-ы... лепший.

— Дело поправимое, — буркнул купец.

— Поправи-и-имое?! А кабы твое дитя так?..

— Она редко сбивается-то...

— Ре-е-дко?! Эх ты, че-о-рт...

Бородулину невольно стоять. Он сначала сел на землю, потом повалился на бок.

— Пожалуйста, Пров Михалыч... Мне бы водички зачерпнул... Нутро горит.

Пров принес ему воды, принес его овчинную, привязанную в тороках, шубу, разложил костер, чай вскипятил.

Что-то говорил купцу, расспрашивая и выпытывая, но тот плохо сообщал, невпопад давал ответы и, закутавшись с головой в шубу, готов был заснуть.

— ...Застрелю, — ловил он обрывки речей Прова, — только бы наткаться где... И робятам кедровским скажу: встретишь — бей!..

«Бей — не робей, бей — не робей, вей, вей, бей...» — мелькает в сознании засыпающего Бородулина.

— ...Так по затесу и жарь... Вешку поставлю... Ты к нам на праздник? Долги, говоришь, с мужиков собрать?

— К нам собрать... — бормочет Бородулин.

«Не робей, вей, вей... Хи-ха-хо... Хи-ха-хо...»

— А? — выставляет он голову и открывает глаза.

Какая-то желтая рожа шипит и плюется и пышет в самое лицо огнем. Кто-то был, кто-то говорил с ним. Никого нет... Кто же это был? Анна? Нет... Лошадь? Нет... Деньги? А-а-а... Так-так...

— Деньги!.. Украл... У стола...

— У тебя, что ли? Кто? — чей-то голос раздается.

— Отец дьякон...

— Ну, что ты...

— Отец поп...

— Отец поп? Ха!.. Ну спи со Христом... Закутайся да спи.

XI

Мать Анны, Матрена, ночь плакала, утром с крестным ходом не ходила, а теперь, затаившись, глядит из окна на речку, туда, где выбегает из тайги тропинка, и никак не может отгородить себя от праздничных звуков улицы.

Когда гармошка начинает особенно бесшабашно голосить, нахрапом врываясь в душу, а девки петь веселую, перед глазами матери вдруг встает Анна, бледная и больная, и так же вдруг куда-то исчезает. Тогда мать, нагнув на глаза платок, идет к кровати, зарывается с головою в подушку и, всхлипывая, причитает:

— Былиночка ты моя... Травонька нетоптаная...

А праздник идет своим чередом. В избах душно, жарко, хозяйки вытаскивают столы на улицу, в тень, куда-нибудь под навес либо под забежавший из тайги кудрявый кряжистый кедр.

Улица ожила, заговорила, заругалась и запела.

Праздничней всех у Федота: трех сортов наливка, пиво, пряники, пироги.

Освежившийся в студеной речке батя с удовольствием пьет стакан за стаканом чай с моченой брусникой: положит деревянной ложкой на блюдце, раздавит доньшком стакана и нальет чаю. Когда давит, ягоды хрустят и брызжут кровью, а батя смачно покрякивает:

— Вот это я люблю. Кисленькое.

Федот — в одной жилетке, красный, потный, живот до самых колен. Через плечо большое полотенце. После каждого стакана он старательно утирает взмокшее лицо и шею.

Хозяйка, молодая и поджарая, сидела рядом с бабушкой Офимьей. А у стола, облокотившись на край, — маленький солдаткин сын, Васенька Сбитень. На деревне не знали, кто его отец: солдатка, как только мужа взяла на войну, стала со всяким путаться. Солдата убили на войне, когда Васенька родился. И стали его звать «Сбитнем».

Васенька стоял и детскими просящими глазами следил, как пьют большие чай. Но его не замечали, а так хотелось чайку с молочком и оладейку. Он купал сегодня в озере чью-то белую лошадь. Поглядывая, как Федот забелил молоком пятый стакан чаю, Васенька, вспомнив лошадь, сказал:

— Ишь... Чай-то бе-е-е-лый... как конь...

Все засмеялись, а батя сказал:

— Ну, отроча млада, залазь за стол... Как конь, говоришь? Хо-хо... Правда-вильно.

Вблизи громыхнула по деревне песня. Успевшие хватить хмельного две соседки — Марья Долгая да Палага — шли в обнимку, весело спускаясь с горы, и визгливо выводили:

Эх, баба пьяна напилась,
Во солдаты нанялась...
Не берут ее в солдаты,
У ней волосы косматы...

Девки в ярких платьях и кофточках-распашонках прошли с песнями в край деревни.

Там, на берегу, высокий взлобок с муравчатой травой. Кругом стоят сосны, густые и пахучие, прохладно там, хорошо и далеко видеть во все стороны. Речка — как на ладони: шумит вода, торопясь через гряды камней, желтым песком убраны приплески, на песке опрокинутые долбенки и берестяные крошечные лодочки, сеть общественная на козлах, вдали остров зеленеет, и на нем белыми цветами — гуси.

Кругом тайга. Заберись на крышу часовенки, посмотри во все стороны — тайга. Взойди на самую высокую сопку, что кроваво-красным обрывом подступила к речке, — тайга, взвейся птицей в небо — тайга. И кажется, нет ей конца и начала.

Девушки принесли с собой на полянку съестного: сотни три яиц, сладких калачиков, кедровых орехов лукошко, водки захватили, пельменей, — будут угощать парней.

Три парня Зуевы уж тут. Вот Тереха-гармонист идет, с ним Мишка Ухорез и Сенька Козырь, самые главные плясуны и прибасенники.

Карманы у парней оттопырились, горлышки бутылок выглядывают: сладкая для девок наливка.

— Сеня, — кричит грудастая Варька своему «другнику», — иди-ка, яго-ка, чо тебе дам-то, — и достанет из-под фартука мятную «засдку». — Эй, Сеня!..

Но Татьяна-змея не пускает Сеньку, крепко обняла, прижалась к парню, как к кедру ель.

— Не отдам... Мой...

И сладко, взасос, закрыв глаза, поцеловала.

А Варька, вспыхнув вся, в отместку к кудрявому Парфену льнет:

— На-ка, Сенька, выкуси!..

— Эх ты, чернявая!.. — гогочет, посмеиваясь, Парфен.

— Видал, Сенюха, свою кралю-то? Вот она!..

— Ой, затискал... Ой, дух вон, — нарочно громко верезжала Варька.

— Вали-вали! — зло смеясь, раскатывался Сенька. — Сыпь... таковская.

Она, тварь, с каждым.

Сенька встал, отпихнул Татьяну, пошептался с Васькой, с Фролкой, мигнул пьянице-мужичонке Парамону, кивнул пальцем снохачу Гавриле, и все пятеро, один за другим, как волки на волчьей свадьбе, потянулись в лесок и там встали кучкой, прячась от народа.

— Кому? Варьке, што ли? — гогочут, топчутся, похотливо ловят Сенькин взгляд.

— Ей, Варьке... — Сухое длинное лицо Сеньки злобно, ноздри раздуваются, черные глаза косятся на мелькающие сквозь сучья кумачи баб и девок.

— Куда? В какое место? — гундят крещеные.

— В овины... Вот стемнеет — уманю.

— У-гу...

— Парней поболе надо... Чтоб помнила... сучка...

— У-гу... — гундят крещеные.

Тереху девки окружили:

— Терешенька, заводи плясовую.

У Терехи большущая «тальянка» на ремне через плечо. Взял, заиграл, пустив трель на всех переборах сразу. Усики у него маленькие, черные, как у жучка, глаза тоже жучьи, навывкате, и весь он маленький, черный, юркий, словно полевой жучок.

Ах, мамка по миру ходила,

Мне тальяночку купила!.. —

вдруг закричал он тончайшим, почти женским голосом.

Гармошка подкурныкивала за песней, девки поддергивали плечами и начинали пробовать — веселы ли ноги.

Две прибежавшие с народом собачонки возле толклись, им на лапы и хвосты наступали — ничего, а вот как задудил Тереха на гармони, отбежали прочь, уселись мордами к Терехе и, посмотрев на него не то озорными, не то презрительными глазами, хамкнули, подняли носы вверх и враз завыли — одна толстым, другая тонким голосом. А Тереха все сильнее и сильнее растягивал тальянку, плясовую начал. Веселые звуки залили всю поляну, летели вниз и вверх по речке, забирались в тайгу, плыли в деревню, заставляя подвыпивших мужиков и баб вскакивать из-за самоваров и пускаться в пляс. Девки с парнями принялись плясать. Сенька с Мишкой вошли в круг и начали друг перед другом откалывать.

Сеньке Козырю жарко сделалось: размотав с шен длиннейший, новый, надетый для форсу, шарф и удаю поглядев на выплясывавшего Мишку Ухореза, вдруг как прыгнет в середину круга, как взовьется вверх, как закрутится на лету волчком — и такого жару задал Мишке, таких замысловатых штук навывкидывал, что Мишку сразу прошибло от неудовольствия потом.

— Ай да Сенюшка, Сеня-соколок, — одобрительно покрикивали девки.

— Молодца, Сенька! — поощряли парни.

— Тебе, брат Мишуха, насупротив его не устоять.

— Куды-ы-ы... — подзадоривали.

— Кишка тонка...

Мишка Ухорез усиленно пыхтел, и в глазах его накопилось столько страсти, что все это почуяли и ждали «штуки». Пристукивая каблуками и сбросив картуз, он выплыл на середину, сложил на груди руки и, все так же дробно переступая, обошел круг, ни на кого не глядя и чему-то про себя улыбаясь.

Потом неожиданно перекинулся навзничь, упруго встал на руки и, пристукивая в такт согнутыми в воздухе ногами, протанцевал на руках русскую. Когда он, с налившимся кровью лицом, поднялся и, пошатываясь, пошел вон из круга, все заорали:

— Ура-а-а-а... Ха-ха!.. Победил... Мишка победил.

— Эх, Анки нету, — вздохнули девушки.

— Была бы Анка, она б еще потягалась с Мишкой-то, — сказали парни.

Варька очень жалела Анну. Стоит в стороне от хоровода, ждет: не покажется ли она каким чудом по дороге.

Но вместо Анны — видит: спускается в лог пьяный Обабок.

Обабок был в валенках, он бежал под гору, наклонившись вперед, и чем ниже наклонялся, тем проворней семенил заплетающимися ногами, наконец с размаху пал, бороздя по дороге носом и вздымая пыль.

Варька засмеялась и крикнула:

— Обабок идет!

А молодежь плясала и плясала. Спины у девок были мокрые, у парней рубахи прилипли к телу, хоть выжми.

— Батя с Иваном да Федот идут! — опять крикнула Варька.

Эти трое шли, обнявшись за шен, батя в середине, те по бокам. Остановятся, помашут руками, поцелуются и дальше.

Обабок подошел к хороводу, встал, весь серый, в пыли, с соломой в бороде, руки назад держит, смотрит вперед и ничего не видит, ничего не понимает, суется носом и не знает, что бы такое сделать, а сделать хочется. Рывкнул — ничего не вышло, сам же испугался, взад пятками побежал.

— Тпру-ка, ну-ка, Что за штука!.. — пробасил он и опять попятился.

Лицо у него очень серьезно и озабоченно. Рядом пять парней стояли, шестой женатик. Курили и разговаривали. Обабок сзади подкрался к женатику, подставил ногу, развернулся и треснул его по шее.

— С маху под рубаху!.. — и оба враз упали.

На Обабка все пятеро навалились и принялись тузить.

— Мир ти, Агафья, — сказал подошедший пастырь, снимая шляпу.

— Здорово, батя! — откликнулись все.

— Чего к плясам опоздал? Будешь?

— Нет, ребята, разве мне возможно?

— Ну, чего там... На вечерках ведь пляшешь?

— Ну так и быть. Винишка подадите, так и быть, тряхну.

Обабок, красноголовый и встрепанный, сдернул картузишко, решительно намереваясь подойти под благословенье. Но ноги несли влево, он норовил круто повернуть к священнику все туловище, а повернул лишь свое серьезное, в веснушках, лицо и, выдвывая ногами крендели, прытко побежал боком-боком к берегу, все держа под пазухой картузишко и не спуская с бати удивленно выпученных глаз; добежал до обрыва и кувыркнулся под откос. Все захохотали, а батюшка подошел к обрыву и, улыбаясь на барахтавшегося в песке пьяного мужика, преподал ему с высоты благословенье:

— Низринулся еси? Ну, вылазь... хо-хо...

XII

Этим праздничным вечером бродяги подошли к кедровской поскотине. Недалеке от нее, в самом лесу, на полянке стоял сруб. Он был доведен до половины и брошен, но и ему бродяги обрадовались: подымался холодный ветер.

Андрей-политик подумывал, не пойти ли ему в Кедровку, но, окинув еще раз брезгливым взглядом свои лохмотья и пощупав клочковатую отпущенную в тайге бороду, передумал. Завтра на заре он распроцается с бродягами и, минуя Кедровку, пойдет таежной тропой в Назимово. А вдару Анна в Кедровке? Нет, время еще раннее, Анна должна прожить у Бородулина до сенокосной поры. Андрей очень утомился большим переходом: лишь прикорнул в углу на груде щеп — сразу же крепко заснул.

— До завтра... — шептал он, засыпая.

Костер ярко горит, варево поспело быстро, бродяги поели с удовольствием.

После ужина Антон забрался в самый дальний угол, положил на сруб согнутую руку, на руку голову и замер. Очень грустно ему стало, так сразу навалилась беспричинная тоска, обвила сердце и гнетет.

Ванька Свистопаяс смешное рассказывает.

Тюля смеется по-особому: зажмурится сладко, сморщит нос, схватится за бока и, скривив толстогубый рот, безголово захыхкает.

— А черт ли на них смотреть, — говорит Ванька. — Жил я как-то на речке, на самом малиновом месте, бабы туда по малину ходили, а баб я пуще малины люблю. Баба по малину, я по бабу...

— Хх-хх-хх...

— Да. Лодчонка у меня была. У чалдона угнал. И вот, братец мой, какая история вышла. Сплю это я под елью, пообедал да прилег, и чую — то ли наяву, то ли во снах — женски перекликаются. Вот хорошо, думаю. Гляжу: на той стороне малинник шевелится. Ага! Тут! Скок в лодку, гребу тихонько к берегу, думаю: выскочу сразу на берег да как зареву, напугаю всех, а одну бабенку прихватчу-таки.

— Хх-хх-хх... — хрипел Тюля.

— Да. Вот ладно. - Ванька воодушевился, привстал на колени и, представляя все в лицах, зашептал, словно боясь вспугнуть воображаемых ягодниц: — Вот ладно. А берег-то круто-о-ой да высоченный, еле вылез. И только, батюшка ты мой, я к мали-и-ннику, ну-ка, думаю, возгаркну, как следует быть... кэ-эк медведица всплыла на дыбы да ко мне!.. Из меня и дух вон. Как я заблажу дурноматом да впереверт по откосу-то бух!!

— Хххх-хх, — покатывался Тюля.

— Да не угадал в лодку-то, ляп в воду, а глыбко, с ручками закрывают, да как начал по саженке отхватывать...

— Хх-хх... А медведица за тобой?

— За мн-о-о-ой, — врал Ванька.

— Хх-хх... Настигат?!

— Настига-а-ат! — кричал, размахивая руками, поднявшийся во весь рост Ванька и тоже заливался смехом.

— Ну что ж, слопала? — норовил подвести Тюля.

— Нет! — отрубил Ванька, и глаза его забегали. — Ты что, язва, не веришь?

— Как не верю?! — крикнул Тюля. — Я сам поврать горазд!

— Самоход, так твою так! — вскипел Ванька. — Лапотон! Удивительной губернии...

— Ну, будя... Брось... — мирно сказал Тюля.

Он лизнул мясистым красным языком «цигарку», покрутил ее грязными пальцами и почтительно подал Ваньке:

— На, не серчай!

Ванька убаготворенно улыбнулся.

Тюля достал измызганную колоду краденых карт и, растирая уставшие от хохота скулы, начал сдавать.

— Эй, святы черти! А ну-ка, играем.

Костер прогорал. Щепы мало тепла давали, сруб был без крыши, становилось холодно.

Натасков топлива, Антон ушел в лес, выбрался к берегу реки и сел на пень.

Тихо кругом было. В небе стояли лучистые звезды, а на речке закрутился туман.

Антон становится на колени и начинает молиться, произнося громко жалобные слова. Молитва не утешает, радостных слез нет. Вспоминает грехи свои, вспоминает Любочку, товарищей, брата, всех врагов, хочет всех обнять, простить, — но все не так выходит, не по-настоящему, не сердцем молится — устами, а сам о другом думает, говорит слова и не может понять какие: душа другим занята, другое видит, неясное и расплывчатое. Вот оно надвигается, как из-за гор туча, гнетет.

— Богородица, — шепчет Антон и стучает лбом в землю.

И долго лежит, прислушиваясь, не готова ль к слезам душа.

Политик спит, а те трое играют в карты. Ванька всех удалей орудует. Ему карта валом валит. Дед сердится, Тюля тоже. А Ванька всякий раз, как только дед опасливо клал на кон карту, широко замахнувшись и крикнув, бил своей.

Тюля играл вяло, путал масти, валета называл «клап», даму — «краля».

Ванька острил над ним:

— Эй ты, шестерки козыри!.. Сдавай.

Ванька целую кучу медяков выиграл. Тюля из своих лохмотьев все вытаскивал зашитые пятаки, гривенники и двугривенные и смотрел с тоской, как Ванька складывает медяки стопочкой, а серебро за щеку, в рот.

— Портки заложил, рубаху в гору! — крикнул весело Ванька, ставя карту.

— Бита! — с размаху хлестнул дед тузом.

— А у меня фаяля! — подпрыгнул Ванька, показав даму пик, и загреб все деньги.

В это время выросла над срубом чья-то голова в шапке и торчащий ствол ружья.

— Здорово, — сказала голова.

— Здорово, — ответил за всех дед. — Ты что, пастушок, что ли?

— Да...

— Сколько получаешь?

— Сколько получаю, столько и пропиваю...

— Х-хе... удалой ты парень, — пошутил дед. — Залазь к нам: гостем будешь...

Голова дрожащим голосом спросила:

— А вы, дяденьки, откедова?

— А тебе пошто? — осведомился Тюля.

— Да так, за всяко просто...

Дед набил ноздри табаком, чихнул и насмешливо сказал:

— А мы с Тихоновой горки, где пень на колоду брешет...

— Та-а-к, — протянула, что-то соображая, голова.

Антон подошел. Разговор начался за срубом.

— Мы, милый, ничего. Вот переночуем да завтра к вам придем. В бане бы помыться надо. Вша одолела.

— Та-а-ак... — еще раз протянула голова.

— Мы, миленький, люди тихие, мы...

Голоса удалялись. Наконец замолкли.

Антон проводил хромого Семку до поскотины и дорогой всячески старался расположить парня к товарищам.

Приперев покрепче ворота изгороди, Семка заковылял домой. Не доходя с версту до деревни, он уже слышал, что праздник в разгаре. Кольхались отзвуки песен, пилила гармошка, кто-то «караул» орал, взлаивали собаки.

Под кустом у дороги Семка услышал шепот:

— Миленочек ты мой, родименький ты мой...

Чмок да чмок.

«Это ничего», — думает Семка и хромает дальше, вздыхая и поторапливаясь.

А в деревне содом.

Обабок, связанный, давно взаперти сидит. Он Тимохе-звонарю глаз подшиб да в чьей-то избе рамы оглоблей высадил:

«Вот как у нас. С праздничком!»

В дальнем конце свалка начинается.

— Вас надо, окаянных, глушить! — грозно враз кричат Мишка Ухорез и Сенька Козырь, надвигаясь на Федота.

— Кого?

— Тебе, мироеду, только под ногу попади, — раздавишь!

— Ну, и проваливай!

— Дашь или не дашь?!

— Нету, вся...

— Говори — дашь, нет?! — взмахнул колом Козырь.

Федот ахнул, отскочил и со всех ног бросился в проулок.

Придурковатый Тимоха сидел пьяный на завалинке и прикладывал к подбитому глазу старинный сибирский пятак с соболями. Пришло ему желание часы отбить, встал, девять прозвонил, опять сел и затянул песню.

— Врешь! — говорит кто-то через дорогу. — Разве девять? Скоро петьи запоют!

Тимоха поднялся и еще добавил два удара.

— Два... шестой, — шамкает столетний, лежа на печи. — Я бы еще пососал... Эй, да-кошь... Винца-то... — бормочет он.

Кот подходит к делу и, задрав хвост трубой, мурлычет и трется об его щеку.

— Шесть! — кричит столетний; хотел крикнуть «брысь», да не вышло, сбрасывает кота на пол и добавляет:

— С богом, аминь...

Сенька Козырь с Мишкой задами, через огороды, к лодке крадутся. Огляделись — нет никого. Оттолкнулись от берега, сидят друг против друга, глаза горят, зубы стиснуты.

— Нож-то у тебя острый?

— Острый.

Как два волка, прошмыгнули они в поскотину, идут, пошатываясь, по росистой траве, высматривают пьяными глазами добычу.

— А ну как у других у кого — тоже белые?

— Но вот, толкуй...

Сенька в два прыжка оседлал белую корову и со всего маху всадил ей в горло нож.

— Дай-ка мне... Дай-ка...

— Вали стягом.

И долго они, гогоча от крови, носились возле опушки тайги, перехватывая мирно дремавших белых Федотовых коров.

— Попомнит, клещ окаянный, — вытирая о траву нож, прохрипел Сенька Козырь.

— Давай заодно и бычка пришьем.

— Ну его к ляду... Будет...

XIII

Под окном кто-то постучал:

— Эй, Пров Михалыч!

Матрена открыла окно:

— В Назимово уехал...

— Ах ты, батюшки, — сказал растерянно Семка хромой, а стоявшие возле него подвыпившие мужики враз заговорили:

— Ну, стало быть, десятского надо отыскивать, Обабка.

— Десятский пьяный...

— Ково? — вдруг не то спросил, не то крикнул появившийся откуда-то Обабок: одна нога в валенке, другая разута, рубаха без пояса, висит на мускулистом теле рваными лоскутами, правая рука вся в крови, лицо осатанелое.

— Ково? — вновь крикнул Обабок и, посовавшись носом, устойчиво укрепился на земле.

— Вот наряжай-ка мужиков: бузуев брать, за поскотинной сидят... Семка, сколько их? — заговорили мужики.

— Брать так брать... Все едино... Айда! — пробасил Обабок и, заложив руки за спину, направился прочь от мужиков.

— Чего: айда!.. Ты чередом наряжай, че-о-рт!.. Оболокись сам-то... замерзнешь... — шумели ему вслед.

— Айда! — орал раскатисто Обабок.

— Стой-ка ужо... Кому идти-то?..

— Айда!

— Ну его к ляду!.. — недовольно загалдели мужики.

А Обабок, выломав в изгороди кол, прытко зашагал валь по улице и на всю деревню загремел:

— Мне только бы жану найтить... Стеррва!! Меня заширать?! Меня?! Ха-ха! Убью!! Вот те Христос, убью!..

Мужики отрядили пятерых потрезвее, и те, предводимые Семкой, все с заряженными ружьями, двинулись к поскотине.

Стояла глухая, северная ночь.

Вторые петухи горланят, Матрена все не спит, дожидается Прова. Ей неможется: лежит на лавке, стонет. Видит Матрена: открывается сама собой заслонка, кто-то лезет из печки лохматый, толстый, человек не человек, чудо какое-то, и, сверкая ножом, говорит: «Мне бы только сердце у бабы вырезать...»

Матрена вскрикнуть хочет, но нет сил, мохнатый уж на ней, душит за горло: «Где-ка сердце-то, где-ка?..»

— Бузев привели!

Матрена ахнула, вскочила, крестом осенила себя и, отдышавшись, прикинула к окну. На лошади мужик едет и на всю деревню кричит:

— Бузев привели!..

На востоке утренняя заря занималась, песни на горе умолкли, а в кустах на речке просыпались робкие птичьих голоса.

У сборни тем временем стал собираться народ, обхватывая живым, все нарастающим кольцом пятерых только что приведенных из тайги людей.

Хмельные, бессонные лица праздничных гуляк были сосредоточенны, угрюмы.

Старики и молодухи, ядреные мужики и в плясах отбившая пятки молодежь, то переминаясь в задних рядах с ноги на ногу, то протискиваясь вперед, шумели и перешептывались, бросали бродягам колючие, обидные слова и хихикали, сочувственно жалели и сжимали, рыча, кулаки, готовы были сказать: «Ах вы несчастенькие!» — и готовы были кинуться на них и втоптать в землю.

И бродяги это чувствуют. Недаром такими принужденно-кроткими стали их лица.

Лишь старик Лехман не может побороть обуявшую его злобу: насыпясь, сидит на бревне и угрюмо на всех посматривает суровыми глазами.

Да еще Андрей-политик сам не свой. Воспаленные глаза его жадно кого-то в толпе ищут. Он устало дышит полуоткрытым ртом и, облизывая пересохшие губы, невнятно говорит:

— Я вам никто... Слышите?.. Я сам по себе...

Но его слов не понимают.

— Слышите? Где староста? Где сотский?..

— Брось, милый, — советует ему тихим голосом Антон, — ишь они пьяные какие... Брось...

Старый Устин, усердный господу, ближе всех к бродягам. Он ласково им говорит:

— Вы вот что, робенки... тово... Ведь мы не с сердец...

— Как же не с сердец, — злобно сказал Лехман. — Ты спроси-ка вот нашего товарища, — указал он на Антона. — За что мужик ему в ухо дал? Это не резон.

— А потому, что вы пакостники, — раздраженно сказала баба в красном.

— Пакостники? — повысила голос Лехман. — Чего мы у тебя, тетка, спакостили?.. Ну-ка, скажи!

— Да вы тово, — сказал, размахивая руками, Устин, — вот залазьте в копчег да и спите с богом, покамест у хресьян гулянка, а там выпустим. Кешка, отпирай чижовку-то...

И, обернувшись, посоветовал:

— А вы, бабы, тово... Принесли бы чо-нибудь пожрать мужикам-то... Молочка там али что...

— Ну, так чо, — ответила баба в красном и пошла.

— Кешка, отпирай копчег! — опять скомандовал Устин.

— Робятушки, залазь со Христом.

— Врешь, старик... Не имеешь права!.. — выкрикнул Андрей, погрозив Устину пальцем. — Я не бродяга... Понял?

Народ стал разбредаться.

Придурковатый звонарь Тимоха поглядел на алеющий восток, подумал, почесал бока и пошел к часоленке «ударить время».

Антон продолжал успокаивать Андрея:

— Ничего, Андреюшка... Завтра утречком... Пусть они продрыхнутя...

Устин с каморщиком Кешкой орудовали у чижовки.

— Вы, робенки, идите... Чего вам.

Кешка огарок из сборни принес. Тетка в красном молока две кринки и яиц с хлебом притащила.

— Де-е-ло, — одобрил Устин, заложив руки назад.

Тимоха из усердия три раза в колокол ударил.

Устин взглянул на гору, где часоленка, и опять сказал:

— Де-е-ло...

Бродяги, посоветовавшись, наконец зашли в чижовку.

Ванька Свистопляс уже кринку молока ополовинил, Андрей-политик нейдет:

— Вы меня отпустите... Я политический...

— Политический?! Ха-ха... Ладно... Все такие политики бывают... Ты нам дорогой все уши просмонил, шкелет... Ты пошто наутек было хотел? А?! — враз сердито заговорила стоявшая с ружьями стража.

— Я, господа, вам серьезно говорю... Пустите...

— Тут господов нет, — сказали строго мужики, — а вот коли велят, так и тово...

— Мне Анну... — взволнованно упрашивал Андрей, — девушку Анну...

— У нас Аннов хошь отбавляй, — острили мужики.

Старому Устину спать хотелось, да и всем наскучило.

— Кешка, бери его!.. Робята, подсобляй!..

Андрея потащили.

— Стой!..

— Кешка, налегай!..

— Иди, Андрей, черт с ними, — октависто звал Лехман.

— Нет! — рвался из дюжих рук Андрей. — Черти этаки, олухи!.. Аннину мать позовите... отца... старосту...

— Кешка, запирай!!

— Отвечать, дубье, будете!.. — ломился Андрей в захлопнувшуюся за ним дверь.

— Крепко запер? — спросил Устин.

— Так что комар носу не подточит, — весело ответил сторож Кешка.

— Ну, робенки, расходись! — скомандовал Устин, любивший приказывать толпе, и помахал рукой во все стороны.

XIV

Матрена лежала на кровати и думала об Анне, о Прове, не «натакался ли» в тайге на зверя. Надо бы заснуть, но сон прошел, в комнате бело. Встала, занавесила окна, опять легла. Слышит Матрена: по воде кто-то хлопает. Коровы, что ль, через брод идут? Не время бы.

Думает о том о сем, но голова устала, нет ясных мыслей, путаются и текут куда-то, как по камням река...

Чует: храп лошадиный раздается и человеческий голос. Думает — сон, опять тот сон: лохматое чудище из печи вылезет.

Стучат.

— Эй, Матрена Ларионовна!

Вскочила, оправила рубаху, густые волосы подобрала, сунулась к окну.

— Ах! — вздрогнула, похолодела: «Знать, Анка кончилась...»

— Отопри-ка скорей, впусти!

Насилу дверь нашла. Без памяти бежит к воротам.

Вошел, коня за собой ведет.

— Занемог я дорогой... Теперь полегчало малость...

— Иван Степаныч!.. А Пров, Анка?

Бородулин провел коня в стойку.

— Сенца-то можно взять?

— Да дочь-то какова?! — кричит, задыхаясь, Матрена.

— У меня деньги украли, вот я и прикатил... — не слушая ее, говорит вяло Бородулин.

— А?!

— Деньги, мол, деньги украли...

У Матрены ноги подкосились, села на приступки.

«Вот он, лохматый-то... Вот когда сердце-то вырезать начнет».

Петух схлопал крыльями, запел. Тыща петухов запело. Из глаз свет выкатился.

— Ну, пойдем-ка в избу. Ты чего это? — наклоняется к ней Бородулин. — Анка тебе кланяется низко... Прова Михалыча встретил... Все слава богу, ничего...

В глазах Матрены сразу вырос день. Петух снова пропел, тыща — промолчало.

— Кто украл-то, деньги-то? — с усилием, едва принудила язык.

— Не знаю.

— Ох, и напугал же ты меня...

Идет впереди, высокая и статная, скрипят приступки под сильными ногами.

«Вся в мать», — думает Бородулин про Анну и подымается по сенцам.

— Дочка-то какова?

— Все слава тебе господи.

И купец, волнуясь и краснея, долго говорил об Анне, о себе, о новой жизни, сулил всего, мудрил и перемудривал, клялся, просил прощенья.

«Не сон ли?» — думает Матрена.

— А ты, бог с тобой, не выпивши?

В глазах ее застыл радостный испуг и настороженность, дыхание стало коротким и прерывистым, а кожа на руках и шее вдруг покрылась, как от холода, пупырышками.

— Эх, Матрена Ларионовна... Кабы мог я, — вот схватил бы булатный нож, вырезал бы свое ретивое и показал бы: смотри!.. Жить не могу без Анки... Чуешь?

Купец ходил, пошатываясь и сбиваясь в разговоре, лицо то заливалось краской, то бледнело.

— Матренушка, я прилягу... Продрог в тайге, свалился без памяти и не помню, когда Пров уехал. Вскочил от холода, заколел весь, смотрю: вешки на дороге и веточка привязана, вдоль пути смотрит. Сел, поехал, куда веточка указала... Да... Неможется... Прилягу на кровать... Мне поспать бы...

— А ты иди в амбар, я тебе две шубы вытащу. А то... — и она замялась... — Вишь, одна я... Кабы Пров был... У нас живо разговоры поведут... Иди, батюшка.

И когда ложился Бородулин, и когда лежал под шубой, все расспрашивал: нет ли кого из Назимова здесь? Нету, а вот бродяг поймали каких-то, кто их знает. Сон ей рассказал: «Найдешь деньги — быть», а что «быть» — неизвестно, — не указание ли это на Анку от ангела-хранителя, спросить некого, вот разве священника? Хе, он и молебен не служил, Устин орудовал, а поп с девками в горелки на лугу играл, чуть с парнями не подрался из-за Таньки, архерею жаловаться надо, что ж это за пастырь. Тьфу!

— Ну, спи, Иван Степаныч... Дак ничего девка-то, говоришь, Анка-то? Экая жаба Овдоха-то. Как наврала, холера...

— Стерва твоя Овдоха-то, и больше никаких. Паскуда.

Матрена захлопнула амбар, вошла в избу, села под окном и пригорюнилась. Хоть красно купец размусоливал, а сердце ноет, да и на!

XV

С того часу, как случился грех, Даша не рада жизни: точно кто приволок ее к пропасти и толкает, и нет сил сопротивляться. Вином, что ли, утолить боль?

Вечером на кривых ногах вошел в кухню полюбовник Феденька. Приказчик Илюха рад, — Бородулин долго в Кедровке прогуляет, — слямзил три бутылки хозяйского коньяку, на всех хватит.

Вчетвером в кухне бражничать стали, но Федосья — баба умная, вскоре ушла к Анне: хозяин велел глаз держать.

Илюхе вино сразу же бросилось в голову: он то хохотал, то слюняво плакал, лез целоваться к Феденьке и костил с плеча Бородулина, попа, пристава, наконец, охмелев окончательно, кубарем слетел под стол.

Черномазый Феденька чавкает железными челюстями говядину, глаза кошачьи прищурил и косится сладострастно на розовые Дашины губы.

Когда Илюха захрапел и забредил, Феденька поднялся, высунув свою стриженую скуластую голову в соседнюю половину, как вор, пошарил там глазами, прислушался и плотно затворил дверь.

— Ну? — подошел он к Даше. Голос ласковый, лицо ласковое, только недоброе в глазах. — Ну?

Даша вся сжалась, точно перед ней разъяренный медведь на дыбы поднялся.

— Ничего я не знаю... Головушка моя... — прошептали ее губы, и она не смела взглянуть на поселенца.

— Да не кобенься, Дашенька, — сверкнув на дверь белками, прошипел он, словно к сердцу змея прильнула: гадко так сделалось, страшно.

— Ежели велишь, что ж... куда денешься... — тихо сказала Дарья и, как на горячие уголья, выплеснула в рот вино, что-то закрубило внутри, Даша охнула и хотела встать.

— Куда? — И, все так же давя Дашу взглядом каторжника, Феденька грузно придавил ее плечо рукой.

— Ну, ладно, — как во сне сказала Даша, осторожно освобождаясь от его грязной, с желтыми ногтями, руки. — Ну, положим, овдовеет он, Бородулин-то... Ну, подкачусь к нему, как ящерка... хозяйкой буду, женой...

— Дура, Дашенька, — буркнул поселенец и опасливо заглянул под стол на храпевшего Илюху. — Хе, овдовеет... жди... Вы с купцом отравить ее должны, зобастую-то... только вдвоем с Бородулиным... двоо-о-ем, Дашенька. Поняла? Чтоб удавкой его ущемить. Поняла? Тогда командуй, вей из него веревки.

Глаза его блеснули.

— А ежели... держись, Дашенька... финтить будешь — выдам с головой. Разлюбил — убью!

Говорил он страшные слова с улыбкой, ласково, словно занятную рассказывал сказку.

У Дарьи шире ноздри раздуваются.

— А Анка?

— Анка полоумная, с ней венца не дадут, — шепчет Феденька.

— А солдат?

— Солдата твоего к черту. Я их с Бородулиным сразу... из-за куста, в тайге... — стальным, вдруг изменившимся голосом сказал Феденька и впился взглядом в испугавшиеся Дашины глаза. — На охоту уманю и кончу.

Даша, словно в страшном сне, вскрикнула и отшатнулась.

— Ты что?

— Дьявол ты... мучитель.

— Дашка!! — топнул Феденька.

Та вздрогнула и долгим насмешливым взглядом посмотрела на Феденьку. Потом вдруг с какой-то болью захохотала.

— Эхма! — оборвала она и потянулась к вину.

Зубы стучали о стакан, вино лилось по руке, по голубой, с красными пуговками, кофте, и уж хныкать начала, вот-вот заплачет, а хохот все еще волной в груди.

— А хочешь, Феденька... — погрозила игриво пальцем. — Хочешь, злодей, к уряднику? А? — И, жарко задышав, опьяневшая Даша придвинулась грудью к поселенцу.

Феденька улыбнулся и достал из-за голенища отточенный самодельный кинжал.

— Куда?! — сдвинув брови, железной рукой рванул он отпрянувшую Дашу.

Вся побелев, скрестила на груди руки.

— Ты думаешь, боюсь тебя, Феденька? Боюсь, а? — Она, гордо подняв голову, стояла, а поселенец чуть отклонился от нее, чтоб ловчее было взмахнуть кинжалом.

«А ведь убьет», — мелькнуло в голове у Даши. Но ненависть к любовнику и хмельной угар прогнали страх.

Улыбающиеся глаза Феденьки налились кровью, он вдруг взмахнул кинжалом. Даша ахнула, схватилась за стол. Поселенец сильным броском пустил кинжал через всю кухню в дверь. Цокнув, на вершок врезался кинжал в дерево.

— Вот как я его... в тайге... — спокойным голосом сказал поселенец и шагнул к двери. — А по тебе изнываю... Жару в тебе, черт, много, перцу... Шалишь, Дашенька, не вырвешься... — Он подсел к ней и, как бы играя, тряс ее за плечи. — А ежели тут у тебя много... — постучал он пальцем по ее высокому лбу, — бо-огато заживем.

— Погубитель ты... Ну, уж бери, пользуйся...

Она прижалась к нему и закрыла хмельные глаза. Феденька загоготал. Она вся дрожала; на белом лбу выступил пот.

Заскрипели ворота, копыта застучали по настилу.

— Кого-то черт несет, — буркнул поселенец. — Пойдем на речку.

На крыльце послышались грузные шаги. Кто-то шарил скобку.

— Здорово те живете, — густо сказал, входя, большой, чуть согнувшийся Пров и стал креститься на передний угол.

Анна распахнула дверь и, радостная, остановилась на пороге.

— Пришел?

— Здорово, Анна!

— Батюшка, батюшка! — кинулась к нему на шею. — Что, пришел Андрюша-то? А мамынька-то где?

Пров взглянул на дочь и сразу все понял. Он боднул головой, в глазах запрыгал огонек лампы, все кругом помутнело, и заколыхался пол.

— Вот поедем: матушка горькие слезы по тебе проливает. Что ж ты, доченька... хворашешь?

— Нет, хорошо. Слава богу, хорошо... — а сама стиснула виски и зажмурилась, как от яркого света.

Пров стоял, положив руки на плечи Анны, и уж не мог разглядеть ее лицо.

— Испить ба... — Он мешком опустился на лавку и жадно, не отрываясь, выпил ковш воды.

Дарья и поселенец ушли. Феня увела Прова с Анной на чистую половину, накормила их, и все стали укладываться спать.

Анна, засыпая, говорила, словно жалуясь:

— Тятенька... Ну, как же, тятенька?.. Плохо...

— Чего плохо-то?

— А по книжке хорошо. Все хорошо будет...

— Ну, а как Иван-то Степаныч, как он с тобой в обхожденье-то?

— А не знаю, сбилась. Не понять.

— Ну, а сколько ты зажила-то? Расчет-то покончил он с тобой али как?

После?

— Тятенька, после. Вот выплосью — завтра другая...

Тихо стало. Только из кухни долетал пьяный Илюхин храп.

Прову не спалось. Он поглядел на образ. Огонек лампадки колыбался и озарял лик Христа. Пров вздохнул. Его душа требовала молитвы. Нужно сейчас встать и все открыть господу, совет благой принять, вымолить покой сердцу. Он подошел к образу, опустился на колени. Огонек поклонился ему и затрепыхал. Лицо Прова скривилось, сморщилось. И когда он сделал земной поклон, уже не мог выдержать, всхлипывать стал и тихо, чтобы не подслушали, по-женски голосить.

— Рабу твою Анн... звоссияй... боже наш.

И не знает Пров, какими словами можно разжалобить бога, от этого еще больше ноет его душа, и печалится, и тоскует.

— Звоссияй... совсем... гля ради старости... гля утешенья.

После вторых петухов пожаловала Даша. Она легла рядом с Фенюшкой и крепко ее обняла.

— Стерва ты, Дашка, — сказала Фенюшка, — попадетесь вы с хахалем-то.

— Мо-лчи-и, — тянула, засыпая, Даша, — ехать хочу... в Кедровку. Как его, хозяин-то... одного... без досмотру...

— Катя! Все одно шею-то свернешь. Таковская.

— Эх, Феня, Феня, — тяжело вздохнула Дарья. — Ничего ты не знаешь.

Ничего ты, Феня, не понимаешь.

— Брось, брось ты его, мазурика, посельгу несчастную.

— Погоди, Феня... Скажу слово... Все тебе скажу...

— Сучка ты, я вижу.

— Ну, не обида ли?! — Даша, чтобы не закричать на весь дом, вцепилась зубами в подушку, застонала.

XVI

Солнце стояло высоко. Матрена пошла к завозне — хрипит купец. На речку сбегала — не едет ли хозяин? Нет. Пошла вдоль улицы.

У сборни мужики. Лица мятые, глаза красные, заплавшие. Обабок в кумачной рубахе, в новых продегтяренных чирках, с фонарем под глазом, но при бляхе.

— Надо обыскать... — говорит он, поправляя начищенную кирпичом бляху.

— А по-моему, выпустить, да и все... Народ, кажись, смиренный, — несмело заводит пьяница Яшка с козлиной бородой.

— Сми-и-ренный?! — наскакивают на него. — А помнишь?!

У Яшки в груди хрипит, он кашляет, словно собака костью подавилась, и, уперев руки в колени отекавших ног, жалеет:

— Мне што ж, мне все равно... Хошь век держи их... Хошь на цепь посади, а только что... Полегче надо бы...

Мимо них по улице священник верхом на Федотовом коне едет. За ним кривая Овдоха на кобыленке тащится.

— Здорово, батя! К домам?..

— Восвояси, отцы, восвояси... — хрипит батя, щуря на них узкие свои глаза.

— А молебен-то?

— Да чего, отцы... Простыл в речке... Еле жив... Не знаю, как и доплетусь.

— Грива! — злорадно взвизгивает бабым голосом угреватый парень и, быстро присев, прячется за мужиков.

Батя, понукнув коня, надбавляет ходу.

— Вот это поп... — хохочут мужики, — этот поповать может подходитьше-е-е... Ха!

Подошла Матрена.

— Ну, как?! — спрашивают мужики, поздоровавшись. — Хозяин-то вернулся ли? Анка-то какова, краса-то наша?

— Да, вишь, нет еще Прова-то... Гость у меня, Бородулин.

— Бороду-улин? Ребята, айда с проздравкой! — радостно вскрикнул черный, в плисовых штанах, дядя, по прозвищу Цыган.

— Ну, дак чо, мо-о-жно, — откликнулись, а подыматься лень — сидят.

— Куда... Он спит, разнемогся: лихоманка, чо ли... — сказала Матрена и пошла.

— А-ах! — крикнул Цыган и, состроив плутоватую рожу, поскреб под картузом висок.

— Надо бы выпить-то, — сказал он, сплевывая.

— Ну дак чо? И выпей. Купи у Федота.

— Ха-ха! — хохочет над собою черный, вывернув карманы плисовых штанов. — Купи! Купило-то притупило. Вишь?

И у всех так, год плохой был, денег нет, а выпить хочется. В долг придется взять, без этого не обойтись: можно теленка заколоть да — Федоту, свинью заколоть да — Федоту, самовар стащить, машину швейную ста-

щить — берет. Только баба ругаться станет, — пусть, бабу по уху. Дочка? Дочку за косу. Двустволку можно в заклад пустить. А к Бородулину с проздравкой надо обязательно, подаст хоть по стакану.

Обабок вдруг басом рявкает:

— Робята!..

— Чтоб те разорвало! — вздрагивают мечтающие мужики, смешливо отодвигаясь от Обабка.

— А може, как ежели пошарить, да у них окажется рублей пяток, а? Как вы понимаете?..

— А и вправду, — согласились мужики.

— Айда! — скомандовал Обабок, и все, не торопясь, пошли к чижовке.

Каморщик Кешка замочком щелк:

— Робята, вылазь, начальство требует, десятский с сотским.

— В чем дело? — октависто рассыпался Лехман и появился в двери.

— А так что желаем обыск произвести, — подошел к нему Обабок, — револьвертов нет ли али бы чего... и все такое...

— Я те произведу! — сказал грозно Лехман.

Мужики опешили.

А тот, высовываясь из двери и держась рукой за косяк, говорил:

— Отпустите нас в тайгу. Мы шли стороной, вас не трогали, никакого худа вам не сделали. За что нас взяли?

— А очень просто!.. — кричал, не зная, что сказать, Обабок.

Лехман вышел, огромный и сутулый, перекрестился на часовню и направился к тайге.

— Стой, куда?! — враз вскричали мужики.

— За нуждой, — ответил тот, не оборачиваясь.

— Кешка, Сенька, бери топор, айда за ним! — командовал Обабок.

— У меня нож что бритва, — на бегу отвечает Сенька Козырь, за ним Мишка с колом, нагоняют деда.

К сборне, как и вчера, опять народ стал подходить.

Солнце к полудню не подобралось еще, а некоторые уже успели клюнуть, другие хмельны вчерашним. На душе тоскливо, нехватка в празднике, надо драку всей деревней завести.

Больше всех хотелось этого Обабку: забурлило в душе, как в бочонке брага, вот идет, идет — подступает к сердцу, нашептывает в уши, мутит башку.

— Эй, вы, шпана! — рычит он. — Выходи на обыск... Ты! Козья смерть!

Антон знает, что ему кричат, и ужасается: не было догадки перепрятать деньги.

— Ванюшка, голубчик... — шепчет посиневшими губами, — иди-ка ты передом-то... Ох ты, господи...

А Обабок уж в чижовке, за ним народ, заслонили дверь, стало там темно, внутрь взошли, чижовка большая.

— Робята, шарь, — распоряжается Обабок.

Принялись обыскивать Свистополяса: шапку вывернули, штаны прощу-

пали, из рваных чирков всю солому вытрясли, выпал «клап виней», мешок перерыли, нашли рубль двадцать, отобрали.

Ванька ухмыляется, — слава богу, сошло благополучно, — и сыплет мужикам прибасенки. Те посмеиваются, с любопытством наблюдая, как два парня и Обабок выбрасывают из его мешка всякую рвань.

— Эх ты, и скало-мученик, — весело подмигнул он Обабку. — Что, все? Боле не нашли?

— Все! — взмахнул Обабок кулаком.

— Стой, чертило этакий, — увернулся Ванька. — А это что? Все? — и в руке его блеснул полтинник. — Видишь? Ну-ка, понюхай, чем пахнет! — вскочив на ноги, сует в самый нос попятившегося Обабка. — Гляди, ребя: фють! — подбросил полтинник вверх, и тот бесследно исчез.

— Ха! — хакнула толпа.

— А теперича смотри! — вскричал Ванька, незаметно покосившись на копошившегося в темном углу Антона. — Раз — первой, два — другой, а серебруха-то у рыжего начальника под бородой! — он дернул за бороду Обабка и достал полтину.

Все захохотали, а Обабок, широко осклабясь и почесывая за ухом, милостиво приказал:

— Ослобонить!..

— Вот спасибо, ваше благородие, — хихикнул в кулак образованный Ванька.

Обабок гордо оглядел подбитым глазом толпу и поправил на груди бляху.

— Шарь другого!

Стали обыскивать Тюлю.

Народ стоял в чижовке, очень довольный тем, что видит; ни у кого не было в сердце злобы, все смотрели на Ванькин фокус с любопытством и чувствовали себя празднично, как у ярмарочного веселого балагана. Задние, скаля зубы, напирали на передних, а те, пыхтя, кричали: «Сдай назад, чего прешь!» — и ретиво осаживали. Девки и бабы, затесавшиеся в середку, вызывающе повизгивали.

Тимохе-звонарю больше всех фокус понравился. Чтоб покороче познакомиться с Ванькой Свистоплясом, сел возле него на корточки, хлопнул дружески по плечу и осклабился:

— Дай-ка, паря, покурить.

— Курила бы у тебя вошь в голове! — шуточно ответил Ванька, незаметно подталкивая к Антону свой, уже подвергшийся обыску, мешок.

— Говорю, язви его! — смеялись мужики.

— Говорю — съел у твоей бабы творог!

— Ха-ха-ха!.. вот и возьми его за полтора с полтиной!..

Антон понял Ванькину подсобу: трясущимися руками всунул что-то в мешок и, крадучись, толкнул обратно.

— Ах, сво-о-о-олочь! — вдруг покрыл все голоса Обабок.

Толпа замолкла и метнулась в тот угол.

— Это у тебя откуда лисица, а?

— Я сам убил, вишь — ружье у меня, — робко ответил сидевший на полу Тюля.

— Сам?! И это сам?! — Обабок выкинул новые вожжи и со всей силы двинул сапогом Тюлю в бок.

Тот взвыл и, обомлев, пополз к стене.

Толпа замерла. Похолодел Антон.

— Выть?! Ты еще выть, жаба?! — орал Обабок, подскакивая к Тюле.

— Ой, дяденька... Не бей! — в ужасе закрылся тот рукой.

Обабок, прикрывнув, двинул Тюлю кулаком.

— Негодай!.. — вдруг вскочил в своем углу Андрей и шагнул к Обабку. — Как ты смеешь, негодай?! Как ты смеешь?! — Он был страшен и диким выражением лица и вмиг взвившимся резким голосом.

— А-а-а, — протянул, подбоченившись и чуть попятившись, Обабок. — Ишь ты! А ежели я тебе в ухо порсну?! — пальцы правой его руки заиграли. — А ежели я тебя... — и он, стиснув зубы, сжал кулак.

— Ты кто? Ты десятский?! — еще смелее наступая на Обабка, кричал Андрей. — Деятский?!

— Пшел, погань!.. Не замай!!!

Ванька Свистопляс, врезавшись между ними, испуганно молил:

— Андрей... Андрей... Уймись, пожалуста... — и, растопырив руки, легонько отодвигал политика к стене. — Плюнь, не вяжись!

Обабок кашлянул, поутюжил бороду и повернулся к Андрею задом.

— Шарь этого... холеру-то... — кивнул он головой на притихшего Антона.

Андрей-политик мешком сидел на полу, растерянно хватался за голову, споря и ругаясь с Ванькой.

— А я чо-то зна-а-ю... — протянула, склонив набок голову, белобрысенькая девочка Акулька.

— Старик пришел, пустите старика, — послышалось с улицы.

— А я чо-то зна-а-ю, дяденька Обабок, — опять пропицала Акулька, — он эвот куда схоронил... Вот подойнуть. Грамотку какую-то...

— Ково? — переспросил Обабок и вместе с Акулькой нагнулся к мешку Ваньки Свистопляса..

Антон открыл рот и впился глазами в руки Обабка, торопливо развязывавшие мешок.

— Ведь искал... брось!.. — несмело сказал Ванька.

— Удди!

В чижовке было жарко и душно, пахло потом, винным перегаром, луком и махоркой.

— А! Вот оно что! Ребята, деньги!.. — Обабок тряс над толпой пачкой бумажек.

— Деньги!! Ура... Деньги!

— А они твои? — раздался с улицы голос Лехмана. — Пусти-ка меня... Ну, сторонись, что ль!!

Передние сразу посунулись.

— Милый... — на коленях просил Обабка Антон. — Ради Христа...

— Расступись!! — гремел Лехман... — Это что, грабить?!

— Ради Христа... Ради господа...

Лехман схватил Обабка за горло и грохнул его на пол. Все растерялись. Задние повыскакали на улицу. Ванька в суматохе быстро вырвал деньги из рук Обабка, но Цыган ударил Ваньку по затылку, выхватил у него пачку и, подняв руку вверх, сильным плечом проложил себе дорогу на улицу.

— Эво они!.. Вяжи, ребята, бузев... Выходи на улку... Эво они!..

Андрея-политика охватила дрожь.

Лехман, прислонившись спиной к стене, тяжело пыхтел. В его руке сверкал клинок ножа.

— Изувечу! Убью!.. — хриплым, уставшим в схватке голосом рокотал он. — Мне каторга не страшна... Только тронь хошь одного, всем вечную память загну!!

— Мы вас, варнаков, нешто шевелили?! — кричал Обабок. — Ты мне, старый черт, полбороды выдрал!..

— Полезешь — башку оторву да в бельма брошу!

— Милые мои, — хныкал Антон, — я вам в ножки поклонюсь.

— Отдай, чалдон, деньги! — сказал грозно Лехман. — Добром отдай!..

— Обабок, выходи! — кричали с улицы.

— Кешка, запирай! — скомандовал Обабок, и все, пятясь к двери и со страхом следя за сверкающим ножом деда, высыпали на улицу.

— Еще мы тебя спросим, ворина, где деньги взял? — пригрозил, отдуваясь, Обабок.

— Господом прошу: отдай... В Россию, к своим иду, помирать иду... В земельку свою лечь... — стонал Антон и, поднявшись с полу, со скрещенными на груди руками, несмело подходил к стоявшему за порогом на улице Обабку. — Прошу... умоляю... — Глаза Антона были полны слез, и тряслась хохолком борода. — Десять лет копил. Ребят обучал по деревням.

— Кешка, залаживай!

Когда захлопнулась дверь, Антон стал что есть силы бить кулаками и коленками в запертую дверь.

— Отдай!! Отдай!! — вопил он иступленно. — Деньги отдай!.. Мои кровные отдай!..

Голоса, шума и пересмеиваясь, удалялись.

— Так твою так... вот это — встретили! — вздыхал Ванька, щупая затылок.

— Ах, обить твою медь, — подхватил и Тюля.

Лицо Антона вдруг помертвело.

— Ребятушки... Смерть... — Антон с размаху сел, словно ему перешлиби ноги, свесил на грудь голову и распластался на полу.

— Воды давай! Тащи к окошку! — суетился Лехман.

Андрей-политик, оставив в решетчатое окно голову, пронзительно кричал:

— Эй, эй... Отопри!.. У нас человек помирает!..

Но кругом было тихо. Лишь вдали наигрывала гармошка и выводили песню два мужских голоса: на лугу у речки собиралась молодежь.

XVII

Дедушка Устин, сгорбившись, петухом насканивал на мужиков, сидевших на завалинке:

— Ограбили — и квиты?! Ах вы, непутевые!

— Иди-ка, дедка, иди! Вот тебе на церкву две красных... и проваливай!.. — сказал Обабок.

Он вытащил из кармана горсть денег и отсчитал трешками, выбирая самые старенькие, двадцать один рубль.

— А достальные возворотите, грех... По правде надо.

— Ну, ладно, возворотим... Проходи!

Устин строго посмотрел на мужиков и пошел к часовне, устало переставляя согнувшиеся в коленях, одеревеневшие свои старые ноги.

А мужики разделили по пятерке на дом, остальные решили в пропой пустить: гуляй вовсю, на неделю хватит.

Девчонка Акулька тем временем прибежала к избе старосты Прова и, запыхавшись, крикнула:

— Тетьнька Матрена, а у бродяг-то деньги...

— Врё... Много?

— У-у-у, папуша... Вот подохнуть... Мужики за вином побегли.

— Врё?..

— Вот подохнуть...

И припустилась рысью сказать мамке, чтоб пятерку у тятки отняла: прощует.

Бородулин чайничал у Матрены. Не дослушав Акулькиной речи, вскочил, табуретку опрокинул, сорвал с гвоздя картуз, — да на улицу:

— Это мои, обязательно мои...

А в ушах его шум гулял, болезнь из головы выходила, и в этом шуме грезилось: «Деньги найдешь, — быть»...

И, не спрашивая встречных, — сами ноги несли, — спешил к той заветной, пьяной завалине, где ходила уже чарка зелена вина.

— Братцы, у меня деньги пропали!

Точно бичом хватил: чарка остановилась, Обабок сразу присел на луговину, все затихли и, разинув рты, смотрели на Бородулина.

— Какие, Иван Степаныч, деньги, когда? — притворчиво спросил Цыган.

Бородулин все подробно рассказал: как с топором бежал по улице за жуликом, как в волость ездил, и про видение сонное в тайге: денег не жаль ему, лишь бы вора изобличить, только бы найти разгадку сну.

Мужики смотрят на него, дивятся: занкается Бородулин, руками машет, не в себе.

— Вы у бродяг, братцы, деньги-то отобрали?.. Обязательно мои...

И опять:

— Кешка, отворяй!

— Робенки, выходи!

Лехман высунул из двери голову и кивнул своим:

— Кажется, старшина, товарищи, пришел. Ну-ка...

Один за другим вышли четверо. Ограбленный Антон оправился и весь вдруг наполнился надеждой: глаза сразу Бородулина разыскали, улынулись ему и запросили пощады и милости.

— Который? — всех четверых взял взглядом Бородулин.

— Вот, — сказал Обабок, указав ногой на Антона.

Тот поклонился низко Бородулину и заговорил:

— Мои, господин старшина, у меня отобрали... кровные мои.

— Не он, — перебил Бородулин, — этого наздогнал бы.

— Отпустите нас, сделайте милость, мы своей дорогой шли... — загудел и Лехман.

Андрей из чижевки вышел.

Что-то ударило купца по сердцу, кто-то в уши крикнул: он!

— Это кто?!

Лехман, оглянувшись, куда показывал Бородулин, сказал:

— Это Андрей, политик тут один, недавно в тайге к нам пристал.

Заптался Бородулин, зашуриса: так ярко вспыхнул в глазах огонь, все сказавший, на мгновение туманом все покрылось, — и вдарут:

— Он!!

— Бородулин, Иван Степаныч! — радостный голос раздался, и Андрей шагнул к Бородулину. — Иван Степаныч!

— Он! Ребята, бей!!

Бородулин крикнул, привскочив: трах! — мимо, увернулся; трах! — кто-то на руке повис.

— Бей!.. Кто это? Нож, нож, нож, лови, держи, режь!

А в гору во весь дух летит он, враг, он, окаянный, живой оборотень, он!

— Держи-и-и!!

А сзади мужики с кольями, с ножами, с кулаками:

— Держи! Держи!!

Трошинка в тайгу стегнула. Андрея не видать, прытко бежит, смерть по пятам несется.

— Напересек, напересек ему!!

— Держи-и-и!!

Сучья трещат, гам, ругань: ломится тайгой деревня, осатанели мужики. Бородулин впереди, легче пуху, себя не чувствует.

— Обутки сбросил, стервец... За мной!..

— Айда!!

Трошинка на луговой пригорок взметнулась, хорошо видать: нет врага, скрылся...

— Ребята! Сюда!.. Эн шапка!..

И слышит притаившийся в чаще Андрей, как, тяжело пыхтя, бегут мимо

него, незримого, незримые люди: обманул их, бросил шапку вперед по тропинке, а сам в чашу, замер.

Кончилась лихая вереница, три мальчонка в хвосте бежали.

Андрей, пригибаясь к земле, бросился наискосок к речке и, еле переpravившись вброд, пал в кусты, потеряв сознание.

А у чижевки оставшиеся мужики вихрем налетели на бродяг:

— Бей! Работай! — сшибли их с ног, и началась расправа.

Все в клубок смешалось. Ревом и стонами задрожал воздух; лаяли собаки, визжали и плакали женщины, надрывались, яро хрипя, хмельные мужики. Бродяг били кулаками, били палками, топтали огромными подкованными сапожницами, где-то кирпич нашли — били кирпичом.

Вдруг:

— Стой! Что вы, окаянные!.. Стой!

Лысый, с грозным огнем в глазах, Устин совалясь возле кучи извивавшихся тел и взмахивал руками:

— Стой! Остановись!..

Не сразу очнулись: руки ходу просят, осатанелые глаза кровью налились, на кулаках вбросили бродяг в чижевку, с руганью захлопнули дверь и, надсадисто дыша, буйно повалили в тайгу, на подмогу погоне за Андреем.

А старый Устин, в большущих своих сапогах, все так же подгибая ноги, торопливо вслед мужикам кинулся и не переставая звал:

— Веротись, лиходеи!.. Прокляну!.. Стой!!

В свалке Лехман кудрявого парня ножом пырнул. Парень лежал у чижевки вниз лицом и стонал, а на него лили ключевую воду. Плакала над ним в голос мать, ахали и ругались оставшиеся возле мужики, а пьяный отец, по прозвищу Крысан, лез драться к ключарю Кешке и диким голосом ревел на всю деревню, взмахивая огромным топором:

— Отопри, тебе говорят!.. Всех один кончу... Всех!!

Была полдень.

XVIII

В это время тайгой ехали трое: Анна, Пров, Даша... Эта насильно увязалась, упростила Прова Михалыча: праздник, погулять охота.

Отец с дочерью впереди, Даша далеко отстала: конь урочит, а Даша отвыкла от седла, боится.

У Прова душа играет, он глядит в спину дочери, на статную, крепкую, с обнаженными белыми икрами, фигуру, радуется: дочь говорит правильно, про все выведывает, все знать хочет, болезни не видать.

Дарья, как въехала в тайгу, вздохнула отрадно полной грудью.

Она давно не бывала в тайге, забыла ее ласковый говор, смолистый запах ее. А когда-то, лет пять тому, в девичью чистую, золотую пору... Эх, матушка-тайга!..

Чувствует Даша: творится что-то в душе, какие-то мысли, какие-то слова на языке вертятся... сердцу тяжело.

Тихо едет Даша, вся в себя ушла, осматривает пугливо свою солдаткину жизнь.

Как познакомилась с купцом да связалась с Феденькой, жизнь пьяной сделалась, соромной: то с Бородулиным гуляет, то с уголовным, надвое себя рубит. И пока пьяная, пока бушует кровь — все нипочем, а вот ляжет Дарья спать, — весело ляжет, весело уснет, — но сны видит страшные: по ночам стонет, кричит, сама себя пробуждает. Перевернет мокрую от сонных слез подушку, закинет руки за голову и задумается. Хочет мысль направить на новый путь — не может, душа не принимает, очернилась, других дум требует: пьяных и разгульных, как ее, Дарьяна, гуляющая жизнь.

«Эх, все равно», — махнет, бывало, рукой и даст дорогу пагубным своевольным своим мыслям. А досыта надумавшись, вновь заснет веселым, улыбчивым сном. Наутро глядь: сердце тоской зашло.

И вот уж Дарье невтерпеж: Феденька ножом грозит, перед народом стыдно, на божий свет глаза не поднимаются, а впереди страх: придет домой муж-солдат — расплата коротка.

Дарья ищет забвения, до бесчувствия пьет, часто посматривает в сеновале на перекладину, веревку в мыслях примеряет, но вовремя рубит мысль, сама себе приказывает: нет! И, прижавшись щекой к стене, ревет в голос.

— Эй, Дарья! — крикнул Пров.

Даша очнулась, оглядела тайгу и стегнула лошадь. Лицо ее раздумянлось, печальные глаза в слезах.

— Богородица!.. Ангели!.. — шепчет Даша, прижимая ладонь к груди.

— Не отставай! — вновь крикнул Пров.

Сливаясь своим серым зипуном со стволами деревьев, он ехал впереди; за ним, в белом, — Анна. Даша взглянула ей в спину и открывшимся сердцем вдруг неожиданно потянулась к ней, как дым к небу. Словно кровное, самое родное учуяла в Анне.

«За что же я ее? Ангели!..» — скорбно укорила себя Даша.

И стало ей жаль Анну, в первый раз пожалела, с собой сравнила, вспомнила, как отравой собиралась опохмелить, — и еще жалче стало Анну, тихую и неповинную.

Вся в порыве, — хлестнув лошадь, нагоняет Анну.

Хочет упасть перед нею на колени, многое хочет ей сказать, но кто-то отстраняет ее от Анны.

— Анна! — позвала Даша. — Аннушка... Дяденька Пров!

Молчат, не откликаются. Тайга молчит. Жутко стало.

Пров остановил лошадь:

— Ну-ка, передохнем не то...

Стали чай варить. Анна живо насбирила сушняку, веселая ходит, светлая, костер разложила, на отца смотрит ласково. А Даша пригорюнилась, губы кусает, опять жизнь свою издалека осматривает, от начала дней, как стала себя помнить.

Пров за дочкой ухаживает: то хлеб ей пододвинет, то комаров черемуховым венником смахнет с ее лица.

— Ты у меня разумница... Помощница моя, утеха...

Обо всем его расспрашивает Анна: о матушке, о бабушке Устине, о буренке. Отец отвечает, шутит с ней, прибаутками говорит.

Анна улыбается, а отец пуще рад. И вдруг неожиданно кидается Анна отцу на шею:

— Ох, родимый ты мой... Во всем тебе откроюсь... все скажу... Одного только мне...

— Н-и-ничего, доченька, — утешает Пров и косится на ее живот.

— Батю-ю-шка...

Только лишь на лошадей сели: поп едет по тропинке, за ним, попрыгивая трубкой, грудастая Овдоха.

— Здорово, Пров Михальч...

— Ах! Батя... — крикнул Пров, — а мы только что почайпили...

— Эка штука... Не знал... Мы тоже недалече вот с кумой-то, с Авдотьей Терентьевной, тово... Чайком, значит, побаловались... Хе-хе...

Овдоха вспыхнула и, одернув красный сарафан, испуганно уставилась кривым глазом на попа.

— Ну, как там у нас, в Кедровке? Молебен-то служил?

— Слу-у-жил... — улыбнулся батя.

Овдоха выхватила изо рта трубку, хихикнула в горсть и, покрутив носом, насмешливо кашлянула.

— Ну, прощай, батя, — сказал Пров, тронув коня, и, обернувшись, крикнул: — А Бородулин у нас?

— Не видал! — прокричал батя. — Слушай-ка, дядя Пров! А у тебя водчонки нету?

Но Пров уже скакал, нагоняя дочь и Дашу.

И вновь едут трое таежной тропой, сумрачной и тихой.

Вечерело. Замыкалась тайга, заволакивалась со всех сторон зеленым коловодством.

У Анны дрожит душа, от ветерка неверного колышется, невидимое чувствует, видимое обращает в сказку.

И уже замелькали меж стволов лесовые шиликуны, тени кой-где ходили и прятались, огоньки вспыхивали и гасли. Шорох плыл, и посвистывал в болоте леший.

Пров ничего не видит, ничего не слышит, шапку надвинул на брови, молчит.

Дарья вся в себе: ставни наружу закрыты, псы сторожевые спущены. Нет Дарьи, солдатки оголтелой, веселой Дашки, говорухи и песенницы, здесь только голубиная женская душа.

Сумрак наплывает, прохладный и сырой. Ночь близится.

— Ну, теперича, девахи, недалече! — кричит Пров и проверяет взглядом знакомые места.

Собака Лыска уж не забегает в гости к каждому кусту и пенышку, прямо бежит перед лошадьё, язык на плечо — устала.

Что-то белеет впереди, расступилась тайга, тропинка на долину вышла:

белый туман по речке лениво стелется, в деревне огни.

Анна увидела родные места, — перекрестилась, глаз оторвать не может от мелькающих знакомых огоньков.

— Матушка!.. — кричит она. — Эй, матушка! Встречай!!

К броду спускаются — нет матушки, в деревню въехали — нет матушки, и не видать на улице народу.

Только в том конце, где дом Прова Михайловича, что-то беспокойно.

— Ой, худо у нас! — не то подумалось Прову, не то Анна проговорила.

Упало у мужика сердце.

Подъезжают. У открытых ворот толпа. Увидали — гвалт подняли:

— Ну, с гостьей тебя, Пров Михалыч... Да еще с гостем. Иди-ка, брат, в избу, гляни!.. От-то шту-у-ка!..

Забыла себя Пров, страх вломился в душу, боится и во двор вступить...

Матрена вышла, подбежала к Анне, целует, плачет и сквозь слезы и ласковые слова кричит Прову.

— Бородулин-то... Ох, светы мои...

Но уж Пров в избе, изба народом полна, душно, но тихо и торжественно.

На лавке — с закрытыми глазами Бородулин.

И в двадцатый раз говорит Матрена:

— И как прибежал это он, батюшка, с бою-то... глаза выкатились, трясется. «Ой, что-то, говорит, Матренушка, дух заняло...» Прислонился к забору да как рухнет!.. Только и жил...

XIX

У полумертвых, изувеченных бродяг трещали в ушах бубенцы и барабаны, перед глазами кувыркались, мяукали какие-то черные хари, все горело внутри, и не хватало воздуха: словно их закружили в дикой пляске черти и, не дав отдышаться, бросили в вонючий провал.

Антон, опираясь на колени и локти, припал к грязному полу, словно воду из ручья собрался пить. Он тяжело охал и стонал.

Ванька Свистопляс, размазывая по скуластому лицу кровь, все норовил приставить и удержать оторванное свое, висящее «на липочке» ухо. Он, весь съезжившись, сидел горшком под единственным оконцем и скорготал зубами, пытаясь облегчить боль.

Тюля лежал рядом с Ванькой, закинув руки за голову, и молча смотрел в потолок подбитыми глазами.

Бродяги нутром чувят: быть грозе, — дело одним политиком не кончится, дойдет черед и до них.

Надо бы бежать, но где схоронишься? Догонят, разорвут, в землю втопчут, осиновый кол вобьют. Куда бежать? В тайгу? Но у них все отобрали, ружьишко — и то отняли. Выскочить да караульного зарезать? Красного петуха пустить? Но крепок запор, а маленькое оконце железной решеткой оковано. Нет, не уйдешь: суставы повывернуты, ребра сломаны... Думай не думай — крышка...

По своим углам товарищи забились, молчат.

Только Лехман, растянувшись на полу огромным телом, тяжело сопит, хватаясь за отбитую кирпичом грудь, и злобно ругает всех сплеча: и Сви-стопяся, и широколицего, с затекшим глазом Тюлю, и Антона. Тем и так тошно, душа изныла, а он без передыху поливает и их, и свою мать, что на свет породила, и тайгу, и жизнь проклятую, и смерть, что не идет за ним.

— Мы тут ни при чем, — стонет Тюля...

— Ни при че-о-ом?! — гремит Лехман и сердито плюет в воздух.

Сам знает, что ни при чем: судьба сюда свильнула, под обух поставила, но разве судьбу проймешь, разве ей влепишь затрещину? А кулаки зудят... ух, зудят!

Лехман, хрипя и ругаясь, вскочил по-молодому, лицо дикое, схватил за ножку железную печь и, размахнувшись, грохнул ею в стену.

— Товарищ! Что ты? — взмолил Антон.

Лехман зубами скрипит.

— Замолчь, свято-о-опиа!! — к Антону медведем бросился, сутулый, страшный, лохматый.

Антон смиренхонько на полу лежит, большими глазами, жалеючи, смотрит на Лехмана.

Враз остановился Лехман, словно с разбегу в стену, голова его затряслась, заходила борода.

— Робя-а-тушки...

Он схватился за лысый череп и отрывисто застонал, словно залаял, потом сразу присел и пополз на четвереньках в угол, а борода по полу волочится, заплаванный пол метет, древняя, седая.

— Товарищи, милые... — глухо стонет Лехман и валится вниз лицом.

Антон уж возле Лехмана, спину его сухую гладит:

— Ах, дедушка ты мой, родной ты мой...

Ванька с Тюлей, стуча зубами, косятся то на Лехмана, то на дверь, за которой гудит народ. И уж не могут понять ни отдельных резких выкриков, ни ругани, что влетают с улицы в решетчатое окно вместе с красной полосой солнечного заката.

— Тюля, — шепчет Ванька. — Чу... кричат...

А народ пуще загудел и вдруг осекся: враз смолкли звуки, отхлынули прочь, тихо стало.

— Ково? — гнусаво и удивленно кричит у двери на улице каморщик. — Бородулин? Вот это та-а-к...

И слышно, как выколачивает о каблук трубку и сам с собой громко рассуждает.

Солнце садится, последним лучом с бродягами прощаясь: ему все равно, все дети кровные. Антону в глаза ударило ласково, Антон шурится, в окошко заглядывает, вздыхая, провожает солнце: может, завтра не увидит его.

Лехман уснул, стонет во сне и охает.

— Антон, — говорит Ванька, — а ты хочешь есть?

— Нет, милый... до еды ли тут?.. Вот испить бы...

Тихо в каталажке, сумерки сгущаются. Где-то корова мычит, ребенок заплакал, собака тявкает.

— Я бы попросил воды, да боюсь, — говорит Ванька.

— Чего ж бояться-то?..

Ванька усиленно сопит и, помолчав, отвечает:

— А как убьют?..

Скоро в каморке совсем темно сделалось и тихо. Уснули, что ли, все или так примолкли.

Кто-то на коне едет.

— Матушка, встречай, — женский доносится голос.

И опять все замерло. Лишь каморщик мурлычет песню и капляет да бредит Лехман.

А у оконца Ванька с Тюлей. Шепчутся, то один, то другой, громко скажут слова два и опять шепотком.

— Антон, — тихо позвал Ванька.

Ответа нет.

— Дедушка!..

Молчит и Лехман.

— Спят, — сказал Тюля.

Ванька Свистопляс почесался во тьме, поворочался и дрожащим голосом тихо заговорил:

— Ох, товарищ... Не приведи бог, ежели мужики в ярь войдут.

— Да-а-а, — тянет Тюля.

— Аминь тогда наше дело... Эна как мы, рестораны, в остроге четверых надзирателей кончили, всей оравой-то... Вот так же вечером, темь. Уж больно они мытарили нас, прямо зверье... Ну, мы, значит, и сговорились... Пришли это они с проверкой, мы на них... Те как зайцы запищали... Знаешь, зайца когда собака сбреет, он должен как дите заплакать... В ногах валяются, пощады молят... Куда тут... Трех-то сразу кончили, головы о стену разбили. А четвертому, а четвертому-то, Тюля... Мы его... Мы ему...

Тюля долго сопел, потом раздраженно сказал, ткнув в бок Ваньку:

— Не хнычь... Че-орт... Слюня-а-ай...

Ванька оправился и приподнялся:

— Мы его, Тюля, свалили да арканом ноги у ляпустей связали, а другой-то конец через спину перекинули да за горло, да и начали в дугу гнуть, пятки к затылку подтягивать. Сначала дурью ревел, как чушка под ножом, потом визжать стал. А мы, черти, ржем, любо... Человек хрипит, а мы пуще налегаем, грудью-то на пол его поставили, быдто колесо какое... Тот хрипел-хрипел — навовсе уснул. Ноги-то крепче оказались, а горло-то, Тюля, не вынесло, хряц лопнул... Как захрусти-ит... Мы прочь... Ух ты!..

— Ну ты к лешему, — сказал Тюля и сплюнул.

И долго лежат оба молча, хлопая во тьме глазами.

Робость овладела Ванькиной душой, внутри все горит и холодеет. А думы на прожитую дорогу увлекают Ваньку, по тайным тропам тащат, на провалы, на звериные указывают дела. Он ли это делал?.. Да, он, молодой

парень, Ванька Свистопляс.

«Я человек темный, я ни при чем, — оправдывается в мыслях Ванька. — Я — сирота... Мне батька чугунным пестиком башку прошиб... Мой батька мамынку зарезал, а сам задавился...»

Но совесть молчать не хочет, гаушит Ваньку его же делами, его же мыслями; видит Ванька убитую, в красном платье, бабу, видит молодую растерзанную девушку и чувствует: хрустят под арканом хрящи надзирательевой глотки.

«Я... Я... Мой грех...»

— Ты, чертова голова, о чем это думаешь? — строго спрашивает Тюля.
— Опиеть?!

— Я ни о чем... Мне бы вот... Этово... Как его... табачку...

Слышат оба: стоит кто-то у оконца, дышит.

— Эй, есть кто живой?

Поднялся Ванька. Две бутылки с молоком просунулись сквозь решетку, калач пшеничный, картошка, лук.

— Примите-ка, несчастненькие... — сказала женщина и пошла прочь, заохав и запричитав.

А Ванька, прильнув к решетке и придерживая оторванное ухо, ей вдогонку посылает:

— Прости нас, бабушка, грешных... То ли бабушка, то ли тетушка...

Жадно вдыхал Ванька ядреный воздух наплывающей ночи и ловил каждый звук, каждый шорох. Но было тихо вблизи, лишь где-то далеко мерещились еле внятные людские голоса.

Тюля чавкал хлеб и запивал свежим молоком.

— Огонька бы, — сказал, опускаясь на пол, Ванька.

— А у тебя серянки есть? — вдруг спросил все время молчавший Антон.
— У меня свечечка есть, огарочек... последний...

Ванька обрадовался его тихому голосу.

Зажгли огарок и укрепили у стены, на воткнутой щепке.

аколыхался тусклый огонек, задрожала тьма.

— Вот так и жисть наша... вроде как огарок, — раздумчиво сказал Ванька, — догорит, и аминь тому...

— Ну, ты, пое-е-хал... — огрызнулся Тюля.

Ванька, весь включенный и измазанный кровью, сидел, обхватив колени, на полу против Антона и смотрел на него тусклым, немигающим взглядом.

— Шел бы в уголок: ты страшный, — сказал ему Антон, — а я помоюсь, у меня дух чего-то запирает, истоптали меня всего...

Ванька отполз послушно в угол и оттуда сказал:

— Вот ты бы поучил меня, как молиться-то... Надо бы... А то я все матерком да матерком...

Антон вынул из мешка завернутый в тряпку медный образок и поставил возле себя на пол.

Вдруг Лехман так пронзительно и тонко взвизгнул во сне, что всех перепугал, все враз крикнули:

— Дедка, дедка!

Тот быстро приподнялся, протер глаза, поводил хмурыми бровями и изумленно огляделся кругом.

— Ты чего это?

— Так... Ничего... — октависто сказал и лег.

— Помогли... Настави... Укрепи, — громко и выразительно шепчет Антон и, распластавшись на полу у иконы, лежит, трясясь всем телом.

Огонек колышется, играет. Антон за всех молится. На душе у бродяг потеплело.

XX

Вся деревня обрадовалась Анне.

Только и слышалось:

— Аннушка... Краля наша... Умница...

И мужики, и бабы, и старые старики, и ребята. Про молодежь и говорить нечего.

Варька черноглазая первая прибежала. Танька пришла. Сенька Козырь с Мишкой Ухорезом пришли. Тереха-гармонист пришел.

Варька Анну к себе ночевать увела: в избе у Анны — покойник, страшно.

Молодежь всей гурьбой провожала Анну. Лишь вышли на улицу, Тереха по всем переборам саданул, девки подхватили проголосную, заунывную:

Уж и где ты, ворон, побывал,
Где, черной, сполетывал?..

Анну под руки вели подруги. Варька за талию обняла ласково.

Все веселы хорошим весельем, тихим.

Сумрачно было. Звезды мерцали с серого неба. Лица Анны не видать. Анна в белом. Анна низко наклонила голову, и как-то незаметно, сами собой, покатались из глаз слезы. А сердце такой светлой радостью варуд переполнилось, что Анна не выдержала, к подругам на шею бросилась, парней обнимать начала:

— Девушки... Молодчики...

Парни смутились, встревожились, самые ласковые слова в ответ подбирали и пофыркивали носами.

И ни один из них, и никто в деревне даже взглядом не оскорбил приближавшегося Аннинного материнства.

— Мы за тебя, Аннушка, горой!.. Только бровью поведи...

Дальше пошли. Черный жучок Тереха не сразу в гармонь ударил: руки тряслись от волнения, сердце шумно билось, — эх, зачем он таким сморчком, замухрыгой уродился!

До Варькиной избы Анну довели, а сами на горку повалили разводить ночные плясы.

Поздний вечер. Сторож с колотушкой начал дозор.

У Прова полна изба народа, мужиков меньше стало, все бабы, старухи, ребятенки. Бородулин на лавке лежит, Пров «шевелить» его не велел, завтра

с понятными подымут, в Назимово потащат, на родную землю. Бородулин весь белыми холстами да темным рядном прикрыт, — старухи натащили, за упокой души жертва.

— Прими... — шептали сокрушенно и клали земной поклон.

Лучина в светце теплилась, пламя дрожало, и дрожали по белым, известкой мазанным стенам большие тени.

Как пчелы, жужжали женщины, про покойника вспоминая: вот какой здоровый, а бог прибрал, жить бы да жить, всего вволю — богатство, почитливость, — а вот поди ж ты, смерть-то не спрашивает...

— Раздайсь, дай пройти! — сказал, протискиваясь с книгой в руке, Устин, усердный господу.

Все зашевелились; пуце завздыхали и нетерпеливо закашляли: Устин очень хорошо читает по покойникам, уж таково ли заунывно, таково ли жалостливо.

— Салты-ы-рь, — деловито протянул мальчонка Митька, указывая кулачком на книгу.

Дедушка Устин, лицо тревожное, поклонился в ноги покойнику, народу поклонился, поставил на стол опрокинутую кадушку, на кадушку псалтырь положил, нос очками оседлал, откашлялся и, часто закрестившись, начал. Он ни аза в глаза не знал, в книгу глядел зря, но это ему очень льстило: пусть будет он во всей деревне единый грамотный, и хоть частенько подумывал Устин о своей гордыне, но искушение всегда брало верх. Вот и теперь: зорко смотрит в книгу, тягучим голосом читает, — где запнется, пониже к книге склонит голову, свечкой тычет: две свечки горят — одна на кадушке, другая у Устина в левой руке.

Старухи крестятся, охают и вздыхают.

С улицы к открытому окну сторож прилип, снял шапку. Постоял-постоял, прочь пошел и вдруг ударил в колотушку так громко, что задремавший было Митька вздрогнул.

— Салтырь, — опять сказал Митька и сел на пол.

А Устин, как шмель, бубнит без передыху разное:

— Утулима богомать... Святы отцы Абросимы... Сорок мучельников... Помилуй нас... — потом передернет плечами, стряхивая дрему, и умиленно возгласит: — Со святыми упокой, господи, новопреставленного раба Ивана... Жил еси, жил, в землю отыдеш... Утулима божжа мать...

Разбредаются бабы помаленьку. Митьку домой повели. У него одна штанина засучена, другая по полу волочится. Митька трет кулачком сонные глаза и, семена ногами, бормочет:

— А он будет кадить?.. Устин-то?..

Свечки тают, роняя восковые слезы.

Устин утомился: лысая голова, как росой, кроется потом, голос просит отдыха, гнется чрезмерно спина. Час позаний.

Даша неожиданной смертью Бородулина была потрясена. Что-то закачалось в душе ее, охнуло и порвалось.

Она, приехав, лишь скользом взглянула на покойника, потом забилась

к печке за занавеску и, вся дрожа, приникла к Матрене.

Та принялась про все выпытывать, выведывать. Обняли друг дружку, зашептались.

Старушонки поближе к занавеске подвигаться стали, насторожили жадно слух, опасливо поглядывая на покойника.

Дарья все пересказала Матрене: и про Андрея-политика, и про Бородулина, и про Анкино горе: «девка брюхатая, девка не в себе». И на жизнь свою жаловалась, и на мужа-солдата: с какой-то «фрей» в городе снохался, ее, Дарью, на грех толкнул...

— Нет болезни, печаль, воздухания, — тянет дедушка Устин.

Дарья встала.

— Прощай-ко-ся, тетьнышка... — нагнула на глаза черную шаль и по стенке вышла на улицу.

Она пришла в запертую Варькину избу. Анна спит крепким сном. Варька на гулянке, отец ее где-то с утра куролесит, пьяная мать под столом храпит.

Испила Дарья воды, взглянула в зеркало, изумилась: чужое лицо на нее смотрит, бледное, глаза чужие, унылые. И не хочется Дарье верить, что это она в зеркале, она — Даша-ягода, Даша-солдатка разудалая, говорунья и песенница.

Садится Дарья у стола, подпирает рукой голову.

Тихо в избе. Лампа чуть светит, выгорает.

Дарья вся во власти дум, собой распорядиться не может: надо спать идти — к месту приросла.

И вьются мысли возле Бородулина, не мертвеца, над которым гудит Устин, а возле живого, сильного, бородатого. И уж от живого Бородулина, от поселенца-вора Феденьки направляются мысли к мертвецу, ее вихлястой дорогой идут, крученной и неверной. И зачем сюда клонят мысли? Бородулин жив... Кто сказал, что помер? Жив! Когда придет в себя, Дарья во всем ему покается: и как Анну хотела извести, и как с Феденькой деньги воровала. Она проклянет воришу Феденьку, в город уедет, служить будет у барыни, мужа разыщет — примет, священнику хорошему на духу откроется, к главному архиерею говеть пойдет. Жив Бородулин, жив!..

Вспыхнула вдруг Даша, взвилась: кто-то по щеке хватил. Метнула взглядом: никто не прикасался. Это сама себя спросила: «Неужто умер?» — вся кровь в виски ударила. Даша похолодела.

«К добру или к худу?» — опять тайно спросила себя и почувствовала, как черное берет в ней верх.

Но чтоб не видеть, не слышать, прихлопнуть черное, Даша, вся дрожа, шепчет:

«Умер... Пошто ж ты умер-то, Иван Степаныч?..»

И стало ей жаль Бородулина. По-настоящему жаль, до нестерпимой боли.

«Иван Степаныч, Иван Степаныч...» — стонет она. Но черное выше подымается, не дает покоя, душит Дарью.

Это Феденькин охальный взор буравит сердце, это Феденька, подбо-

ченившись лихо, стоит и хохочет, это он, чужой, пришелец, оголтелый, сатана! Его рожа в окно смотрит, он деньги купеческие украл, он подучил Дашу, не словами подучил, глазами воровскими приказал. И уж шипит подлец: «Ты — убийца, ты!» — «Врешь», — хочет крикнуть Дарья, но не может: целая ватага стоит перед ней оборванцев, бродяг, бузуев, неизвестных, стоят нетвердо, топчутся, безликие, безголовые, серые, и в голос орут: «Ты убийца, ты... И Бородулина убила, и нас убьешь... Тварь, подлая...» Крепко зажмурилась Дарья, — но и так темно, лампа догорела, — крепко виски ладонями стиснула, встала, топнула: «Прочь!» — и сама себе сделала приговор: «Да, я — убийца... я подлая... я тварь».

И как призналась себе, утвердила в сердце признание, точно нагишом перед народом встала: «Потаскуха... тварь...» Ох, если б нож! Лезвием его нанесла бы Дарья радость сердцу.

Мечется Дарья, ломая в потемках руки: «Матупка... заступница...» — и слышит: «Кайся, полегчает». Тут запрыгал вдруг подбородок, зашептали сами собой уста обрадованные речи. И уж некогда ей одуматься, некогда умом прикинуть, ноги несут Дарью к той избе, где еще светит огонек, где страшным сном спит Бородулин. Там Даша скажет миру, там покается, прощение вымолит у живых и мертвого, с неизвестных бродяг, бузуев, лихой навет снимет, себя на растерзание отдаст, — не себя, а тело свое, — не тело, а грех свой: пусть плюют, пусть топчут, пусть!!

Бежит не чуя ног: радостный ветер ее подгоняет, росистые ночные травы ковром легли... Хорошо, свободно.

Тюрьма... Нет, мир все простит, все покроет... А вору Феденьке, мучителю ее, — крест... А Дарьиным делам, что через Феденьку объявились, и всей ее паскудной жизни — крест!.. Да, хорошо, хорошо... Вот и избушка, да, избушка. Благослови, Христос...

XXI

Постояла Даша у двери, крепко схватившись за скобку, минуточку подумала: так ли, нужно ли? Но уж ответа не было.

Она быстро шагнула в избу: два огонька дрожат, две свечки восковые. Устин скрипит, на лавке три старухи головами встряхивают, борются с дремой.

Не подымая глаз, подошла Даша к мертвому, опустилась на колени: — Прости меня, Иван Степаныч, грешную... Это я все, я...

Устин читать остановился, на Дашу смотрит. Старухи проснулись, рты разинули.

Встала Даша с полу — ноги не свои, дрожат, все тело дрожит. Чтоб взять над собою верх, быстро повернулась.

— Вот что, дедушка Устин, да баушки... да мир хрещеный...

Злые шаги застучали по крыльцу: рванув дверь, грозно вошел в избу Пров.

— Лешие! — зарычал он. — Вот лешие-то, вот окаянные-то... Матрен!.. Все насторожились.

— Это что же такое, Матрен... — тяжело дыша, говорит Пров Михалыч проснувшейся жене. — Ведь всех наших коров варнаки зарезали...

— Как? Кто?! — всплеснула руками Матрена.

— Вот, Устин, будь свидетель... трех коров моих, последних, кончили, белых... у Федота двух телков зарезали...

Матрена завывала в голос, старухи, ударяя себя по бедрам, стали ахать и причитать. Устин со свечкой в руке стоял, сторбившись, и не знал, что делать.

— Это все бродяжня, бузуи-висельники!.. — гремел Пров. — Н-ну, погод-ди!..

Пров суетливо схватил фонарь и вышел на улицу. Воздух в избе варут наполнился злобой. И пламя покаяния в Дашиной душе погасло.

Даша стоит как стояла, словно в пол выросла. Лицо красными пятнами пошло, раздуваются ноздри, все тело огнем палит. Иной стала Даша, прежней, назимовской.

— Вот что я хотела... Помер ли Иван-то Степаныч? Может, так зашелся... — как кипятком окатила она Устина и, упруго вздрагивая ядерным телом, будто издеваясь над ветхими старушонками, проворно вышла.

Устин, разинув рот, проводил ее до двери взглядом:

— Сатано... сгинь, лукавая сатано... Тьфу!

Серая ночь была. Звезда покатилась по небу, вспыхнула и осияла сумрак. Идет улицей солдатка — мыслей нет, и уж не ветер радостный подгоняет ее, а черти хвостами подстегивают, не росистая трава стелется у ног, а сам дед-лесовой разметал по дороге свою зеленую бороду и, надрываясь, шипит: «Дура... эх ты, дура!..»

Враз все запело внутри и захохотало, все приникло, все покорилося в Дарье, груды золота рассыпались и зазвенели, а неверное сердце требует: «Бери!.. Все твое...»

Крик стоит в Федотовом дворе. Тесовые ворота настежь. Федот пуще всех горланит:

— Ну, так вот, молодцы... так тому и быть... И чтоб ни гугу, а то всем — край!..

— Это как есть... Чтобы с согласия... Как мир...

— Но, айда по домам!..

— Айда, айда!..

— Погоди: «айда»... Дай — Пров придет.

Сторож с колотушкою прошагал. Петухи перекликаются. На горе три костра горят тремя звездочками. На горе песни звенят, гармошка голосит, визг, крики, хохот секут ночной свежий воздух.

Тереха «Барыню» на гармошке жарит, парни подхватывают:

Барынька, не сердись,
Туды-сюды повернись...

Опять крик, опять хохот, и девичьи смеющиеся свирельные голоса.

Два человека к чижовке подошли, уперлись лбом в верзилу Кешку-караульщика, шепчутся. Кешка руками размахивает, что-то говорит, спорит, плюет сердито. Пошептались, ушли.

— Ну и дьяволы!.. — крикнул Кешка, поправил кушак, потоптался на месте и постучал кулаком в двери чижовки:

— Эй, робяты!..

Еще звезда сорвалась, слезинка небесная. Журчала бессонная речка. Из-за тайги желтым шаром вздымается месяц. А парни на горе катали трепака, били в ладоши и звонко голосили:

Дулась-дулась — улыбнулась...

Дулась-дулась — перевернулась...

— Эй, робяты... упреждаю... Слышите?..

Прислушался, склонив ухо к щели... Ответа не было. Огромный, похожий на медведя Кешка, кашляя и сопя, обошел чижовку и, поравнявшись с окошком, еще раз громко крикнул:

— Эй, робяты!

Зашевелились там, заговорили.

Кешка забрал в грудь побольше воздуха и просто сказал:

— Приготовьтесь, робятушки... Завтра вам... тово... утречком...

XXII

Тюля с Ванькой спали, и этот приговор слышали только Антон да Лехман. Они сразу онемели и долго лежали во тьме без движения, без дум, без ВДОХОВ.

Первым очнулся Лехман:

— Ты, Антон, слышал?

Ответа не было.

— Ты спишь, Антон?

— Я слышал, — ответил наконец Антон и не узнал своего голоса.

Долго опять лежат молча, долго думают. В оконце лунный свет вползает.

— Все из-за тебя, Антон... Все из-за твоих денег...

Антон молчит, вздыхает и что-то шепчет.

— Ты бы взял на себя грех, Антон... Наврал бы: мои, мол, деньги — я украл... Может, тогда тебя бы... одного бы... — и Лехман не закончил.

В груди Антона что-то булькает и посвистывает.

— Ты что же это молчишь, Антон?.. Все молчком... Ты говори...

Тот закашлялся долгим кашлем и наконец сказал:

— Я согласен.

Лехман радостно заговорил:

— Вот это дело, это хорошо, Антон... Тебе все одно не жить... И мне не жить... Вот Ваньку с Тюлей жаль: может, отведем... А?

— Я согласен...

И дальше ведут разговор с большими перерывами, будто подолгу обдумывая каждое слово.

— Вот ты и покайся... Деньги, мол, я украл, сбрую, мол, я украл... Там еще что-то нашли у Тюли, шкуры, што ли... И шкуры, мол, я... Сапоги у тебя новые есть, и сапоги, мол, краденые... А?

За дверью Кешка возится, лошадь отгоняет: лошадь стреножена, слышно, как култыхает и фыркает.

— А то давай, Антон, я приму на себя... Я встану, открою грудь и скажу: ну, молодцы, убивайте... А?

Молчание.

Лехман перевалялся на бок и придвинулся к Антону.

— Право... Ведь у меня, Антон, привязки к земле нету... Я один, все равно как горелый пень в чистом поле... Ведь я старик... Будет, помаялся...

И, помолчав, добавил:

— А у тебя все-таки какая-никакая, а жена... опять же дочь...

Антон слезливо крикнул:

— Я сказал, что я... Все приму... Понимаешь? Я!.. Ну, чего тебе... Отстань!..

И, как бы спохватившись, мягко заговорил:

— У меня нутро горит... Болезнь меня гложет, делушка... Прости... Приготовиться нужно. Смерть...

И Антон, отмахнувшись от Лехмана, весь ушел в думы. Он напряженно всматривался в грядущее, в этот последний завтрашний день, такой непопный, непостижимо значительный и жуткий.

«Смертынька».

Но как ни напрягал Антон свою душу, как ни нудился додумать до конца, мысль его упрямо останавливалась и меркла. Тогда Антон терял нить предсмертных своих дум и весь погружался в прошлое. Любочка вдруг встала перед ним, жена склонилась, друзья, знакомые. И все улыбаются ему, что-то шепчут, куда-то его зовут. Но Антон чувствует, знает, что это не настоящее, земное, обманное, — не надо! Ему не до того, ничего не надо, пусть все сгинет и даст покой душе.

Антон вздрагивает, мотает головой и тяжело стонет:

— Не на-адо...

Ярким мгновенным полымем вспыхивает тогда вся прошлая жизнь Антона и сгорает. Ничего нет, ничего не было, легко... Густой, глубокий мрак охватил Антона. И нет больше земли, ничего нет, все остановилось, все умолкло. Антон захолонул, раскрыл рот и перестал дышать.

«Умираю...»

И уж он не чувствует, не помнит: человек ли он или пес, черт ли он или ангел, камень он или ничто, и не знает, где он: на земле или в воздухе, на вершине горы или на дне моря. Вот она кончается, рвется последняя ниточка, смерть идет... Смерть ли? Смерть, легкая... А как же Любочка, родина, белый свет?..

«Смерточка... повремени...»

Душа Антона обнажилась, утончился слух ее. Осеняет себя Антон в мыслях широким крестом...

«Господи, господи...» — и, молитвенно замерев, ждет.

Голос человеческий мерещится ему, кто-то говорит, кто-то имя его громко произносит:

— Не скули, Антон... Крепись...

Это Лехман сказал. Взял его иссохшую горячую руку и поглаживает своей огромной корявой ладонью.

— Минутка пришла ко мне, — запинаясь, говорит Антон детским радостным голосом. — Ах, какая минутка, дедушка... Самая золотая...

И, улыбнувшись, замолкает. Уж не может теперь понять слов Лехмана, только чувствует, как Лехман трясет его плечо и что-то предлагает.

— Да... Да... — шепчет Антон и опять тонет в наплывающем тумане.

И лишь сквозь туман, когда блистают в душе зарницы, произносит:

— Ты здесь?.. Ты, того... Ты, дедушка, не бойся... Она добрая... Она мать...

— Кого? Ты про кого?..

И Лехман, не дождавшись ответа, грозит высоко вскинутым кулаком и свирепо бросает в сторону деревни:

— Чер-рти... Ах, чер-рти!..

А по деревне опять пьяные голоса то приближались сплошной стеной, то вновь тонули.

— Умираю... Пить... — проронал Антон после долгого молчания.

Лехман, кряхтя и охая, зашевелился, на четвереньки встал, с трудом поднялся и, волоча ноги, пошел на голубоватый свет луны. И чтоб не потревожить спящих у самого окна Ваньку с Тюлей, уцепился ногами, согнулся вавое, приник к голубому оконцу и позвал:

— Караульщик, а караульщик?! Слышь! Подь-ка сюда!..

Кешка подошел.

— Дай-ка, братан, водицы...

— А где бы я тебе взял: ишь — ночь! — ответил недовольным голосом Кешка.

— Что ж нам, поколевать, што ли!!

— А уж это ваше дело...

— Черти!.. За что нас, черти, мучаете?! За что убить хотите?! — кричал Лехман и зло плевал на улицу сгустками крови.

— А уж это мужичье дело... Как мир... — невозмутимо отвечал Кешка и, дрогнув голосом, добавил: — Вы полстада быдто скотин зарезали...

— Каких скотин?! — грянул Лехман и, охнув, закашлялся, схватился за грудь, грузно опускаясь на лежащих у ног бродяг.

Те крепко спали, только промычали что-то и задвигались.

Не вдруг утихло сердце Лехмана. А как утихло сердце, опять подошел к Антону и окликнул. Не ответил Антон.

Лехман в эту ночь боялся молчаливой темноты и, чтоб не чувствовать себя одиноким, стал изливать свою душу пред безмолвным товарищем.

— Смерть что? Смерть — тьфу! Все одно что сон... Глаза зажмурил, ноги вытянул — и полеживай... Да!.. Так ли я говорю, Антон?.. И никто

тебя не пошевелит — ни комар, ни впа, ни мужик, ни справник... Червь, ты говоришь? Ну-к што... Наплевать... Пусть его точит... Я тагда все равно как стерва буду лежать, как пропастина, тагда хошь в порошок меня разотри — не услышу... Верно? Ну, вот... А душа... Ха-ха!.. В нас души, Антон, нет... В нас душина, это так... Слышал, как Тюля говорит: «Выди, душенька, из брюшенька!» Слышал? Ну, вот, Антон, вот... Я как-то встретил в тайге, два шкелета валяются: медвежачий да человечесий... Да... А возле них две змеи выются... Может, это и есть души? А? Ну, я их придавил... Ха-ха... Нет, ты не спорь, Антон... Ты не спорь!..

Но Антон и не думал спорить. Он лежал в забытьи и бредил.

Снаружи завозился кто-то, замок щелкнул, чуть приоткрылась дверь, и Кешкина волосатая рука просунула ведро.

— Натэ-ка-те, пейте-ка-те... — грустно сказал Кешка и захлопнул дверь.

Лехман жадно прильнул к ведру. Напившись, нащупал в темноте мешок, намочил его холодной водою и обмотал голову Антона.

Очнулся Антон, воды попросил и, утолив жажду, долго крестился и шептал молитву.

Полегчало у Лехмана на душе, лег он в свой угол и весь насторожился, стараясь вникнуть в слова молитвы.

Но слов было мало, и слова были самые обычные, простые. Однако они резко впивались в душу Лехмана и куда-то ее звали.

Лехман лежал с широко открытыми глазами, ему становилось страшно.

Антон уже громко вновь кует горячие слова, вкладывая в голос всю силу своей тоски и веры, словно с живым, словно с сущим говорит, стоящим возле:

— Неужели посмеешься надо мной?.. Неужели обманешь, господи?

Слышит Лехман: все дрожит внутри. Чувствует: слезы просятся.

Тихо сделалось в каморке. Только кузничек тикал-потрескивал в мшистом пазу серебряными молоточками.

— Антон, — наконец сказал Лехман, и голос его сорвался.

— Антон!.. Хоша я никаких богов не признаю... Какой бог? Ну, какой бог? Я не верю... Одначе положи на упокой моей души, за Петра, земной поклон... — тяжело вздохнул Лехман и забарабанил пальцами по полу. — Меня не Лехманом, а Петром звать...

И твердо добавил:

— Я есть убивец...

Вновь настала тишина. В каморке сразу как-то по-особому сделалось жутко.

И вдруг затряслись стены от неистового рева пробудившегося Ваньки:

— Тю-ю-ля!.. Тю-ю-ля!! Нас убивают... Нас убьют!..

Вскочил и Тюля. Взглянули друг на друга, на оторопевших Антона с Лехманом, завывали в голос.

Лехман шевельнулся и, напрягая зрение, уставился на них. Сердце его закипело нежданной жалостью: ему неотразимо захотелось сказать что-нибудь теплое, захотелось обнять этих молодых парней и ободрить в темный час, но кто-то жадно держал оттаявшее чувство: все осталось внутри, как

заклятый клад. Мучительно сделалось. Лехман еще раз порывисто шевельнулся, с силой ударил ногой в стену и, быстро отвернувшись, стал тонким чужим голосом покашливать и кричать.

А те двое, охваченные страхом, друг друга перебивая, словно боясь упустить время, громко каялись в грехах.

У Ваньки много тяжких грехов, но он выдумывал, не замечая сам и не напрягаясь, более тяжкие. У Тюлей совесть чиста была, но и он, стараясь перекрычать страх души, каялся:

— Я никого не убивал, а только что я — злодей, я — ворина, я гнус... Ох, дедушка, ох, все мои товарищи...

— Дурачь! — овладев собою, властно бросил Лехман... — Надо быть, сладка вам была жисть? А?.. Мила?!

Антон тихо утешал:

— Я все приму... Не печалуйтесь...

Ванька с Тюлей смолкли.

— Огонька хоть бы вздуть, — захныкав, попросил Ванька.

— Нету, милые, догорел огарок-то... — пожалел Антон и, когда стало тихо, как бы самому себе, с остановками, тяжело переводя дух, сказал:

— Я смерти, милые мои, не боюсь... Я людей боюсь, зверья. Вот я не знаю, как они... То ли веревкой задавят, то ли топором... Али из ружья... Из ружья оно бы лучше... А то вот я боюсь — топором... Лица-то его, зверя, боюсь, глаз-то... Как надбежит-то да замахнется-то... Вот этого-то, зверино-го-то, пуще всего боюсь.

Ванька с Тюлей, едва дослушав до конца, вновь завывали страшным воем, и, как ни корил их Лехман, как ни ругал каморщик Кешка, стуча с улицы ногой в дверь, они, крепко обнявшись, ревели и ревели, пока их не свалил тяжкий болезненный сон.

XXIII

Ночь была прохладная.

Караульный Кешка, тридцатилетний верзила парень, весь изрытый оспой, безбровый, безусый, зябко вздрагивал, сидя на завалинке. Надо бы на горку сбегать, девками подурачиться, винишка с парнями дернуть, — но нельзя бузев оставить, дядя Пров крутой наказ дал.

И Кешка лишь издали живет в гутьбе: веселая горка маячит вправо у реки, и хоть не видно там народу, зато костры дразнят Кешкин недреманный взор манящими огнями, а песни с гармошкой и посвистом вздымают его душу к самым звездам: он широко улыбается, ухарски вскидывает на левое ухо картуз и, дробно притоптывая ногами, гикает:

— Й-эх-ты...но-о-о...

Но Кешка чувствует: в лихом выкрике нет огня, нет задора, а злоба какая-то, ярь... Он враз смолкает, веселая горка проваливается, глубокая наступает тишина. Озирается Кешка: кто-то сзади стоит за ним, нашептывает о завтрашнем страшном дне. Вздрагивает Кешка, ежится, руки в рукава глубоко

заталкивает.

Знает Кешка, что завтрашний день наступит, что не сон это, а настоящее, всамделишное, но тут он ни при чем, мир его «приделал» сюда, против миру как... Да, может, еще мужики утресь прочухаются, в ум войдут. А он, Кешка, бродяг жалеет, он всех бы их выпустил... Эвона как скулят... Ух ты, господи!

Кешка проворно шарит дрожащей рукой вокруг себя, достает из крапивы холодную бутылку, жадными глотками допивает остаток вина и виновато побрякивает:

— Ох, грехи...

И чтоб согнать с плеч думы, набирает Кешка целые карманы камней, ставит на пень пустую бутылку и, отсчитав десять огромных, с прискоком, шагов, старательно швыряет камнями по голубому под лунной стеклу.

Кешка загадал, что, если с пяти камней разобьет бутылку — сбудется: знать, о веселом загадал, старательно метит, не торопясь замахивается, кончик языка выставил и прикусил, а лицо уж радостным кроется задором. Но охмелевшая Кешкина рука пронесит, все камни расшвырял, новые, кряхтя, набирает, а сам думает:

«Эх, хорошо бы к Мошне слетать, еще скляночку винишка добыть. Да к вдовухе закатиться бы... к толстомясой... к Тыкве...»

— Ловко ба... — вслух подтверждает Кешка.

Гвалт раздался на веселой горе, ругань. Видно, парни из-за девок схлестнулись... Хо-хо!

Кешка рассыпал камни, опустил руки и, разинув рот, слушал.

В это время, крестясь и шаркая ногами, к нему делушка Устин подошел. Он еле на ногах держался, согнувшись чуть не до земли: в одной руке книга, в другой восковая свечка.

— Ты к каморке приставлен, Окентий? — спросил Устин и, охая, разогнул спину.

— Я самый...

— Вот что, сударик... — вплотную подошел он к Кешке. — Как придут завтра к каморке мужики — живо за мной беги... Чуешь? А то я замаялся, от покойника иду, проспую, пожалуй... Такое дело...

Он положил руку на плечо растерявшегося Кешки, часто задышал и заговорил торопливо и трогательно:

— Ты, Кешка, батюшка, того... В случае чего, так... Они, бродяги, люди божьи... Вот-вот... Такое дело...

Кешка хотел было во всем признаться Устину: «Эвон, мол, дедушка, как мир-то порешил», — но, вспомнив грозный наказ, прикусил язык.

А Устин, прижав ладонь к груди и потряхивая головой, тихо жаловался:

— Вот здесь у меня худо, в сердечушке... Душа у меня, Кеша, батюшка, истомилась, глядя на мужиков... Прямо зверье... Грех один с ними... Да...

И загрозился Устин, и закричал:

— А не допущу... Нет!.. Отверчу змию голову!.. Да!

Кешке представилось, что не Устин, а он сам на мужиков кричит. Сжал

кулачищи, крикнул и дико покосился на спящую деревню.

— А не послушают моего гласа — уйду... — ударил Устин об ладонь книгой. — Души же своей не омрачу и не опачкаю... Слово мое твердое... Знай!..

Опять Устин согнулся и пошел к своей хибарке, так же шаркая большими сапогами и подгибая ноги.

Кешка, не двигаясь, смотрел ему вслед. Потом подошел к бутылке, отшвырнул ее носком сапога, вздохнул, попробовал затянуть песню, — язык не поворачивался, — плюнул, рукой махнул, — а ну их к ляду!.. — и, усевшись на землю, закурил трубку.

И не знал Кешка, за кем идти, кого слушать, не мог в толк взять, что именно требовал от него Устин. Жалеть бродяг... Ну, как? Выпустить их, что ли? Вскочить на коня да в волость, что ли? Так, мол, и так... Где тут, разве успеешь? Пугаясь в мыслях и недоумевая, он курил трубку за трубкой.

Стало ко сну клонить. Он, засыпая, видел то косоглазую вдовуху Тыкву, то огромного медведя, идущего с поднятой дубиной прямо на него, вскидывал тогда упавшую на грудь голову, таранил сонливые глаза, беспокойно взглядывал на забор чижовки и опять поддавался дреме.

Все спало крепким предутренним сном. Вся деревня, пьяная, праздничная, встревоженная смертью Бородулина, давно залезла в свои избы, зажмурилась, угарно забредила и с присвистом захрапела.

Даже там, на горке, умолкали и ругань и песни.

Слышит Кешка сквозь сон, верезжит где-то бегущий бабий голос. Открыл глаза, голову повернул в ту сторону, слушает. Катится по дороге голос отчаянный, визгливый:

— Я тебе покажу, жиган!.. Ах ты охальник... Ой, ма-а-а-мынька!

— Варька, ты?! — окликнул Кешка.

Но та не слышит, пьяно плачет и ругается с хрипом, плевками, самые непотребные слова сыплет, — не девичьи, не женские, не человечьи, смрадом от слов несет, даже Кешке невтерпеж, сплюнул, — бежит, все бежит, кривули выписывая по дороге, и на всю деревню воет:

— Донесу, окаянный, донесу... Все-о-о расскажу Прову, все!.. Я те покажу, как коров резать... Змей!!! Змей!! А-а-а... С Танькой связался?! По роже меня хлестать? Помощь устраивать?! Ну, погоди ж, Сенька... Я те выучу... Ой, ма-а-мынька...

Ей вторили псы, заливаясь со дворов осипшими за день голосами.

Кешка лениво поскреб бока, протяжно зевнул, потянулся.

Короткая летняя ночь уходила. Скрылись звезды, померкла луна, а восток мало-помалу стал наливать розовым рассветом. Белые, припавшие к земле туманы кутали всю долину речки, тянулись к тайге и чуть не до маков застилали ее белым тихим озером.

А вверху над туманами было ясно и радостно.

Огненная дорожка легла над туманами. Но солнце еще не скоро раздвинет застывшие небеса.

Кешка равнодушен к расцвету зари. Его сон мутит.

Он сам себе сказал:

«Ага, светает... Значит, Кешка, спим...»

Лег на рванный кусок войлока, скрючился, укрылся с головой тулупом и закрыл глаза.

В прибрежных кустах птицы пробудились, чиркнули раз-другой, с зарей поздоровались и рассыпались песнями. На речке закрикали утки, в тайге кукушка куковать принялась, где-то затянула иволга.

Кешка, засыпая, думал:

«Как бы не проспать... как бы Устина упредить... Нет, Пров, врешь, брат... Тпррру... Не туда воротишь... Да, баба хорошая, баба ядреная... Тыква-то... Кого?.. Нет, я так... Не это... Убивать? Ага... Я Устина упрежу... Мы с ним, мы с ним... Да-а-а...»

— Ах, язви те... клоп!

XXIV

Солнца край показался над тайгой. А пьяная деревня спит.

Пров хоть поздно лег, а уж на ногах. Бляху надел медную, к Федоту-лавочнику направляется, лицо угрюмое. Федот спит еще, поднял Федота, всех в дому поднял:

— Время... солнце встало...

Солнце кверху плывет, туман изъедает — пропал туман.

Мужики, один за другим, — скрип да скрип воротами, — все к Федоту идут, таков уговор.

Порядком народу набралось, все хозяева явились. Плохо как-то у них, уныло. Все в пол глядят, глазами не встречаются. Головы трещат, лица припухли, носы ссажены, под глазами волдыри. Молча курят трубки, за встрепанные головы хватаются, покашливают:

— Ну, дак как, ребята? — тряхнул бороною Пров.

Молчат. Цыган сказал:

— Мутит, кум... Чижало...

А уж Федот бочоночек на стол поставил, хозяйка студень подала.

— Ну-ка... Тресните... По махонькой...

Закричали все, зашевелились, сплюнули. Водка у Федота добрая, не то что у Мошны, вон как обожгла, хо-х!..

— Я, значит, не в согласье... — сказал рябой мужик Лукьян, прожевывая студень...

— И я... — буркнул Обабок.

— Как так не в согласье?! — Пров с Федотом враз крикнули.

— А так что мы не жалаим... Мы, значит, спяну тогда... А вот пускай их в волюсть тащут... — сказал рябой.

— В волюсть?! — прикрикнул на него лавочник. — Тебе, голозадому, хорошо говорить-то... Да ить волюсть-то их выпустит... Черт... А ежели они сюда придут опять, да с отместкой? Нет, ребята... Это не дело. Я тоже своему добру хозяин. Они, варначье, за худым-то не постоят, у них рука не

дрогнет... Эн, каких скотинушек у нас с Провом вывалили... Али опять же этого, как его... Кузьму ножом чкнули... А?! На-ка, выкушайте...

По другому стакашку прошлись, — водка хорошая, холодная.

Пров резоны свои повел:

— Вот ты, Лукьян, ляпнул, а не подумал... А еще кум тоже называешься... А ты вот меня не пожалел... Дочь мою, Анну, не пожалел... Ведь кто ее улестил-то? Ведь из их же шайки, разве он — политик? Какой он, к чертовой матери, политик?! Вор...

— Ну-ка, чебурахни, робятки...

По третьему выпили.

— Ну, дык чего, мужики... — прогнусил безносый мужичонок, откидывая левую ногу и подбочениваясь. — Эна как их измолотили, куды их, разве до волости мыслимо? Ха!.. Где тут...

Загадали мужики, распоясались, румяные сидят, вино в головы бросилось, замутило разум.

Пров твердо говорит, рубит каждое слово топором:

— Этих варнаков-то, бузев-то... чего их жалеть... Они кто? Тьфу — вот кто... Они, собаки, в Расе людей режут, а их сюда? Пошто так-то... Разве дело? А?.. Чтoб нашу сторону гадить?! А?! Нет, врешь! Это не закон... Это глупость! Нам не надо, чтобы пакостить... Вот поймали, ну куда их? Как по-вашему, а?.. Опять в Расею?.. Видали там их, сволочей таких... Ну, куда ж их, гадов?..

— Айда! — взревел Обабок. — Кашу слопал, чашку об пол! Айда!..

— Всем миром, робята, штобы ни гу-гу... Собча штобы...

— Вперед острастка... — поддавал Федот жару.

— За сто верст штоб бузуи к нам не подходили, штоб помнили.

— Мы им покажем!.. Язви их!..

— Ого-го-о-о!..

— Натe-ка, выкушайте для храбрости...

— Ну, ребята, а ежели Устин...

— Устин?!

И все примокли.

— Пускай он в наше дело не вяжется! — первый закричал Цыган и сквозь зубы сплюнул.

— А-а... Святоша?.. В отцы-праотцы лезть? Врешь! — как из бочки ухнул Обабок и, покачиваясь, долго грозил кому-то обвязанным тряпкой пальцем.

— Что ж Устин... Устин сам по себе, — сказал лавочник Федот, — он богомол...

— Богомол?! — привскочил Обабок и опять сел. — Знаем мы! Нет, ты заодно с миром грешил... Ежели ты есть настоящий... Ежели ты, скажем, богомол... Дура! Вот он кто, ваш Устин... Поп! Вот он кто... Ха-ха... Нет, врешь, ты не при супротив миру... не при... Куда мир, туда ты... Дело... А он что?.. Тьфу!

И Обабок неожиданно ткнул в толстый живот Федота:

— Ты! Кровопиец! Дайко-сь скорей стакан вина... Душа горит...

Пров Обабку приказал созвать парней да подводы нарядить, а то народу мало: надо бродяг подальше от Кедровки увезти, надо Андрюшку-шпану разыскать, надо Бородулина тащить в село.

Пров сердитый: проспали мужики. Следовало б до свету справиться, без шуму, потихонечку, а теперь вся деревня на ногах: мальчишки оравой по улице ходят, чего-то ждут.

— Шишь вы, дьяволята! — гаркнул Обабок и, схватив палку, погнался за ними.

Только пыль взвилась.

XXV

Мужики ватагой подошли к чижовке и молча расселись на земле.

— Кешка! — крикнул Пров, обходя чижовку.

Кешка у бревен спал. Вскочил, измятым лицом на солнце уставился и, вспомнив все, обернулся к мужикам.

— Ты так-то караулишь?! Отворяй!..

— А вам пошто? — переспросил он, робко подходя к мужикам.

Кто-то захохотал... Кто-то выругался. С земли подыматься начали.

— Это не дело, мир честной... — задыхаясь, сказал Кешка. — Они люди незащитные... Нешто можно?..

— Да ты что, падло... Где ключ?!

— Я не дам! — закричал Кешка сдавленным голосом. — Я Устину скажу... — И то сжимая, то разжимая кулаки, весь опцетинился, грозно загорюдив широкой спиной дверь. — Лучше не грешни...

Мужики опешили. Кешка тяжело дышал, раздувая ноздри.

— Они всю ночь выли... Поди жаль ведь... Черти...

Кешка вдруг скривил рот, замигал, отвернулся и, быстро нахлобучив картуз, стал тереть огромным кулаком глаза.

Словно по команде налетели на него Мишка Ухорез с Сенькой Козырем, сшибли с ног, притиснули, Цыган живо ключ отнял.

— Устин!.. Усти-и-ин!.. Дедушка! — барахтаясь, кричал Кешка.

Звякнул замок, заскрипела дверь.

— Тащи его... — сердито зыкнул Пров и добродушно сказал, обращаясь к стоявшим в оцепенении бродягам: — Выходи, ребята, на улку...

Те сразу очутились в жадном, молчаливом людском кольце.

С остервеневшим Кешкой едва пять мужиков справились, бросили его в каталажку, заперли дверь. Он все кулаки отбил, скобку оторвал, того глядя дверь вышибет, грозит, ругается:

— Удавалюсь!!

Толпа хохочет, острит и про бродяг забыла.

— Вот, Кешка, и ты в копчег попал...

— Не ори!.. Эн Тыква идет... Постой давиться-то...

Много народу собралось. Бабы поодаль стоят, шепчутся, девок мало

— спят еще, парни, почти прямо с гулянки, среди мужиков жмутся, позы вывают, клюют носом, детишки возле матерей на цыпочки подымаются, вытягивая шеи, на руки к матерям просятся.

— Вся крыша чижевки, как поле цветами, усеяна ребятами.

Федота нет, ему некогда, на пашню укатил. Бродяги на колени опустились: только Лехман, выше всех среди толпы, столбом стоит, угрюмо смотрит в землю.

— Люди добрые... — тихо начинает Антон.

— Чуть жив... Господи... — причмокивают бабы и качают головами.

— Смилуйтесь, люди добрые... Пожалейте...

И все время, пока он говорит, Ванька Свистопляс, стоя на коленях и широко опершись ладонями в землю, то и дело бухается в ноги мужикам и тихо, без слов, скулит...

— Пойдем, ребята!.. — громко сказал бродягам Пров. — Нечего тут...

Толпа утихла.

— Вставай! — приказал Пров.

— Люди добрые!.. — взмолил Антон. — Меня казните, их не трогайте...

Мой грех... Я все напакостил...

— Ты?! — крикнул Крысан и вылез из толпы. — И моего мальчика ножом пырнул ты?!

— Ну, я... ну... — уронил Антон.

Крысан так крепко стиснул зубы, что черная борода хохломом вперед подалась, а скулы заходили желваками.

— Вон лесовик-то стоит!.. Орясина-то!.. Вон кто... Бей его, ребята!!

— Стой! — схватил Пров за ворот Крысана. — Не лезь!.. Мы сами разберем.

— Дурачьё... Чалдоны... — презрительно прогудел Лехман и ударил по толпе взглядом.

Сенька с Мишкой — два друта — с кулаками подлетают, громче всех орут:

— Они, варнаки, и коров перерезали... Не иначе!

На Прова напирает возбужденная толпа.

— Стой! Сдай назад!.. Черти!

— А-а-а... Заступник?..

Бабы от перепуга к месту приросли. Толпа напирает и гудит. Кто-то пальцы в рот вложил и оглушительно свистнул.

— Бей их!

Тюля отчаянно взвыл, Лехмана к земле за штанину тянет:

— Дедка, проси... Дедка, на колени...

Пров охрип:

— Сдай, тебе говорят!!!

Но голоса пьяно ревели:

— Расшибем!

Улюлюкали, кулаки сжимались, глаза метали молнии, все ходило ходуном.

И вдруг толпа враз грянула ядреным, зычным хохотом и утонувшими в смехе глазами унизала неожиданно кувырнувшегося рыжего Обабка.

Обабок, ко всему равнодушный, стоял пред этим смиренхонько рядом с Провом и, мечтая о бутылочке, только что потянулся и сладко позевнул, а какой-то парнишка, наметив с крыши в Лехмана, как трахнет невзначай в широко разинутый Обабков рот липкой грязью. Обабок на аршин припрыгнул и, дико выпучив глаза, шлепнулся задом наземь:

— Тьфу!!

Заливалась толпа, буйно звенела на крыше детвора, хохотали бабы, девки, Пров, хохотал бежавший по дороге веселый звонарь Тимоха, даже у Тюли смешливо заходили под глазами фонари.

А сидевший на земле Обабок усиленно плевал, отдирая грязь из рыжей бороды и по-медвежьки рывкал:

— От так вдарил!.. Язви те...

Не дал Пров остыть смеху, замахал руками, закричал снисходительно строгим голосом, чуть улыбаясь:

— Ну, молодцы, расходись, расходись!.. С богом по домам... Бабы, девки, проваливай!..

Бродяги поднялись и глядели с надеждой на Прова.

Когда угасла последняя смешинка, опять окаменело сердце Прова, строгое, темное, мозолистое. Утрюмо вскидываясь взглядом на разбредавшихся баб, Пров чувал, как набухает злобой его сердце:

«Три белые, последние... Ну, погоди-и-и!»

И когда поредела толпа, Пров отвел в сторону Цыгана да Сеньку Козыря и долго им что-то наговаривал, указывая вдаль: крутой наказ дал. Еще двоих отвел.

— Ну, так счастливо, ребята... Айда!..

— Айда! — крикнул басом оправившийся Обабок и под злым взглядом Прова запыхал к своей избе.

Повели бродяг пять мужиков.

А за ними следом другая компания пошла — Андрея разыскивать, что у Бородулина деньги утянул; его, варнака, надо изымать обязательно: он из Бородулина душу вышиб... Какой он, к лешевой матери, политик... Вор!

Про Кешку и забыли. Он орет в чижевке, но глухо, плохо слышно, Тимоху кличет:

— Где ты, дьявол, кружишься?! Живой ногой к Устину... Живо, сек твою век!..

— А подь ты к... — огрызается тот, скаля зубы. — Я лучше с парнишками в городки побьюсь...

Бабы только до веселой горки дошли.

Ребяенок едва прогнали.

А карапузик Митька хитростью взял, к речке спрыгнул, бежит у воды, его не видать. Бежит-бежит да наверх выскочит, а как в лес вошли, по-за деревьями прячется, — одна штанишка со вчерашнего дня засучена, другая землю метет.

Староста Пров, отправив бродяг, решил остаться дома и медленно пошел по улице. Но чем ближе к дому, ноги быстрее несут, — мысли подгоняют их, мысли быстро заработали. И, уж не замечая встречных, вбежал Пров в свою кладовку, дробовик сорвал с крючка, — вот хорошо, Матрена не заметила, да по задворкам, крадучись, назад.

Когда бежал мимо Федотовых задов, слышит — мужики галдят, вином угощаются.

«Разве тянуть для храбрости? Нет, дуй, не стой... Лупи без передыху...»

XXVI

Бродяги со скрученными руками шли тихо.

— Куда же вы нас ведете? — спросил Лехман.

— В волость.

Ваньке Свистоплясу в свалке, вместе с ухом, ногу повредили.

Идет Ванька, прихрамывает, ступать очень больно. Стонет.

Тюля бодро шагал бы, если б не беда: гирями беда нависла, гнет к земле, горбит. Левый глаз совсем запух, закрылся, а правый — щелочкой выглядывает из багрового подтека; как слепой идет Тюля, голову боком поставил.

Антону рук не связали, уважили:

— У меня, милые, бок поврежден...

Он нес узелок с новыми своими сапогами. Под глазами черные тени пали, щеки провалились, без шапки идет, волосы прилипли ко лбу, ворот расстегнут, на голой груди — гайтан с крестом.

Солнце подымается, ласкает утренний тихий воздух — теплом по земле стелется.

Полям идут — цветами поле убрано, — прощайте, цветы!

Медленно движутся: путь труден.

Не разговаривают, не советуются, а близко чувствуют друг друга, души их в одну слились. Так легче: не один — вчетвером беду несут.

Черемуховой зарослью идут — черемуха белым-бела. Воздухом не надышишься, до того сладостен и приятен запах.

Тайгою идут — хорошо в тайге. Стоит молчаливая, призадумавшись, точно храм, божий дом, ароматный дым от ладана плавает.

Вот и зеленая лужайка, вся в солнце: хорошо бы чайку попить.

— Хорошо бы, Тюля... — силится пошутить Лехман.

— Славно ба, — на полуслове понял Тюля.

Лехман шагает крупно, в груди у него хрипит, согнулся, лицо темное. Версты полторы от деревни прошли, немогота опять настигла. Нет сил идти.

В конвоиры к бродягам Крысан прилип.

Все мужики как мужики: идут, посменываются. Цыган бутылку вина из плисовых штанов вытащил, отпил, другому передал, третьему; только Крысан молча идет, нахлобучив на брови зимнюю свою, с наушниками, шапку, за щеками сердитые желваки бегают, зубы стиснуты, глаза рысьи, оловянк-

ные, жрут бродяг неистово. Молчком идет, чуть поодаль, ружье у него за плечами хорошее, называется «турка», медвежиное.

— Развяжите нас, пожалуйста... Комар поедом ест...

Мужики не ответили. Бродяги мотали головами, но комары жадно пили кровь.

Только до «ростани» дошли, до «крестов», где дороги тасжные пересеклись, глядят — телега тарыхтит. Заимочник Науменко, бывший каторжник, домой едет, корье везет.

— Куда, робяты?

— Да вот... бузуев... А вино у тебя есть?

— Есть... Вот дойдете до займки — угощу.

Когда подошли к займке, Крысан спросил:

— А нет ли у тебя, Науменко, лопаты хорошей али двух?

— Зачем?

— Бузуев закапывать... — пробурчал Крысан.

У Науменко бородатое лицо сразу вытянулось:

— Да что-о-о вы это, робята...

А бродяг бросило в дрожь.

Конвоиры вошли в избу. Каторжник Науменко подошел к бродягам:

— Бегите, братцы, скорейча... Я развяжу...

— Нет, — сказал Лехман. — Нам все одно подыхать... У нас все кости перебиты... — Губы его дрожали, брови то лезли вверх, то падали.

Мужики, выпив по стакану, вышли и собрались в путь.

Как ни отказывался Науменко идти с ними, силком принудили.

— Будешь перечить — все твое жительство спалим! — пригрозил Крысан. Всей деревней придем...

Науменко скрепя сердце на своей лошаденке опять вслед плелся и выпытывал у братанов Власовых, в чем вина бродяг.

Антон шел, бессмысленно озираясь, и ему хотелось громко, на всю тайгу, заголосить или вскинуть вверх голову и завывать диким звериным воем.

А Ванька Свистопяс с Тюлей готовы были броситься пред мужиками, целовать им ноги и молить о пощаде и милости.

Только у Лехмана своя была дума, упрямая. Ей некуда разгуляться: в стену уперлась и бесповоротно встала.

— Бей наповал!!! — неожиданно крикнул он и враз остановился.

Сзади грянул выстрел: «турка», ружье медвежиное, грохнуло на всю тайгу и раскатилось.

— Ой, ты!! — дико взвыли братаны Власовы.

Бродяги помертвели.

А Лехман назад посунулся, потом пал на четвереньки и страшно закатил глаза. Орошая пыль кровью из простреленной ноги, он ползал по дороге и сквозь стоны сек подошедшего Крысана:

— Подлец ты, а не стрелок... Гадюка...

— Замолчь, шволочь! — взмахнул Крысан прикладом. — Убью...

— Что ты, собака!.. — сгреб его Науменко.

— Удди, дьява-а-а! — рванулся Крысан.

Он весь был в злобе: захлебываясь, дышал и свирепо таращил глаза и на Науменко, и на оторопевших братьянов Власовых.

Цыган далеко впереди лесом шел, песни орал. Как услышал выстрел, выскочил на опушку и, проверив бродяг взглядом, крикнул:

— Кого?!

Братаны Власовы, высокие, белобрысые, в черных запоясанных армяках, Лехмана на телегу положили. Они мужики смиренные: им бы без оглядки домой бежать, да против миру нельзя!

А мальчонка Митька что есть духу полетел домой, в Кедровку, и, вытаращив глаза, крикнул, чужим голосом ревел:

— Уй... уй... уй!..

— Ах ты гнида! Хватай его! — пугал Цыган, притоптывая на месте.

Но тот бежал, не оглядываясь, поддегивал на ходу штанишки и не переставая выл.

Андрей очнулся и открыл глаза. Над ним голубело небо. Он осторожно приподнялся на локтях и, крадучись, огляделся. Тихо было, кругом кусты, внизу переливалась вода.

— Ловко... вот это ловко... — криво ухмыльнулся Андрей и закусил вдруг запрыгавшие губы. — Фу, че-орт...

Он опять лег и закрыл глаза. Долго лежал так, ни о чем не думая, в каком-то полусне.

— Нет, погоди... — сорвалось у него. Он быстро сел. — Еще не все конечно... Да... — Его голос дрожал, срывался, был болезненным и рыхлым.

Андрей крепко сомкнул кисти рук и уставился в одну точку. Он старался сосредоточиться на пережитом. Но все только что происшедшее, такое дикое и непонятное, куда-то отхлынуло и померкло.

«Что это значит? Где Анна? Где Бородулин? — пытался Андрей повернуть думы и подчинить их себе, но тут же всплывало ненужное: — Надо сапоги новые... хорошо я срезал белку...» — и затуманивало главное: как быть, что делать?

«Надо разыскать Прова», — твердо сказал Андрей, пытаясь представить себе отца Анны: он никогда не видал его. Но мысль, не дав ростков, лениво затихала.

Андрей поднялся и, откинув чуб, вышел на поляну.

А в это время жадно уставились на него два человечески глаза.

Андрей, учуяв, круто повернулся: у опушки, недалеко от него, стоял мужик.

— Эй, дядя! — крикнул Андрей. — Проведи меня к старосте... Я политический... Из Назимова...

— А-а-а, — остолбенев на миг, протянул Пров. — Так это ты, змей?.. — Он вскинул ружье, подбежал поближе и прицелился.

Андрей стоял неподвижно: ноги не повиновались, и пропал голос.

Но какая-то сила ударила в душу Прова, зарыбило в глазах, ружье закачалось, опустились руки.

— Отвела, заступница, — выдохнул Пров, перекрестился и подошел к

Андрею.

Тот поднял на него глаза и достал горящим взглядом до самого его сердца.

— Ну, вот... я один... Бей! Стреляй...

Пров разинул рот и не знал, что делать.

— Дочерь моя... Анна... Эх, брат-брат...

Андрей покачнулся.

— Пров?.. Пров Михалыч?! — и сразу почувствовал, что ему не хватает воздуха.

— На-ко, оболонись... — сказал, засопев, Пров, снял армяк и бросил к ногам Андрея.

XXVII

Варька вдруг вскочила и только начала Анну будить, как отворилась дверь.

— Варюха, Сенька по тебя прислал, требует тебя, — пропищал белоголовый Оньша, братишка Сеньки Козыря.

Варька с кулаками бросилась к парнишке:

— Убирайся, дьяволенок, покуда цел!.. Я ему ништо!.. Тре-е-бо-вал... Вот я чигас мужикам все обскажу... Живорез он... Живорез!

Парнишка выскочил, захлопнул дверь, опять чуть приоткрыл, крикнул:

— Потаску-у-ха!.. — и метнулся вниз по лестнице...

— Ты что? — встревожилась проснувшаяся Анна.

Варька стоит, опершись о печку локтем, и тяжело дышит.

— И батька-то твой, Пров-то Михалыч, хорош... — сквозь слезы выкрикивает она. — Эн бузுவ кончить порешил... На что похоже? Псы этикие... Варнаки...

Анна сразу все поняла, быстро оделась и, слова не сказав Варьке, побежала домой.

А Варька опамятовалась. Девичьи глаза Таньку видят, разлучницу. Щеки вспыхивают, белеют и вновь загораются, словно тяжелая Сенькина рука раз за разом бьет по ее лицу.

На голоса путь свой правит Варька, торопится, как бы Сенька не наступил, бегом пропустилась и, не помня себя, вбежала в Федотов двор.

А в Федотовом дворе — веселье. Мужики кричат, хохочут, в ладоши бьют:

— Оп!.. Оп!.. Оп!.. Ай да молодка... Наяривай, Обабок... Не подгадь...

Пьяный Обабок в валяных сапогах возле назимовской Даши пляшет, а та, вся в алых кумачах, дробно пристукивая полусапожками, топчется, шутиво ударяя платком по плечу Обабка, и покрикивает:

— Ой, да и чего же мне не гулять!..

Вспотевший Обабок задохнулся, — валенки ходу не дают — мужики хохочут пуще...

— На, Обабок, клоунь... Выкушай!..

Обабок водку тянет, а возле Дарьи уже двое других плясунов роют ка-

блуками землю.

— Варька, иди, становись в круг...

Та, высмотрев Федота, к нему направилась, а хмельная Даша — к ней.

— Ой, девонька... Весело-то мне как... Гуляй знай, солдатка... Мужняя жена... Гуляй!.. Поминай Бородулина!..

Она вдруг заплакала и, плача, стала целовать Варьку, а та, вырываясь, кричала мужикам:

— Вот что, хрещенные... Вы пошто бузுவ убивать повели?

— Жисть свою пропиваю! — взвизгивала Даша.

— Они тут ни при чем... Это Сеньга-жиган!..

— Плюй мне, девонька, в глаза!

— Он коров всех перерезал... Сенька...

Но мужики ничего не понимают, — Федот пьяней вина, — меж собою ссору завели.

Даша плачет:

— Ой, нехорошо... Головушка скружилась.

Варька Федоту в самые уши кричит:

— Дяденька Федот, спосылай мужиков-то! Пусть вернут... Долго ль на лошади... Это што ж тако, господи...

— Варька?.. Эй, Варька!.. — Обабок к ней подходит. — На-ка, тяпни...

Плюнь Сеньке в рыло... Во-от...

— Да, дяденька Обабок...

— Пей!..

— Варька... Варва-а-рушка... Пляши!.. — окружили мужики.

— Даша... Дарья Митревна... Пригубь...

— Эх, молодайки... Ай-ха!..

— Бузув-то... Ради Христа...

— Бузуйам — смерть!

Тогда Варька, обругав по-мужицки пьяных, вырвалась из утарного кольца и побежала к Прову.

А навстречу ей Анна, простоволосая, на бородулинском коне скачет:

— Варька, беги скорей к Устину... Я за тяткой... Я их наздогоню!.. — и скрылась в прогоне.

Дедушка Устин давно уже на ногах, по хозяйству управляется: бабы нет, один. Все Кешку ждал. Нет Кешки — сам пошел.

На улице ни души. Только мальчишки кричали ему:

— Бузув-то увели, дедка...

Устин — бегом, на ходу разулся, сапоги далеко от себя швырнул. Варька встретилась:

— Дедушка, родимый...

Устин дико уставился на трясущуюся Варьку.

Потом вдруг круго повернул и проворно, по-молодому, будто живой воды хлебнул, побежал вдоль улицы.

— Айда! — крикнул он Тимохе и махнул рукой. — Бей сполох... Да шибче... Со всей силы чтоби!..

Тимоха вскочил, огляделся кругом, глуповато улыбнулся и, гогоча во все горло, припустился к часовне.

А дедушка Устин в край деревни к своей избушке бросился.

— Нет, стой, хрещеные... Я вас возворочу...

XXVIII

— А не уволите ли вы нас, ребята? — на ходу робко спросили Власовы.

— Хе! — по-собачьи оскалил белые зубы Цыган. — Вы очень даже хитропузые... Я вас так уволю, что...

Власовы прикусили языки.

Науменко остановил лошадь:

— Привстань-ка, старичок... — и подложил под простреленную, в крови, ногу Лехмана свой армяк.

Лехман застонал, пристально поглядел в глаза Науменко и сказал:

— Пить.

Тот достал из передка туесок с квасом.

— Эй, ты! Цыть!

— Да ну-у, Крысан... Чего ты, всамделе... — уговаривал Науменко.

— Им все одно крышка!..

— Ну, я им вместо попа буду... Дозволь, пожалуста... вроде как причашу... — И Науменко горько улыбнулся.

Цыган захохотал. Бродяги жадно пили квас.

Науменко опять стал просить мужиков:

— Ребята, вы идите с богом домой, а мы вот с товарищем — тут недалеко живем — запрежем коней да доставим людей-то в волость...

— В воло-о-ость?! — ехидно протянул Крысан и весь задергался. — А оттуда куда? Не в Расею же... Уж их тут, в Сибири-то, сколь побито?.. Си-и-ла... — и желваки за щеками быстро заходили.

— Грешите, дьяволы, одни! — с сердцем бросил вожжи Науменко.

— А это видел?! — загремел Цыган, выхватив из-за пояса топор.

Заскрипела телега. Опять пошли.

Тюля был крепче всех: его не топтали сапогами, как Ваньку и Антона... И потому, что много еще было непочатой силы в Тюле, ему неотразимо хотелось жить.

Страх исчез в Тюле, и подбитые глаза его дерзко щунали лохматую стену тайги.

Но Крысан зорко смотрит, чует, должно быть, его намерение, по пятам идет, сверлит глазами спину.

Зло берет Тюлю.

— Ты не шибко на тайгу-то пьялься... — поравнявшись с ним, скрипит Крысан и хихикает.

У Тюли сжался кулак, он хотел с размаху ударить Крысана в висок, но сдержался, а левая нога его сладко ощутила лежащий за голенищем нож.

— Не сумлевайся, — бросает он Крысану, стараясь пропустить его вперед, но тот, дав Тюле тумака, сквозь зубы цедит:



— Наддай шагу...

Тюле это нипочем, широко про себя улыбается улыбкой тайной: в мыслях он уже давно по тайге дешевым скоком носится, давно на своей воле живет... Ух ты...

У Ваньки Свистопяся все тело ноет, ресницы дрема смыкает. Идет или нейдет Ванька, жив или помер — не знает, не хочет, не может знать. Голоса спорят о чем-то, ругаются. Чуть приоткрыл глаза: скрипит телега, на ней Лехман, возле Лехмана, скрючившись, Антон. Телега скрипит, на телеге Лехман... Стонет... Слипаются у Ваньки ресницы... Вздогнул, осмотрелся, ноги сами собой идут, в кустах корова рыжая... нет, черная...

«Корова... корова...» — и вдруг, точно толкнул кто в спину, посунулся быстро носом и упал.

— Тпруу! — гаркнул Цыган. — Окривел, черт?

— Вали, Цыган... Время... — снимая с плеча ружье, сказал Крысан, и все засуетились.

Ванька вмиг потом обнался, и лицо его потемнело.

— От так штука, язви те... — сказал Крысан, шаря карманы. — У тебя пули есть?

— Нету, — ответил Цыган.

— Тьфу!.. — Крысан позеленел: у него всего две пули — мало.

— У тебя «турка» добрая, — сказал Цыган, — она двоих прошьет...

У Крысана дрожали руки. Запавшие рысьи глаза его о чем-то думали, решали. Крысан вздохнул.

— Ребята, хотите покурить? — предложил Цыган.

— Дай-ка, дяленька, скорей... дай!.. — Ванька Свистопяся, глотая слюни, подкатился подхалимом к Цыгану и сладко взглянул в глаза.

И мелькнула у Ваньки мысль: разжалобить хмельных мужиков, умолить, укланяться, умаслить.

— Дяленька... Цыганушко...

Ванька жадно затянулся трубкой. Он три дня не курил: голова у него сразу закружилась, запрыгала тайга, все поплыло мимо и закачалось.

Антон выгашил из-за пазухи бумажку.

— Вот тут, значит, адрес... Отпишите, ради Христа, уведомьте. Доченька моя там... Так, мол, и так... Кончился... От болезни, мол, от тифу...

— Ладно, отпишем... — буркнул Крысан. Он поднес к раскосым своим глазам бумажку и, разорвав ее на клочья, втоптал в землю. У Антона лицо сморщилось и задрожало.

— Ай! — вдруг крикнул Крысан и вскочил. — Ребята!!

С треском и шумом Тюля в тайгу ринулся.

— Лови, лови!!

Засовались взад-вперед.

— Живо — догоняй!..

Крысан прицелился на удаляющийся хруст и оглушил всех выстрелом.

— Догоня-а-а-й!..

Братаны Власовы с Науменко схватили лопаты и радостно бросились

в тайгу, домой.

А Тюля, как заяц, перекувырнулся через голову и с хриплым ревом пополз в кусты.

— Зацепило! Зацепило! — яростно выл Крысан, настигая Тюлю.

Провалившись в какую-то берлогу, Тюля перевернулся на спину, подтянул к животу скрюченные ноги и взмахивал отчаянно руками.

— Не тро-о-г! Я расейский!.. Я в ножки поклонюсь...

Сорвавшись вниз, Крысан медведем надел на раненого Тюлю. Тот, обливаясь кровью, крепко облапил Крысана и, норовя вывернуться, занес над ним нож. Крысан схватился за лезвие ножа, грыз зубами кисть Тюлиной руки. И оба, словно бешеные волки, схлестнувшись и яро рыча, клубком катались по земле.

Еще немного, и Тюля, почувяв смерть, жутко завизжал.

— Ты — расейский?! — прошипел Крысан, отбросив нож, и, поднявшись, как змея на хвосте, мертвой хваткой впился в горло захрипевшего Тюли.

Ошеломленные Антон и Ванька приросли к земле.

— Ну, как?! — нетерпеливо крикнул Цыган вышедшему из леса Крысану. Тот нетвердо шел, прихрамывая и суча локтями, а челюсти его жадно чавкали, словно наскоро перегрызали кость.

— Устукал, нет?

— Готовый... — буркнул Крысан и перевел дух.

Антон перекрестился, Ванька, скривив рот, заморгал глазами, а Лехман кашлянул и шевельнулся.

— Станови их всех в ряд... — пропавшим, лающим голосом прохрипел Крысан, отер о траву замасленные кровью, изрезанные руки и стал, весь дергаясь, суетливо заряжать ружье.

— Надо двоих, — сказал Цыган и решительными шагами подошел к Антону. — Иди-ка вот сюда...

Ноги у Антона со страху подгибались.

Цыган подхватил его под мышки и поволок к сосне.

— Стой правильно...

Крысан вязал Ваньку, приговаривая:

— А то и ты, сволочь такая... того гляди, что...

Потом взяли Лехмана и поднесли к Антону. Антон не мог стоять. Он сидел под сосной, крестился и шевелил белыми губами.

Подняли Антона на ноги, вновь прислонили спиной к сосне и вплотную к нему приставили Лехмана. Огромный Лехман совсем заслонил собою шуплого Антона.

Крысан стал прикручивать вожжами к дереву это двойное человеческое тело. Лехман с ненавистью плюнул в ненавистные раскосые глаза Крысана. Тот размахнулся и, крикнув, ударил старика в нос.

— Хор-рош молодчик... — боднул головой Лехман; из разбитого носа побежала кровь.

Солнце светило вовсю. Вблизи куковала кукушка. Набежавший ветерок прошумел вершинами и осыпал голову Лехмана золотыми иглами хвой.

Вдруг лошадь посмотрела назад, поводила ушами и заржала.

Цыган крикнул:

— Защурься, старик!

А Крысан взвел курок. Ванька в страхе опрокинулся вниз лицом и по-бабьи заголосил.

— Прощай, белый свет... простите, братцы... Спасибо... — громко, отчетливо сказал мужиком Лехман. Он повернул назад голову, тронул локтем стоявшего сзади полумертвого Антона и простился с ним дрожащим, в слезах, голосом: — Антонушка, голубь, прощай... Прощай, товарищ милый.

Грохнул выстрел. Лехман клонил носом, точно его по затылку ударили. Еще раз боднул головой, еще раз... пожевал губами, и голова его низко упала на грудь.

Цыган с Крысаном подбежали к Лехману.

— В сердце... — хладнокровно сказал Крысан.

Когда развязали вожжи и отбросили тело Лехмана, Антон тоже упал.

— Этого не потрогало... — сказал Цыган, осматривая грудь лежавшего в обмороке Антона. — В том, окаянная, засела, в старике.

— Да-кось скорей топор... Али сам долбани...

— Вали ты... А я эту пропастину-то ахну, — покосился Цыган на Ваньку и выворотил из земли огромный камнище.

— Ну, шпана чертова, подставляй башку!

Вдруг, едва не стоптав их, примчалась на коне Анна.

Сразу, молча, соскочив с лошади, к Лехману с Антоном подбежала:

— Мать, владычица...

В руках у нее жилетка, в тайге нашла, Андрея жилетка рваная.

Размахнулась Анна и со всех сил хлестнула Цыгана жилеткой по лицу.

От внезапного удара жутких глаз Анны Цыган упал.

— Ой, ты! Оставь... Оставь... — бормотал он и полз по земле, заслоняясь рукой.

Губы Анны прыгали. В гневе, вмиг к Крысану обернулась.

— Убегай!! — взвыл Цыган... — Бешеная... Изъест!! Ой, ты!

Крысан, выбросив навстречу Анне руки, быстро пятился к тайге и, ошеломленный, кричал:

— Анна Провня... Что ты, что ты... Аннушка! — и, метнувшись вбок, стремглав кинулся под гору.

Анна пошатнулась, запрокинула с растрепанными косами простоволовую голову, схватилась за виски и так мучительно и страшно застонала, что Ванька Свистопляс, испугавшись, крикнул:

— Умница! Умница...

— Ой, кровушка моя... — Анна перегнулась вся, повалилась на землю и дико захохотала-заплакала.

Ванька с открытым ртом, весь в поту, скакал к ней связанными ногами:

— Умница... Умница!.. Очкнись!

XXIX

Глуловато улыбаясь, Тимоха бьет сполох. Колокол гудит, колокол один за другим упруго отбрасывает звенящие удары, торопливо гонит их во все стороны и медным горохом дробно рассыпает по тайге. На краю деревни горела изба Устина.

— Тащи, ребята, топоры! — пьяно шумел народ.

— Топоры-ы-ы...

— Сади бревном...

— Бревно! Бревно-о-о...

Обабок охрипшим голосом кричал:

— Где дедка Устин?.. Где он?.. — и лез в огонь.

Его схватывали и отбрасывали прочь.

— Ай-ха!.. — гремел Обабок и снова лез.

Но избенка уж догорала.

А Устин в это время был в часовне. Он стоял перед иконой и молился.

— Матушка, помоги... Заступница, помоги...

Много лет старому Устину, а никогда так не плакал.

Хоть и раньше не вовсе ладно жили мужики, однако такой черной беды сроду не было. Господи, до чего дожил Устин, мужичий дед, мужичий поп и советчик! Кто за деревню будет богу ответ держать? Он, Устин...

— Заступница, отведи грозу... Иверская наша помощница...

Настали, знать, последние времена. Колесом пошла деревня. Пойло окаянное, винище, всему голова. Хоть густа тайга, бездорожна, а прикатилось-таки это лешево пойло и сюда, одурманило мужичьи башки, душу очернило, сердце ополло зельем. А солнышка-то нет, темно.

И Устин падает ниц и, плача, долго лежит так, громко печалуясь богородице:

— Утихомирь, возвори мужиков. Постарайся гля миру, гля руськова... Не подымусь, покуль не тово, не этово... Ежели ты, пресвятая, о нас не похлопочешь, кто ж тогда? Ну, кто?.. Ты только подумай, владычица... Утулима божжа мать...

Много Устин чувствует своим мужичьим сердцем, но словами душа его бедна.

А Тимоха яро бьет тут же, за стеною, в колокол. Колокол гудит, шумит пьяная толпа у потухшего пожара, и, слыша все это, старый Устин, весь просветленный, снова начинает со всей страстью и упованием молиться.

Слышит Устин: придвинулся к часовне рев, а Тимохин колокол умолк.

— Эй, выходи-ко ты... Эй, Устин?!

— Вылазь!..

— А-а-а... Деревню поджигать?!

Вышел к ним Устин твердо. Остановился на крылечке, одернув рубаху, ворот оправил, боднул головой и строго кашлянул.

— Ты... ты... тьфу!.. Кабы деревня-то пластать-тать-тать... Старый ты черт!.. — все враз орут пьяными глотками. Много мужиков.

Устин силится перекричать толпу, но голос его тонет в общем реве.

— Тащи его за бороду... Дуй его!..

— А-а-а? Жечь?!

Устин вскидывает вверх руки, и над толпой взвывается его резкий голос.

Мужики, постепенно смолкая, плотней стали облегать крыльцо, тяжело сопя и грозя глазами.

— Ах вы непутевые... — начал Устин, и не понять было: улыбка ль по его лицу скользит, или он собирается заплакать. — Вы чего ж это, робяты, надумали, а? Куда бузует дели, где они, а?! — весь дергаясь, выкрикивал Устин, притопывая враз обеими ногами и встряхивая головой, будто собираясь клонуть стоявшего перед ним Обабка. — За винище руки кровью замарали... Тьфу!.. А бог-то где у вас? А? Правда-то?

— Мы их в волость...

— В волость?.. Эй, Окентий! — окликнул Устин Кешку. — Ты чего молчишь? Где бузун?..

— Я ни при чем... — бормотал Кешка, то нахлобучивая, то приподымая картуз, — как мир... его дело...

— Они нам поперек горла стали... — оживились мужики. — Они пакостники, они парня ножом, они коров перерезали... Они...

— Врете!.. — вдруг вынырнула из толпы Варька. — А вот кто коров-то кончил... вот!.. — ткнула пальцем на Сеньку. — Чего бельмы-то пialiшь?! Признавайся!

Тот, растопырив руки и весь пригнувшись к земле, коршуном к Варьке кинулся. Та в часовню.

— Бей! На, бей, живорез!..

— Куда прешь? Не видишь?! — сбросив с крыльца Сеньку Козыря, взмахнул грузным кулаком каморщик Кешка.

— Ведут, ведут... Эвона!.. — удивленно и громко заорали сзади.

И всей деревней побежали за околицу, навстречу показавшейся толпе.

Только дед Устин кой с кем остался и с высокого крыльца часовни, прищурив глаза, всматривался вдаль.

Наступил вечер.

XXX

Тихо плетется в гору рыжая кобылка, надсадисто: в телеге трое. Невеселы идут по бокам телеги люди.

— Образуься, Аннушка... Дигятко... — говорит осунувшийся Пров.

— Подай мне Андрюшу, — тихо вскрикивает прикрученная к телеге Анна.

— Я здесь, Анна... С тобой...

— Уйди!..

Андрей-политик, путаясь в армяке Прова, идет возле Анны и гладит ей волосы. Но та мотает головой и самое обидное слово силится крикнуть, но слово это забыто.

Возле Анны, поджав руками живот, сидит Антон. Выражение лица детское, удивленное: глаза целуют каждого и каждого благодарят.

Ванька Свистопляс, причмокивая, правит лошадей. Запухшая нога его вытянута вдоль телеги, а левая рука нет-нет да и пощупает больное ухо. Он, как волк, исподлобья озирается на Крысана, глаза бегают и боязливо ширятся на показавшуюся из деревни толпу.

— Анна... — уж который раз подавленным голосом начинает Андрей. Иссиня-бледное лицо его подергивается, на правом виске прыгает живчик, упорный взгляд прикован к Анне. В его глазах появилось что-то новое, пугающее. Когда он переводит их на Прова, тот отворачивается, шумно вздыхает и никнет головой.

Братаны Власовы тоже здесь. Только бывшего каторжника Науменко нет, убежал, и нет Тюли с Лехманом.

Но Крысан, как наяву, видит старого бродягу. На Анну взгляд направит — не Анна: Лехман лежит и хрипло кричит несуразное; взглянет на Антона — Лехман сидит раскачиваясь; зажмурится — вновь Лехмана видит, его мертвые глаза, его раскрытый беззубый рот, его простреленную залитую кровью грудь.

И уж нет в Крысане злобы, не ходят за щеками желваки, глаза погасли, пересохший рот открыт. Он весь обвис, осел, покривился, еле ноги тащит, вздымая пыль.

— Плохо вам будет, — говорит Андрей.

— А ты как-нибудь, Андрей Митрич... тово... заступись... — просят мужики, — знамо, спьяну...

— Спьяну? Не в этом дело...

И мужики опять идут молча и тяжело сопят.

До деревни с версту осталось. Как спустились с горки, скрылась приближающаяся толпа, в зеленых потонула кустах.

— Тятенька, где ты? — тихо зовет Анна. — Развяжи меня, тятенька...

Но Пров едва понимает, что говорит дочь. Он вопросительно смотрит на мужиков, с ними взором советуется:

— Да, до-о-ченька, да потерпи...

А сам о надвигающейся и уже нависшей туче думает. Не о Лехмане, брошенном в тайге, не о пьяной сходке мужиков, не о зарезанных своих коровах, не о тюрьме, не о каторге — о жизни своей думает Пров: рехнулась дочь ума, кончилась и его, Прова, жизнь. Пропадай пропадом все: и Матрена, и хозяйство, и хромой сивый мерин, и деревня, и тайга, и белый свет, в могилу бы скорей, в домовину бы скорей, под крест лечь...

— Тятенька...

Пров не слышит: высокой стеной скорбь его окружила, как ночь среди бела дня окутала. Но где-то огонек дрожит: может, оклемается, может, придет в себя Анна. А эти двое — пусть живут, мир бродяг приотит, пусть только помалкивают, а старика того убиенного погребенню всей деревней предадут, — что ж, дело божье, суд божий. Мир смолчит, сору не вынесет: друг за дружку ответ держать будут, порука круговая. Андрея можно упро-

сить, поклониться ему: голова у него не мужиковская, научит...

— Ну, ну... — вслух роняет Пров и уже веселей поглядывает на курдючную возле часовни рощу.

По дороге от деревни мужик скачет. По дороге от деревни впереди всех Матрена бежит, за ней ребята, за ними толпа с горы спускается.

XXXI

Подвыпившая Даша в ногах валялась у Устина:

— Дедушка ты мой светлый... Ослобони мою душеньку... С панталыку я спиблаась, дедушка...

— Никто, как бог...

А уж толпа вливалась в деревню. Все, кто оставался с Устином, поспешили навстречу.

Даша ничего не видела, кроме добрых глаз Устина.

— Судите меня, люди добрые... я, потаскуха, с Бородулиным жила... Солдатка я... воровка я... — она громко сморкалась, утирала слезы и, ползая, хваталась за Устиновы босые ноги. Устин приседал, удерживая равновесие, и, весь нахохлившись, скрипел своим стариковским, с огоньком, голосом:

— Совесть, мать, забыла... Бесстыжая ты...

— У Бородулина деньги я украла... А не бузуй... Ох, светы мои...

Устин гневно всплеснул руками:

— Ведь ты... Черт ты... Ведь бузуюв-то... Ах ты ведьма!..

— Хорошень меня... Задави... Убей...

Вдруг, испугав Устина, Даша взвизгнула и бросилась к подъехавшей телеге:

— Аннушка! Девонька!..

— Тпру! — пробасил Обабок. — Приехали...

— Молись, ребята, богу, — выдвигаясь из вновь выросшей толпы, проговорил какой-то старик.

— Чего — богу... Айда домой, — сказал Пров. — Понужай, Матрен, кобылу-то.

— Стойте! — крикнул Устин с крыльца часовни и сердито одернул рубаху.

А тем временем Анну сняли с телеги, напоили холодной водой. Она всем улыбалась и что-то говорила торопливым, не своим голосом, проглатывая слова.

К дому повели ее.

— Стой, Пров! Вернись!..

— Я ччас приду, Устин... Ишь, дочь-то...

— Стой ты... До-о-о-черь... А где еще двое, где они?.. — и Устин мотнула рукой на Антона с Ванькой.

Даша к Устину, к Прову, к Андрею лезла, что-то выкрикивала и голосила, но ее оттирала толпа.

— Куда старика дели? Где еще молодой, толсторожий?..

Толпа молчала.

Цыган сказал:

— Одного только кончили... Старика...

— Та-а-ак... — протянул Устин.

— А другой, однако, убежал... Толсторожий-то... — закончил Цыган и нырнул в народ.

Толпа перешептывается и угрюмо гудит.

— Так, молодцы, так... — затихая, говорит Устин, вкладывает руки в рукава и опускает низко голову.

— Значит, убили?! — вскидывая вдруг голову, резко сечет толпу.

Толпа мнетя, ежится. Мужики переглядываются, переступают с ноги на ногу, растерянно покашливая и поправляя шапки.

— Хороши молодчики... Ловко... Ай да Пров Михалыч... Ай да староста...

Пров трясущимися руками прицепляет на грудь медную бляху и, кланяясь Устину, и Андрею-политику, и бродягам, и всей толпе, тихо говорит:

— Бог попустил... Терпенья нашего не стало... — Голос дрожит, брови высоко взлетели.

В толпе закричали:

— Он не своей волей... Мир так порешил...

— Согласья... Мир... Мир...

— Значит, собча...

— Эфто верно, что...

Пров перевел глаза на толпу и враз почувствовал в ней родное и кровное. Он часто замигал, перелернул могучими плечами, загреб в горсть бороду и вдруг повалился перед Андреем на колени:

— Мы — люди темные... Мы — люди забытые... Обернитесь, батюшки, на нас... Отцы родные.

Толпа недовольно зашумела. Ей непонятно было, что долгобородый могучий Пров, староста, упрасивает какого-то бродяжку, человека никудышного.

Там, в тайге, Андрей все поведал Прову, всю душу открыл. Коротко сказал Андрей, но слова его в самое сердце Прова пали.

И потому Пров, плача, шепчет:

— Обернитесь на нас, батюшки... Защитите.

У Андрея зарябило в глазах. Он пытался приподнять с земли Прова, но тот тряс головой и, крепко сжав на груди руки, не переставая твердил:

— Кланяйся, мир хрещеный... Все кланяйтесь... И бродягам кланяйтесь...

— Стой! — кричит властно Устин. — Слушай...

Ванька с Антоном приподнялись дубом на телеге, впились в Устина и разинули рты.

Все затаились, замолкли. Все почували теперь большую за собой вину и грех. Всем не по себе сделалось. Замерла толпа.

Огромный Кешка утирал рукавом глаза, стараясь остановить прыгающий подбородок. Сморкались бабы, кряхтели, виновато почесываясь, мужики. Только Тимоха-звонарь весело улыбался и смотрел на все, как на петрушку об ярмарке.

Устин прошел проворно в часовню, опять вышел, держа псалтырь.

— Вот что, православные... — высоко подняв книгу и потрясая ею, начал Устин. — Я все попалал... Пожарищем вас с разбою возворотить пытал... огнем... Я все сжег... Мне, православные, ничего не надо. Я уйду от вас.

Он переступил с ноги на ногу и горько вздохнул.

— Вы, хрещеные, как волки... Это не жисть, робяты... Это один грех...

И вместе с древним Устином многие вздохнули горько и стыдились поднять от земли взгляд.

— А тут еще эвона что затеяли: человека убили... — возвысил до конца свой голос Устин. — Эх вы-ы-ы...

Антон, стоя на телеге, низко Устину поклонился. Поклонился и Ванька Свистопляс.

— Вы эвон какую напраслину на них взвалили...

— Как напраслину?! Чего мутишь?! — раздались возмущенные крики.

Толпа зашумела, зарокотала, как по камням река.

— Слушай!! — махнул Устин. — Разве они деньги-то у купца украли?.. Нет, врешь!.. Эн тут баба в ногах валялась из Назимова, каялась... А коров? Спросите-ка Варьку Силину... Кто?..

— Как кто? Они же...

— Сенька Козырь... А не они... Эх вы, твари!..

Толпу в жар бросило, ахнула толпа и качнулась.

Пров, теребя волосы и широко открыв глаза, с одеревеневшим лицом стоял возле Андрея. Антон на телеге крестился и кланялся Устину, а Обабок в задних рядах, запрокинув голову, булькал из бутылки.

В Андрее закипела кровь. Он окинул взглядом хмурую, понуро стоящую толпу, и ему вспомнилась вдруг Россия. Не Акулька с Дунькой, не Пров, не Устин — Русь поднялась перед ним, такая же корявая и нескладная, с звериным обличием, с тоскующими добрыми глазами, изъедающая и растлевающая себя, дремучая седая Русь, дикая в своей тьме, но такая близкая и родная его сердцу.

Стоял перед Устином народ, как перед судьей — без вины преступник. Встала перед Андреем Русь и ждала от него золотых слов! Ну что ж слова!

Глянул Андрей на тайгу. Темная-темная, густым дремучим морем охватила она Кедровку. Кто-то кричит: «Уйду»...

Андрей померк. Потные, с разинутыми ртами и ошетилившиеся, тяжело пытели мужики, обдавая Андрея сивушным перегаром.

— Жаль мне вас... Вот как жаль... А уйду... Прощай... робята... — Устин земно поклонился миру и, прижав к груди псалтырь, стал спускаться с крыльца. — С вами мне не жить... Горько мне с вами... Я в тайгу уйду... Я к зверям уйду... Легче...

Всколыхнулись, заголосили кедровцы, напирая со всех сторон на сторбленного старого Устина.

— Дедушка ты наш, милый ты наш! — кричали бабы.

— Куда? Стой! — гудели мужики, загораживая дорогу.

— Избу тебе сгромаем, живи...

— Нет, робяты, нет...

— Пьянству зарок дадим...

— Душа требует... Не держите меня... Раздайся!.. Душа в лес зовет...

Со зверьем легче...

По шагу, потихонечку, подвигается Устин вперед, а с ним толпа, как возле пчелиной матки рой.

Улыбающийся Тимоха во все колокола хватил. Но Кешка сгреб его за шиворот и отбросил.

А Устин все дальше подается и, обернувшись, громко кричит отставшему от него народу:

— Ну, робяты!.. В последний вам говорю!.. Заруби это, робяты, на носу.

По правде живите: смерть не ждет. Пуще молитесь богу... Пуще!

— Бо-о-гу?.. Святоша чертов!.. — вдруг грянул Обабок. — Мне жрать нечего... У меня шестеро ребят... У меня баба пузатая. Подыхать, што ли?!

— Верно, Обабок, правильно...

— На сборню, ребяты...

— Староста, собирай сход!.. — загадели голоса.

Устина качнуло, словно ветром. Взглянул на заходящее солнце, взглянул на Обабка, на разбредавших недовольных мужиков и расслабленно опустился на лежащий при дороге камень.

Обабок круто повернул и направился неверными шагами к накрепко запертому Федотову двору.

— Ай-ха! — рывкнул он медвежьей своей глоткой и, загребая пыль, на всю деревню бессмысленно заорал:

Стари-инное ка-аменно зданья-а-а

Раздало-ося у девы в груди-и-и-и!..

В ушах у Устина гудело, и невыносимо ныло сердце.

— Эй ты, черт плешатый! — донеслось до него пьяное слово. — Ну и проваливай к дьяволу...

Сразу в двух местах кто-то охально и зло засвистал, кто-то заулюлюкал и крепко, сплеча, выругался.

— Леший с ним!..

— По его бороде, давно ему быть в воде...

— Ту-у-да ему и дорога... — И снова резкий свист и ругань.

— Богомо-о-о!!

Все миг всколыхнулось в Устине: померкло вдруг небо, померк свет в глазах, застыла в жилах кровь. Он обхватил руками свою лысую голову и, как пристукнутый деревом, замер.

XXXII

К седому вечеру, когда зажглись в Кедровке огни, обложило все небо тучами. Со всех сторон выплывали из-за тайги тучи, тяжело, грозно надвигаясь на деревню. Сразу затихла деревня. Сжались все, примолкли, жутко сделалось. Говорили в избах вполголоса, заглядывали сквозь окна на ули-

цу, прислушиваясь к все нараставшему говору тайги, и многим казалось, что кто-то хочет отомстить им за смерть Лехмана. Ежели он праведен есть человек — бог за него не помилует; ежели грешен — быть худу: накличет беду, напустит темень, зальет дождем, попалит грозой. Недаром старухи слышат в говоре тайги то стоны проклятого колдуна-бродяги, то его ругань, угрозу. Колдун, колдун — это верно. Чу, как трещит тайга. Господи, спаси... Гляди, как темно вдруг стало...

К седому вечеру, лишь зажглись в Кедровке огни, старый Устин вместе с займочником Науменко подошли впотьмах, с малым фонариком самодельным, к валявшемуся под сосной Лехману.

— Вот он, — сказал Науменко и поднес фонарь к лицу мертвеца.

Лехман, полузакрыв глаза, безмолвно лежал, а по его щекам и лохматой бородине суетливо бегали муравьи.

Устин и Науменко долго крестились, опустившись на колени.

— Я к тебе завтра утречком приду, Устин... И товарища с собой захвачу, — сказал Науменко. — Мы тут, значит, его, батюшку, тово... значит, домовину выдолбим, и все такое... И в землю спустим... Да... — Голос его дрожал.

Тайга шумела вершинами, вверху вольный ветер разгуливал, трепал шелковые хвои, на что-то злясь.

— Вы мне тут, робятки, какой-нибудь омшаник срубили бы...

— Чего? — оправившись, громко спросил Науменко.

— Омшаник, мол, омшаник... Так, на манер земляночки, — напрягая голос, просил Устин.

— Ну-к чо... Ладно.

— У меня усердие есть пожить возле могилки-то...

— А?.. Кричи громчей!.. Ишь тайга-то гудет...

— Я, мол, вроде обещастья положил...

— Так-так...

— Пожить да помолиться за упокой...

— Ну, ну... Дело доброе...

Науменко костер стал налаживать, шалаш из пихтовых веток сделал.

— Ну, прощай, Устин... Побегу я... Ух ты, как гудет!.. Страсть...

И издали, из темноты, крикнул:

— Ты не боишься?.. Один-то?!

— Пошто? — прокричал в ответ Устин. — Нас двое... — и скользнул жалеющим взглядом по скрюченным пальцам Лехмана.

Жутко в деревне, темно, к ночи близится. Небо в черных тучах. Уже не видать, где тайга, где небо. Вдали громыхнуло и глухо раскатилось. Где-то тявкнула, диким воем залилась собака.

Погасли огни в деревне. Но никто не смыкает глаз. Лишь у Прова огонек мигает, да в Федотовом доме. Вот еще старая Мошна, как услышала гром, зажгла восковую свечку у иконы, четверговую, и молится. Грозы она боится, умирать не хочется, скопит денег — в монастырь уйдет...

У Прова в избе тоскаиво. Пров под образами сидит, на той самой лавке, где лежал Бородулин, еще поутру увезенный в село.

Андрей по избе взад-вперед ходит, то и дело хватаясь за голову.

— Скверно все это, скверно... Ну, как же ты, Пров Михалыч?.. Ты оглядись, подумай.

В кути у печки Матрена сидит, подшибившись. Слезы все высохли, устало ныть сердце:

— Твори, бог, волю...

— Матушка, — тихо говорит лежащая на двух шубах Анна. — Матушка, скажи тяте, чтобы... Ну, вот это-то... самое-то...

Ветер крышу срывает, того гляди опрокинет избу.

— Экая напасть, господи, — печалуется Пров. Он трясет в отчаянии головой и, ударив тяжелым кулаком по столешнице, ненавидя пронзает глазами мечущегося по избе Андрея.

Тот удивленно покосился на Прова и вышел на улицу. Он чувствовал, что душа его опустошена. Ему хотелось обо всем забыть, уснуть долгим сном, уйти от жизни. Но мужичий грех черной тенью ходил по пятам, ядовито над ним похохатывал, страдал, как палач жертву, и, приперев к стене, требовал ответа. Андрея бросало то в жар, то в холод. Как же поступить с мужиками? Молчать, как мертвому, покрыть их изуверство? Ответа не было, и от этого еще мучительней становилось на душе. А память услужливо подсказывала забытый случай: он где-то читал или слышал про дикий самосуд над таким же, как он, невольным свидетелем мужицкого греха.

— А ведь убьют, — вздохнул Андрей. Он вспомнил грозные глаза Прова. Его вдруг забила лихорадка, заныл висок, и тупая боль потекла к затылку.

Шум тайги все разрастался. Было темно. Ветер озоровал на улице, мел дорогу, швыряя в Андрея пылью. Андрей зажмурился и сел на сугунок.

— Ну, научи ты меня... Измучился я, Митрич... тошнехонько... — сказала внезапно подошедший Пров.

Андрей уловил в его голосе тоску, растерянность и злобу. Пров запримчал и подсел к нему.

Оба долго молчали. Андрей вздохнул. Ему надо успокоить Прова, но он понимал, что случившееся больше, сильнее его слов.

«Убьют или не убьют?» — мелькнуло в мыслях.

— Ну, так как? — спросил Пров. Он сидел, низко нагнувшись и пропустив меж колен сомкнутые руки. — Ведь засудят?

— Не в этом дело, — сказал Андрей. — А дети, а внуки ваши — все так же? Вот в чем главное. — Он встал и схватился за угол избы, чтобы не свалил с ног бушевавший ветер.

— А ты сам-то как? — хмуро спросил Пров. — За нас?

Но, должно быть, ветер смазал слова Прова. Андрей не слышал или не понял их.

— Вот, скажем, тайга, — вновь почувствовал Андрей прилив бодрости. — Дикая тайга, нелюдимая, с зверьем, гнусом. А сколько в ней всякого богатства... Вот и жизнь наша, что тайга... — Он тяжело дышал и глядел сквозь мрак на широкую согнутую спину Прова. — Что ж надо сделать, чтоб в тайге не страшно было жить, чтоб все добро поднять наверх, людям

на пользу? А? Подумай-ка, Пров Михалыч...

— Не так, Митрич... Не про это... Тайга ни при чем...

— Ты погоди, выслушай! — крикнул Андрей. — До всего дойдет очередь... — и с жаром, взмахивая свободной рукой, сыпал словами.

Но Пров раздраженно крикнул и потряс головой. Андрей смешался. Он перестал следить за своей речью, потому что его мысль, опережая слова, неожиданно опять скакнула к тому темному, еще не решенному, на что он должен дать ответ Прову. Как помочь мужикам в беде? Бежать ли, остаться ли? А вдруг убьют? — вновь клином вошло Андрею в душу. Теперь он только краем уха прислушивался к своему голосу и, досадуя на себя, чувствовал, что говорит нудно, вяло, обрываясь и путаясь.

— Мудро... шибко мудро, Митрич... Кого тут... где уж... — прервал Пров и сердито засопел. — Засудят, всех закатают, ежели дознаются... Вот ты что говори. Ну, а как ты-то, сам-то? — глухим голосом еще раз спросил он и, нахлобучив шляпу, встал. — Пойдем не то в избу, посоветуемся. Ну и ветрище!

— Пров Михалыч!.. — громко окликнул Андрей, точно вспомнив главное. — А как же Анна? Ведь ее в город надо, завтра же.

— Погоди ты — в город... — рубнул Пров. — Тут не до этого.

Блеснула, затрепыхала далекая молния. Все избы, словно из-под земли выскочив, подпрыгнули, замигали и снова исчезли.

— Гроза идет, — тревожно сказал Пров, захлопывая за собой дверь избы. Какая-то сила заставила Андрея обернуться.

— Стой-ка... — услышал он силый, таящийся голос. — Эй, прохожий!

Андрей спустил с приступки ногу, шагнул навстречу голосу и лоб в лоб столкнулся с крупным, тяжело пыхтевшим человеком.

— Признал? Я каморщик, — зашептал Кешка, обдав Андрея едким запахом черемши. — Вот что, проходящий... беги, батюшка... Чуешь? Как уснет деревня покрепче — шагай в тайгу... А тех двоих, в случае, схороню... Где им... Скажу: убегли... Чуешь? А то мужики как бы не того... слых идет.

— Андрей! — открыл окно Пров. — Залазь, что ль. Время огонь тушить.

Ветер тайгою ходит, раскачал тайгу от самых корней до вершины. Трещит тайга, ухает, ожила, завыла, застонала на тысячу голосов: все страхи лесные выползли, зашмыгали, засуетились, все бесы из болот повывезли, свищут пронзительно, носятся, в чехарду играют. Сам лесовой за вершину кедр поймал, вырвал с корнем и, гукая страшным голосом, пошел крушить: как махнет кедром, как ударит по лесине, хрустнет дерево стоячее и рухнет на землю. А лесовому любо: «Го-го-го-го!»

Дедушке Устину все это нипочем. У него в руках святая книга, а на пне, в головах у тела убиенного бродяги, восковая свеча горит: здесь место свято.

Но ветер по низам пошел, метет во все стороны пламя костра, гасит восковую свечечку. Устин отходную Лехману читает, «Святый боже» поет надтреснутым своим голосом и, ежась от колеблющейся тьмы, блуждает взглядом. Кто-то притаился там, ждет. Вдруг тьма озарилась молнией.



Устин сложил книгу, перекрестился и побрел в зеленый свой шалаш.

«Го-го-го...»

Крестится Устин.

Лег на зеленую хвою, шубенку накинул сверх себя — подарок Науменко. Лежит, смотрит на Лехмана, думает. Костер горит ярко, два пня смолистых зажег Науменко, будут до утра тлеть. Ветер раздувает пламя, не дает заснуть огню.

Лехман вздрагивает в лучах костра, как живой от холода, шевелит руками, сучит ногами, кивает головой...

— Нет, это ничего... — шепчет Устин и крестится, а сон уж начинает его убаюкивать и качать на волнах.

Ветер бурей ревел в тайге. Деревья стонали и точно зубами скорготали от нестерпимой боли.

Лишь закрыл Устин глаза и, благословясь, укрылся с головой шубой, слышит: стихла тайга, и раздалось два голоса. О чем-то беседу ведут, мирно так говорят, любовно, то вдруг заспорят и сердито закричат.

Один голос очень знакомый. Чей же это голос? Ах, да ведь это Бородулин говорит. Попа. Да, попа... про попа надо сказать, про отца Лексея... Это хорошо... «А что же ты такой старик, а седой?.. такой лохматый?» — говорит Бородулин. «А что же ты лежишь? Пойдем», — вновь сказал Бородулин. «Потому что надо, — ответил голос, — тут ясно».

Холодно Устину. Он скрючился. Не хочется выползать из-под шубы. А не бородулинский, незнакомый голос опять: «А где Устин? Вот тут сидел, надо мной». — «Он ушел. И от тебя ушел и от мира ушел, он — черт». — «Врешь!»

И вдруг как ударит его кто-то по плечу ладонью:

«Вставай, старик... Спасибо...»

Без ума вскочил Устин.

— Господи Христе!..

Стегнула молния, грянул гром. И видит Устин в синем полыме: не в шалаше он, а возле Лехмана.

Белый, скрюченный, сидит рядом с ним Лехман.

— Свят, свят!.. — не своим голосом вскричал Устин.

Вновь гроза оглушительно трахнула. Устина подбросило, опрокинуло, и он, очнувшись, пустился бежать. Он бежал молча, весь объятый звериным ужасом, и ему почудилось, что сзади гонятся за ним и Бородулин, и разбойники, и оживший Лехман, и все деревья, — вся тайга несется вслед: вот-вот дух из Устина вышибут.

— Свят, свят, свят...

А удар за ударом кроет все таежные ночные голоса, гудит на всю тайгу и, спустившись в низины, раскатисто и злобно рычит.

Молния сияет синим светом беспрестанно. Звериное чутье по дороге Устина гонит в родную Кедровку.

— Согрешил... мужиков в беде бросил... Возворочусь, — стонет Устин, обессиленно переплетая во тьме старыми, страхом связанными ногами.

«Согрешил, согрешил!» — ликует темный рев тайги и, настегивая Устину свистом, гамом, хохотом, гонит вон из своего царства.

Вдруг все засияло.

— Непусти!! — Устин взмахнул руками и во весь рост грохнул мертвый средь дороги.

Вместе с его криком раскололись, зазвенели, рушились небеса. Золотым мечом молния вонзилась в землю, опалила, съела тьму, всю тайгу всколыхнула, во все застучала концы и предостерегающе замолкла.

Испугалась тайга грозы небесной. Тихо стало в тайге и торжественно.

И среди густой нависшей тьмы запылали-зажглись ярким светом, как гробовые свечи, три высокие лиственницы.

Опять взметнулся ветер.

XXXIII

Дрогнула над Кедровкой ночь. Кто-то по улице скакал на коне и неистово кричал:

— Хозяева! Тайга пластат!.. Эй, люди! Тайга!! Тайга!!!

Густо и грозно из-за деревни вставало пламя, ветер крепчал и гнал огонь прямо на Кедровку.

Открывались дрожащими руками окна, высывались взлохмаченные сном головы и, ахнув, исчезали.

Ветер стучит ставнями, заглядывает под крыши и грозит Кедровке бедой.

— Господи, светы!.. — шамкает выскочившая на улицу Мошна, наскоро крестится и, со страхом взглянув на широко разметавшееся за деревней пламя, спешит скорей в избу. Ветер пузырем вздувает юбочку, крушит и валит старуху наземь и резко захлопывает за ней тяжелую дверь.

— Тайга занялась!.. Тайга!..

Забегали, засновали кедровцы; ожила, загалдела деревня. Встали и разлазились вдруг родившиеся во дворах, под крышами, при дороге, полные испуга голоса и звуки.

Засветились коньки и скаты мокрых крыш, вспыхнули и заиграли огнем стекла стоявших на пригорке избушек, а небеса кругом стали еще темнее и строже.

— Миколка!.. Эй, Миколка-а-а...

На горе, у часовни, бестолковая, потерявшая себя толпа. Все, разинув рты, смотрят широкими глазами на пожарище и, холодея, роняют, как в воду камни, жалкие слова.

— Ишь как садит... Ишь, ишь!..

— Придет, робяты... Ох, придет...

— Начинай молебну!.. Вздымай образа!

— Устина надо... Устина!

— Ушел Устин...

И уж стон стоит в толпе, голоса осеклись.

— Ищите Устина!.. Где Устин?!

— Ушел Устин...

Бабы слезно заголосили:

— Окаянные вы... Мучители вы...

— Замолчь!.. Ну вас...

А над тайгой разливалось море огня. То здесь, то там, словно из-под земли взрываясь, враз вставали огненные столбы и, качнувшись во все стороны, наплывали на деревню.

— Ой, край пришел... Ой, светы...

С пригорка видно, как росло и бушевало пламя, и в его пляшущем свете колыхалась и кудрявилась тайга, вся в зелено-темных тонах и переливах, а нависшая над пожарищем туча до краев набухла отблеском пламени.

На взмыленной лошаденке прискакал босой, простоволосый, страшный Пров:

— Мир хрещеный!.. Беда-а-а-а! Погибель!..

И опять помчался к своему дому.

— К речке, к речке выбирайся!.. На папни!..

Скрипят возы, храпят, поводя ушами, лошади.

— Куда прешь? Легше!..

Собаки воют и бестолково, испуганно влзаивают, снуют со скарбом в руках бабы и ребята.

— К речке, к речке!..

А ветер упругим валом, волна за волной катит над деревней, весь в золотых искрометных огоньках. Он коршуном бросается попутно вниз, метет все голоса и звуки, крутит и выкручивает по опалелым закоулкам, улицам.

Головни, как сказочные жар-птицы, взвиваясь ввысь, несутся, гонимые ветром, куда попало, и, сложив огненные крылья, садятся среди деревни.

— Осподи, мать владычица... Шабаш...

— Окульку возьми!..

— С зыбкой... с зыбкой!..

Засинела, занялась тайга и с боков. Кедровка золотым сжималась морем.

Обабок, согнувшись под громадным узлом, зажав под пазухами двух воющих ребятшек, торопливо бежал в гору, а возле него, не давая ходу, сновали четверо парнишек, голося:

— Тятенька, тятенька... Ой, мамыньки нету...

— Ай-ха!.. — орал Обабок, напрягая свои еще не проспавшиеся ноги.

Тимоха яростно бил в колокола и, прикусив язык, прислушивался к звону. Колокола зло пересмеялись и дразнили Тимоху. Он размахнулся жердью и сразу сшиб два колокола.

— Что ты, окаянный... — зашипела ползущая на карачках Мошна. — Что ты?!

— А ты чего?

— Вишь, ползу... Сто разов окружу часовню — откатится огонь.

Столетний дедушка Назар давно за деревней. Он, шаркая ногами, тащит за хвост кота. Кот в кровь исцарапал ему руки, разодрал порты.

— Огонь, огонь... Дым... — бормочет старик и, как на лыжах, не отры-

вая от земли ног, катит дальше.

— Проваливай, ребята... Это от вас!.. — гнал вон из своей избенки Ваньку Свистопяса и Антона каморщик Кешка.

— Это от вас!.. — взвизгнула пробегавшая беременная баба, повалилась оттопыренным животом на изгородь и страшно, нечеловечески завывала.

— Горим!.. Горим!.. — перекатывалось по деревне.

— Убегайте!.. Живо, скорей... — метался лавочник Федот, волоча по земле огромный узел.

Серой клубящейся горой валил к небу дым, сливался вверху с тучей и, колеблемый ветром, разбрасывался по поднебесью сизыми, подурмяненными облаками.

— Сюда... Сюда-а-а!..

— Эн, как взмыло...

Сразу в трех местах вспыхнули наваленные на крышах копны сена, занялись дворы, загорелась старая сухая часовенка.

И уж все живое катилось вон из деревни: с проклятием, стоном и диким ревом бежали люди; задрав хвосты и бешено мыча, скакали коровы; пронесся вдоль улицы, храпя и сотрясая землю, табун лошадей и вдруг шархнулся врассыпную от ползущего по дороге забытого мальчонки; с кудахтаньем летали над дорогой незрячие куры. А целое стадо овец, предводимое бараном, ошалело несло прямо на огонь.

Андрей быстро наклонился над спящей Анной, взял ее за плечо и твердо приказал:

— Анна, встань.

Та вскинула веки, мутно посмотрела на Андрея, приподнялась — и вдруг вся зацвела испуганно-нежданной радостью. Вспомнить хотела — не могла:

— Ты?

— Анночка, Анна... — Андрей влек ее к двери. — Мы горим, Анна... Скорей!..

На улице, жмурясь от яркого света, Анна крикнула:

— Солнышко... Солнышко спустилось!..

— Это тайга горит...

— Пусти... не держи!

— Анна, Кедровка горит.

— Пошто мутишь? — Она рванулась и, вплеснув руками, словно подхваченная вихрем, понеслась на гору.

— Анна! Анна! — следом бросился Андрей. — Пров Михалыч!!

А Пров, хрипя в борьбе, еле сдерживал равновесие за дочерью Матрену.

— Ой, пусти, злодей! — она кусалась, царапалась, плевала Прову в лицо. — Врешь, не сладишь! Ой, доченька...

Схватив жену в охапку, Пров повалил ее на землю и поволок к речке.

— Матренушка, родимая, очнись... — И его старое сердце разрывалось надвое меж женой и Анной.

Две пылавшие друг против друга избы пресекли бег Андрея. Почувствовав нестерпимый жар, Андрей закрыл голову зипуном и стремглав пронес-

ся мимо. Справа, из-за дымящегося крыльца, ползла на четвереньках страшная, седая Мошна. Она уж тридцать раз оползла часовню и, задыхаясь в дыму, упорно шамкала:

— Сгорю, а не отступлюсь... Фу-фу... подуйте, ветры встречные, супротивные... Ох, господи... Тридцать перьвой, тридцать перьвой, тридцать друго-о-ой... А-а?.. Жарко, чертовка?.. Жарко? Вот он каков, ад-от... Во-от!..

— Эй, бабка, — уловив ее взглядом, позвал Андрей. — Не видала ли...

— Ну, где ж она? — прогудел возле него голос Прова. — Погибель... Шабаш...

И оба враз увидали Анну. Вся дрожа, Анна стояла, прислонившись к голенастой, в золотой шапке, сосне.

Как сноп пшеницы, поднял ее Пров.

— На речку! Единным духом! Дай-ка сюда зипун... Накрой!.. — сквозь дым потащил он Анну.

— Тяженька... Андреюшка... Не опасайтесь... Где мамынька?

Андрей еле поспевал вслед Прову. Он дико озирался на бушевавший кругом огонь. Ему трудно было дышать.

— Ну, в час добрый... Андрей, доченька, лупите к островам. Я за Матреной... — крикнул Пров, когда они выбежали на берег.

Здесь все вздохнули свободно.

Закрываясь зипуном, Пров торопливо направился проулком.

— На речку, братцы, на речку!.. Бросай все! Сгорить!! — раскатывался по пожару его голос.

В бурьяне, возле изгороди, копошились двое.

— Вы чего тут, ребята? Айда на острова! Живо! — крикнул он, узнав бродяг, и побежал дальше.

Антон повернул вслед ему голову и вновь нагнулся.

— Иванушка, голубчик... Спасай душеньку... Вздымай, благословясь.

За руки, за ноги бродяги приподняли женщину и грузно понесли.

Даша, по пояс нагая, вся розовая в лучах зари, висла головой к земле, мела землю черной с блеском гривой волос и пьяно бормотала:

— Не бей... Не бей меня, Феденька... погубитель...

— Тащи! Чево встал! — крикнул Ванька Свистопляс.

— Дай дух перевести... Ой, смерть...

Андрей и Анна быстро шли вдоль берега. Ноги их увязали в мокром песке, шуришали галькой. Анна тихо улыбалась, прислушиваясь, как зади нее звучат шаги Андрея. Она задерживает шаг, берет Андрея за руку и нежно заглядывает в его глаза.

— Андрей, — тихо-тихо шепчет Анна. — Андреюшка...

Она вся в прошлом, вся в будущем, светлом и бурлящем, как пылающая кругом сизо-огненная тайга. И не жаль ей Кедровки, не жаль утлых, обгорелых лачуг, ничего не жаль, и ничто не страшит ее, потому что Андрей с нею и все идет, как надо.

— Опирайся... Держись! — И они плечо в плечо пошли неглубоким бродом к острову через шумный речной поток. Вода стремительно неслась, вся в белой пене, словно кипела холодным кипятком.

— Ничего, тут мелко! Ну-ка!.. — заглушая говор струй, подбадривала она, почувствовав робость Андрея.

Остров большой и плоский, весь в скатных камнях, медленно приближался к ним.

— А мы уж тут-ка!.. На коне перебрали, — крикнул им Пров. — Ну, слава те Христу.

Они все тесно встали на бугор. У их ног, согнув спину, всхлипывала Матрена. Ветер разогнал здесь дым, но осиянная тьма вся дрожала от говора пламени, и воздух был насыщен жаром. По ту сторону острова речка глубже, спокойней. Над позлащенной водой, то здесь, то там, черными кочками торчали человечьи головы.

— Отсиживаются... — твердо сказал Пров, махнув рукой.

Андрей скользнул по воде оторопелым взглядом и вздохнул.

— Которые на пашню убрались... а которые... дак... привечный покой... чезнули, поди... — пуще завсхлипывала Матрена.

— Пьянство... пакость всякая... — сказал Пров, голос его был жесток, суров.

Анна стояла молча, серьезная. Она правой рукой держала концы разорвавшейся на груди рубахи, а левой поглаживала мать. Андрей не видел в Анне безумия, взор ее был вдумчив, спокоен.

— Сила, — задрав на огонь голову, густым, хриплым басом бухал Пров. — Силища кака пластат... Фу!

Андрей взглянул на него и удивился. Никогда он не чувствовал таким Прова. Он даже отступил от него в сторону, чтоб пристальней разглядеть его. Здесь был другой Пров, — не тот, что направил при таежной дороге в его грудь ружье, не тот, что пал к его ногам, там, у часовни, и молил его, и ронял слезы. Огромным посивевшим медведем стоял Пров, грузно придавив землю, — скала какая-то, не человек.

Крутые плечи Прова, широкая спина, плавно и глубоко вздымавшаяся грудь накопили столько неумемной мощи, что, казалось, трещал кафтан. Большие угрюмые глаза упрямо грозили огню.

Андрей вдруг показался себе маленьким, ничтожным, незначащим, будто песчинка на затерявшейся залятой тропе. Какой ветер метнул его сюда? Неужели всему конец? Конец его думам, его гордым когда-то мечтам?

И опять вспомнилась, стала мерещиться ему Русь, — Русь могучая, необъятная, мрачная и дикая, как сама тайга. Русь шевелилась, шептала, ворочала каменные жернова в его отяжелевшем мозгу. И чудилось Андрею, что уж сизый дым ползет по ней и клубится. Потoki подземного огня клокочат и предостерегающе стучат в просоленные слезами недра. С запада к глубокому востоку, от юга к северу гудит и хлещет по простору шквал. Все в страхе, напряженно ждет, все приникло, приготовилось: вот грядет хозяйин жатвы. Русь! Веруй! Огнем очищаешься и обелишься. В слезах потонешь, но будешь вознесена.

— Сила!!

Андрей очнулся от голоса Прова. Пожар не утихал, и схлынули с Ан-

дрея все чары, все то, что провидел его новый взор. Андрей робко поднял глаза на Прова. Широкий большой мужик каменным истуканом недвижимо стоял, скрестив на груди руки. Его волосы и бороду чесал ветер, глаза по-прежнему властно грозили пожару: вот-вот нагнется Пров, всадит в землю чутунные свои пальцы и, вздрав толстый пласт, как шкуру с матерого зверя, перевернет вверх корнями всю тайгу.

У Андрея неожиданно дрогнуло сердце, все замелькало в глазах, и как-то сами собой покатались слезы.

«Пров, ты можешь... Спасай...» — умиленно шептала душа, но уста не повиновались.

— Гибнет... Боже мой, все гибнет...

— Андрей! Анна! — глухо бухнул Пров. — Ничего... Пушай чистит.

Он часто задышал, высоко вскинул огромные кулаки и так сильно ими потряс, что подрубленные в скобку волосы стали враз подпрыгивать и шлепать по ушам.

— Гори... Гори, постылая!.. — с тупой злобой крикнул он, и словно лопнула от натуги мощь — Пров запатался. Он запрокинул руки, схватился за затылок, грузно сел, привалившись спиной к пню.

— Народишко... достаток... Несусветимо... Прахом все... — Он мотнул головой и устался в землю.

— Тятенька, родимый, — опустила перед ним Анна, заглядывая ему в лицо. — Не тужи, новое будет, хорошее. Тятенька, Андреюшка... мамынька...

— Живите, ворочайте, — шептал Пров, не подымая головы. — Авось как не то... Э-эх-ма-а-а...

А пожарище неудержимо гулял по тайге разливным морем. Вихри огня с гуденьем и рокотом взлетали к раскаленному докрасна небу, игриво и весело рассекая черные клубящиеся облака смоляного дыма. До широкой поляны докатился огонь. По ту сторону поляны вдруг шевельнулась, заплакала в лучах света стена тайги; как живые, задвигались, задрожали деревья. Пламя желтым бушующим сводом жадно загибалось над поляной.

Целым стадом, задрав пушистые хвосты, скакали через поляну белки; таявкая и шурясь на свет, осторожными прыжками, принохиваясь, удирали лисицы. У самого пожарища, поджав уши, всплыла вдруг на дыбы медведица, запустила острые когти в кору сосны и жалобно кликала затерявшихся где-то медвежат.

«Го-го-го-го...» — пронзительно и дико, то здесь, то там, раздавалось лешево гоготанье, и резкий удар бича вместе с хозяйским деловитым пошвиством хлестал и сек гудевший, осатанелый воздух.

«Го-го-го-го-го...»

Звери прислушивались, топорилили спины и покорно ускоряли бег.

А стая волков налаживала за рекой свою жуткую волчью песнь.

И за поляной занялась тайга: затрещали хвои, закурчавились. Золотыми дорожками бежал огонь понизу, как павшие из огненного моря ручейки. Незначай застигнутые птицы взлетали над пожарищем и, охваченные го-

рячим вихрем, камнем падали в пламя. Из прогоревших нор, куда вместе с дымом стали просачиваться огоньки, выползали последние гады-змеи.

Они шипели, выставляя жало, свивались клубящимися комками и, судорожно цепляясь за деревья, стремились подняться от восставшей на них земли. Но свет слепил им глаза, а огонь крошил губительными искрами.

Змеи пухли, раздувались и, падая, лопались, оставляя внутренности на золотых сучках.

Огонь шел торопливой, рокошущей лавиной, бешено неся всему смерть. Деревья, будто собираясь бежать, пытались сорваться с места, раскачиваясь и тревожа корни. Но тщетно гудели они вершинами, тщетно роняли смолистые слезы.

Еще мгновение — и враз вспыхивает, подобно оглушительному взрыву, целая стена ужаснувшихся деревьев, с треском одеваются хвои в золото, и все тонет в огне. Дальше и дальше, настойчиво и властно плывет пылающая лава, и нет сил остановить ее.

1915

СТРАШНЫЙ КАМ

Повесть шаманья, алтайская

Будет ли так, чтоб в пуповину нашу грязь не попала?

Будет ли так, чтоб на ресницах наших не было слез?

Из молитв алтайцев

Бубен ходит по горам. Невидимый, звучный, весь в бубенцах. Ночным гуком, ночным звоном, словно лешевым горохом бьет, бьет, бьет — ходит по горам...

Это кам камлает, духу службу служит, духа упрашивает.

А курмесьи, его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен кулачками бьют.

Бум-бум-тра-та-та!.. Дзын-дзын!.. Рррр... рррох!.. Чур! Наше место свято!..

I

Баам!.. Баам!..

Удар за ударом льется и плывет по ущельям Алтайских гор. Маленькая колоколенка, сколоченная из серых бревен, забежала за утес, а над утесом — церковь, такая же маленькая, серая.

Ранний летний час. Лучи солнца лишь на вершинах гор, долины — в предутренней сизой дымке. Но розовый рассвет все ниже ползет с вершин по склонам, золотит на своем пути и зеленый куст черемухи, и цветущий маральник, и украшенные крупными цветами мальвы. Вот два белых козла вдруг забелели пуще — мазнуло солнце по рогам, по бороде — фыркнули да на дыбы — слава солнцу, слава теплу, цветам, вкусной траве! — и ну с радости друг друга бить: стук-брык, с вывертом, козлом-козлом!

Люди в долине шевелятся — закурились берестяные юрты серым дымом, проснулся народ в селе. Калмыки, теленгиты, русские. Еще помесь русских с теленгитами — береза да черемуха.

Заблеяли овцы, замычали коровы — как же, солнце! — табуны лошадей, всхрапывая, носятся по увалам гор, назяблись за ночь — ночи в горах студёные — и мчатся птицы из лесных трупоб, из темных сырых ущелий туда, к солнечным лучам, что обрядил в сыпучие алмазы грохочущий с гор белый водопад.

Когда вспыхнули пожаром крест и окна, колокол замолк, а в церкви началась обедня. Порядочно народу собралось — и праздник знатный: самому угоднику Николе — да и дело: отец Василий вразумлять начнет.

Народу в селе Глызети много: и старожилы русские, и новокрещенные калмыки с теленгитами. Русские православную веру знают крепко: двенадцать богородиц, троица — Христос воскрес, а новая молодая паства — что без матери ягнята: суровый пастух да крепкий кнут надобен.

Обедню служит отец Василий то по-русски, то по-алтайски. А кончил службу, стал речь держать:

— Православные! Наш брат во Христе, раб божий Павел с днаволом якшається. Был он кам Чалбак, камом и остался.

— Как есть кам!.. Ночи напролет камлает, черту служит!.. — заговорила народ от самого амвона и до выхода.

— Нельзя этого допустить. Грех это! Неотмолимый грех!

— Как не грех, знамо грех!.. И сегодня на заре бубен бил. Чего бог Никола терпит, чего смотрит?!

— Вот что, православные. Так ли, сяк ли, нам нужно его окоротать, чтобы против бога ежли — ни-ни!..

— И чего только Никола смотрит... Тьфу!

И, когда расходились по домам, все толковали, толковали: был кам Чалбак, камлаал, гадал, с чертом знался, курмесов полон рой на посылках у него... Крестился кам, новую веру принял, стал Павлом, а сам все с чертом знається. Чу, чу!..

И смотрят на переднюю вершину, зеленую, а за передней другая выступает — синяя, а за синей — белым-бело: вся в снегах гора в небо уперлась, белая, и только в палящий зной снова зеленеет. Вот в каменной пещере, что врезалась в белоснежную грудь горы, и жил страшный кам Чалбак.

Чу, чу!.. Бубен бьет — взбрыкал, взгукал, — ходит по горам!

II

Тихая ночь в горах. Селенье Аннавар во тьме. Ни огонька, ни звука. Горы сгрудились, черные стоят, немые. Клочок неба темный, в ярких звездах.

Где-то собака взлаяла, и проблеяла овца во сне: видно, приснился страшный зверь с острой мордой, горящими глазами.

Тьма. Плывет во тьме голос человеческий, грубый... И другой ему на смену — тонкий, резкий, и третий голос — как труба зычный, злой.

— Надо больше народу... Чтобы всем селом. Жуть!

— Жу-уть! Какая жуть?! Ружья можно захватить, собак зверовых.

— Хе! Ру-ужья!! Много ты супротив дьявола ружьем навоюешь? Батьку надо передом, отца Василия. Крест в руки да и...

— Не пойдет пог: он хитренный.

— Тогда надо народ сзывать.

— В праздник надо, в воскресенье, ночью.

— Хорошо бы, братцы, винищем накачать кама-то. Все-таки пьяного-то сподручней.

— Дело говоришь. Дело... Мы пастушонка подошлем, Ерему... Вроде как гадать пойдет. Мальчонка проворный.

Вспыхнул огонек, три бороды, три толстых носа к спичке потянулись: пых да пых, чертовым снадобьем запахло, табачищем.

— Месяц из-за хребтов выставил посеребренный рог, посеребренная струна протянулась между гор.

— Спать пора!

Звек за позевком, сладко так! Три бороды посопели трубками, сплонули, пошли.

- Лето, а мороз... Бррр!
— Это от камня, от гор.
— Чалбак это! Эх, кулаки зудят!

И другой рог месяц выставил. Скрипнула калитка. Смогло все. Вторая, третья посеребренная струна протянулись между гор, и голубоватый лунный свет рассыпался в долине.

III

— Господи, ты крепок и силен, а я, перей твой, слаб... Сокрушу выю и чресла грешника, сказал ты... Укрепи и десницу мою, господи, да покараю нечестивца. Дам ему трепку подобающую и брошу к ногам Твоим...

Серая фигура растянулась в полумраке на полу. От печки к образкам — тканная полоска — половик. Одно окно завешено черной рясой, другое — каемчатой браной скатертью. Свет лампы, колышется хвостатый огонек. Лик Николы грозен, брови хмуры. «Ария богоотступника заушла еси», — будто шепчут его уста. Возле печки — кот. Щурится кот на огонек лампы, вот подошел беззвучно к ногам распростертого, трется о подошву сапога, мурлычет.

- Никола-святитель, укрепи!.. Дай мне в руки меч карающий.
— Батюшка! — отворилась дверь, и раздался нежный молодой голос.
— Ужинать-то будешь, что ли? Вынимать щи-то? А то прокиснут!
— Вынимай, чадо, вынимай. Милостив буди мне, грешному, угодниче святей...

Всколыхнулся огонек лукаво, шевельнула святитель Николай мечом, кот прочь от бабкиной ноги — в лоб сапогом попало.

IV

Сидит Ерема у костра, считает звезды:

- Сорок девять, сорок десять, семьдесят... Тьфу ты, язви тя! Опять сбился.

Не перечеть Ереме звезд, да и зачем? Горазд Ерема печеную картошку есть. Лапой в костер мырк:

- Ох, язви тя! До чего горячая, потому што...

С ладони на ладонь ну покидывать да в рот: хрустнула поджаристая корочка, белый рассыпчатый комок слюной смочился смачно, два раза Ерема чавкнул и глотнул.

- Скусно... А ну ошо!

Черненькая собачонка Дунька в Еремин рот умильно смотрит, так и этак головой крутит, пустила две вожжи слюней.

- Дунька, фютю! — кричит Ерема. — Аз-буки-веди — глаголь-добро-есть! — и кидает ей картошку.

- Хам-ам на лету — не жевавши проглотила. Ереме любо, ухмыляется:
— Аз-буки-веди-глаголь-добро-есть! — да камушек немудрый шварк!

Хам-ам! — чакнула зубами Дунька, обсобачила Ерему обозленным взглядом и, обиженная, отошла, прихрамывая, прочь.

Ерема хохочет, заливаясь.

— Дунька, Дунька! А к колдуну пойдешь со мной, к каму, к Чалбаку? На картошку, на!

Скучно. Что бы такое Ереме сделать?

Тьма кругом, непроглядный мрак. Похрапывают кони, а то вдруг шарахнутся: топы-топы-топ! — не волк ли? Пережевывают жвачку коровы; еще жметса к костру, прыдет ушами лупоглазое овечье стадо.

Пять ворот у Еремы в поле, а волки лютые, глазастые, надо караулить.

— Дунька, усь-узы!

Два ста да еще полста коров одних, а овцам счету нет. Но хозяева ведут счет отлично: недавно Ерему лушцовали — а за что про что? — будто бы двух ярк волк задавил.

— Язви! — вспоминает Ерема, морщится. — Как они меня... Ррраз!

Пять ворот у Еремы в поле. Поди-ка, усмотри!

Костер потрескивает, клубится — ветерок взыграл — и все встрепетало, вздрыгало во тьме: маленький вздернутый Еремин носик заплясал на круглом бронзовом лице, мохнатая шапка то сползет на оттопыренные уши, то привстанет, и тень от Еремы скачет, как шальная.

Чу! Бубен трижды вдарил и замолк.

— Дунька, усь-узы!

Спать пора, а жутко. Кам... А что такое кам? Тьфу!

Ерема его знает. Кам Чалбак очень даже смирный, очень занятно в бубен бьет, волхвует.

— Вот ужо братаны водки принесут, пойду к нему... Занятно!

Где-то вдали огонек мигнул и погас, мигнул и вновь погас — ветром задувает.

«За рекой за Анчибалом потом у што...» — думает Ерема.

Слипаются глаза, носом клонула. Спать нельзя. Вскочил Ерема и во все горло крикнул:

— Ксы! Куда лезешь?! Ослепла?!

Но никого возле не было. Та же тьма. Только огонек вдали снова вспыхнул и окреп.

Ерема сорвал с головы воронье гнездо — шапку, помахал ею, чтоб прогнать подальше сон, и запел гнусаво:

За рекой огонь горит,
Старик бороду палит...
Тарили-потарили,
По башке ударили... Эх, ты, но-о!..

V

Гремит-грохочет бурливый Анчибал, прямо с гор мчитса, от скалы к скале, бьет в камни, седые лохмы чешет. Нет ему уему ни зимой, ни летом, шумит-шумит на весь Алтай.

Белым теменем в небо гора воткнулась. Вершина в ледяной извечной шапке. Пониже — дуга с мохнатыми белыми цветами, еще пониже — лес густой, поляны, угренный склон. Страшный обрыв. И не видать, что под обрывом. Ползи к стремнине, ляг крепче грудью, загляни: белые косы рассыпает, точит камни, пенится река. Разве горный козел-яман учует ее грохот, а человеческому уху не поймать — так высока скала. Над обрывом площадка небольшая, на площадке берестяная юрта-аланчик.

У самого обрыва развалился крещеный Павел, кам Чалбак, он курит трубку. Веселый костер горит. Взыграл-взметнулся ветер. Чалбакова жена, молодая Казанчи, долго с костром возилась: вспыхнет, да потухнет, да опять. Казанчи сосновых веток притащила — окреп костер, сонливому пастиху Ереме миг да миг.

Песню орет мальчишка, шапкой машет...

— Откуда знаешь?

— Я все знаю... Сюда придет... Чую, — как во сне сказал Чалбак, не выпуская изо рта трубки.

— Бросить это надо... Забыть!.. Ты — Павел, я — Катерина... Казанчи была, стала Катерина... Поп-батка дознается — запретит, богу Николе скажет. Ох, как худо тогда! Совсем худо, совсем!

Мигают звезды в вышине. Невидимую Ереме двурогую луну отлично видит кам Чалбак с женой: вся в серебре, над горными хребтами взнялась луна, холодный свет льет, волхвует. Горы черные, в лепешку сплюснутые мраком, вдруг поднялись из тьмы, сцепились в хоровод, плечо в плечо: голубые, серебристые, молочные, то как хрусталь прозрачные — вон та, в далекой синеве ночной. А эта — мрачная, угрюмая, вдова среди невест — в тени.

— Забыть надо, говорю... Бросить!

— Как могу забыть? — поднял сонные глаза Чалбак. — Не могу забыть. Вот здесь оно, это самое... В сердце... Как брошу?

Казанчи задумалась, между гор в долину смотрит, в серебро.

— По пятнадцатому году я занемог, шибко тяжело было, умру, да и умру. Тут сон. Явился будто бы Ульгень и говорит: «Сделай бубен звонкий, сделай одежду, как у кама, всю в железнице, молись великому Ульгению. Пуще молись, пуще!.. А то всех людей ваших лукавый курмес-алдачы в ад перетаскал, слоилал всех. Ты стой за мир!» И научил меня, как молиться, какие слова говорить, и я стал камом, и больше уж не хворал, стал здоровым, как прежде...

Тихо говорил Чалбак, глаза полузакрыты. Пламя ворчало под его речь, и ветер шелестел травой.

— Сам Ульгень... да, да!.. Сам Ульгень приказал. Как выну из сердца?

— Зачем же крестился, зачем веру сменил?

— Разве не знаешь ты?

Казанчи сидела задумчиво. Белый камзол ее голубел под луною. Так же тихо, будто сам с собой, стал говорить Чалбак:

— Праздник у нас был, в третьем годе это. Батка мой пьяный напился.

Подрался. Убил калмыка в драке. Боролись, а батька его со скалы. Дознался поп, призвал батьку: «Крестись со всей семьей — тогда покрою, а то тюрьма». Где тут? Тюрьмы калмык боится. Батька заплакал, попу в ноги. Потом крестился, и я с ним. И ты. Потом батька умер. А я живой... Вот две веры у меня, два бога. Бог русский да свой — Ульгень.

— Эрлик? Черный Эрлик задавит тебя.

— Эрлика упрошу. Кровавую жертву буду часто приносить. Черный Эрлик любит кровь.

Казанчи вздохнула:

— Если б жалел меня, бросил бы все это... Не жалеешь.

Ерема месяц увидал, месяц высоко поднялся, ушла спать в юрту молодая Казанчи.

Чалбак один.

Умное безбородое лицо его грустно. Черные узкие глаза потухли. Печаль в глазах.

И душа его одинокая. Вся в печали, вся в недоумении.

— Два бога — Иисус бог, Ульгень бог. Иисус — маленький бог — его убили; Ульгень — большой-большой — всех убил, всех сбросил с неба. Самого Эрлика сбросил. А Эрлик... О-о-о!.. Немилостивый, грозный... Не бог — тьфу, тьфу! — какой он бог — а самый страшный! Самый черный есть.

Звезда упала, покатила, за ней другая. Чалбак проводил их узкими глазами, подумал:

«Вот этак же слуги Эрлика с неба упали. Белый Ульгень сверзил их. Который на гору пал — хозяин горе сделался, который в озеро — хозяин озеру. Моя гора Сумар Улан, мое озеро — Сут, да даст золотое решение, черноволосую голову мою да сделает спокойной...»

И смотрит Чалбак на горные хребты, что под луной стоят: голубые, белые и, как хрусталь, прозрачные, — и тянется тоскливой рукой к бубну: надо горам молиться, надо хозяев — слуг Эрлика — чтить:

«Бум-бум-бум!.. Тырррр!.. рата-та!»

Слышит пастух Ерема — в горах бубен бьет, — жутко стало. Топы-топы-топ! — топчут кони, сон прошел.

— Чалбак! Чалбак! — кричит проснувшаяся Казанчи. — Брось! Никола-бог учует — покарает...

Упал из рук Чалбака бубен, покатился: грозный старик Никола поднял меч.

— Эго-й!.. Эй!.. — тонко, придушенно застонал Чалбак. Грозный Никола сдвинул брови, мечом грозит.

И сжалось сердце кама, вся кровь от сердца отлила.

Два голоса:

«Уйди, Никола! Кто тебя звал, — уйди! Мой он, мой слуга. Бей в бубен, бей, Чалбак!»

«Он не Чалбак, он Павел.»

«Бей, Чалбак, в бубен! Где твое сердце, Чалбак, где твоя глотка?»

И уж нечем дышать Чалбаку: черный Эрлик горой навалился на него, а



курмеси к сердцу присосались, — обомлел Чалбак.

— Ой-ты-ой!..

А бубен сам собою колесом пошел, взлетел ввзрут, как живой, над полымем костра, взгукал, взбрякал, да в голову, в голову Чалбаку, в голову: бум-бум-бум!..

«Хватай, бей в бубен! А то задушим...»

Схватила Чалбак волшебный бубен, вскочил Чалбак и закрутился, словно вихрь, вокруг костра — волчком, волчком. Загремел, зазвякал бубен, черным по горам горохом рассыпается, гудит. И не Чалбак бьет в бубен, курмеси бьют-грохочут, шайтаны его рукой водят, шайтаны крутят его вьюном.

Страшно Чалбаку глаза открыть: адов огонь в глаза полыхает, жжет, а святитель батюшка Никола спорит с нечистою силой:

«Громче, громче! Задушим».

«Сотвори крест, Павел!»

«Крутись, крутись!»

Звякнул меч святителя Николы, распались-хрустнули железница черного Эрлика, и две руки, два крыла горячих, обхватили кама:

— Чалбак!

Валялся Чалбак полумертвым телом, горевала-плакала над ним молодая Казанчи:

— Чалбак, на, отпей... Холодная, ключевая.

Отерла Казанчи густую белую пену, что покрыла запекшиеся чалбаковы губы, протянула ковш ледяной.

— Трубку!

Жадно проглотил ледяную воду, жадно, с надрывом, затянулся Чалбак крепким табаком — пых-пых — нету...

— Трубку! Еще! Больше!

Свою подала Казанчи трубку.

— Крест! Выпусти крест скорей... А то они задушат.

Трясушейся рукой достала из-под его рубахи крест.

— Дунька! Усь-узы!.. — спросонок пробормотал Ерема и задрывал обутыми в рвань ногами: свалил Ерему сон.

Рассвет зачинался. Туманы наплывали из долин. На востоке утренняя звезда-зарница горела ярко.

Казанчи усердно крестилась на звезду:

— Бог Никола, помогай... Никола-батюшка!..

Чалбак тяжело переводил дух и, весь в поту, дрожал.

VI

Учитель из села Волчихи, Иван Петрович, был весьма благочестив, духовно-нравственные книги почитать любил.

Насквозь прожженный солнцем, подкатил он на своей пегой кобыленке к попову, заросшему зеленой травой, двору.

— А батюшки-то дома не-ету, — нараспев сказала веселая, грудастая, стрельнула черными глазами в черные чуть раскосые глаза учителя и хихикнула в горсть. На мизинце супир сиял. — На пасеку они ушедши.

— Вот те на! Зачем же это? Хи-хи-хи!.. Смешной какой. Ребят учит рихметике, а спрашивает: «Зачем?» Знамо, за медом. Хи-хи-хи!..

Иван Петрович был женат, а священник — вдовый. Иван Петрович улыбнулся и смиренно опустил глаза.

— Чудак поп! Ведь дома мед-то...

— А где ж дома-то?

— Да ты. Не мед, что ли? А?

— Хи-хи-хи! Ну-ну! Вот скажу супружнице-то...

Иван Петрович смутился. Он крепче прижал к сердцу пропыленный узелок в голубом платочке — в узелке речи Иоанна Златоуста — и сказал:

— Возьми, Надюшенька, кобыленку-то мою да привяжи. Остынет, попоишь не то... А я пойду.

Горы! Горы! С семи концов пришли сюда, семь ветров загородили. Млеют под солнцем в зеленых своих цветных уборах. По их подолу и дальше ввысь бегут лиственницы, сосны, как снег блестит обнаженный на ребрах известняк, рудой кровью кровянеют красноцветные песчаники. Розовые нежные кусты маральника перепутались с темной зеленью вереска и елей, ярко-желтые цветистые ковры раскинулись то здесь, то там. О пики выступов и скал чешет гриву водопад с горы — радуга, алмазы, серебро. Солнце греет, облило теплым светом все кругом. Только ущелья мрачны — них тьма, в них лепший! — и по балкам серый камень-курум ползет.

Берег Погремушки, неширокая долина, пасека. По зелено-пестрому ковро лугов щедро разбросаны цветы — ирис, эдельвейсы, астрагалы, духмяные кустики полыни, мяты и тысячи других цветов и безвестных, радующих глаз, былинков. Многочисленные ульи, жужжащая картечь хлопотливых пчел. Тепло, свет, пряный запах.

Отец Василий, в широких пласовых штанах, в темно-фиолетовой рубашке, кипятит у костра кирпичный чай. Длинные волосы закручены в тугие косы и — наверх по-бабы. Лицо полно деловитой заботы, в руке ложка, в тюрючках перец и лавровый лист, в котелке бурлит уха из только что пойманных хариусов — упрела, нет?

— Эзень! — по-алтайски поприветствовал его Иван Петрович.

— Эзень-ба, эзень, — откликнулся отец Василий, с досадой, порывисто благословил протянутые пригоршни и выдернул из костра хлынувший через край котелок.

— Э, шайтан!.. И лезет человек не вовремя! После бы поблагословил-ся... Чуть не опрокинул!.. Ну, что?

— Да ничего, собственно, — смутился Иван Петрович, покраснел. — Вот книгу привез. А больше насчет Чалбака. Что же он, камлает все?

— Камлает.

— Гм... Миссионер недавно мимо нас проехал. Новый какой-то, сердитый. Все вынюхивал да расспрашивал. Выспросит да в книжку.

— Кого расспрашивал-то? — встревожился отец Василий, все забыл: уходил кирпичный чай, плавали в недоваренной ухе два слепня да муха.

Иван Петрович лег у костра, под дымом, и, жмуря по-хитрому калмыцкие глаза, сказал:

— Кого спрашивал-то? Да все больше новокрещеных, петь учил их, очень не одобрял, — ничего, дескать, не знают.

У отца Василия опустилась с ложкой онемевшая рука.

— Ну?

— И про Чалбака спрашивал. По дороге, видно, рассказали ему. Как же вы, говорит, допускаете, крещеные? Этого нельзя. Он погибнет, и вы, говорит, все погибнете... А те с дуру-то: пушай камлает, он все узнать может, он всякую болезнь прогнать может...

— Ну?

— Тот аж пожелтел от злости, бороденка затряслась. С тобой хотел потолковать. Пастырь у вас, говорит, одна печаль, архиерею надо...

Отец Василий чуть приподнял голову, открыл рот и уставился в притворно-печальное лицо учителя.

Иван Петрович ел уху, похваливал, смачно обсасывал рыбы кости. Отец Василий черпал ложкой, как во сне, и все вздыхал.

— Ну что ж я, ну что я могу с ним поделывать?

— Вразумить.

— Трепку дать, черту пархатому!

— Зачем трепку? Словом надо, лаской, примером.

— Лаской?! — вскричал отец Василий и закашлялся, чуть не подавился костью. — Нет, я как древний бог буду, как Адонай! Покараю, изничтожу и в консисторию доложу! Пушай судят как хотят.

И стал проворно обуваться, надел рясу, распустил волну черных своих волос.

— Куда же ты?

— Озяб... чего-то озяб я...

— Озяб?! — изумился Иван Петрович.

— В такую жарницу да вдобавок у костра?

— Озяб!

Отца Василия била лихорадка.

VII

Под Илью-пророка ночь была темная: месяц огруз, не подняться из-за гор, звезды принакрылись хмарой.

Ехали в эту ночь горной тропой извивной, по обрывистым бомам и кручам, старая калмычка да русский мужик Степан.

А как спустились к броду через реку Анчибал, калмычка выхватила из сморщенных губ трубку, крикнула:

— Стой! Не переброди!

— Тпру! — осадил коня Степан. — Пошто?

— Разве не слышишь? В горах бубен бьет... Камлают... Чалбак это.

— Ну, так что?

— Погибнуть можно... Борони бог, как... Чу!

Развели на берегу костер. Слушают-послушают: в горах бубен бьет-брокочет. Притихли.

Слышат — шум, рокот — по речке вода валма валит, вспенилась, взбурлилась, — люди прочь от костра да в гору. Вот и костер утоп: вал выше, выше, к самому гребню забирает, ошалелая вода винтом взмырила — бурлит, ревет, грозится.

Кони храпят, крестится Степан, причитает старая калмычка:

— Прямая погибель была бы. Утонули бы... Господи, спаси, помилуй!..

Вихрь взялся, в лесу деревья закачались, затрещал лес, зашумел. Вдруг вспыхнуло пожаром все, разъяхнуло небо огненную пасть, молния горы озарила. И снова все по-старому: тихо стало, река в прежних берегах, на том же месте приветливый костер горит.

Крестится Степан, творит молитву:

— Господи, заступник-покровитель! Что пригрезилось!..

С перепуга старая калмычка не может в рот табачной трубкой угодить.

— Сильный кам... Чалбак это... Ну и сильный!

А Чалбак в это время сидел на обрыве возле своей юрты и, полный тревоги, поджидал грозу.

И раз, и другой трепыхнула вдали зарница. Небо за горами густо золотилось, и черные хребты, как спины зверей заклых, подпрыгивали и дрожали. А вместе с ними дрожала и Чалбакова душа: Иисус — бог, Никола — бог, Ульгень — бог. Кто сильнее, кто за Чалбака? Неужто черный Эрлик пожрет его? И сами собой шепчут побелевшие губы кама:

«Я убью красно-чубарую кобылицу, иноходью ходящую, сердце и печень ее обмотаю вокруг своей шеи, буду шаманить, в бубен бить, умилостивлю гнев твой, о Эрлик!»

Трепещет, мечется душа Чалбака; пуще вметнулась, затрепыхала зарница в небесах. И не зарница — молния — гром затарахтел. В страхе передернул Чалбак плечами: страшная гроза идет — Удалой Ревун!

«Я буду знать и чтить демона над демонами шести родов, буду поклоняться Дерущему в пропасти и его дочери Ветряной Красавице... О, Эрлик, все мертвые головы собравший!..»

Стегнула молния. Гром ударил резко.

— Никола, заступай! — вскричал Чалбак.

— Никола-батюшка!.. Помогай скорее! — суетливо роется, ищет что-то в своих кожаных сумках обробевшая Казанчи и не спускает глаз с осиянного Николина лика. Нашла! Вот он, спасительный кусок разбитого грозой дерева. Идет с ним вокруг юрты, причитает.

Из-за подпрыгнувших в страхе гор взвился ослепительный бич и надвое рассек дрогнувшее небо. Грянул громовой раскат, зарокотали небеса, а горы, словно чугунные плиты, с треском, с грохотом рушились в тартар с черных туч.

Оглушенный Чалбак вскочил, заткнул пальцами уши и в один отчаянный голос с Казанчи:

— Удалой Ревун ревнул! Топор господин зашевелился... Агык! Прочь! Прочь!

И оба в юрту. Пали перед образом поднявшего меч Николы-бога.

— Ой-ой, Никола-матушка!.. Богородица-батюшка!.. Я — Павел.

— Я — Катерина есть... Защищай скорей!..

— Ой-ой!.. Удалой Ревун ревнул, топор господин зашевелился... Агык, агык!!

Сел Чалбак у прокопченного дымом образа, лицом к костру, что по-лыхал-потрескивал среди юрты, взглянул в прорез: небо красным-красно.

«Вот он, вестник семи небес, с каймой из красной тучи, с замкнутым поводом из радуги, с плетью из белой молнии, на небе приказание берущий».

И тянется рука Чалбака к тугому, с гремучими бубенцами, бубну. А гром — свое.

— Свят, свят, свят! — крестится в дырявом шалаше Ерема. Голос у Еремы ребячий, тонкий, с перепугу дрожит и рвется, как у молодого певуна.

— Свят, свят, свят! — и другой голос плывет ему на смену, грубый.

— Ну и вдарило! — гукнул, как труба, зычный голос, злой.

— Чалбак это!.. Он такую беду наводит... — еще голос резкий, с подковыркой.

— Свят, свят, свят!

Сквозь дыры шалаша блеск молнии пробрызнул: вспыхнули три рыжих бороды, вильнула туда-сюда плющавый нос на лупоглазом от страха Еремином лице.

И, словно в пьяном полусне, взволновал Чалбак. Звякнули-взыграли гремучие побрякушки, бубенцы, рассыпался горохом бубен: тра-та-та!.. ты-рррр... рох!

— Чалбак! Чалбак! — испуганно завопила Катерина.

— Ишь ты, как наяривает... — сказал своей калмычке у костра мужик Степан.

— Страшный кам... Борони бог!..

— Ужинать-то будешь, батя? — спросила остроглазая, подобрав под передник красные большие руки. На пальчике — сушир.

— Ложись, чадо, спать... Ишь, какая сила громыхает!

— А я, грешная, поела... Страсть до чего люблю свинину жирную!

— А ну-ка, дай кусочек... С кашей, что ли? Свят, свят, свят, господь Саваоф!..

И дребезжат от удара стекла, барабанит крупный дождь в поповскую крышу под железом, журчат ручьи.

— Никола-угодник... Ой, батюшка!.. Не прогневайся, пожалуйста... Агык! — плачет-причитает Казанчи.

— Бум-бум!.. тра-та-та! — орет во сне Ерема и, повернувшись на бок, храпит, как конь.

— Ишь, черт какой!.. Парнишка-то... — сонно пробурчали в три голоса

рыжебородые братаны и, один за другим, пустили громоносный храп.
А небесная гроза замолкла.

VIII

Рано поутру — лишь солнца луч — вышел кам Чалбак из своей юрты, сонный, пошатываясь. Голова болела со вчерашнего, набухло сердце каким-то томлением, и вся душа его изнывала:

— Ульгень — бог, Никола — бог, Ильин день — бог...

Ильин день громыхал вчера в ночи, рвал скалы, бухал. Ильин день загорался сегодня в небе ясным солнцем. Поп Василий вот ужю обедню служить станет, поп Василий такой же кам, как и Чалбак, — вот ужю штукой с огнем, с дымом махать станет, вот ужю орать будет во всю глотку, бородой трясти: «вонми да вонми, аминь, аминь».

А внизу — Эрлик, мучитель.

О, страшный Эрлик, сильный Эрлик, усищи его, как два клыка, закинуты за уши, и ездит он на черной лодке без весла. Чалбак полетит к нему в гости, как волк, в капкан, на крыльях гагары полетит, на крыльях дяди-птицы, в самый ад, в самое пекло...

«Бубен!»

«Нет, не надо мне бубен. Дождидай, пожалуйста. Грех мне, грех... Хочется — не хочется... Погоди, ужю, погоди...»

Пошатываясь, придерживая рукой больную голову, идет Чалбак по солнечной равнине к обрыву скалы, садится на камень, озирается: совсем проснулся.

Ровной гладью разлился внизу туман: белым-бело. Словно в море утонула даль и все, что под ногами. Только горные вершины встали над туманами, да его, Чалбакова, лужайка.

Солнце выше, выше — туман белей. На две половины рассек туман простор: верхняя вся в солнце, в радости, там Ульгень — создатель; нижняя закутана туманом — там бог Никола, люди, овцы, лошади, поп Васька, собаки, мужики.

А еще ниже, еще-еще ниже — у-ух как низко!.. Там Эрлик, грозное сердце...

Чу, Катерина кличет!.. Чалбак придет, придет. Он слышит, он сейчас встанет и пойдет. Но нет сил в ногах, хочется смотреть туда, в туман, где бог Никола, бог Исус, хочется — не хочется взнуздаать дядю-птицу, да с бубном, с колотушкой туда, на дно, скрозь семь земель...

— Чалбак!

Иду...

Нет, не пойдет... Не варуг пойдет. На каждой ноге камень, на сердце камень, клюет сердце дядя-птица, требует... и шайтаны вьются-вьются, курмасы кувьркаются, а подойти не смеют — на груди Чалбака сияет крест — Ильин день сегодня, праздник.

Солнце жарит: праздник. Солнце круглое, румяное, как щеки попо-

вской стряпки Надьки; солнце — блин, такой вкусный, поджаристый — поп Васька угощал; солнце — спирт, самый русский, самый горячий, ух ты, обожжет!.. Солнце — Волшебный бубен в небе, а шаман — Ульгень: бум-бум-бум!.. Чек-чек!

— Чалба-ак!

— Скоро, скоро... Вот, скоро!

И вдруг со дна моря белотуманного — ба-ам, ба-ам! — вознесся в солнечную высь колокольный звон. Там, в долине, между зеленых гор в расстоянии пяти стрел из тугого лука — церковь. Там Павел, здесь Чалбак; там Чалбак, здесь Павел — вместе, оба-два, не рассечь, не разлить, ошпарь водой — не разойдутся. А душа одна. Оба-два на одной душе уселись — Чалбак да Павел. Сядь на пень, другой не сядет. А надо... Как быть? Тяжко. Вот тут тяжело, вот здесь... Дрожит перед глазами порозовевшая гладь тумана-на-моря, все дрожит. И скачет в небе огненный бубен. Надо утереть глаза, суше, суше.

Хочется — не хочется Чалбаку жить. «Будет ли так, чтоб на ресницах моих не было слез?»

Удар за ударом льется и плывет из неведомых глубин колокольный благовест. Чалбак встряхнулся весь, вздохнул и набожно перекрестился трижды.

— Чалбак!!

И как пошел Чалбак на зов жены своей Катерины, со дна сказочного моря, куда упала с гор узкая тропа, один за другим стали выныривать всадники.

Вот вынырнула из тумана человечья голова, вот — лошадиная, весело заржал коняга, увидав траву; радостным пиком пикнул солнцу человек. За ним другой, третий — ползут, ползут на луговину.

— Эзень, Чалбак! Эзень! Здравствуй!

— Эзень-ба! Эзень!

— Ни табыш? Что нового?

Много народу собралось: целое семейство теленгитов большую старуху привезли; три рыжебородых, что пережидали грозу в Еремином дырявом шалаше, — Петрован да Андрей с Филимоном — Брюхановы; калмычка с русским мужиком Степаном; и еще подъезжали, подходили русские и инородцы: кто судьбу пытать, кто за исцелением, или черному Эрлику жертву принести: «Ульгень — дух светлый, добрый, ему зачем молиться? Он и так не взыщет. Эрлик — сам сатана: не помолись ему — живо в гроб сведет». Другие же приехали просто поглазеть на кама. С братьями приполз и лупоглазый заспанный пастух Ерема:

— Хы! Страсть занятно, дяньки!

IX

Жила в селеньи старушонка старая, Федосья. Время пополам ее сонгуло, идет, на клюшку упирается и низко-низко головой к земле, словно потеряла что-то, глазами шарит.

Единственная отрада в ее жизни — Ерема-пастушок, родной внучек; одна заветная дума в голове — побывать во святом Ерусалиме-граде. Еще при муже, сколько лет тому, запала эта думка. Вот как просила да молила господа:

— Приведи, господи!.. Сподоби меня, греховодницу!

Да так с тем и состарилась, а когда спину пополам переломило, тут уж не до Ерусалима-града, где уж тут!..

И, чтоб утешить душу, стала старая просить владычицу:

— Богородица, владычица, помоги мне хошь во снях в Ерусалиме побывать... Хошь во снях увидеть страдания Иисусика, как его, батюшку, на пропятие велн, как крест тяжелый тащил он на своей спинушке. Матушка, владычица!

А про страданья Иисусовы читал ей по складам Ерема.

И сказал ей однажды во сне голос, отчетливо так, явственно, словно отпечатаал:

«Услышана молитва твоя. Наяву узришь».

С тем бабка Федосья и проснулась. И как дошло до сердца сонное видение — обробела: шутка ли самого Иисуса увидеть! Страх напал на бабку, ужас: вдруг всамделе явится... Сразу обомрешь, ума рехнешься, а то и ноги вытянешь... Сама не рада бабка, что этакое чудо намолила, и стыдно ей перед богородицей, что — намоливши чудо — испугалась. А страх берет свое: вот-вот Иисус Христос покажется — карачун тогда!

Пала бабка на колени:

— Богородица, владычица!.. Уж не надо мне... Боюсь я... где тут! Осподи помилуй, осподи помилуй!..

И в великом смятении пошла к отцу Василию. Вечер был.

— Батюшка... вот так и так... Просила я, грешная, богородицу...

Да все ему и обсказала. Подумал отец Василий, молвил ей:

— Вряд ли узришь, старица Федосья... От дьявола это тебе. Бесовское наваждение... Возгордилась, должно быть, вознеслась, вот лукавый и внушил тебе. А ты как думала, он кем хочешь может показаться... Молись!

Пуще испугалась бабка и не домой, а в чисто поле ночевать пошла, к внуку своему Ереме. И как шла полями, перелесками, все Христос мерещился ей в мыслях; идет Христос согбенный, как она, и крест на спинушке, тяжелый этакый, из кедрача крест срублен, тяжело Иисусу, шат берет...

И не знает бабка, Христос ли, дьявол ли мерещится, вспоминает бабка поповские слова, решает в сердце: дьявол.

— Осподи Христе!.. Наваждение бесовское... Сгинь, сгинь, сатана!.. Аминь — рассыпья!

И не помнит старая, как вынесли ее ноги болочие на Еремин на костер.

А Ерема в это время у костра сидел, считал Ерема звезды в небе: «двадцать девять, двадцать десять» — и подбрасывал Дуньке горячую картошку.

Х

Закружился, запыхался кам, звучно ударил напоследок в бубен, сел. Грудь тяжело дышит, ноздри раздуваются, душно, жарко — пот с лица. И всем душно, — в юрте двадцать голов сидят, только собачонки Дуньки не хватает, оставил Ерема Дуньку в чистом поле: псы у Чалбака злые — разорвут.

Так жарко, что у жирного калмыка Бойтоса под кожей сало топится, а сам Чалбак, отдышавшись, тряхнул бубном, бросил вверх, и упал бубен к ногам его, полный снега студеного.

— Снег, снег! — дрогнула вся юрта удивленным гулом. — Откуда это?

Опрокинул Чалбак бубен на рысью шкуру, что у ног на кучке снега белая, вся в блестках, рассыпалась, и струился от нее приятный холод.

— Снег, снег!.. Белый!

Две руки к снегу потянулись; озорная Еремина рука — не верит глаз, и другая — жирного Бойтоса; вот подденет Бойтос горсть снега и разом охладит голую жирную свою грудь, от самого рожденья, пятьдесят четвертый год, немытую.

— Дай! Мне! Мне!

— Агык! — гортанно крикнул кам, и снег без следа исчез, даже мокрого места на рысей шкуре не осталось,

— Прогнал! Снег пропал!

И не успел никто опомниться, крикнул Чалбак калмычке, что со Степаном шла:

— Что тебе нужно?

— Батюшка, сильный кам, ты все знаешь, — сказала калмычка дрожащим голосом. Голова ее запрокинулась, брови поднялись, узкие глаза с трепетом уставились на кама.

— Он все знает!.. Он сильный!.. — выдохнула юрта.

— Ехала я, ехала — старый месяц еще был — из гостей ехала, арачку пила в гостях, захмелела. Приехала — нет плетки. А плетка от прадеда к деду, от деда к отцу, от отца ко мне пришла... Рукоятка серебряная, насечка золотая... А украл ее у меня...

— Врешь, — тихо сказал кам.

Встряхнула калмычка головой, раскосые глаза скосились пуще.

— Я думаю, украл ее старик Таптый, больше некому.

— Врешь! Зачем обльжно говоришь? — крикнул кам и, тяжело задышав, поднялся.

Звякнул бубен, встрепенулись бубенцы, а побрякушки на шубе зазвенели: крутнулся кам.

«Чек-чек-чек... Агык!» — бросил к костру бубен, и в руках его вдруг плетка, со всех сил вытянул он плеткой по спине калмычку:

— На! твоя, нет? Ты, пьяная, обронила ее в логу...

Передернула калмычка плечами, поймала плетку:

— Она самая!.. Моя! — разинула рот, да так до утра и просидела.

И вся юрта удивилась, большим испугом испугалась: вдруг не было, вдруг стала плетка.

— Ой, кам!.. Какой могучий кам Чалбак!

— Не я могучий, слуги у меня — курмеси да шайтаны везде шныряют — в воде, в горах, в степи... О Эрлик, в средину сердца моего вложивший силу вещанья! Я буду поклоняться Дерущему в пропасти, демону над демонами, и его дочери Ветряной Красавице, с лицом черным, как клей, без штанов, голозадой, задницей виляющей, грудями болтающей. Помогай, Эрлик, помогай! — Последние слова сказал кам не своим голосом, будто из-под земли шел голос, из нутра. И глаза кама мало-помалу теряли земную жизнь.

Ерема давно не попадал зуб на зуб, рыжебородые братаны под рубахой кресты щупали.

— Покамлаем о больной старухе, — тихо сказал Чалбак. — Ловите чубарого коня, ведите коня сюда, разводите вольный костер на воле. Будем до утра камлать; Эрлик любит кровь — на заре красного вечера он пожирает кровавую пищу прямо ртом.

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?! — едва слышно прошептала жена его, и слезы горести застряли в ее черных ресницах,

Даже не взглянул Чалбак на Казанчи. Он не Чалбак, он продал душу, — он сильный кам. Да, кам!..

Так тиха была ночь в горах, что рокот Анчибала доносился и на эту высь, и слышно было: языки вольного огня на воле ворчливо облизывают тьму. У костра угревно, ярко, волхвует лукавый огонь в костре. Кругом густой сажей тьма нависла, горы утонули, исчезли, нету гор. И звезды лучами золотыми уставились в костер волшебный, ждут — не моргнувши смотрят — что станет делать страшный кам.

А кам Чалбак камлать собрался, демону служить, демона упрашивать.

И не слышит кам робкого шепота жены своей, любимой Казанчи, забыл Чалбак козлобородого попа Василия, забыл Иисуса-бога, грозного Николу-бога, его занесенную десницу с огненным мечом. Все забыл.

— Чалбак!.. Что делаешь, Чалбак?!

Земного не слышит, не видит, не чувствует. Голова его за облаками, сердце в преисподней, душа сбросила тело, как дерево столетнюю кору, душа витает во всех провалищах и безднах, где-то там. Нет калмыка Чалбака, нет христианина Павла; не человек, не черт сидит, — сидит перед костром страшный кам — раб и повелитель.

Булькают где-то там, налетают-налетают, позванивают. Шепчут откуда-то, нашептывают, пересвистываются, по-змеинному шипят. «Идите, идите, я вас жду!» — кричит что есть силы кам. Но не кам кричит — уста сомкнуты, и крепко смежились ресницы глаз — то душа его стонет громко во всех безднах и провалищах где-то там...

Челюсти кама сводит судорога, зевает кам. Еще раз зевает, еще раз зевает страшным дьявольским позевком — затрещали скулы.

И вся юрта принялась зевать неудержимо. Кричит кам громогласно, тужится:

— Эй, вы, идите, идите! Шайтаны, курмеси, слуги дьявола! Иди, Патышбий, глотатель жерновов!

Но никто не слышит крика, притаились, молчаливо ждут. Ждут люди, ждут звезды, ждет перепуганный Ерема.

Только собачонка черненькая, Дунька, ничего не ждет... Сидит Дунька в чистом поле, привязанная к тыну, старательно выкусывает блох в хвосте.

Но вдруг зашептали губы кама, громче, громче, — все слышат, а не понимают, и сам Чалбак не понимает, только сердцем чувствует, что говорит его язык:

— Косой, кривой, хромой... Эй, вы, дьяволы!.. Вот проклинаю себя и проклял... Гей, гей, сатана, Дерущий в пропасти: я верный слуга твой — кам!.. Войди в меня, эй, говорю тебе, войди! Войди!..

От ногтей по пальцам, от пальцев к сердцу потекла, заструилась в жилах пламенеющая кровь. Ударило сердце, смолкло, еще ударило и ждет: вот грозный дух полонит все тело, испепелит, раздавит, изничтожит.

Как допотопный зверь, весь лохматый, большой копыной сидит у костра, в камской, вверх шерстью, шубе — кам Чалбак. Вот качнулся вправо-влево и с тяжелым стоном — испуг, испуг и радость — вдруг поднялся:

— Вошел! Вошел!.. А-гык!!

И вся юрта взвила:

— Вошел!.. Сатана вошел в него!

И сжал кам кулаки, и всплеснул вскинутыми вверх руками.

— Бубен! Я властный! я сильный!.. Я могущественный!..

XI

Вихрем, вихрем крутится кам, воздух винтом буровит, свистит от коловращения ветер. Бубен грохочет гулко, сечет и режет, не умолкая, тьму. Бубенцы с колокольцами звякают неустово.

— Держите кама! Держите!

Крутится кам вихрем. Огонь в костре прячет со страха свою пламенную голову, стелется к земле, и смолистый дым пугливо мчится прочь.

— Не пускайте кама к огню!.. Сгорит.

— Держите его. Держите крепче!

Крепко схватили кама две любящие руки, от костра подалее. Не видит, не слышит, не чувствует земного кам.

Лохматая шаманья шуба вся в ремнях змейных, в железе, в ярких лентах; на ремнях, на лентах — бубенцы, погремушки, колокольчики, и еще рыбы, птицы, звери из железа. Шаманья шуба — пуд.

Встрепенул кам — вздрогнул, зазвучал металл; крутнулся кам — пуце загремел металл; ударил кам в бубен колотушкой, да ну кричать, гукать, бесноваться — стоном стонет ночь, сквозь землю сигают бесы, а Дерущий в пропасти оторопело вбирает в лапы железные когти и неустово рычит.

— Держите кама! Сгорит... держите крепче!

Крепко схватили кама две любящие руки:

— Чалбак, Чалбак!

Не слышит земного, не чувствует Чалбак, и никому не видать лица его:

все в бисерных, железных, костяных висюльках, спускаются висюльки с рысей шапки, как забрало, до самых губ. Но всяк присмиривший, ужаснувшийся чувствует: горят глаза огнем, черные искры сыплют, обжигают.

Ге-ге-ге!.. Чек-чек!

Круче, круче вихри, сильнее бьет бубен, зменстые ремни от коловращения поднялись на воздух, свищут, и пепел от костра столбом. Дико, страшно завывает кам.

— Я вздымусь белой птицей! Это мое место, пусть порастет оно зеленой травой... С твоей кровью слился, о дьявол! Я пришел от страшного бога, и вы, шаманы, с огненными бичами, не выходите из преисподней проклинать меня... О, дьявол!..

Заткнула свои уши в больших серебряных серьгах молодая Казанчи, а слезы градом. Хворая старуха застонала, с мольбой на кама смотрит.

— Я сел на пуп земли. Я сильный, страшный. Я пришел сюда, чтоб защитить страждущих...

Поняла старая старуха, прослезилась, а болезнь пуще по суставам ходит — прямо смерть...

— Три черные тени твои, о дьявол, сообщились со мной... Требую — помоги мне!

И три раза скуковал кам кукушкой, три раза стерхом острокрылым, три раза черным вороном:

— Чек-чек-чек... Кар! Кар! Кар!

И три раза подряд взгагачил колдовской гагарой, оседлал гагару-птицу и понесся прямо в ад. Вот и престол сатаны-диавола. На два голоса запел-запричитал: с самим сатаной кам Чалбак в разговор вступил:

— Помоги мне, ты сильный.

— Нет, не помогу.

— Я продал тебе душу. Сожри в старухе хворь.

— Иди к духам, что постарше.

Встряхнул покорно бубно, приостановился кам, и в гору, в гору, — тяжело так — нет сил идти, а надо... В гору, пешком, на небо, к главному духу, — кричит Чалбак.

— Как надсадно вздышит... Воды бы дать.

Эй, дайте каму воды! Не слышит, не видит, не чувствует, вновь закрутился вихрем, и грохнул бубен бубенцами. Губы кама покрыла пена.

— Я пришел к тебе, о Великий Дух! В руке моей бич небесный, молния. Возврати мне душу чада моего. Кровавую принесу тебе жертву.

С визгом, воем ударил кам три раза в бубен и на крыльях гагары-птицы пустился с неба в обратный путь. Потом застонал и повалился, словно мертвый.

Юрта вся похолодела.

— Зашелся... Умер!.. Жив!

Подняли кама, поили водой студеной, придерживали: налилась голова, все тело его расслабло.

— А-гык! — вдруг гортанно крикнул он, весь передернулся, встряхнулся. — Прочь! Уйди-уйди!

И скрюченные руки его разодрали одежду против сердца — задышался кам.
— Уйди! Уйди!

— Выходит... Дьявол вышел из него, — пронесся робкий шепот, словно шелест осенних трав.

Чалбак запрокинул голову и уставшим, измученным голосом зашел, прикрывая глаза рукой. Он пел о том, что улетела восвояси волшебная гагара, что провалился сквозь землю сатана, и вот он, кам, снова оживает.

— Бубен дайте, — прошептал Чалбак мертвыми губами и стал слабо постукивать заячьей лапкой в расписанный жертвенной кровью бубен, стал изгонять остатки дьявола:

— Сверху упавшие, вверх подите! Снизу пришедшие, вниз ступайте, вы, дьяволы!

Голос кама надорванный, тихий. Шумно, с хрипом дышала его грудь.

— Трубку!.. — едва слышно прошептал он. — Разденьте... умираю...

Порывисто, жадно курит кам. Руки — лед, хватается Чалбак за сердце — больно сердцу — стонет.

Сняли рысью шапку с перьями филина, с висюльками, сняли шубу. Шуба — пуд. Опустил кам голову, сидит в одной рубашке, дрожит смертной дрожью, икает — истерзанный раб и повелитель. Потный, сонный, сумасшедший, умирающий. И все были потные, сумасшедшие, изжеванные, не знали — где, на чем сидят. Вот поднял кам помутившиеся глаза, посмотрел на сидевших. И всем стало страшно, всем стало холодно — оживший мертвец глядел на них.

И были вместо глаз провалы, вместо зрачков — покрытые пеплом угли, и холодный пот грязными струями сбегал из-под его волос.

— Господи, спаси-помилуй!

— Свят, свят, свят!..

И никто не мог рассмотреть лица его — за мертвящим взглядом спряталось лицо — и было у всех одно желание: вскочить, убежать, но отнялись, окаменели ноги, и вся жизнь вытекла из тела.

— Ой! Ой! — кто-то резко прокричал.

— Богородица, матушка! — всплеснулись руки.

— Чалбак! Ой, Чалбак! Что ты?!

Качнулся, задрожал мертвец, исказилось лицо, и крупные слезы выступили на его глазах.

— У-у-ух!.. — выдохнул он из груди весь воздух, мертвый взгляд стал загораться, оживать, стяхнулся пепел с глаз, и угли запылали.

— Очнулся кам!.. Очнулся!

— Сволочь какая!.. Колдунщице!.. — прошептали, тайно крестясь, рыжебородые братья Брюхановы. — В огне его, анафему, надо сжечь!

Заржал конь вдали, и в другой раз заржал, и в третий.

— Вот ведут чубарого коня, — сказал Чалбак. — Принесем страшному Эрлику жертву. На четвертый день старуха оздоровеет. Так мне вверху обещали, там...

Все пошли за камом. Густой мрак кругом, ни зги не видно — сажа.

ХИ

Приятен чай с малиновым вареньем, медом; вкусны пельмени с перцем, кислым уксусом. Угощаются отец Василий с Иван Петровичем, Наденька прислуживает: с террасы в кухню шмыг да шмыг, и каждый раз задерживается у зеркала: лицо румяно, смугло, черная челка барашком завита, блестит супир — батюшкин подарок.

— Ну, и хорошо у тебя тут, отец Василий! Гляди, горы-то, горы-то какие!.. А? — сказал учитель.

С террасы видны цепи гор, голубые и зеленые. На дальней вершине мягко блестит под солнцем снег.

— Вот и оставайся еще денек, переночуй.

— Пора!

— А ежели гром захватит... Убьет ведь, ха-ха-ха!

— Ну, вот еще! Ильин день, слава тебе господи, прошел.

Иван Петрович поддел меду и капнул на чистую скатерть. Отец Василий придвинул ему стеклянное блюдо:

— Экий ты неряха! На!

— Что? Нет, я прямо в рот, попросту. Вот я и говорю. Ученые и тому подобные вольнодумцы не верят, а я верю, — перст божий всегда укажет. Да как же! Помню, у нас мужик был, Ипат. Первую его жену, Дарью, огримило в Ильин день, женился на другой — и ту так же, на третьей — и та за ней. То есть удивительно! Как только Ильин день, туча зайдет — грох! — и овдовел Ипат.

— Бывает, — сказал отец Василий и закурил папироску чрез самоварную решетку от живого уголька. За ним потянулся и учитель, но вдруг метнулся прочь.

Появившаяся в дверях Наденька вся затряслась от смеха. Густо захохотал и отец Василий.

— На, закури от моей!.. Тут, брат, сноровка нужна. Обварился, что ли?

— Вот именно, — сердито сказал учитель, поглаживая лоб. — Как он прекрасно меня шпокнул!

— Батюшка, — весело, все еще во власти смеха, сказала Наденька. — Братаны Брюхановы пришли. Пущать?

Три рыжие бороды, все на одно лицо, вошли и закрестились.

— Здрасте-ка... С прошедшим праздничком!

— Ладно, — сказал батюшка. — Ну, в таком разе залазьте, Андрей с Петрованом да Филимон, хе-хе-хе! А который Андрей, который Филимон — ей-ей не могу разобрать. Хе-хе-хе! Десять лет священствую, а не могу.

— Да-а!.. — изумленно протянул учитель. — Удивительное сходство, на самом деле. Вот так чудеса.

— А сами-то вы не пугаетесь, который Петрован, который Филимон, хе-хе-хе?.. — сладко закатился батюшка.

— Хы!.. Как это возможно!

— Ну, в чем же дело? Камлали?

— Всю ночь. Срамота одна! Значит, и черта призывал, и окаянщину

разную проделывал. А тут, уж перед утром-то...

— Пстой-ка, пстой, Петрован!..

— Я, батя, Филмон...

— Тьфу! Вот видишь. Погоди-ка, брат Филмон, Эй, Надея! Слетай живо за урядником. Мол, по нужному делу. Скажи, мол, у попа брага. А то замешкается. Ну, иди со Христом.

— Ваш Чалбак, чтоб его, всю ночь спать мне не дал, — сказал учитель.

— Бубен наяривал за милую душу, как...

— Неужто слышать сюда? — в один голос спросили братаны.

— Как рукой подносит. Попутный, стало быть, ветерок дул.

Братаны крепкими зубами грызли сахар, прели, пили чай. Рыжие бороды и лохматые космы их пылали на солнце, как пожар; голубые глаза сонливо щурились.

— Уж вы, ребята, постарайтесь. За веру-то христову!.. Пстойте...

— Не сумлевайся, батя!

Толковали о том, о сем, а вскоре завизжала задорным девичьим визгом Надея:

— Не лапай! Ишь ты, уса!

Кто-то кашлянул. По-молодецки звякнули шпоры, из коридора на террасу выплыли бравые унтер-офицерские усы.

— Честь имею!

— Честь-то — честь, — лякнул зубами козлобородый батя, и впалые щеки его вспыхнули. — А ты девку все-таки не трог.

— Никак нет... Это ж за ней корова погналась.

Отец Василий усиленно сопел, и громко чавкали братаны.

— Филмон! — наконец сказал священник, глядя в упор на Андрея. — Излагай! Ты, кажется, красноречивый. А господин урядник потрудится запомнить.

Филмон с Андреем враз поставили блюда, утерли волосатые рты, прокашлялись и начали, перебивая один другого.

— Стой, погоди! Один кто-нибудь. Не могу же я... Ну, снова, — сказал урядник, крутя кривыми пальцами уши.

Тогда Андрей, ткнув Филмона локтем в бок, пересказал все, как было там, у кама.

Священник хватался за голову, крестился:

— О боже!.. Всех новообращенных смутит. Не-ет!.. Не допущу!

Учитель, прикладывая к опшаренному лбу ломтик сырой картошки, вторил:

— Это называется позор цивилизации!.. У-удивительно!

— А тут уж перед утречком, — повествовал Андрей, то пряча в глубоких провалах глаза, то выкатывая их на низкий люб, — перед утречком калмычшнки конягу быдто привели. Да. Привели, стало быть, конягу, скрутили ему веревкой морду, чтобы, значит, ни на эстолько здыху не было. А к кажинной-то ноге по аркану привязали. Вот-вот. Ну, отлично. Тут Чалбак как взлает дурноматом, чисто бес: «Агык, — грит, — агык!» А калмычшнки поняли, да за аркан и схватились, да в разные стороны со всех-то сил дуи,

не стой. Вот орда какая!..

— Ах, анафемы! Ах, нехристи!..

— Так бедного конягу на брюхо вращяжку и грохнули... Ну, и визжал коняга... Все суставы-то ему вывернули. Аж кости затрещали. Тонсь так визжал, аж жутко!.. Ерема-пастушонок как вскочит, портки поддернул да фють!

— Вот они, игрища-то бесовские!

— Не приведи господь! Одно слово — орда! А Чалбак зарычал-зарычал, выхватил нож да коня по брюху — раз! Вот ладно. Польшнул это он, скажем, коня по брюху, да рукой туда мырк! В живое брюхо-то. Да за самое-то сердце и поймался... Тут уж и нам невтерпеж стало, — плюнули, ушли.

— Вот чертова орда!

— Их сколько хошь тут, камов-то этих самых, — сказал Филимон и поперхнулся.

— А мне какое до других дело? — воскликнул отец Василий. — О других пусть начальство печется. А ведь этот — мой духовный сын.

Учитель потряс в пельмени перцу и, с благочестием на лице, сказал:

— Надо словом, а не как-нибудь. Убеждением... Инквизицию по боку. Лаской надо!

Глаза священника забегали, из узких стали круглыми...

— Что? А ты не лезь! Пробовано... и словом пробовано.

— Эвот чем надо! Вот.. — помотал в воздухе мохнатым здоровенным кулаком Брюханов Филимон.

— Веру нашу марать не след. Это даже в своде законов есть... — важно сказал урядник и, громко рыгнув, отстегнул на белом кителе две пуговики. — Батюшка, объясните, ради бога, что обозначает синклит и, во-вторых, — святейший синод? Какая в них та и другая разница? Неотвязная мысль во мне...

— Синклит? — переспросил священник и замялся. — Синклит, это... Ну, как бы тебе сказать...

— Или вот! Супостат и ипостась? Ведь это два обстоятельства особые?

— Без сомнения. Никакого сходства, — облегченно выпалил священник. — Супостат, это...

— Ваше благословенье, — перебил его урядник. — А как же насчет браги?.. Ваша Надька...

— Ага, — возликовал отец Василий. — Изрядно хорошо. Эй, Надя!

XIII

— Ну, айда скорее! Нечего тут... Раз начальство требует, и сказ весь! — командовали братаны Брюхановы. — Десятский, чего курятник-то разинул? Волоки его!

— Не торопись, пожалуйста, — спокойно сказал Чалбак. — Куда спешишь? Не уйду.

— Забирай всю лопатину чертову... Всю сбрую. В бубен евоный. Все

как есть.

Садилось солнце. В ущельях сгущался сумрак, долины погружались в тень от гор, только белоснежные далекие вершины розовели. Где-то гулко, зычно прорычал дикий козел.

Шли гурьбой. Впереди с ружьями — братаны, с боков и сзади — поняты. Худое, скуластое, безбородое лицо Чалбака спокойно — смазанная жиром медь. Лишь глаза блестят гневом, и когда доносится сзади плач Казанчи, сердце кама перевертывается.

— Не надо плакать... Худо плакать! — кричит Чалбак по-калмыцки.

— Я боюсь, Чалбак... Они злые... Ружья у них.

Чалбак косится на крестьян, косится на Ерему. Ерема — карапузик — большая шапка из тряпок и кудели лезет на глаза, уши пополам согнулись, чужие мужичьи сапоги огромные — весь в них ушел, по самое сиденье, — через плечо кнутыше — пугало коров — на целую версту волочится сзади, ползет змеей. Ерема улыбается, подергивает носом:

— Хы!.. А чего ж ему, дяньки, будет-та?

Кам в шубе, в шапке с бубном. Все в рубахах: воздух насыщен испариной, теплом. Каму жарко, трудно: шуба — пуд.

— Иди, — подгоняют кама злые голоса.

— Иду...

Тропинка подошла к обрыву, отчаянно скакнула на сажень вниз и вьетса дальше, узкая, над самой кручей, по карнизу.

Кам вдруг остановился. Его толкнули.

— Стой, — сказал он спокойно и посмотрел с обрыва вдаль. Внизу село. Игрушечная церковь.

— Знаю... Туда ведете... Кого ведете? — Кам взглянул в упор на Филимона. Тот хотел что-то сказать, смолчал, под взглядом съежился: глаза кама — огонь, и брови — сажа.

Ерема подполз к краю пропасти, сбил шапку на затылок, глянул вниз:

— Ух ты! — и скорей на брюхе прочь.

Кам у самого обрыва стоял. Рядом с ним — братаны. Привычны братаны к кручам, но и у них, однако, замирало сердце, отпрянули назад.

— Эй, кто я? — обернулся, крикнул кам. — Кто Чалбак? Простой калмык? Бедный калмык? Бить меня станешь? Бить?! — голос резче, резче, задрожало лицо, и глаза прищурились на братьев. — Ну, кто, кто я? Кто? — топал о камни сапогами, кричал Чалбак, вот-вот заплачет. И не голосом кричал — вещей птицей гукал. А бляхи на шаманской шубе звякали.

Братаны растерялись.

Но взял над собою верх Чалбак. Губы закусил, застонал от боли и спокойно так, тихо:

— Ведите... Делайте, что задумали. Знаю, чую, вижу... — спокойно говорил Чалбак, но горячее дыхание шумно. — Кругом курмесь, в пропасти шайтаны, под седьмой землей Эрлик... Махну рукой — все будет по-моему. Мне только жаль вас.

Пошли. Тропинка сумасшедше скачет то вверх, то вниз, с уступа на

уступ. Иди да не плошай — убьешься.

— Я все могу. Вот обернулся бы медведем, да вниз головами всех вас со скалы, как дохлых бурундуков. Я обернулся бы птицей с медным крючковатым клювом и выпил бы из сердца вашу кровь. Пожалел вас...

— Иди, орда! Мы хрещеные. Не больно-то.... Ишь ты!.. А пулю хочешь?! — потряс ружьем старший, Петрован.

— Я иду, — сказал спокойно Чалбак. — Делайте, что задумали. Иду.

Лицо Еремы стало серьезно, испуганно. Он сопел и шел в хвосте за всеми, а на опасных крутых местах полз на четвереньках, шептал, крестился:

— Воистинный воскресь, господи помилуй.

И все смотрел на кама: ежели оборотится кам медведем, Ерема сигнет на самую вершину, да за камни, да под елку, в лисью нору...

В отдаленьи Казанчи плелась. Вот притаилась в камне малая озеринка дождевой воды. Заглянула в нее Казанчи, как в зеркало, испугалась: так вот она какая стала! Где румянец щек, где блеск в глазах?

«Ой, Чалбак!.. Что ты сделал с Казанчи?!»

Возле озеринки малой, на припеке, пахучий розовый цветок растет. Сорвала цветок, поцеловала, заплакала. Зачем сорвала, зачем заплакала — не знает.

— Эй, тетенька! — кричит Ерема и чрез силу улыбается. — Не плачь, иди скорей!

Идет дальше, неживая. Цветок в руке.

— Не отставай, тетенька!

XIV

Село, долины, весь мир во тьме. Ни звезд, ни месяца. Мелкий теплый дождь. На берегу, у церкви, большой костер. Много народу, все село, даже старая Федосья, тут.

— Ведут, кажется, — сказал урядник, плотней закутываясь в дождевик.

— Ведут, — ответил отец Василий под парусиновым зонтом.

Хлопали по липкой грязи ноги, шел в шаманьей шубе кам Чалбак. За ним толпа — калмыки, теленгиты, русские. Шумно в село вошли, собаки тревожный лай подняли, крики, ругань, калитки скорготали, усиливался дождь.

В такой поздний час обычно полсела готовится ко сну, полсела крепко спит, а вот теперь взбудоражился народ, словно упал в сонное болото камень. И этот камень — кам.

Два мужика, хромой да кособокий, подхватили кама под руки. Опустил кам голову, суторбился. Двое на его согнутой спине огромный бубен держат, третий в бубен что есть силы гулкой колотушкой бьет, а сам гогочет. Гогочет толпа, гикает:

— Дуй пуще! Не колотушкой надо, а колом! Тащи к костру: поп там!

Отродясь бабка Федосья не видала камов, трясет головой со страху, смотрит на согнутую спину кама, на звонкий бубен, прислушивается к грему-

чим бубенцам, шамкает:

— А-а, окаянная твоя душа!.. Неумытник!..

Ребятишки — мелюзга и чуть постарше — месят босыми ногами грязь, присвистывают. Один в Чалбака камнем запустил.

— Дай ему по шее!

— Бей его!

Ухнул, припрыгнул, ударил кама саморусский кулак по голове. Еще налетел мужик, еще ударил.

— Бей!

— Пусти-ка, пусти! — шамкает косматая Федосья, крутит кулачонками, из беззубого рта злая слюна летит.

Молчит кам, терпит. Только от каждого удара ниже клонит голову.

Собаки надрывно лают, сердятся, подбежит иная, рванет рывком косматую шаманью шубу.

Тьма кругом и злоба. Дождь не дождь — пьяная вода поливает сверху, опьянели люди, в один голос с псами твякают, готовы каму горло перегрызть.

— Бей!

— погоди, стой! — орут братаны. — Дай до попа доведешь.

И, как подошли к костру, выпрямился кам, взглянул на священника, сказал раздельно:

— Батюшка, меня бьют. Ты бить не вели.

— А-а, вот ты как богу служишь?! — воскликнул гневно отец Василий и потряс зонтом.

— Я в бога верю.

— Верить?! Православные! Слышите? Он верит!!!

— Да, верю. А камлать не могу бросить.

— Ах, не можешь? Черту служишь?

— Черту и есть... Черту, черту служит! — прокатилось по русской по толпе, что воинственно у костра пережидала.

— Я верю в бога. Я Павел, крещеный. Как брошу камлание? Не бросить. Шайтан душил меня. Эрлик грозитя. Курмеса спать не дают... Их много... Каждую ночь мучат меня. Работы себе требуют. Сам не рад. Тяжело мне, батюшка. Голова моя горит, сердце плачет. Пожалеть надо.

— Ты всех моих духовных чад мутишь. Не смей! В ад тебя! В неугасимый огонь! Грешник ты, отверженец!

— Да, я грешный... Верно. Сам грешу, сам отвечаю богу. Не приказывай бить меня. Пусти в горы.

И с криком бросилась в ноги отцу Василию Казанчи:

— Не приказывай бить его, пусти в горы! Окроши святой водой! Бачка, бачка! Пожалей!

— Не приказывай бить его, пусти! Сам за себя ответит, — прокатилось по калмыцкой по толпе, что робко в стороне стояла.

— В тюрьму! — грянул урядник, и два свирепых кулака вынырнули из-под его накидки. — В тюрьму тебя, негодяй! В тюрьму! На поселенье!..

— За что меня в тюрьму?

— Он никому зла не делает, болезни прогоняет, все узнать может, — путанво, крадучись, кричали инородцы.

— Встань, Катерина, — сказал священник. — В тебе нет вины.

Дождь как из ведра хлынул, резкий, торопливый, сквозь зонт пробивает, холодной пылью обдает холодное поповское лицо.

— Вот поручаю братьям Брюхановым: бубен богомерзкий сжечь, колотушку сжечь! Шапку, шубу сжечь! Все в костер, все! И ты больше не кам. Слышишь?

— В торьму!! — прокричали кулаки и глотки. — И чтоб в церковь каждую службу! Слышишь?!

И пошлепали две пары калош глубоких в поповский двор. Долго там огонек мутнел.

XV

— Будешь, чертово отродье, будешь?! — свирепо вскричали братаны Брюхановы. — Его надо по всему селу, братцы.

И вновь повели Чалбака по темным улицам и закоулкам. Грязь, дождь. Разит сивухой. Ругань, матерщина, свист. Бьет, грохочет бубен, грохочут бубенцы, собаки сумасшедший лай подняли, светопреставленья. Тьма.

— Чтоб все слышали! Чтоб помнили!..

Кам тяжело дышит, и душа его взбудоражена. Идет или нейдет — не знает.

— Бей!

Кровь пошла из носа.

— Бей черта!

Искры посыпались из глаз. Кам остановился.

— Го-го-го-го!.. Бей!

И словно холодный огонь коснулся его сердца, словно огненная льдина мазнула по спине, съжился кам, вздохнул, провел ладонью по лицу: кровь.

— Я смирно жил в горах... Кому худо какое я сделал? Не трогал вас. За что убиваете меня?

Заплакал и раздался из тьмы плачущий женский голос:

— Чалбак! Чалбак!.. Убьют тебя... Чалбак!

И плакал, сморкался громко Ерема-пастушок.

Инородцы тоже плач подняли, просили жалобными голосами:

— Отпустите... Больно ведь... Человек ведь он... Грех!

— Плачет, холера! Еще он плачет!! А вот как по-нашему! — братаны враз сшибли кама с ног. — Луши его, вот так! Вот так! Бу-у-удешь!! Праз!!

Кам тихо прошептал братанам Брюхановым:

— Вы трое пуще всех били... В ползиме у одного из вас родится чудо: родится, сдохнет. Тогда вспомянете меня.

— Что он сказал?.. Кто слышал? Что?

— Родится чудо какое-то... Вот черт!

Мазал свет костра по бородам, по лицам. Поднялся кам, но плохо дер-



жат ноги, лицо в крови, глаза заплаыли — для кама сплошная тьма.

— Живуч, собака! У-у, ты! Дай-ка камень. Рраз!!

Срубленным деревом повалился кам на землю и, полумертвый, прохрипел, густо сплевывая кровь:

— В доме у вас будет худо... Смерть...

И громко крикнул кам Чалбак последним страшным криком — мстяще, угрожающе:

— Смерть!

Показалось всем тогда: молния блеснула, ударил гром, и бубен в костре взбрыкал:

«Смерть!»

Опрометью, врассыпную кинулся народ:

— Убили, убили!..

Хлюпали по липкой грязи ноги, дождь лил как из ведра, и тьма качалась:

«Смерть!»

— Убили... Кама убили!.. Кама!

Только братаны Брюхановы, темные братья во Христе, мужественно остались, чтобы завершить задуманное во славу и укрепление веры русской.

— Господи, благослови! — и, осенив себя крестом, братаны поволокли хрипевшего Чалбака за ноги к обрыву в речку.

— С нами бог!

XVI

Ночное время проходило. Дождь не унимался. Рождалась заря в восточной стороне, свет плыл по горам, по долам, по селу. Тихо. Спят коровы и люди, птицы, псы. Все мертво.

Только Казанчи не спит. Согнувшись, взмокнув, с растрепанными черными косами сидит на краю обрыва, в руках розовый цветок. Целует Казанчи цветок вчерашний, шепчет:

— Чалбак... Где же ты? Ну, покажись...

И смотрит вниз, в бушующие волны Анчибала.

XVII

Старая бабушка Федосья до самого утра не смыкала глаз. Ерема заплакался и в стадо не пошел, спит с собачонкой Дунькой как убитый.

А бабка зевает под дерюгой, чешется и шепчет все, шепчет, не переставая:

— Богородица, владычица... Дай мне хошь на последях Иисусовы страданья поглядеть... Как его на пропяты вели... Помирать уж мне скоро.

И был поутру старухе сон. Не сон, а кутерьма какая-то; двигалось все, шипело, махали кулаки, хвосты, летели табунами птицы, и, всхрапывая, бешенные кони пронеслись вдаль. И сквозь всю эту сумятицу слышит старуха

ха голос: «Что просишь — исполнилось». — «Когда же это?» — «Ночью, у костра».

С тем старуха и проснулась.

На улице жутко было. Колокол к обедне звал, и резко, ясно представилось старухе все вчерашнее: избитый, изруганный идет Чалбак, на согнутой спине бубен тащит, еле передвигается вперед, из носа кровь ручьем, разбиты зубы.

Закрывает Федосья лицо руками да к образу:

— Матушка, владычица!..

И прошептал голос въяве: «Что просишь — исполнилось вчера».

— Тьфу, наваждение! — плюнула старуха. — Сгинь!.. Тьфу ты!..

Да скорей к отцу Василию.

Идет, вавое перегнувшись, шарит полузрячим взглядом землю и видит, да не глазами, сердцем отворившимся: ведут Христа на распятие — измученный, избитый, крест на спинушке — и не Иисус это, а кам Чалбак — все лицо кровью залито.

Туда, сюда бабка взглядом — нет, видит. Ввалившийся рот молитву шепчет, костяная рука крестится, — а виденица с ней! Зашурилась бабка крепко-накрепко — видит: ведут Христа на мученье, и не Христос это, а кам Чалбак.

И словно солнце осветило душу: вдруг стало ясно бабке и тепло:

— Господи!

Сморщилось лицо, из костяных рук клюшка выпала:

— Господи, помяни его душеньку! Господи, прости мне... — И согнулись сами собой древние ноги, и столетний лоб прильнул к земле.

XVIII

С этой проклятой ночи худо в селе Глызети сделалось и пусто: словно налетел вихрь, опрокинул все, утасил огонь жизни, оборвал цветы, — уныло стало.

Случилось что-то недоброе. Черная сила, что ли, против людей пошла? То собаки всю ночь воют, то в горах невидимый бубен бьет.

Дивятся мужики и бабы:

— Ведь сожгли, кажись. И каму полный карачун вышел... и других камов на десятки верст нету... Откуда бубен? Ока-азия!

А бубен бьет да бьет. Ночи темные, осенние. Жутко. То на одной, то на другой горе: «бум-бум-брряк!..»

Даже в Волчихе, где Иван Петрович жил, и там иным часом слышались зловещие удары бубна: бубен ночью по селу ходил.

Иван Петрович человек благочестивый, рассудительный. Позадержался как-то после вечерни в церкви, подошел к образу целителя Пантелеимона, что в уголку висел, да тихим манером, с оглядкой, тайно, взял и помакнул в лампадку ружейный из пакли пыж. А дома зарядил ружье картечью, да сверху пыж-то освященный и задул, благословясь:

— Теперь крепко будет. Его простой пулей не проймешь. — И повесил ружье над самой кроватью.

— Сказывают, по речке ходит, — отозвалась жена, дяконова дочь, и перекрестилась. — Тело свое разыскивает, говорят... Хозяинна...

— Пусть-ка попробует сюда прийти... Да я ему!.. — храбрился природный трус Иван Петрович и, чтоб побахвалиться, пошел вечером в гости к писарю.

Да там и засиделся до самых петухов. Чай был с выпивкой, с закуской, страшные разговоры были: все о том же, о каме, о проклятом бубне.

— Да я его!.. Только бы встретлся... я б ему!.. — бахвалился пьяненький Иван Петрович. — Трах! — и всмятку...

Когда возвращался домой прогонами, ночь была лунная, голубая, ядреная, ночь вся звенела.

Вдруг слышит Иван Петрович: глухо, тихо бухнул бубен вдалеке. Иван Петрович ускорила шаг; круглое, красное лицо его побагровело; черные, сросшиеся брови вразлет пошли.

Бубен ближе, ближе.

Батюшки мои! Сюда... Сорвал нательный крест, очертил им на дороге широкий круг, сел за черту, в круг замороженный:

— Бог в черте, черт за чертой!.. — ждет, трясется, во все глаза глядит.

Все ближе бубен, близко, к прогону, к кругу: «Бум-бум-бум!.. Бум-бум!» — и словно с разбегу в стену — в черту уперся:

«Аррр-рох!»

— Святини вси! — взывал Иван Петрович, да на карачках из заколдованного круга вон.

И путем не помнит, как хмельные ноги его к дому поднесли. А дома ни гу-гу, молчок. Только и сказал жене:

— Буду с ружьем ходить... Пыж святым маслом смазан... Из боговой лампадки... Чуешь? Трах! — и всмятку.

— Господи! Да почему же ты весь в грязи, как свинья худая?

Иван Петрович ни гу-гу.

XIX

Много кой-чего в народе толковали: будто в прошлую субботу на мельнице бубен брякал, а к старосте, дяде Финогену, в печную трубу голос кто-то подавал; вот еще две лошади в озере утопили, будто бы чалбаковы шайтаны туда загнали их.

Еще сказывал какой-то обормот-бродяга, будто встретил в лесу старушонку потрясучую, с четверговой свечой старуха землю роет. «Ты что тут шарисься?» — «Чалбаковы, мол, потроха ищут... На кладбище тащить надо, в могилу. Превечный ему покой». Ну, известное дело, бабка Федосья, больше некому. Так народ и порешил.

И верно. Все время старуха по селу мотается. Идет, перегнувшись вдвое, крестится, а сама шепчет, шамкает: «Челбакушка, батюшка. Грешница я,

грешница!» Видно, покачнулась в уме своем Федосья,

И еще слух шел про отца Василия: будто с той ночи проклятушей шибко пить стал, во хмелю ругал черноглазую Надею, а та черную челку пуще раскуделила, грозится: «Меня даже сам урядник на чашку щиколату пригласал!»

Всякое плели в народе.

А вот Брюхановым братанам, тем действительно, должно быть, жизнь не в жизнь. Осунулись, обвисли, только бороды торчат. Оно правда, что сбросить полумертвого человека в воду — штука, ой! Ну, что ж, мирское дело, давным-давно все мохом поросло, даже сам отец Василий поучал: «Суд народа — суд божий», и другие прочие слова. А вот братанам тяжело. Старший, Петр, в лавке торговал, он пожертвовал священнику на рясу, а Надее — на кофточку кумачу. Средний, Андрей, добрую пасеку имел, на боговы свечки обещался воску пуд. А младший, Филимон, дал обещанье отправиться с весны со сбором на украшение дома божьего. Что ж, правильно, самые душеполезные дела. Жить бы да жить, ан нет!.. Видно, черная Чалбакова душа покою братанам не дает.

— Плюньте, чего вы, — говорили им крещеные.

— Мы что ж... Мы ничего... — хмуро гукали братаны. А больше все молчанкой.

В ночное же время часто собирались братаны вместе, к старшему. И все о том же, все о том же толковали, мрачные — о страшных Чалбаковых словах: «В ползиме родится у вас чудо. Тогда вспомняете меня».

XX

Вот и зима пришла с морозами, с пуховым белым снегом. Задумчиво стояли побелевшие великаны-горы, и только крутые каменные груди их были по-прежнему серы, желты, красны. Да щетки леса зеленели то здесь, то там.

Умоклаи, уснули водопады, затихла Анчибал-река, перестали дышать долины духмяным запахом, и не слышно звонких птичьих голосов.

Еремин кнут — ужом свернулся, валяется у бабки на печи, а сам Ерема с обозом ушел — определился к ямщикам в подручные — повез в Монголию купеческий товар. Идет теперь, шагает по нагорным извилистым тропам — Чуйский тракт — и неутомная Дунька с ним. На каждой ночевке, в какой-нибудь деревушке малой, чавкая за чаем пшеничные сухари, что бабушка Федосья в путь дала, заводит Ерема разговор:

— А вот у нас, значит, какое дело вышло... Был у нас кам, в горах жил, под самым белком, где снег. Ох, и страшный кам был, потому што...

Так и катилась про страшного Чалбака слава сквозь все леса и дебри вплоть до монгольского Кобдо-города, до Улясутая.

Возвратился домой Ерема после рождества, возвратилась с ним и Дунька. Прикутыхала Дунька домой с изьянцем, на трех лапах, а четвертой лапой на какой-то заимке угодила Дунька в лисий капкан — блудня была

— так без лапы и осталась.

Ерема горько плакал, словно последний дурак ревел:

— Вот кабы Чалбак был жив... Вдарил бы в бубен свой — секунда в секунда лапа у Дуньки выросла бы.

Но вскоре такое случилось, что Ерема и про Дуньку позабыл, да не один Ерема, а все село, вся округа ахнула.

Раннее утро. Голубел рассвет. Звезда догорала на востоке. В обширной филлимоновой избе ярко топились печь, старуха Секлетинья житные блины пекла, сам Филлимон в красном углу богу молился, а толстобокая Марфуша, дочь его, круто заплетала перед зеркальцем густые косы.

Вдруг встряхнулась изба от пронзительного крика, вихрем ворвалась в избу тетка Дарья, сама хозяйка:

— Филлимон! Мамынька!.. Пропали наши головушки!.. О-ей-ей!

Обомлело сердце Филлимона, и кудластая его борода враз встопорщилась.

— Идите-ка скорей!.. Чудо-то!.. Вот оно чудо-то где доспелось! Ой-ей!!

Не помнит Филлимон, как ногами в валенки утрафил, да без шапки, в одной рубахе на мороз, за бабой. А сзади бабка Секлетинья, а за ней Марфуша, а за Марфушей черный кот.

— Чудо-то какое! Эвот он, окайнный, эвот!..

— Тьфу! — плюнула бабка Секлетинья. А Марфуша взгайкала во весь двор да за бабкин сарафан скорей, словно пятилетняя девчонка.

— За попом надо, за урядником. Да ты, черт, слурела?!

— Страсти-то какие!.. Страсти-то!!

— Нож ему в горло!

Фонарь дрыгал-покачивался в оторопелой Дарьиной руке, слабый свет елозил по парным кучам навоза, по рогастой Красуле, по овцам. Облизывала Красуля своего новорожденного двухголового теленка, взмыкивала каким-то диким тревожным мычаньем, и слезящиеся глаза ее вместо живых и матерински-радостных были печальны, тупы.

Весь уваженный двор наполнился оханьем и причитаньем. В калитки, в ворота, через прясла валил народ, все свои, брюхановские. Только Ерема-пастушонок посторонний, учухал пастушьям чутьем своим, — тут как тут. Да недолго Ерема дивился: разинул рот, выпучил глаза на невиданного страшного урода и тихомолком — марш домой.

А Красуля мычала и мычала; билась в углу, бляели овцы; лошади бросили хрумкать овес, похрапывали и косились на незваную толпу. Скакали от фонаря по навозу тени, как души заклятых курмесов.

— Шестиногий!..

Теленок нетвердо стоял на шести своих ногах, и четыре глаза его были мутны. Вот потянулся к вымени, два языка высунул, но Красуля откачнулась, хрипло взмыкнула, чуть не поддела урода на рога.

— Как же быть-то? А? — уныло сказал старший, Петр.

— А чего такое? — звонким голосом вскричала разбитная Варвара, жена его. — Взять ружье да стрелить... А еще мужики! Мертвого калмы-

чишки испугались, кол ему в душу, вот что!

— Ой, Варвара!.. Не ошибись, девка.

— А что он, татарская лопатка, хрещеным может сделать-то? Тьфу!

— Замолчи, сорока!

Еще солнце не взялось из-за хребта, а все село уже знало про урода. До полудня Ерема успел двадцать верст околесить: много русских занмок, калмыцких юрт облетел; не пивши, не евши, в морозный день потом изошел; Дунька култыхать за ним устала, начала сердито на Ерему взгамкывать.

А Ерема на каждой занмке, знай, благовествует:

— Чудо, братцы-хозяевы!.. Вот так чудо, потому што...

По улусам, по юртам узнали инородцы, вспомнили слова Чалбака, изумились.

— Ой, ой, кудо есть!.. Кудо большой будет... Мало-мало верно толковал Чалбак. Ой-ой!

XXI

К вечеру Иван Петрович прикатил.

Держали совет у священника. На совете урядник был и Брюхановы братьяны.

— Удивительно, — сказал священник, — нечто небывалое.

— Вот именно, — подхватил Иван Петрович. — Хорошо бы осмотреть.

— Надо понятых. Произвести дознание и протокол, — постановил твердым голосом урядник и окинул строгим взглядом опечаленных братьянов.

— Что ж... мы ни при чем... Работайте, что по закону... на все согласны.

— А теленка удавить, — сказал урядник и поиграл брелком-башмачком.

— Странно рассуждаете, — возразил учитель, ухмыляясь. — Как же удавить, ежели у теленка пара голов?

— Тогда огнестрельным оружием... — поправился урядник, и щеки его вспыхнули. — Например, из казенного револьвера.

— Все это ерунда, — досадливо отмахнулся священник. — Надо иконы поднять, вот что. Это неспроста все... Это кам накликал на вас чудо-то... его закваска!

— Его, его! — враз вскричали братьяны. — Сделайте такую милость, батюшка!

— А теленка убить и закопать.

— А корову? — уставился урядник на отца Василья и выжидательно постукал каблуком в пол.

Священник недолюбливал урядника, насмешливо сказал:

— А корову приобщить к делу.

— Правильно, хе-хе!.. — улыбнулся учитель, аппетитно взглянув на румяную Надею, тащившую кипящий самовар. — За хвост, значит, припечатать, входящий-исходящий и все такое... Именно!

— Прощу без обиняков! — обиделся урядник.

Старший, Петр Брюханов, осмеленся, сказал:

— Позвольте осмотреть... Перед чаем-то, а? Тут недалечко. Попутно пивка захватим... Да у меня можно и почаявать. Пирог с рыбиной есть с хорошей... Уж не оставьте, ради всех святых...

На улице пурга была. Крутила выюга. Облаком кружился влажный снег.

— Этакая непогодь ударила.

Поставили кибитками пушистые воротники, идут. Сугробы. Сумрак. В избах сквозь выюгу мутно светятся огни. Встречный ветер валит с ног. Шли, нагнувшись вперед, резали головами бурю. Снег больно хлестал в лицо.

— Стойте! — крикнул Иван Петрович, и все, хватаясь друг за друга, остановились. — Слышите?

Вместе с воем выюги звякнуло вдали, зарокотало.

Братаны засопели и, сдернув ушастые шапки, как один, перекрестились.

— Я ничего не слышу.

— И я... — сказали священник и урядник.

— Слышите?.. Чу!

— Слышу, — сказал священник и от ветра хрипло закашлялся. — Это бубен. Откуда же?

А бубен ближе, громче.

— Сюда идет.

— Я ничего не слышу... Где это? — прошептал урядник.

С треском хлопнули ворота, залилась собака, за ней другая, третья. Ветер мчал-крутил вдоль села дикой пляской, и вместе со снеговыми вихрями, кружа и завывая в их игре, приближались гулкие раскаты бубна.

— Сюда идет. Блиско!

— Православные, что же это?

И уж некогда раздумывать, еще минута — стоичет. Вот он — бум-бум-бум! бум-бум-бум! — прямо на них прет-налезает.

— Заклинаю тебя богом живым! — надсадисто закричал священник, выкинул вперед обе руки и попятился.

А бубен рядом.

— Ай!..

Оглушительно бьет-грохочет, бубенцы звоном звенят, собачий лай выюгу кроет.

— Сгинь! Сгинь!.. Именем божним! — И, падая и вскакивая, парохнулся священник прочь. — Стойте, остановитесь!

Но никого возле не было, все потонуло, сгибло в сумасшедшей мутной мгле.

XXII

На другой день поутру двухголовое чудо сдохло.

Одни говорили, что matka на рога поддела, другие — что жеребец копытом захлестнул.

Только Ерема, сидя на печи, свое молот. Его со вчерашней ночи была лихоманка. Большие глаза горят. Волосы торчком, нечесаны. Мордочка худая, словно у лисенка, острая. К бабке Федосье народу изрядно приходило: то баданьего настою призначать, то капельку богова масла ребенчишку грыжу смазать, то чертов палец поскоблить — бабка в горах нашла — дюже славно от порчи помогает.

Сидит Ерема на печи, тарашится на приходящих. Вот высокий черномазый мужик пришел. Поприветствовал его Ерема и стал речь держать, чуть заикаясь:

— А меня, дядя Тихон, вчерашней ночью было шайтаны задавили. Вот те хрест! Шел я с гармошкой от Ваньши Косоручки, потому што... Он гармонь ладил мне... Ну, значит, иду. А метелица — страсть! Я как вдарю в гармонь на всех переборах враз, Дунька как взвост дурноматом... А шайтаны-то шасть на меня всей кучей потому што... Четыре либо три, в шубах. Огромные, лохматые, что твой ведмедь... Вот те хрест!.. Я потому што прочь. Шайтаны за мной. Я, облаковенно, чебурах в сугроб мордой, да ну орать: «Ай! Ай!» Да ну креститься...

— Врешь, чертенюк!

— Вот подохнуть, дядя Тихон, не вру! Ну, тут вскочил я... Глядь: один только шайтан остался, да и тот стрекача задает, лопочет что-то, будто сыч. А рядом с ним филимоновский-то выродок скок по сугробу, скок... Вот те хрест!.. О двух башках, о сорока ногах, а что хвостов, так и не вымолвить! Вот те хрест!.. «Ммее... — по-телячьи, — ммее...» Тут мы с Дунькой ну бежать, да ну бежать!..

Дядя Тихон улыбался, грозил Ереме пальцем. Ерема засопел еще больше, вытаращила глаза, оттопырил губы:

— Экой ты дурак какой!.. Не веришь?.. — И закрылся с головой дерюгой.

XXIII

Через неделю вечерней порой вновь бубен бил. Погодье задалось хоршее. Звезды были. Тишина, и средь тишины вдруг накатилося. Сначала исподволь, чуть-чуть, потом покрепче, мимо брюхановских домов:

«Бум-бум-бум!.. бряк-бряк!»

Да в прогон, по переулку, тише, тише, так и скрылся. Кто слышал, кто не слышал. И слышавшие — в лице белели, менялась кровь в лице.

Слышат, а не видят. Идет, грохочет невидимка-бубен. Разевают рты, крестятся, прочь бегут.

— Неладно у нас, братцы... Надо иконы подымать.

Ночью собаки выли. Сказывают, выли они на том проклятом обрыве у реки. Выли-выли, да грызню подняли. Собаки ли? — вот в чем дело. Ско-

рей всего — шайтаны, шиликуны, курмеси.

Выйдут крещеные, послушают:

— Беда! Отродясь такого не случалось.

А поутру пономарь Викентий в колокол звонил. Редко-редко. Дернет за веревку да ждет, словно постом великим.

Печально благовестил колокол, нес унылую весть по селу и по всем местам окрестным, куда достигал медно-гулкий звон, будто звал, приглашал, выговаривал:

«Приходи-и-и-те-е-е!.. Хороши-и-и-те-е-е!»

Началось со старшего, с Петра, и с его жены Варвары.

Как-то сразу слегли они, в одночасье. Жар палил, озноб, пот холодный, и снова жар, неутолимый жар.

— Квасу! Квасу!

Жадно пили холодный квас, гоготали звериным гоготаньем:

— Душа горит... Еще!

И сразу в пропасть, в тьму вечную.

Солнце в этот унылый день поднялось поздно. Над увалами и хребтами, где встать ему, долго желтый туман держался, застилал туман высь небесную и укрытые снегом склоны гор. И из желтой пелены его, словно раздвинув парчу погребальную, показалось, наконец, холодное, нерадостное — как свеча в изголовьях мертвеца.

Уныло шагал народ из церкви на погост, качались мерно два белых гроба — последний путь земной.

Возле обрыва дорога шла, возле того самого, страшного...

Ерема глянул вниз... Анчибал польньню прососал. Сердито в польньне вода кипела, черная, как деготь. Злился Анчибал-река.

Пели недружно, плохо. Голос отца Василия дребезжал и обрывался.

Земля промерзла сильно. Двойная могила неглубокая. Над могилой плач большой. Но горше всех плакали Филимон с Андреем. Не родных оплакивали братья — участь. Видели братья свою участь впереди, своей черед. Плакали.

Пономарь Викентий все еще на колокольне: «Приходи-и-и-те-е-е... Хорони-и-те-е-е!..»

XXIV

Не колыхнется огонек в лампаде, словно выкован из золота червонного. Золотом крыта святая икона спасителя. Из-за иконы верба. Золотится на вербе прошлогодний пушок. Маслом пахнет, ладаном.

Тихий сумрак. От печи жар идет. Кот на печи трет лапой за ухом. Щурится — прицеливает глазом на ползущего по печке таракана.

Распростертая фигура на полу. Ряса разметалась черным. Скупно блестит смазной каблук.

Фигура подымается, крестится, вздыхает, опять в землю. И тень крестится, вздыхает, опять в землю. Вздыхает тень.

Шепчет отец Василий молитву. Но слова сухие; как песок, не от сердца, поэтому мятется сердце, облегченья нет. Думается дума. Кто посеял ее, чья рука?

— Из Анчибала в реку, из реки в речницу, из речницы в море. Где найдешь? Невозможно. А надо бы земле предать. Все-таки крещеный. Душа его рыщет по земле, ищет, кого поглотити... Боже, боже!..

Надея спать легла. Мягко крадется к Надее кот. Заберется кот к Надежному сердцу, замурлычет. Тепло, утревно у девичьего сердца. Курлы-мурлы.

А невидимое веретено крутит-дрыгочет, перебрасывает нитку через дома, через крыши, да прямо в Филимонову трубу печную — скок! Оборвалась нитка-невидимка, да по бороде, да к Филимону в сердце... Чья рука веретено пустила?

Стоит Филимон перед старинным складнем дедовским, бьет усердные поклоны и точь-в-точь теми же словами, теми же мыслями, что и отец Василий:

— Где найдешь? А надо бы... Поди, давно уже в море-окиян уволокло. Господи, прости окаянство наше!.. Помяли его душеньку во царствии твоём.

И десять пальцев мозолистых упираются растопыркою в пол, крепко стучит о половицу покаянный лоб, рыжая борода дрожит.

А сердце в широкой груди мужичьей маленькое такое стало, несчастенькое такое, заячье — с самим богом рабский торг ведет:

— Ежели смилуешься, ежели не попустишь, господи, хрещеной душе загинуть — по самый гроб жизни работник твой... тонсь насчет повсеместного сбору на божий храм... Отведи напасть!

Тихо в просторной избе. Капелька по капельке булькает вода в лохань. Да старая бабка Секлетинья мается в кути: ох да ох! Занемогла старуха, вечер соборовали маслом. Крестится Филимон. Чует Филимон участь свою. За плечами стоит участь, караулит Филимона.

— Господи, отведи напасть!.. Кабы знато да ведано... Эх, ты!..

А веретенце дальше — чрез дома, чрез крыши — верть-верть-верть — да ниткой-невидимкой прямо в Еремин двор. Не спится Ереме-пастуху, да и Федосье старой не заспалось в ночи.

— Я, баушка, как мужиком настоящим буду — женюсь.

— Женись, женись...

— Я, баушка, потому што Казанчи возьму... Она шибко пригожая.

— Красну девицу возьмешь. А калмычка — тьфу!

— Нет, Казанчи! Мне, баушка, жалко ее. Она плачет. А как оженимся мы с ней, она камлать меня научит, я потому што угадывать буду. Ты придешь ко мне, я и угадаю.

— Эка, что придумал, неумоя!.. Спи!

— Буду камом, Дуньке ногу приделаю собачью.

Бабушка молчала; Дунька, растянувшись, похрапывала, словно человек.

— А пошто, баушка, сказывают, будто бубен ходит?

— Это душа евоная... Чалбакова. Богу надо за него молиться.

— Сказывают, всех Брюхановых кам сожрет... Все сдохнут, потому што...

— Ну, это как бог попустит. Спи!

XXV

В прощенный день на масленой неделе гулевань в селе Волчиха было веселое. Костры жгли, девок через огонь таскали, катались с гор.

Хохот, визг, песни. В разных концах гармошки наигрывали. Собакам выть под гармошки надоело, забились в катухи, ворчат.

Иван Петрович наелся блинов крепко, браги выпил подходяще и завалился со своей благоверной спозаранку почивать; завтра надо к утрени, завтра великопостную стихирю будут петь: «Се жених грядет во полунощи».

Поговорили о том, о сем, уснули. В переднем углу теплится лампадка. На столе псалтирь, тревник, всеобщий русский календарь и раскрытая тетрадь-дневник.

Ежедневно Иван Петрович записывает теперь в свой дневник всякие толки и «очевидные факты» про страшного кама Чалбака. Тикают часы. В окно с неба луна.

— Ваня... Ваня, ты спишь? — шепот испуганный, дрожащий. — Слышишь?

Анна Дмитриевна, смуглая и скуластая, с заплетенной черной косой, сидела на кровати, вытянув ноги под беличьим одеялом и прижав скрепленные ладони к полной, боявшейся вздохнуть груди.

Иван Петрович раскрыл рот, насторожил слух и чуть приподнял голову, а глазами уставился в окно, за окном слышны были приближавшиеся звуки бубна.

— Боюсь я... Ваня!

Сквозь двойные рамы звук слабый, приглушенный.

Сердце Ивана Петровича заколотилось, дрогнуло: к самым окнам поспешно бубен подкатил, грянул раз, остановился.

— Ваня!

Все в комнате зашевелилось: взметнулся огонек в лампадке, зашуршала повешенная на стене карта, и листы дневника стали перевертываться, как под сильным ветром.

— Ваня!

Анна Дмитриевна повалилась на кровать и головой под подушку.

А бубен взъярился, словно с ума сошел, скок сквозь раму, да ну выплясывать на подоконнике.

«Ррр-а-та-та!.. Ррра-та-та!.. Бум!..»

Не помнит Иван Петрович, как ружье со стены сорвал, острым взором на окне бубен ищет, но бубна нет, только пляска его слышна; пляшет бубен, бьет, а кругом ветер воет, мигнул огонек в лампадке и погас.

— Господи, благослови!

Вскинул Иван Петрович на прицел ружье и грохнул. Сразу бубен, как

убитый, смолк: настала тишина, Иван Петрович позабыл дышать. Тряслись его руки, ходуном ходил дымящийся ствол ружья.

«Ну и хитер ты, урус!..» — послышался за окном гробовой голос кама, а бубен тихо брякнул, словно взяла его бережно чья-то осторожная рука. И не то всхлипыванья, не то смех тоскливый за окном почудились, и снова, как на погосте, — тишина.

XXVI

Не укрывалась нетоптанным снегом дорога на кладбище: умерла старуха Секлетинья, за ней маленький сынишка Филимона и Андреева дочка Маринка приказали долго жить.

Великое попущенье на род Брюхановых содеялось, великое сатанинское дело совершалось: как на погост кому переселяться — ночью немолчно страшный бубен бьет.

До городу весть о бубне докатилась. Пришел из города приказ: в корне прекратить.

Урядник всю волость сбил, целую неделю по улусам, по юртам шарилась, все горные тропы исходил, во все ущелья заглянули — нет! Кругом ни одного кама, ни бубна не нашли.

Священник не меньше Брюхановых боялся, в черных волосах седина пошла. Надея озорным намеком намекала; так, мол, и так — пришлось прикинуть к жалованью полтора целковых в месяц. Два раза отец Василий вокруг села с крестным ходом обходил, кропил святой водой брюхановские избы, а ночью, после второго раза, видел страшный сон: будто моются они с попадьей покойной в бане, вдруг из жаратка, вместе с паром, — кам Чалбак, лицо в крови, избитый. «Батюшка, не приказывай меня бить!» — и такой был голос у Чалбака, — не голос, стон, слеза кровавая, — что отец Василий с поднявшимися волосами в страхе закричал:

— Надея!.. Держи его! Не пускай!

И стали с того времени в народе примечать, будто заговариваться начал священник, даже за обедней не то поет, что по уставу.

Уряднику тоже приснился кам: встал перед ним в полном облачении, в шаманьей шубе, в шапке крылатой с висюльками, а в руках бубен, погрозил уряднику колотушкой, и одно только слово: «Уходи», — но вместе со словом из рта его пламя пыхнуло да уряднику в лицо. Открыл урядник глаза, нюхнул, — паленой шерстью пахнет. Он рукой за усы — правый длинный, а левый обгорел. Он к зеркалу — верно! Хотя не из трусливых был урядник, а испугался шибко. Бесспорно, кам Чалбак адовым огнем опалил его.

Хозяйка, краснощекая вдовуха Василиса, в лицо ему захохотала:

— Чудак ты какой!.. Известно, сжег табачищем. Взойду-взойду, а ты лежишь вверх носом, а меж зубов папиросочка торчит.

Но урядник с того времени заскучал, осунулся, стал бояться вечерами из дому выходить, к пасхе подал просьбу о переводе по семейным обстоятельствам.

XXVII

К лету красному почти всех Брюхановых «шайтан сожрал». Андрея возле города разбойники ухлопали перед самой пасхой, но и про него говорили: «Чалбак знает, где поймать. У него в услуженьи шайтанов много». Два брюхановских дома стояли заколоченные, и весь переулоч, куда выходили они, сделался каким-то жутким, мертвым. Если кому нужно в переулоч, то мимо домов рысью, а в ночное время — никто бы не насмелился: толковали, что сквозь заколоченные ставни человечьи голоса слышатся, плач, стоны, а то словно бы ребенок закричит.

Третье жилище, Филимона Брюханова, стоит рядом с церковью, и снаружи посмотреть — ничего себе, дом как дом, ставни расписные настезь.

А вот с хозяином беда. Из всего могучного брюхановского рода один Филимон остался с сыном, пятилетком. Сжалилась над сиротой бабка Федосья, переселилась к Филимону, а Ерема опять на пастухову должность поступил.

Смерть второго брата потрясла Филимона и окончательно сломила его. Жалок, страшен стал Филимон. Трудно было узнать его; словно не год, а двадцать лет прошло, седым стариком сделался. Лохматый, оборванный, грязный, будто последний варнак-бродяга. Весь пришибленный, испугавшийся, ходит согнувшись, с палкой, оглядывается, шепчет. Если кого встретит — крестится и боязливymi глазами, в которых стоит холодный страх, как бы спрашивает:

«Не шайтан ли ты, не смерть ли моя?»

Знает Филимон и твердо верит, что участь его ходит рядом с ним, вот уж руку занесла: когда убьет? Сегодня, завтра? Забрюхател Филимон Брюханов смертным страхом, и это черное дитя под сердцем сосет змеей его душу день и ночь, высасывает разум, сует в руки нож, тащит к перекладине: «Чего мучаешься? Возьми да удавись!»

Но, видно, ожидать смерти страшно, оборвать насильно жизнь — еще страшней. Да и в уши кто-то наговаривает, какой-то совет дает: «Сделай вот так, тогда жив будешь». Но как сделать-то — не может разобрать мужик, а чувствует: сделать что-то надо. «Сделаю, — жив буду».

Идет к отцу Василию:

— Батюшка... что мне делать-то? Чалбак всех наших порешил. За мной черед... Научи-ка ты, батюшка, дорогой, хороший... — И в землю бух, заплакал, захлебнулся Филимон слезами, скривил волосатый рот.

— Этакий верзила, а плачешь, черт, — промямлил отец Василий: язык во рту был толстый, неповоротливый, слова, как лепешки, шлепались Филимону в уши, Филимон ничего не мог понять.

— Ведь вот сколько молебнов служил ты у братанов-то, — поднимается с полу красноглазый заплаканный дядя. — Опять же сколько раз избы освящал, а помогло ли? Ничего не помогло... Что же делать-то? Как быть-то мне, батя, а?

Отец Василий крестит Филимона большим крестом и выплевывает в его уши все такие же слова-лепешки:

— Венчается раб божий Филимон рабе божьей Фадеею... Во имя отца и сына...

— Батя, батя!!

И смотрят друг другу в глаза, и не замечают той черной мглы, что стоит в их помутневших взорах.

Отец Василий вдруг тряхнул головой, подмигнул Филимону и закатился скрипящим смехом:

— А выпить хочешь, раб божий? — и потянулся к четвертной бутылки опухшей рукой. Глаза у отца Василия бараньи, мутные, голос панихидный, гробовой.

— Ты, батя, как его?.. Ты тово... — и по мужиковой спине прокатился холодный страх.

От священника бредет Филимон к соседу, куму, от кума к писарю, от писаря к Ивану Петровичу, в село Волчичу.

И всем одно и то же, каждого выспрашивает, как быть ему, участь его по пятам идет — спасите, братцы! Но никто путем не знает, чем помочь ему, какой совет дать. Кажется, все уже испытано, а толку нет.

— Жди, Филимон Карлыч, дожидай своо резонту. Ау, брат ты мой!.. Нет чего хуже — смерти дожидать. Тяжко очень.

А учитель Иван Петрович пуще разворошил Филимону сердце; все подробно рассказал ему, как из ружья святым пыжом в чертов бубен тарарахнул, и еще многое из дневника читал про страшного кама, про Чалбака.

— Вот ученые не верят, а я верю... Все факты налицо.

Филимон, разинув рот, бессмысленно смотрел на Ивана Петровича и тряс лохматой головой, словно паралитик.

XXVIII

Так и блуждал Филимон из дома в дом все лето, землю забросил, жил подаянием. Часто заходил на могилу близких, плакал.

Однажды бабка Федосья сказала:

— Поди-ка ты завтра с Еремой к Казанчи. Авось простит. Тогда и скука от тебя откатится.

И в двадцатый раз стала говорить ему, как, грешница великая, била она кама, как потом видела его во сне: идет будто вроде Иисуса-господа; многое тогда, грешница, поняла она, стала неотступно молиться за грешную душу Чалбака, и, знать, услышана ее молитва, знать, кам простил ее. Другие-прочие, которые... А она, слава тебе господи, жива-живехонька.

Послушался Филимон старуху, пошел с Еремой к Казанчи.

Шли полями, перелесками. Всю дорогу Ерема смешные побаски врал, сам заливался звонким смехом и на Филимона покрикивал:

— А ты пошто не смеешься, сарлы-ы-ык такой, леша-ай!

Филимон шагал молча, заложив руки за спину, глядел в землю, громко сопел.

А вот и юрта. Увидал Филимон Казанчи, сложил на груди руки крестом, стал каяться:

— Прости ты меня, тетка!

И Казанчи ему:

— Прости ты меня, тетка!

— Сам не рад, прости!

И Казанчи:

— Сам не рад... прости.

Посмотрели на нее Филимон с Еремой.

Сидит Казанчи у потухшего костра, лохматая, грязная и печальными глазами поверх Филимона смотрит куда-то вдаль. В куче сора побуревший, высохший валяется цветок.

— Вот скоро Чалбак придет... Я в бубен ударю, звонко, звонко...

Встал пастух, мужика за опояску потянул:

— Пойдем, дядя!

А потом тяжело, надрывно вздохнул Ерема, словно собирался заплакать, и сердечным голосом сказал калмычке:

— Прощай. Эвона ты какая стала!.. Жаль мне...

Всплеснула руками Казанчи, засмеялась:

— Эвона... Эвона... я эвона!

Ерема всю обратную дорогу дрожмя дрожал.

XXIX

Эта последняя ночь предальбинская началась собачьим воем.

Как погаснуть золотой вечерней заре, забралась на проклятый обрыв чья-то паршивая собака, уткнулась мордой в омут и завывала. Сначала толсто, хрипло, будто взбесившийся бык дурной, потом вскинула вверх голову, оскалила слонявый рот, твякнула и завывала тонко, визгливо, словно острым веретеном сверлила сумрак. И снова, и снова. Поуркивая и щетиня шерсть — по застенкам, по застенкам — трух, трух, трух — крадучись спешили к обрыву другие псы.

Повизгивая тревожно и также крадучись, словно вину за собой чуя, культхала в беспокойную собачью стаю и Еремина трехлапая Дунька.

Кажется, все псы с села сбегались, будто их скаликал кто, уселись в кружок и ну выть дурью.

А небо стало темнеть. С востока поднималась из-за горбатых хребтов сизая туча, из ущелий потекла смолой густая тьма, затошила тьма долину Анчибала, обрыв, церковь, все село, ползла по склонам гор ввысь, тянулась к вечноснеговым вершинам. Помутнели белые вершины, ночной час близок. Еще немного, и весь мир меж землей и небом ослепнет и захлебнется тьмой.

Выли собаки надрывно. Ненавидели собаки друг друга. Зачем-то прищипались: ветрено, темно, спать бы да спать, а вот пришли. И тоскливо на собачьем сердце, и больно. Так тоскливо, что и стерпеть нельзя.

«Вву-у-у... Гав-гав... уууу!!»

Выходили из ворот жители, прислушивались. И мерещилось им, что

не собаки это, а сама тьма непроглядная воеет лютым зверем. А в горах, за Анчибал-рекой, черные шайтаны отвечают точь-в-точь так же:

«Вву-у-у... Гав-гав... ууу!..»

Прятались жители в избы, крестились сами, кругом укрепивали тьму.

— Илья-пророк-батюшка!.. Ильинская пятница-матушка!..

И слышно во тьме, перекликаются через дорогу:

— Силантий, ты?

— Я. А это ты, Ваньша? Не видно ничего.

— Он самый... Это что же такое будет?.. А?

— Да вот человека, Митьку свово, послал с ружьем... А то не уснешь. Жуть. Откуда их черт согнал?

В безглазой вышине запоздалое стадо говорливых галок пролетало. На свежих пажитях курлыкали журавли. Поскрипывала и колотилась под ветром чья-то незакрытая дверь.

Посреди дороги, спотыкаясь о вылезшие из земли камни или скользя осторожной ногой по парным коровьим кучам, шагал человек с ружьем. Зарядил он двустовку мелкой дробью-бекасинником. Стегнет собачью свору, как кнутом, и будет!

Приложился человек — бах-бах! — и сразу все оборвалось, только слышно, как быстрые лапы оторопело землю топчут, врассыпную собаки прочь.

Улыбнулся человек, покурил, послушал и — домой. И только лишь в калитку — опять на том же самом месте завыли псы.

XXX

Баба Федосья брюзжит на своего Ерему, сердится:

— Надо искать Филимона-то! Тоскует его душенька. Иди!

— Филимон у попа, верно... Я за Дунькой... А то собаки ее разорвут.

— Дурак какой! Перво человека надо пожалеть.

Взял Ерема кнут, прислушался, пошел к церкви на обрыв. Ничего Ерема не боится. Ну, темно, ну, собаки воют, — эка штука, пусть.

— Потому што она сумаспешная... Казанчи-то, — рассуждает сам с собой Ерема; через плечо кнут висит, в правой руке фонарь с огарком. — А вот женимся мы с Татьяной Рыбкиной, это дело...

Ерема улыбается, весело размахивает фонарем — тьма подпрыгивает, со светлым лучом в чехарду зачала играть,

— Ух ты, язви их!.. Как воют!..

И нежный женский голос вдруг:

— Пасеня, ты? Огрей ты их кнутом хорошень! Боимся мы с мамынькой.

Сделай милость, разгони, пасеня-пастушок!

— Ладно, — сказал Ерема толсто, вдруг почувствовал себя заправским мужиком. — А ты творогу со сметаной дашь мне?

— Дам.

— Ну, ладно, разгоню.



Ветер взметнул сильней, огонь в фонаре заколыхался, стал накрапывать дождь. Шагал-шагал Ерема в бабкиных бахилах, да споткнулся:

— Язви тя!.. До чего темно, — и пошел прямо на собак. — Дунька! Дунька-а!..

Вот и обрыв. Внизу Анчибал гремит. Колет тьму голосистый собачий вой.

— Дунька! Фють, фють...

Вильнул туда-сюда фонарь, зарычала собачья свора, оцетинилась.

— А это хошь? — взмахнул Ерема кнутищем и щелкнул в воздухе, как из ружья.

— Филимон!! Филимон!! — вдруг дурью заблажил он во всю глотку. — Что ты, Филимон?!

Упал фонарь, зазвенели стекла, и бросился Ерема во всю прыть домой.

— Филимон! Батюшки, Филимон!!

Отворялись во тьме окна, кто-то кричал ему, кто-то звал испуганно, но Ерема, спотыкаясь и падая, мчался дальше:

— Он воет, он воет по-собачьи... Батюшки!!

XXXI

Словно колдун, словно страшный кам-шаман, окруженный собачьей стаей, сидел Филимон на обрыве, как вывороченный буреломом таежный пенек во мху.

Он не знает, как пришел сюда. Кам Чалбак сказал:

«Вот год уж, как вы меня убили. Зачем пожаловал? — Кам Чалбак вынырнул из воды, из Анчибала, и гулко ударил в бубен. — Зачем пожаловал?»

Филимон затряс головой, разодрал ворот у рубахи — душно, — хотел ответить, но слезы не дали. Только и промолвил:

— Прости!

«Не знаю, — сказал кам. — Ступай домой».

Анчибал взбурлил, взъярился, хлестнул волной о камни, и кам пропал.

А псы ляскнули зубами, взвыли. Посмотрел на них дико Филимон — светятся во тьме собачьи бельма — запрокинул нечесаную голову и взвыл со псами страшным, сумасшедшим воем.

XXXII

— Надея! Надея! — крестясь и дрожа всем телом, вскричал отец Василий. — Послушай-ка, Надея. Что это?

Оба они стояли у полуоткрытого окна, — священник и девица, — оба тряслись от какого-то необъяснимого ужаса.

На обрыве, бросив вой, яро рычали псы, и слышно было, как зубы зверей кого-то рвут на части, гложут. И сквозь грызню — последний, пронзительный человеческий крик.

— Надея!! Это Филимон!

А потом все смолкло, только Анчибал плескался во тьме.

И вот среди наступившего затишья — громче грома, трескучей синей молнии — ударил бубен. Всяка душа удар тот слышала, все к окнам бросилось, даже спящие вскочили, так ядрен и внезапен был удар.

И пошел в непроглядной тьме вдоль села волшебный бубен, он шаркался из стороны в сторону — то вправо бросится, то влево — и гудел и бухал как-то по-особому, не так, как прежде, словно победу праздновал и навек прощался с белым светом.

Одним казалось — выговаривал бубен, жаловался человеческим голосом; другим слышался хохот, словно леший при болоте хохотал, а третьи клялись и уверяли — плакал бубен горько.

Шел бубен по селу, бил колотушкой яро, жаловался человеческим голосом, хохотал и плакал, неистово бубенцы с колокольцами заливались. И чудилось каждому, что колышется, вздрагивает от гула и грохота ночная тьма, и все горы тяжело до основания трясутся.

Чур, чур! Наше место свято!

И такая жуть, такая тоска смертная напала на всех людей, ну, вот скулит душа, как неутолимая зубная боль, ну, вот давит сердце... Господи!!

И ныряют головами под подушки и затыкают уши пальцами, только бы не слышать проклятого звона, гула, рокота.

Господи, господи!! Ни крест святой, ни молитва, ни наговоры тайные старушки от четырех ветров — ничего не помогало: бил, неистовствовал бубен до самых петухов.

Лишь только возгаркнул краснобородый на насесте, сразу сгинул бубен, словно провалился сквозь землю. И ночь до самого утра была немая.

XXXIII

Солнце в Ильин день поднялось над хребтами приветливое. Благовестили к заутрене.

К церкви бодро шагал народ, русские и калмыки с теленгитами. Заходили на обрыв, качали головами, осматривали изрытую в ночной свалке оплешину и ключья Филимоновой одежды. Вот голенище сапога, вот лоскут холщевой рубахи, кровь на острых камнях, стекла, спички, нательный крест.

— Ну, значит, разорвали.

— А где же он, разорванный-то?

— Стрескали... Думаешь, глядеть будут!

— А по-моему, в реке он.

Загадочно посматривая друг на друга, крестились и — словно озноб по спине — передергивали плечами:

— Вот она нечистая-то сила что вырабатывает!

Но каждый думал тайно: «Слава Богу, не меня».

За службой отец Василий был отцом Василием, а как вышел к аналою речь держать, вдруг преобразился: румянцем покрылись скуластые щеки

и кончики ушей, вспыхнули огнем безумные глаза, зазвучал по-молодому голос. Все придвинулись плотнее к аналою и, потные, распаренные, смотрели в рот священнику.

— В ум вошел поп-то... Слава-те Христу!

— Отцы и братия! Вот мы какой великий грех содеяли. Все мы перед богом виноваты, а наипаче многогрешный перей и пастырь ваш.

— Эх, бачка, бачка!.. Так и есть! — вздохнула узкоглазая паства; русские также вздохнули и потушились.

— Кайтесь, православные!.. Вот сердца наша освирепели, и души наполнились, вместо иссопа, смрадом...

Долго говорил отец Василий мудреными словами, разобрал всю подноготную, многих вогнал в слезы искреннего покаяния и, наконец, всплеснув руками, воскликнул:

— И вот вчера, на том богомерзком утесе, свершилась, с поущения божия, страшная месть кама. В клочья растерзан был псами рыкающими раб божий Филимон, несчастное чадо мое. Сам слышал вопиющий глас его, сам видел его сугубые страдания... о, мучительнейшая из смертей! И видел и свидетельствую... Помолимся об упокоении души его...

— Батюшка! — кто-то крикнул от паперти знакомым голосом. — Дозвольте, батюшка, тут ошибка. То есть, вот как это было...

И все обернулись по голосу, а сверкавшие черным огнем глаза священника жадно искали говорившего.

Вдруг весь народ ахнул, и словно огромное дерево упало от паперти к аналою — внезапно расступились все, образовав проход.

— Не бойтесь. Я живой.

— Не верю! Наваждение! Искус! — иступленно закричал священник, простирая вперед похолодевшие руки. — Именем бога живого!.. Изыди вон!..

В церкви произошло смятение; суеверные в страхе бросились к выходу и в небывалой давке толкали друг другу кости, старухи пластом валялись пред иконами и завывали, а кликуши ойкали, взлаивали, пели петухом, ругались непристойно.

— Черт, черт, черт!..

— Вон его, вон!

— Паки повелевают: изыди вон, мертвец!

— Батюшка, отец Василий!..

— Нет, это настоящий... Не может быть... — позеленев, вскричал Иван Петрович, — нужно удостовериться, удостовериться! — И в порыве суеверия, мазнув по своей трости маслом из лампадки высокочтимого образа, огрел по спине растерявшегося, обезумевшего Филимона тростью и сам, почему-то испугавшись страшно, завизжал, как кликуша:

— Настоящий, настоящий!

Но толпа все это приняла по-своему.

— Бей его!

— Оборотень! Упокойником прикинулся!

— Божий дом опакостил!

— Бей!..

— Не в храме, не в храме! Волоките вон!

— Рой могилу!..

Безумно хрипел Филимон, вырываясь, и не хватало голоса кричать.

А рядом с ним надрывалась, шамкала плачущим провалившимся ртом старая Федосья:

— Филимон Назарыч!.. А ты октись, голубчик, октись, октись... Тогда поверят.

XXXIV

С той поры много лет прошло. Зеленые мхи на скалах поседели, Анчибал-река прорыла себе новую излучину, заросла травой-полянью горная тропинка к опустевшей юрте Казанчи, покачнулись кресты на брюхановских могилах, а сам Филимон Брюханов стал древним седовласым дедом.

Доживает он свой век у Еремея Терентьевича Дятлова, богатого заимочника, караулит его пасеку.

Любит Еремей Терентьич за чайком душистым, сидя у костра на пасеке, перемолвиться с дедом о старинных днях.

Дует Филимон на горячую жижицу в китайской деревянной чашке, тягуче говорит, словно по складам читает:

— Так весь наш корень и съел Чалбак... Втапоры ты, малый, пастухом был. А теперича разбогател. Да, брат, да... Взыскал тебя господь за простоту твою... Вот оно...

Хочется Еремею Терентьичу знать все до тонкости, выпрашивает так и сяк, но дед в двадцатый раз одно и то же:

— Тут вдругоряд кам из омутины вынырнул, на скалу залез да и скажи мне слово: «Вспомнил, грит... Я Павел... Прощаю... Не Чалбак тебя, грит, прощает, а Павел...» А собаки напыхом как прыгнут на него, быдто на ведьмака, да ну грызть, чавкать... Ух ты, якорь те в нос!

— А ты-то, ты-то, дед?

— Ничего, друг, не помню... Всю память кто-то выскреб из ума. Где, к примеру, ходил, как в церковь попал, ну вот не помню, да и на! Быдто коро-ва языком слизнула. Выволокли меня, значит, православные, на тот самый на обрыв: «Тоши его, тоши», — закричали. А я, словно немой, только руками развожу да мычу. А тут вдруг, милый человек, речь нашлась. «Братцы, говорю, что же вы, братцы, делаете?.. Ведь я человек есть! Братцы!» Быдто холодной водой им в морды брызнул. Так все и откатились, в ум вошли. Которые очень даже остались недовольные. Яшка Косолапых аж сплюнул: «Тьфу, тыг... Чего ж ты, гыг, дурака-то валял!» А на меня уж, почитай, вся душа вон вылезла... Вот дела-то! Де-е-ла, брат Ерема, дела!..

Говорили так поздним летним вечером. Темно было. Сырой туман от Анчибала плыл. Рогастый месяц из-за горы приподымался.

— Чу, слышишь, Филимон?.. Бубен в горах.

— А? Не слышу я... Бубен, что ли? Это ничего... Как месяц на рогу — он всегда ходит... Ничего. Теперича он не душевредный... В наше село путь заказан ему... Ничего. А в горах пускай... Мало горя.

— Чу, чу!.. Ишь, как!

То не кам камлает, не гремучий гром гремит, то Чалбаковы курмасы, его слуги, по вершинам скачут, в невидимый бубен колотушкой бьют, ищут, не находят, где Казанчи лежит.

«Бум-бум, тра-та-та!.. Где ты? Эй, отзовись, молодая Казанчи!.. Дзын-дзын!.. Ррррох!»

Давным-давно лежит Казанчи на высоком перевале. Взял-укрыл ее белый камень-мрамор давным-давно. На высоком перевале ветер воеет. Злитесь ветер, гонит Чалбаковых курмасов прочь. Разве скучно Чалбаку одному?

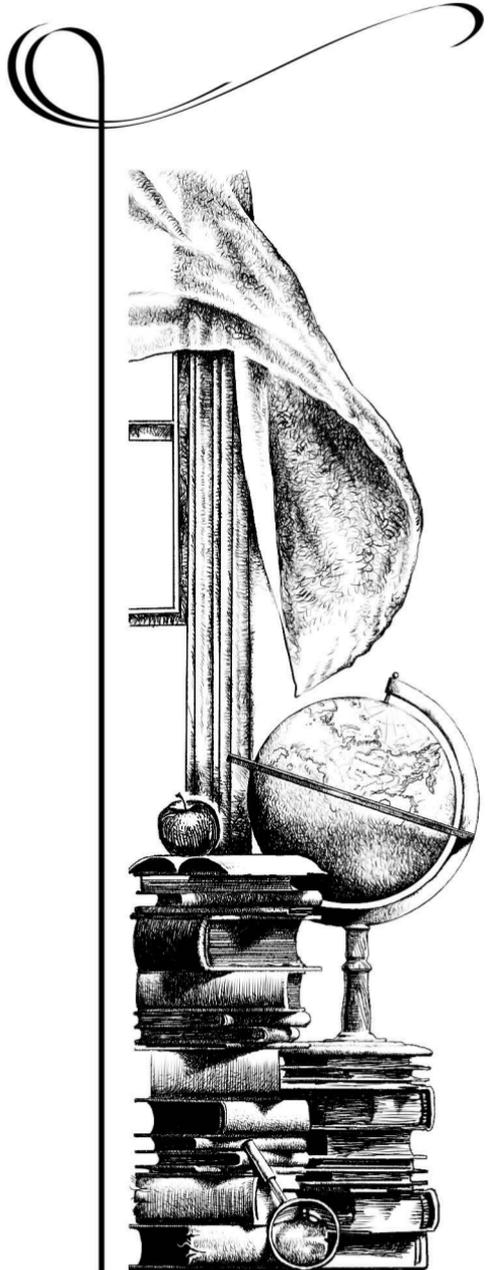
И размахивает пушистыми ветвями угрюмый кедр, что караулит темный вечный человеческий сон:

«Прочь отсюда! Здесь нет калмычки Казанчи, здесь Катерина».

1919 г. Петроград



ПУБЛИЦИСТИКА



Любителям красоты и природы (р. Бия, Телецкое озеро и р. Чулышман)

Прошлым летом и нынче довелось мне постранствовать по Телецкому озеру, Бие и Чулышману. Цель настоящей заметки — ознакомить публику, ищущую легнего отдыха, с этими поистине очаровательными местами. Все хвалят излюбленный, давно насиженный Чемал, Чергу, Элек-Монар и пр., все стремятся туда, может быть, в третий, десятый раз, чтобы снова и снова созерцать все те же виды. Слов нет, хороши там горы, блестят на солнце, как серебряные, их снеговые вершины, но разве есть в тех местах красавица Бия, и где вы встретите там такую искрящуюся небесной синевой огромную площадь воды, как Телецкое озеро? Поезжайте на Бию, на Телецкое озеро, на Чулышман. Скажите — спасибо! Конечно, и веселей, и дешевле ехать компанией, но и одному не так уж дорого.

Опишу бегло весь путь к Чулышману, указав попутно места, заслуживающие внимания туристов.

Пароходства от города Бийска по верхней Бие, к сожалению, нет, хотя все дано: и наличность кое-каких грузов, и достаточная глубина на перекладах, за исключением двух-трех мест, говорят о том, что пароходство возможно до Кузенского порога, лежащего в 45 верстах от выхода Бии из Телецкого озера; а сильный мелкоосидающий пароход поборола бы, пожалуй, и Кузенский, и Сара-Кокшинский пороги и добрался бы до с. Кебезей в 17 верстах от Телецкого.

Но пароходства нет. Нам остается пожелать, чтобы оно было, сесть в Бийске на лошадей и отправляться в путь.

Дорога до Кебезени, на протяжении 220 верст, колесная, сравнительно удобная, если не считать перевала через Ажи-горы и последних верст перед Кебезенью. Идет она сначала по степной, а от с. Енисейского — по лесистой местности вдоль Бии, то и дело подбегая к самой реке.

Первым интересным пунктом будет д. Ажинское, в 115 верстах от города.

Возле нее добывается хорошего качества белая огнеупорная глина и охра, а также открыто месторождение каменного угля.

Дальше с. Сайдып (бывший казачий пикет), за ним аил Алешкин; тут вы вступаете в царство черневых алтайских татар. Следующий аил Сапожкина, потом — Шенарак (Осинники), за которым довольно утомительный и трудный, но совершенно безопасный перевал через кряж Ажей-гор. Вид с перевала на бийскую долину очень красив.

Дальше — два аила, Босток и Сурбашкин, недалеко от которого, по пути, вдается в реку живописная скала и «Малый иконостас»; в скале, у ее подножия, есть пещера. Под аилом Колонаковским дорога идет возле причудливой формы скалистых гор, а версты на две подольше огибает красивый речной бом «Большой иконостас».

На 175 версте от города, на правом высоком берегу, маленькое, но живописное, окруженное хвойным лесом, село Турачак (Миссия). Здесь не

мешает денька два-три пожить. Остановиться можно у писаря Станина, а ежели с собой есть палатка, то прямо в бору.

В верстах пяти от села, на ровном возвышенном плато стоит высокая — больше версты — чрезвычайно красиво очерченная гора Салоп. У ее подножия перелесочки, пашни, рощи, луга. С вершины горы открывается дивный вид во все стороны: перед вами, как на ладони, р. Лебедь с ее узкой долиной, теряющейся в цепи Абаканских предгорий и гор, увенчанных снегом. В ее зеленой пойме виднеются многочисленные богатые заимки. Бия, совсем маленькая сверху река, кокетливо извиваясь меж выступающих скал, вверх и вниз видна на десятки верст. А кругом, куда ни обернитесь, горы, горы леса. На самой вершине Салопа есть природой созданная впадина, наполненная студеной водой. Восхождение на гору — пешком. Выйдя рано утром, к вечеру можно вернуться домой.

В версте от Турачака — урочище Кипяток: вдавшаяся в реку скала, возле коей, как кипяток в котле, играет вода Бии; а еще ниже по речке несколько каменных монолитных «носуль», живописно выступающих в реку: Сыч, Гладкая плита, Ячменев камень. Потом еще две скалы: Большой и Малый Турачак. Все это чрезвычайно красиво. Горный ландшафт, море хвойного леса, полное отсутствие болот и гнуса.

Село Турачак можно рекомендовать как превосходное дачное место. Квартиры есть. Можно добыть в достаточном количестве мясо, молоко и яйца. Есть две-три лавчонки. Очень удобное, совершенно безопасное и довольное скорое сообщение с Бийском на любом из массы проходящих мимо плотов, зачастую останавливающихся у села.

В 30 верстах от Турачака встречается группа Кузенских порогов — первое препятствие для плавания. Дорога идет здесь возле самой реки, и это дает возможность осматривать пороги попутно. На версту повыше дорога разветвляется: одна продолжает идти по правому берегу, другая, более удобная, у заимки Болотова перебрасывается за реку и вскоре сливается с идущим на Кебезень Уламинским трактом, который верст через 10 от этого места, у заимки Камбалина, переходит на правый берег и вплоть до Кебезени пролегает возле самой реки. Виды здесь удивительно хороши. Река принимает строго горный характер: то и дело слышится говорливый шум переборов. Вода ожила: говорит, бурлит, сердится. Приплески усыяны огромными, точно гигантскими караваемыми хлеба, валунами («булочнику»). Повсюду то зеленеющие хвоей, то обнаженные и прекрасные в наготу своей горы. Вода прозрачная и издали кажется темной.

Но вот возле левого берега жметесь-ползает узкая полоса зеленой воды: то река Сара-Кокша влилась слева в Бию со своей изумрудного цвета таежной водой.

Еще подвигаетесь вперед, и ваш слух поражает октавистый рев, словно львиный рокот.

Это грохочет Сара-Кокшинский порог.

Река тут сразу поседела от злости, рвет и мечет, стонет и бурлит, наседавая на камни, засорившие ей дорогу.

Вот один, другой бом, а вот и с. Кебезень. Что за прелесть это село! Его почти не видно с дороги: все заросло лесом.

Кебезень — великолепное дачное место: как кристалл прозрачная, очень вкусная вода, хорошая холодная, для любителя (до 10–12 градусов) купанье (хотя тут же, в селе, течет ручей Кебезенька с обычной температурой воды 15–20), горный чистый воздух, живописный ландшафт, прогулки верхом на Телецкое озеро, на пороги Бии и пр., недурной магазин И. Г. Истомина, церковь и симпатичный молодой священник о. Иоанн, ветеринарный врач и медицинский фельдшер.

Из Кебезени до поселка Артубаш на Телецком озере — две дороги. Одна, 17 верст длиною, с двумя перевалами через хребет Ажи-Ач, довольно удобная для вьючной езды, местами болотистая, пролегает вдали от Бии по дремучей девственной тайге. Другая идет ровным местом возле Бии и на 12 верст, у порога Кобыровского, переходит в тропу, свертывающую от реки в горы. Тропа эта, очень неудобная, часто теряющаяся в таежных делях, соединяется с первой дорогой возле речки Иртек.

К слову сказать: проведению от Кебезени к озеру хорошей колесной дороги вдоль берега Бии, без подъемов и спусков, мешают лишь два невысоких бома, вдавнившихся в реку между Кобыровским порогом и Телецким озером. Слышал я, что и деньги на разработку этих ботов кем-то пожертвованы, но где эти деньги и сколько — мне не известно. А между тем, вопрос о проведении здесь дороги является неотложно необходимым, ибо существующий очень гористый вьючный путь, помимо своего неудобства, весной и осенью становится на несколько месяцев непроездным, оставляя этим самым все население Телецкого озера и долины Чулышмана совершенно оторванным от торговых пунктов. Обстоятельство это сильно отражается на жителях, в особенности на инородцах, ставя их в полную экономическую зависимость от местных торгашей. Недаром цена на пуд соли достигает иногда в Артубаше до 2 р. 50 к.!

Из Кебезени необходимо сделать экскурсию вверх по Бие. Здесь что ни шаг, то диво! Сначала урочище Щеки, где река, обогнув крутым поворотом каменный остров, бешено мчит прямо в грудь скалы. Дальше могучий Пыжинский порог — самое страшное из всех препятствий Бии. Свое название получила он от реки Пыжи, впавшей в Бию с левого берега. Версты на полторы взмешал порог воду. Бушуют седые валы, и рев их разносится по горам победным эхом. Особенно эффектен порог в малую воду, когда камни — преграда реке — высовывают из волн свое темя. Скорость течения достигает тогда 27 верст в час!

Далее Бом Кайгану, бом Туру и порог Кобыровский — тоже могучий, но меньшей брат Пыжинского. Отсюда вдоль Бии ни дороги, ни тропы нет. Несмотря на огромную в порогах скорость течения и усеянные большими камнями ложе реки, несчастные случаи с проплывающими пороги плотами весьма редки, а у опытных вожаков их не бывает вовсе.

Рекомендую проплыть на плоту всю Бию или хотя наиболее живописную часть ее — до Турачака. Не видать Бии с фарватера во всем ее пышном

наряде — значит многое, очень многое потерять в этой поездке. Тут перед вами одна за другой развернуты в красивую сказку сочные, искрящиеся радостью картины ее берегов, музыка порогов и шивер будет по-своему пленять ваш слух, бешеный пробег по порогам, когда плот то зарывается в рокочущий вал, то взлетает на поверхность воды, даст пищу вашим нервам, и все это, вместе взятое, создаст сильное, неизгладимое переживание.

Я знаю самого лучшего жоака по Бие, живущего в Кебезени, Евлампия Васильевича Красикова, опытности коего можно вполне довериться.

Но продолжим описание пути.

Пред выездом из Кебезени на озеро советую обратиться к купцу Истомину: он человек бывалый, общественный — может дать ценные для туриста сведения.

Подъезжая к озеру, как только вырветесь из зеленого моря тайги, пред вами откроется удивительной силы панорама северной части Телецкого озера. Горы, горы! Вблизи темно-зеленые с яркого цвета неширокой поймой, вдаль, налево — синеватые. И откроется пред вами гладь озера как голубой, искрящийся под солнцем шелк. Если нет ветра, все горы отразились в воде: стоят, притихли, словно молятся. Внизу игрушечный поселок Артубаш с маленькими немногочисленными домиками. В этом поселке можно остановиться в общественной, довольно чистой, на две половины, избе, специально предназначенной для туристов, или у заимочника Реута. В Артубаше вы ознакомитесь с бытом теленгитов (телесов), от коих и произошло русское название Телецкого озера, именуемого на языке инородцев Алтын-Куль (Золотое озеро). Название это связано с известной легендой об одном алтайском богатыре, бросившем в волны озера с высокой горы (Алтын-ту) большой кусок золота, которое не спасло его от бывшего в то время голода: и вслед за золотом кинулся в воду и сам богатырь.

В поселке торговых лавок нет, иной раз трудно бывает достать даже хлеба: съестными припасами надо запастись в Кебезени. На рыбу в летнюю пору надеяться нечего — ловить в озере летом не умеют, ссылаясь на то, что рыба «живет на глуби» и выходит в приплески с августа; тогда, кое-как, без всякого уменья и никуда негодными сетями, горе-рыбаки все же ловят довольно значительное количество превосходной рыбы: тайльменей (нередко до 2,5 аршина), харнусов, ускучей, шук, налимов и пр. Но особенной, справедливой славой пользуется добываемая здесь так называемая телецкая сельдь. Конец поселка стоит как раз против выхода из озера реки Бин, а в трех верстах отсюда очень эффектный первый порог Юрток.

От Артубаша до урочища Кырсай, что против устья Чулышмана (южный берег озера), 73 версты. Для поездки на Чулышман можно воспользоваться общественным («казенным») карбалом, требующим от четырех до шести гребцов и рулевого. А иной раз можно попасть туда с «оказией»: с торгующим по Чулышману купцом Тренихиным, с богомольцами или администрацией Чулышманского монастыря. Самостоятельная же поездка обойдется, туда и обратно, рублей в 30–40, но расход этот можно сократить вчетверо, если сесть в гребце самим экскурсантам. Гребцов в Артубаше найти

трудно, и лучше сговориться об этом в Кебезени с живущим на земской квартире Красиковым, сыном лоцмана. Он быстро организует и добросовестно выполнит переправу через озеро за вышеуказанную плату.

Рулевым же советую пригласить из Артубаша инородца Параява, грамотного, могущего служить хорошим переводчиком, прекрасно знающего топографию берегов озера и удобные места остановок, столь необходимых во время дуящих здесь, подчас сильных, ветров — «верховки» и «низовки».

Описывать поразительные красоты озера в беглой заметке не дерзну, интересующихся же научной литературой об озере отошлю к труду проф. Сапожникова «По Алтаю» и двум брошюрам: «По восточному Алтаю (Дневник путешествия в 1905 году)» В. И. Верещагина и «Исследование Т. озера на Алтае летом 1901 г.» П. И. Игнатова.

Через 16 часов чистого хода, при благоприятных условиях, вы попадете к устью р. Чулышмана. Долина Чулышмана! Как я стремился туда, рисуя в воображении величественные, гордые картины. Но фантазия моя поблела перед действительностью, перед тем, что увидел там. Почти двухверстной высоты горы озера сдвинулись близко, на версту, положив предел долины, по которой вьется река.

В противоположность дикой, пустынной красоте озера, где точно вихрь смел все живое, долина Чулышмана оживлена: щебечут птички, рыбаки копошатся на берегу, то здесь, то там аилы разбросаны, зеленеют луга, стада пасутся, режут несущиеся с гор водопады, зреет чудный здесь хлеб. И все это обласкано солнцем, все благоухает. Югом пахнет от этой долины!

Невдалеке от устья есть аил, где можно достать лошадей для поездки в Чулышманский Благовещенский мужской монастырь, лежащий в 12 верстах вверх по реке. Туда ведет приличная колесная дорога. Сначала вы идете возле левой протоки Чулышмана, а версты через три дорога подходит к самой реке и идет по великолепной, природой посеянной тополевой аллее. Вот речка Ачелман, на ней монастырская мельница, а справа, в ряду стоящих горах, режут два доступных для осмотра водопада. Чулышман, направляемый громадами гор, делает одну за другой излучены, пейзаж ежеминутно меняется, поражая путника чрезвычайно разнообразными, удивительной силы и красоты картинами. На десятой версте перевоз на лодке. Чулышман здесь тих, можно вплавь переправить и лошадей. А чрез две версты — монастырь. От монастыря до селения Кумуртук, при устье р. Башкауз, дорога тоже порядочная, а виды, говорят, еще краше, — но я там не был.

Самым лучшим в климатическом отношении дачным местом надо, без сомнения, считать южное побережье Телецкого озера, но тут, к сожалению, нет жилья; затем — монастырь и селение Кумуртук. В монастыре можно найти на несколько дней приют и гостеприимство, а в Кумуртуке есть несколько приличных, годных для дачи, домов. Монастырь имеет крепостных около 3800 десятин пахотной и иной земли по долине, фактически же он завладел всей Чулышманской долиной, от озера до устья р. Башкауз, на протяжении почти 40 верст.

При умелом пользовании это благодатное место могло бы кормить тысячи народов, но...

Собранный мною кое-какой материал, касающийся этого вопроса, без достаточной проверки я опубликовать не решаюсь, а заметку свою закончу выдержками из вышеприведенной брошюры Верещагина (31 стр.), отчасти выясняющими значение для края Благовещенского Чульшманского монастыря: «инородцы пользуются землей, уплачивая монастырю определенную сумму и за пашни, и за пастьбу скота. За десятину земли под пашню платится 10 рублей; за пастьбу по 20 к. с головы крупного и по 4 к. с головы мелкого скота; за место, занимаемое юртой, — 1 р.; срубленное бревно — 50 к.; за право рубить дрова 1 р. с хозяйства и т.д. Плата, взимаемая монастырем за пользование земельными угодьями, сильно стесняет инородцев. Они относятся к монастырю с нескрываемой ненавистью. Многие даже ушли с монастырских земель. При таких условиях просветительная деятельность монастыря равна нулю. Правда, здесь все инородцы крещены, но, конечно, они в сущности остались теми же темными язычниками. Вообще, монастырь является печальным памятником алтайской миссионерской деятельности».

Июль 1910 г.

Пасынки

Газеты известили Сибирь о том, что на севере ее, среди инородцев Обдорского края, появилась оспа, успевшая унести в могилу целые чумы. Это вызвало во мне ряд аналогичных воспоминаний о встречах с тунгусами, кочующими по берегам Нижней Тунгуски и ее притокам: Неп, Ерем, Илимпя и другим.

Тунгусы дрожащими голосами рассказывали об ужасах, пережитых ими года три-четыре тому, когда их тоже посетила оспа. Болезнь эта сначала появилась в русских селениях вдоль по Нижней Тунгуске и занесена была туда с Ангары и Енисея.

Русские, благодаря кой-какой медицинской помощи и относительной культуры, не так страдали от оспы, как малокультурные, самим себе предоставленные тунгусы. Когда болезнь прочно осела в русских селах, тунгусы жили себе да жили в тайге, летали там вольными птицами, били сохатых, ловили лисиц и горностаев и не знали себе, что там на реке, у «дружков» караулит их злая гостья. Время шло. Лист покраснел, холода наступили, — надо идти к русским, за «покрутой» — надо долг нести.

«Тунгус из кожи вылушится, а долг «хозяину» отдаст» — говорят про них кулаки. И вот тунгусы вышли к своим «дружкам» — русским. А там болезнь. То мальчик, то девочка, то старик — почти в каждой избе хворают. Как быть? Нужен порох, дробь, хлеб. Нужно долг платить. Зайдет. Надо угостить. Надо выпить. Захворал. Голова заболела.

— Ложись, куда ты, бог с тобой, пойдешь?

— Нет, юрта надо... Баба там, борони бог.

А до юрты сто верст. А на дворе буря стонет. Не пускают.

— Ложись... Пей снадобье... Поправишься.

Но тунгус, зараженный болезнью, бежит к своим, через тайгу и непогодь, и не знает, и не может знать, что несет он в себе смерть близким, и некому остановить его. И чем ближе он к дому, тем сильнее просыпается в нем и полонит его тело болезнь. Совершенно обессиленный, сраженный оспой, вваливается он в берестяной или кожаный чум и — конец... Даже шамана не успеют позвать, чтобы отогнать «злого духа». Чуть зорька утром встала, весь чум болен.

Соседи в паническом страхе разбегаются в разные стороны, разнося с собой заразу по всей тайге. Тунгусы по своему душевному складу — большие мистики: боятся покойников, злых шайтанов, черных духов и прочего.

После же эпидемии, которая, может быть, не раз и не два подолгу гуляла среди тайги, страх не только перед покойником, но и вообще, перед всякой болезнью, возрос у тунгусов до крайних пределов.

Так, если член семьи заболевает какой-нибудь, по их мнению, опасной болезнью, его бросают, оставив достаточный запас топлива, питья и пищи. Выживет, окрепнет — найдет своих. Не выживет — стинет в чуме, и только разве через год придет, крадучись, его сын или мать взглянуть, что с ним случилось.

Это бытовая особенность тунгусов, наблюдаемая среди них и доселе, особенно резко проявилась, конечно, в год эпидемии. Страшно даже вообразить положение таких несчастных. Лежать среди тайги одному, решительно одному, и галлюцинировать, обостренным слухом ловить шепот смерти, стоящей за чумом.

Один якут говорил мне: «Уж и болезнь убежала, туда в черный день уехала, поправляться, слава богу, тунгусы начали, — шел я с семьей возле берега. Гляжу, изба стоит, по-тунгусски «гулё», а в ней кто-то стонет. Подошли ближе, — стонет человек и лопочет что-то. Войти, что ли? Вошли. Изба тунгусская, чья неизвестно, — должно быть, недавно какой пришел да выстроил. Глядим, на полу мертвый старик валяется, черный, и дух стоит такой, что страсть. А у порога девка лежит, живая еще, голова платком обвязана, лежит и стонет.

— У нас большая семья, говорить, богатые мы, вот с дедушкой, с отырконом, заболели, нас бросили, совсем одних бросили.

— Давно?

— Не знаю, давно, должно быть. Отыркон давно пропал, три дня только прожил, потом пропал. Я одна маюсь, давно не пила, давно не ела, и смерти нет. Взяли девку мы к себе, чум разбили около. Поправилась девка, за моего парня, за якута замуж вышла. А через год их чум встретили. Обрадовались.

И рассказов таких ходит по тайге много. Смерть косила тогда направо и налево.

«Мы ране-то, до болезни, богато жили. Тунгусов много было... Мно-о-о-го... Борони, бог... Богатые были. Пришла болезнь, тунгусы перемерли, олени разбежались: звериный хозяин гонял, волк давил... Шибко плохо!... Э-эх!» Вблизи устья Илимпеи вымерла вся семья в четырнадцать человек. Там вымерла! — в десять, там вымерла — в пять. Вымерла, вымерла, вымерла!.. Вот они, сыны нашей родины! Родина, мать ли ты?

Тунгус теперь, прежде чем войти в селенье — дает выстрел и кричит из-за реки: «Все ли здоровы, друг?», и когда услышит успокоительный ответ, переправляется на другой берег, в деревню. Это инстинктивное чувство самосохранения диктуется тунгусу самой жизнью: кто ему поможет в злую годину? Бог? Но он далеко и где пути к нему? Русские? Но от них, кроме обиды, что ждать.

Приходят два тунгуса в Понолик, маленькое селение на Хатынге, так называют там Среднюю Тунгуску. «Все ли здоровы, друг?» — кричит своему поручателю-кушцу. А у того жил приказчик, у которого только что померла от дизентерии маленькая девочка. Что кушцу делать? Упустить тунгусов с пушиной, чтоб к соседу ушли, нельзя.

— Иди, иди, все слава богу.

Гробик проворно прячут в соседнюю комнату, плотно закрывают дверь. Входят, усаживаются чай пить и вином угощаться. И случись так, что во время мирной беседы вдруг кто-то открыл неосторожно дверь в ту комнату, где гроб. Тунгусы, как по сигналу, вскакивают и, забыв, где выход,

оба выпрыгивают в окно и без оглядки бегут в тайгу. Конечно, это похоже на анекдот, конечно, это рассказывается со смехом. Но спросить рассказчиков, смешно ли тунгусам? И вот теперь змеей ползет по Северу зараза. Там, где она ступит своей пятой, слезы брызнут, раздастся вопль и проклятие. И так змея ползет... А что же дальше? Неужели все то же, все то же, как и в былые дни черной години? Родина, мать ли ты? Пожалей своих пасынков.

1912

Собачья жизнь

Было морозное утро. Седой туман еще не отделился от земли и своими микроскопическими иглами больно раздражал кожу. Где-то благовестили к обеду, и металлические переливы колокола задумчиво блуждали по городу. По холодному, жадному до звуков воздуху близко и отчетливо слышался свисток паровоза.

На углу одной из улиц, возле кухмистерской, сидел с опухшим лицом нищий. Он жадно глодал огромную, похожую на топорнице кость, на которой висели клочья жареного мяса.

На хорошем «хозяйском» рысаке, кутаясь в соболиное боа и откинувшись на спинку саней, прокатила шансонетка. На ее лице после дикой ночи была дрема, было утомление и скорбь.

Следом за ней пропелелись еще не успевшие как следует проснуться лошади, запряженные в покойничьи дроги.

На них в сонных позах сидели и лежали факельщики в разных, обшитых позументами кафтанах и огромных заплатанных пимах. Один был, видимо, пьян: махал руками и грубо ругал покойника, в дом которого тащились дроги. Из дверей пивной лавки выполз, держась за голову, пьяный мастеровой; несмотря на холод, он был в одном пиджачишке и рубаше с расстегнутым воротом.

Он что-то кричал, грозил кулаком кому-то в пивной, сулясь выбить стекла и жалуясь пустой улице на то, как ему бутылкой прошибли голову. Потом плюнул, вздрогнул: бррр... и, сделав руки в рукава, трусцой пустился по тротуару, дробно постукивая рваными полусапожками. Добежав до угла, он подпрыгнул зябко, опять сделал: бррр..., заломил ухарски картузик, встал в позу и жалобно, тонким голосом запел: «Последний радостный деноочек...»

С траурных дрог раскатисто хохотали и что-то кричали ему, но он не слушал, стоял и тянул песню жутким голосом и, наверное, плакал. Плакал о том, что так гадко проходит его проклятая жизнь: в труде и пьянстве, в мордобое, нужде и горе. Еще о том плакал он в своей песне, что непригретой идет его жизнь, темная и пустая, и что нет впереди огонька. И так до могилы. «Эх, скорее бы!» — стонет, машет отчаянно рукою и, посапывая носом, идет вдоль забора дальше и еще жалобнее, со слезами, поет.

Еще прошли два господина: бобровая шинель и енот. Один другому рассказывали что-то веселое, и от их розовых на морозе лиц веяло довольством и пресыщенностью. Енот говорил о том, как смешно пела Клара, как она удивилась и вся расцвела, когда Пьер приколол ей бриллиантовую брошь, как пили шампанское и дурили всю ночь до утра. Еще вспоминали они, как везет в карты подрядчику Хамову, взявшему вчера не меньше пятнадцати тысяч. Кряхтя и кашляя, прошел закутанный в рясу священник, за ним кудрявый дьячок.

— Это кого, дружки, Бог прибрал? — спросил батюшка.

Но на дрогах продолжали ржать и о чем-то спорить.

Дьячок услужливо крикнул зычным голосом:

— Эй, ребята!.. Кто помер-то?

Шагавший возле лошади факельщик сонливо и зло поглядел на батюшку и прохрипел:

— Кто помер?! Знамо, покойник, а кто такой — неизвестно... Надо быть, из духовных...

И, отвернувшись, загоготал на всю улицу. Нищий все еще глодал торопливо кость, и возле него на утоптанном снегу сидели, глотая слюны, мохнатые, голодные псы. В глазах их светились и зависть, и злоба, и нетерпение. Иные гавкали отчаянно и подвизгивали тонкими просительными голосами. А нищий торопился скорее, как можно скорее обглодать кость.

Но вот из-за угла показался другой нищий, такой же опухший, с восковым страдальческим лицом. Припадая на одну ногу, шел быстро, грозил кулаком и злобно рычал. Ближе, ближе. Слышней ругань, видней злоба, залившая все лохматое его лицо.

— Опять, опять один жрешь!.. Горбатый черт! Вшивая твоя образина. Вот я-те!.. Вот я-те!.. Чесеррт!

Первый съежился, приостановился грызть кость, испуганно взглянув на подходящего.

А собаки весело запереступали ногами, заулыбались, завертели хвостами, потешно ужимаясь.

Подбежал, ударил сверху по голове кулачищем:

— Собака! Горбатый черт...

Еще раз ударил, выхватил кость и бросил псам:

— Нна!.. Ни тебе, ни мне...

Тот поправил шапку и, задыхаясь от слез, сказал:

— Спасибо... Угостил для праздничка.

А факельщики, остановившись на углу, ревели:

— Надай, надай!.. От, так...

И грубо хохотали.

К кости бросился щенок, но, отведав на морде клыки седой собаки, взвизгнув и, поджав хвост, отскочил прочь. Седой пес был тут же сбит с ног двумя рыжими, как осенний огурец, собаками, а кость досталась огромному догу, который, не торопясь, стал обрывать клочья мяса. Собаки окружили его нетерпеливым кольцом и, лязгая зубами, щетинились, косясь на кость.

Нищие направились в разные стороны. И на глазах одного блестели слезы, а голова опущена была низко. Так низко была опущена голова его, словно на шее у нищего висел жернов горя. А другой шел, култыхая, в церковь и нес в своем сердце большую злобу. К кому? К им же обиженному, такому же несчастному, как и он сам.

Мастеровой посинел от холода и, бросив петь, заплетающимся языком ругал теперь и священника с дьячком, и факельщиков, и встретившегося водовоза, и твякающих на него собак, и мороз, и туман, и всех богатых, и свою мать, зачем она его породила:

— Ежели ты в аду, шкура, чтоб в пепел истлела вся!.. Вот как сладко мне

жить... Гори ты, гори в огне, змея, моя мать, шкура... Шку-у-ра!..

Он стоял посреди дороги и, не имея больше слов и выкричав из груди всю злобу, тыкал молча кулаком в небо и кривил болезненно рот. Потом вдруг ударил себя ладонями в грудь и, сделав скорбное лицо, одними слезами стал сам себя укорять:

— Стёпка... Стёпка... Опомнись... Подлец ты, подлец, Стёпка... И пожалеть-то тебя некому, Стёпка... Тварь ты... Тварь... Горемычная ты тварь...

И, заплетаясь тонкими, подгибающимися ногами, как-то боком засеменя к тротуару. Он хотел идти по дороге и забирал все вправо, вправо, а хмель тащил его влево, влево, пока не свалил наземь.

Ему не хотелось теперь подниматься, он, лежа поперек тротуара, сучил ногами и плакался на свою долю.

Священник, обходя пьяного, сказал ему:

— Ты бы шел, брат: замерзнешь...

Тот пробурчал:

— Чево-о?

Дьячок пояснил сердобольно:

— Обморозишь руки-то...

— Ру-уки?!.. Ха!.. Руки, тьфу! Новые вырастут... Ду-у-шу ознобил...

И продолжал лежать.

Пройдя шагов двадцать, священник остановился, поглядел на пьяного и, напомнив дьячку притчу о милосердном самаритянине, посоветовал ему поднять человека и отвести в квартиру. Но дьячок отказался: «Опоздаешь к обеду», и оба пошли дальше.

Потом из-за угла выплыл собачий фургон. В сеть поймали щенка и дога, скрутили им веревкой морды, связали лапы, бросили в ящик и поехали дальше, напутствуемые диким испуганным воем шарахнувших враспынную собак.

Потом явился городовой, крепко натер мастеровому уши и, посвистав в свисточек с горошинкой, увез мастерового на извозчике в часть.

А благовест все еще продолжался. И в другой, и в третьей церкви колокол звал к любви, звал к молитве о том, чтобы всем жилось хорошо, чтобы было изобилие плодов земных и чтоб ушла с земли скорбь.

1912

К вопросу о театральной жизни в Сибири

Около мысли об основании в Сибири театрального училища идет по городу в настоящее время немало разговоров и толков, есть достаточное количество приверженцев этой идеи и, пожалуй, столько же противников ее. Значит, идея эта, взятая сама по себе, не мертва, не надумана, она способна заинтересовать внимание общества и дать в конечном счете те или иные результаты.

Противники этой идеи базируются, главным образом, на следующих положениях: частные театральные школы, каковых много в России, никуда не годны, так как администрация их руководствуется при ведении дела почти исключительно меркантильными соображениями; плохо поставленная школа разобьет мечты многих, увлекающихся сценическим искусством; в настоящее время на театральном рынке наблюдается перепроизводство актеров; истинный талант найдет себя сам и сумеет так или иначе проложить себе дорогу. Значит, частная школа вредна, значит, ей не надо быть в Сибири.

Все это, конечно, может показаться правильным, если глядеть на данный вопрос с высоты птичьего полета. Но стоит лишь спуститься в гущу жизни, стоит лишь вникнуть в суть дела и поглубже разобраться в волнующей нас мысли, можно прийти, пожалуй, к несколько иным выводам, чем те, которые получились у «протестантов».

Мне не хочется долго останавливаться на критике выдвигаемых ими положений, и я бы желал лишь вникнуть в смысл их утверждения: талант найдет себя сам. Это легко сказать, но каково исполнить? Какие пути и где и кем они проложены к открытию в себе таланта? Вдруг Сидоров, проснувшись утром, возомнит себе талантом. Ну и отлично. А дальше что? Ведь если он начнет ходить по городу и кричать: «Вот я талант!» или: «Талант я или не талант?» – его посадят в сумасшедший дом. А вот Петров, этот тихий человек, проснувшись однажды утром и почувствовав в себе нечто похожее на талант, будет жить, скучать и чахнуть. Как он докажет людям, что у него талант? Идти на сцену? Но Петров очень робок, да его туда и не пустят, так как он плохо одет, не умыт и не причесан: он шильщик. Кто же Петрову этот его талант определит и установит? Может быть – хиромант? На самом деле не обратиться ли к хироманту, прийти к нему, растопырив ладони и сказать: «ищи линию». Но у Петрова умная голова, он знает, что хиромант за полтинник найдет по линии руки какой угодно талант, а за рубль признает Петрова гением. Нет, Петров не дурак. Он лучше этот полтинник с тоски пропьет. В кабаке он устроил скандал, встал в позу, подбоченился, заломил на ухо из ржаной соломы шляпу и произнес громовой монолог, в котором излил всю наболевшую душу, потом взмахнул трагически стулом, поставил его на пол и погрозил кабатчику пальцем. Да так пригрозил, что все притихли и разинули рты. А тут, почти рядом с ним, сидел большой, приехавший в провинцию на лето актер. Сидел и все это видел и всем этим любовался: и Петровым, и произведенным им эф-

фектом. Подошел к нему, познакомился, пригласил к себе. Осенью купил ему брюки, крахмальную грудку и увез в Москву. А через пять лет Петрова слушали в Малом театре, и от аплодисментов стоял гул по всему залу.

Если скажут, что это утрировка, то скажу: нет. А помните известного тенора Императорской сцены Донского? Он был штуркатур. На каком-то купеческом доме выводил карниз и пел, как умел, любимую свою песню. Опять же подслушал редкий его голос некий знающий человек, умыл, причесал парня и сделал известным певцом.

И тут случай, и там случай, да еще не простой, а счастливый. Но ведь легче получить миллион от американского дядюшки, чем истинному таланту и истинному ценителю такового столкнуться лбами на жизненном пути. Это было бы чудо. Но чудеса сказочно редки, и им нынче веры нет.

Мне говорят: «Вот здесь золотиносный район». – «Почему?» – «Тетка Мавра тут нашла самородок в полфунта весом». Надо бы разрабатывать, но нет средств, нет инициативы. Через десять лет мельник Косоглазов на том же месте нашел самородок в фунт. Время идет, а этот благословенный район лежит в своем естественном виде и доселе. Тетка Мавра давно умерла, у мельника Косоглазова золото украли, и он с горя опился водкой. А начни умеючи разрабатывать, может, обогатился бы весь край.

Точно так же и в человеческом обществе. Среди уймы песку (в отношении художественного творчества) попадаются крупные самородки, потенциальные, дремлющие силы. То здесь, то там счастливая Мавра и находит их, но чрезвычайно редко и не планомерно.

Вот и надо завести, хотя бы на первое время, золотодобывающую машину, пока без электрической и иной двигательной энергии какую-нибудь конную бутару, чтобы нащупать эти золотые песчинки таланта; пусть на тысячу пудов песку найдут два золотника золота, это ничего, это не страшно, кто знает, может быть, попадет «на фарт» пудовый самородок. А ради него стоит поработать. Песку же бояться нечего. Песок песком и останется. Его везде много, этих блессточек, играющих на солнце, легких, как пыль. Много его в любой школе искусств, есть он даже и в академии художеств, и в каждой консерватории, будет он и в нашей театральной школе. Но конную бутару завести надо, и над идеей создания театральной школы в Сибири поразмыслить следует.

Ежели не надо в Сибири школы драматического искусства – есть в Москве, – то не надо и музыкальной, не надо и художественной, все это есть в Москве, пожалуйста в Москву, пешком с котомкой или по железной дороге, только, ради Бога, в Москву. Это опять-таки легко сказать, но сделать трудно. «В Москву. В Москву» – будут мечтать сибиряки, как чеховские сестры, а время будет уходить и силы меркнуть.

Все остальные положения господ «протестантов» можно отнести к категории страхов, опасных лишь на первый взгляд. Коммерческие соображения руководителей существующих частных театральных школ... Но, во-первых, не так страшен черт, а во-вторых, «взявшись за меч от меча и погибнет».

Разбитые мечты о сценической деятельности... Но мечтать никому не возбраняется, а реализовывать свои мечты сможет лишь тот, кому дано дерзновение и талант. Душевный же крах произойдет только при переоценке своих способностей и дарований. Но это сплошь и рядом наблюдается в жизни у людей почти всех профессий, и школа тут ни при чем.

Что же касается перепроизводства сценических сил, то и это явление не страшно, ибо оно преходяще и временно. На самом деле, театр начал проникать теперь в народ, в деревню, в этом открывается широчайшее поле деятельности, способное поглотить весь контингент безработных актеров. А Сибирь? Она, как богатырь, растет не по дням, а по часам: деревни превращаются в села, села в города. Здесь тоже понадобится немало работников сцены. Словом, пройдет немного времени, и спрос на артистов драматического искусства, мне кажется, если не превзойдет предложение, то будет ему равновелик.

Подведем итог сказанному. Талант сам себя обрести не может, как не может загореться небесным огнем дерево, стоящее в тайге: нужен удар молнии. Лишь большие дарования, и то при исключительных условиях и счастливой комбинации случайностей, смогут чудом выбраться на вершину жизни. Значит, не веря в чудо, надо вспахать почву, надо ее засеять и пшеницу сжать. Надо человека с четверенок поставить на ноги и указать ему обозначенную вершками дорогу, тогда он действительно пойдет по ней к цели. А плевелы (да, жаль!), если не пожелают быть сожженными жизнью, найдут в себе мужество трезво взглянуть ей в лицо и поступать, как подскажет им разум.

О страхах же повторяться нечего: не надо быть робким, надо «благие порывы» проводить в жизнь, тогда все остальное приложится и будет дано свершить.

Пожелаем же идее основания в Сибири театральной школы восторжествовать и воплотиться в жизнь.

1912

Георгий Гребенщиков «В просторах Сибири»

В книге молодого сибирского писателя Г. Гребенщикова помещена повесть «В полях» и 20 небольших рассказов.

Автор любит свою родину, и первая страница его книги открывается посвящением, в стихах, Сибири.

Он любит Сибирь тихой влюбленностью, с оттенком грусти, с затаенными, едва уловимыми слезами, которые иной раз, однако, явственно называются. Он любит и по-особому чувствует дикую красоту и мощь Алтая, любит киргизские степи с вольной жизнью обитателя-киргиза. Он внушает эту любовь и читателю, заражает своим настроением. У него на палитре, правда, мало ярких красок, нет бьющих в глаза слов и образов, но он умеет создать из обыкновенных будничных тонов правдивую картину жизни.

Одна из крупных его вещей — «В полях». В повести нет фабулы, нет интриги, нет нарочито подготовленных эффектов: как будто автор в совершенно случайный момент подошел вплотную к деревне и всем показал простую, полную серьезной вдумчивости и печали, мужичью жизнь.

Перед читателями проходит вереница мужских и женских типов, спаянных между собой не только узами родства, но еще и каким-то тайным, таящимся до поры чувством, которое всплывает на Божий свет в самые интимные минуты жизни.

Хорошо написан рассказ «В поселке». Живет в этом старом казацком поселке казачий урядник Яков Петрович. Все считают его больным, ненормальным, порченным, подтрунивают над ним и втихомолку шушукуются. Но не понимают и не могут понять склада ищущей души.

В рассказе «В тиши степей» описывается начинающаяся ломка уклада кочевой киргизской жизни: надвигается с севера страшный призрак, грозят отобрать у киргизов их степь, наделить, как мужиков, долями земли и заставить пахать. Рассказ написан образно и колоритно, рисуя степные весенние голоса: и звенящие стеклом льдины только что вскрывшегося Иртыша, и воющую на крыше землянки собаку, и творящего среди ночи молитву старого киргиза: «Аллах, Алла-ах!». «И все круглое и плотно примкнувшее краями к ровным горизонтам небо представляет собою пышную, но совершенно пустую юрту, в которой невидимо живет только один Аллах, да и тот безмолвствует. Так тихо и так покойно в его юрте, что он, должно быть, сладко дремлет, растворенный в чистой прохладе ночи».

Трогателен рассказ «Отец Порфирий», в котором описана душевная драма сельского священника; с большим настроением написан маленький этюд «На лыжах». Автор идет с киргизом ранней весной по степи и горам в русское село встречать Пасху. Ночью останавливаются и под гамму весенних звуков природы ведут у костра речь о воскресшем Христе.

Описывает Г. Гребенщиков и жизнь староверов. Таковы рассказы: «Колдунья», «Убежище» и др.

Есть у автора два-три слабых рассказа, где он или заблудился в искусственно построенных положениях, или погряз в желании быть тенденциозным. Но эти рассказы являются лишь небольшим пятном на общем светлом фоне.

В таланте автора мы видим бодрую, молодую силу Сибири, расправляющую свои крылья над могучей, самобытной и полной огромного интереса страной. Этой стране нужны большие художники, и в лице Георгия Гребенщикова мы рады приветствовать вдумчивого, правдивого бытописателя.

1913

Ш *Вареслав*
ИШКОВ

ИЗБРАННЫЕ
ПИСЬМА



(1911 — 1916)

1. А. М. ГОРЬКОМУ

30 декабря 1911 г. Тамск

Хотя и стыдно мне отнимать у Вас время, я все-таки, после долгого раздумья, решился обеспокоить Вас, глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Бога ради, прошу Вас: улучшите времечко и просмотрите обе мои вещи, Вам препровождаемые («Ванька Хлюста» — рассказ, заслуживший похвальный отзыв на конкурсе «Биржевых Ведомостей — девиз «Первопутью» — № «Б. В.» при сем прилагаю также — и другой рассказ: «Авдокея Ивановна»¹).

Ежели признаете за ними некоторые положительные качества, — помогите мне всплыть на божий свет. Лет семь я пишу, но держу написанное у себя — все думаю, что еще не выросли крылья, чтоб выступить в свете достойным образом.

Много написано, но ничего не печатано, за исключением некоторых мелких рассказов в «Сибирской Жизни» и «Молодой Сибири» (ныне закрывшейся), — их тоже для образца прилагаю при этом письме.

Свой первый труд, большую повесть (втрое больше «Ваньки Хлюста»), но мало обработанный, что я теперь ясно вижу, я послал В. Г. Короленко. Вернул, похвалив разговорный язык, но упрекнув в невыдержанности стиля.

Несмотря на то, что он ободрил меня своим письмом, сказав: «Если у Вас есть что-либо цельное по форме и содержанию — редакция отнесется к присланному со вниманием», несмотря на это, я своей неудачей был обескуражен настолько, что и все остальное свое писанье уже сам считал неудачным.

По профессии — средний техник я. Родиной тверяк. В Сибири живу 15 лет, от роду 38. Много шатался по тайге, сталкивался с народом. Нонче в экспедиции на р. Нижняя Тунгуска едва не погиб. Написал бы подробно, не смею утруждать и прилагаю № «Сибирской Жизни», с кратким описанием скитаний экспедиции².

Засим еще раз прошу Вас, Алексей Максимович, не оставить меня своей высокой поддержкой.

Благословение Ваше я принял бы с великим ликованием, порицание Ваше — с покорностью, видя и в нем лишь добрые Ваши побуждения.

Желаю Вам в Новом году побольше светлых дней, сил и здоровья!

Будьте Вы здоровы!

С истинным и постоянным уважением к Вам

Вяч. Шишков

Адрес: 1) г. Тамск, Управление округа путей сообщения или 2) редакция «Сибирская Жизнь», Вячеславу Яковлевичу Шишкову.

Подлинник письма хранится в Архиве А. М. Горького при Институте мировой

литературы им. А. М. Горького. Печатается по изданию: Неопубликованные произведения ; Воспоминания о В.Я. Шишкове ; Письма / В.Я. Шишков ; [сост. сб. и авт. коммент. Л.Р. Коган]. Л., 1956. С. 247-248.

Примечания к данному письму подготовлены редактором-составителем настоящего издания. Далее во всех последующих томах настоящего издания такие примечания к письмам снабжены пометой: Ред.

¹ Рабочее название рассказа, которое впоследствии было изменено на «Краля». Под этим названием оно и публикуется в этом собрании сочинений.

² Вероятно, речь идет о публикации «С берегов Нижней Тунгуски» в «Сибирской жизни» от 14 и 15 августа 1911 года.

2. А. М. ГОРЬКОМУ

9 января 1916 г. Петроград

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович!

Позвольте представить Вам 2 рассказа с надеждой, что один из них пригодится для «Летописи».

Моя «Бобровая шапка», очевидно, погибла из-за своего поведения, из-за морали, которую я, кажется, некстати развел у проруби. Пробовал я переделывать конец: а) сапожник спас купца, а сам утопился — ерунда, ложь, б) сначала вытащил, а когда увидал, что враг, вновь поволок его в прорубь, и оба туда ухнули — жестоко, не надо. Решил оборвать рассказ на том месте, где «профессор Уткин», крикнув: «А ну вас!» — бежит к проруби. Значительно почистив во всех частях, попытаю куда-нибудь его пристроить, не знаю только куда.

Одиннадцатистовая моя «Тайга» лежит пока нестриженная, в полусыром виде: некогда было ею заняться, готовил свой небольшой сборник «Сибирский сказ» — в «Огнях» издается¹. Мне бы хотелось попросить Вашего совета, как ее стричь и надо ли, перестараться — в парк обратишь, плохо. А она была бы теперь ко времени.

Если у Вас найдется когда-нибудь вечером свободный час, не позволяйте ли зайти к Вам, хочется повидаться. Неделю хворал и сейчас еще не вполне оправился. Завтра выйду.

С глубоким к Вам уважением

Вяч. Шишков

Колпинская, 14а, кв. 18. Тел. 607-21.

Подлинник письма хранится в Архиве А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Печатается по изданию: Неопубликованные произведения ; Воспоминания о В.Я. Шишкове ; Письма / В.Я. Шишков ; [сост. сб. и авт. коммент. Л.Р. Коган]. Л., 1956. С. 251.

¹ Первая книга В. Я. Шишкова — Шишков В. Я. Суд скорый // Шишков В. Я. Сибирский сказ. Петроград: Огни, 1916.

3. В. Я. ШИШКОВУ

3 апреля 1916, Петроград

Дорогой Вячеслав Яковлевич!

«Тайга» очень понравилась мне, и я поздравляю Вас, — это крупная вещь. Несомненно, она будет иметь успех, поставит Вас на ноги, внушит Вам убеждение в необходимости работать, веру в свои силы. Не скрою, — над ней следует еще поработать. Местами Вы увлекаетесь словом, а многословие делает рассказ жидким. Местами Ваша лирика — излишняя, тем более излишняя, что Вы прекрасно чувствуете лирику фактов, кая всегда несравнимо красивее, а потому и ценнее лирики слов. Несколько замечаний по поводу фабулы: не ясно, почему Бородулин, встретив Прова, все-таки поехал в Кедровку? Болен и не отдает себе отчета в том, что делает? Поясните. Намерение парней изнасиловать Варьку — повисло в воздухе, т. е. опять-таки не ясно — избил ее и — только или же привел угрозу в исполнение? Мало показано, как Устин, усердный богу, читает псалтирь, — что именно бормочет он? Не лишнее ли — пожар тайги? Не лучше ли кончить на том месте, где Устин возвращается в деревню? Во всяком случае, надобно несколько смягчить те сцены, где Анна бежит в огонь. Пусть лучше она просто смотрит на пожар и тихонько смеется. Тихонько. И безумие ее как будто исчезает. А то — очень уж мрачно, кошмарно¹. Но, за всем этим, я еще раз от всей души поздравляю Вас. Я передал рукопись А. Н. Тихонову в редакцию, он должен прочесть ее. Я хотел бы видеть Вас, но до вторника едва ли успею, а во вторник еду в Финляндию. Значит — увидимся на пасхе или на фоминой, вернусь я в понедельник или вторник пасхи. Будьте здоровы, желаю всего доброго!

А. Пешков 3. IV. 16.

Подлинник письма хранится в Архиве А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Печатается по изданию: М. Горький. Собрание сочинений: в 30 т. М., 1955. Т. 29. Письма. Телеграммы. Надписи. 1907–1926. С. 356–357.

¹ В. Я. Шишков правит текст, учитывая рекомендации А. М. Горького. В 1916 году повесть «Тайга» выходит в журнале «Летопись» (№ 7–11).

4. А. М. ГОРЬКОМУ

4 апреля 1916 г. Петроград

Спасибо Вам, спасибо, дорогой, глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Ваш отзыв о «Тайге» очень меня взволновал. Он был внезапен и обрушился на меня большой радостью.

Конечно, «Тайга» нуждается в переделке и почти все Ваши замечания беспспорны. Но без лирических «излияний» писать очень трудно, надо обладать огромной силой изобретательности, чтоб выявить пафос души в конкретной форме.

Пожар, думается мне, нужен: ведь это синтез. Тайга — старая Русь, со старой правдой — Устином. Анна — новая правда, мученически мучается. Андрей — политик — посредник между той и другой. Капитал — Бородулин, самого себя съел, сердце лопнуло, а там пойдут разные попы, Ваньки Свистоплясы и пр.

До такого ребуса я не сам додумался, а разгадал его один умный сибиряк, прослушав повесть, может быть, наврал, а я поверил.

Ну, да обо всем этом можно потолковать лично. Вот только стесняюсь Вас беспокоить, не в моем духе быть назойливым: пуще всего боюсь прилечь не вовремя, когда Вы заняты или когда хочется Вам побыть одному.

Я тоже на Пасху уеду в Тверскую губернию, на родину, а на Фоминой пошлю Вам открыточку — узнать, когда можете принять меня.

Желаю Вам, дорогой Алексей Максимович, радости и здоровья и еще раз глубоко Вас благодарю.

Сердечно Ваш
Вяч. Шишков

Подлинник письма хранится в Архиве А. М. Горького при Институте мировой литературы им. А. М. Горького. Печатается по изданию: Неопубликованные произведения ; Воспоминания о В.Я. Шишкове ; Письма / В.Я. Шишков ; [сост. сб. и авт. коммент. А.Р. Коган]. Л., 1956. С. 252.

5. А.М. РЕМИЗОВУ¹

[Томск] Акимовская, 12. X. 1913 г.

Дорогие Серафима Павловна², Алексей Михайлович, здравствуйте, хорошие, славные мои!

Простите Христа ради мою стоеросовость, мое невежество. Столько времени молчал, столько времени тянул. В Бийск приехал я почти в самом конце сентября, Управление денег перевело недостаточно, еле рассчитал рабочих³. В Томск приехал 29 сентября. Дел оказалось по горло. Надо было организовать кабинетные работы партии, краткий предварительный отчет составлять, комнату подыскивать себе, перетаскиваться, к знакомым бегать: везде все расспрашивают, всем интересуются, а тут еще Виктор Сергеевич⁴ просит рассказов — голова кругом пошла.

Теперь слава богу, все помаленьку входит в колею. Комнату нашел хорошую, высоченную, шесть аршин, сухую, в деревянном доме с электричеством. Комнату в музей обратил, все стены увешал разными штучками: и тунгусскими, и якутскими, всякой чертовщиной. Работать в комнате приятно. Написал три рассказа, один другого хуже⁵. Еще «Чуйские были» ничего себе. Это серия мелких рассказов из быта знаменитых грабителей, сибирских купцов «чуйцев», что грабили монголов, алтайцев, а теперь вознесло их золото на верх жизни: все перед ними спину гнут, кругом почет, первые в Бийские люди. Да как же! Один из них на народный дом пожертвовал сто тысяч!

Впечатлений с Алтая вывез много. Знай — пиши. Тунгусы лучше алтайцев. Тунгусы или многие из них отличаются замечательной нежной душой, склонной к поэзии, люди тайги мало общаются с людьми другой расы, не низкопоклонны, отважны, горды, гостеприимны, чисты. Алтайцы — народ замордованный, уже тронутый культурой, боязливы, в старой своей вере не устойчивы. Но все-таки хороши. Пришлю Вам часть своих очерков «По Чуйскому тракту», напечатанных в «Сибирской жизни». Они, конечно, не художественны, писаны наскоро, но тем не менее точно отражают алтайскую жизнь.

Эх, вспоминаю те питерские вечера, когда у Вас бывал. Хорошо я у Вас себя чувствовал. Чай с крендельками пил, с тортом. Серафима Павловна декламировала. Лампадка горела. Хорошо, задушевно, по-земному тепло.

А помните, Алексей Михайлович, как мы блины-то ели в вегетарианской?

Я очень рад, что кошелочка понравилась Серафиме Павловне. На Алтае я ничего не мог добыть, да алтайцы и не такие щеголи. Вот из Якутска надо будет что-нибудь выписать да послать Вам.

Слышал я, Алексей Михайлович, что Вас на английский переводят. Вот это здорово! Дай Вам бог. Пишется ли Ваш роман про какого-то разбойника? Вы говорили мне, я забыл, у меня башка дырявая. «Сирин», кажется, выпускает первый сборник с Вашим новым рассказом. Должно быть, Михаил Иванович хочет развернуться как следует гладенькой дорожкой.

Ну, дорогие мои, грущу, грущу по Вас. Крепко жму Ваши руки. Желаю счастья полного, праведного.

Ваш Вяч. Шипков.

(сбоку) Все Ваши письма получил и открытые, и закрытые.

(сверху) Нонче в Питер, зимой, алтайский кам придет, шаман, будет камлать. Везет его Гуркин, брат сибирского художника. Он будет демонстрировать волшебным фонарем несколько сот фотографий видов Алтая и давать объяснения. Он скоро будет в Томске⁷.

¹ Знакомство с русским писателем Алексеем Михайловичем Ремизовым (1877–1957) произошло в 1912 году по рекомендации редактора Р.В. Иванова-Разумника. «А.М. Ремизов встретил меня радушно. Ласковость этого большого писателя тронула меня, жителя тайги. А.М. Ремизов наглядно учил меня, как надо писать, в чем секрет красоты стилиа и душа языка. Его глубокие замечания впервые прозвучали для меня как откровение», — рассказывал В.Я. Шипков в автобиографии 1926 года. В 1913 году начинается оживленная переписка между писателями, из которой сохранились 15 писем к А.М. Ремизову, ответы затерялись в архивах. Письма № 4 и 5 хранятся в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (Ф. 124, собрание П.А. Векселя, ед. хранения 4874, 4875). Письма № 6 и 7 — в Рукописном отделе Института русской литературы Российской академии наук (Пушкинский дом) — (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. I. Д. 298). Публикуются по изданию: Яновский Н. Н. Письма В.Я. Шипкова к А. М. Ремизову // Енисей». 1974. № 6. Орфография и пунктуация авторские.

² Ремизова — Серафима Павловна Довгелло (1880–1943) — супруга А.Ремизова.

³ Финансовый вопрос в письме возникает как косвенный ответ на просьбу Реми-

зова о деньгах. Шипков отвечает в другом письме: «Деньги у меня будут в первой трети сентября, как привезут из Управления аванс для расчета рабочих. Тогда же и переводу из Онгудая телеграфом» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. I. Д. 298).

⁴ Виктор Сергеевич Миролюбов (1860–1939) — издатель «Ежемесячного журнала».

⁵ Речь идет о рассказах «Винолазия», «Первый блин» и «Светлый грех», опубликованных в «Сибирской жизни» и «Сибирском студенте».

⁶ Путевые очерки «По Чуйскому тракту» опубликованы в газете «Сибирская жизнь» за 1913 год. Главы 1–6 перепечатаны в барнаульской газете «Жизнь Алтая» в этом же году.

⁷ Степан Иванович Гуркин (брат художника) вместе с алтайским шаманом Болчок в 1913–1914 годах проехал по городам с лекцией «Алтай и алтайцы». Во время выступления демонстрировались фотографические виды Алтая и воспроизводился обряд камлания.

6. А.М. РЕМИЗОВУ

Томск, 28. X. 1913 г.

Милый мой, хороший, дорогой Алексей Михайлович, только сейчас пришло в Томск через Бийск, Кош-Агач Ваше письмо от 27-го. Вот как долго ходит почта, письмо зря прогуляло до Кош-Агача.

Милый, Вы хворали! Как мне сердечно Вас жаль. Да Вам ли хворать?! Ваше здоровье дорого для всех нас, поклонников Ваших.

Хотя болезнь и углубляет душу, но она у Вас и без этого глубоко достаточно. Вы бы, Алексей Михайлович, пили рыбий жир. Ох, хороша штука! По себе сужу. Это благодаянье для человека телом слабого, в тресковом жире и ихтиол, и модистый калий, все это хорошо действует на нервы, укрепляет легкие и усиливает организм. А всякая латынщина только разрушает: на одно благотворно действует, а другое губит. Рыбий жир надо пить желтый (не белый), начать с двух ложек, а как приучите желудок, довести постепенно до четырех-пяти столовых ложек в день. Попробуйте, это Вас укрепит. Хорошая Серафима Павловна, наверное, тоже настрадалась, на Вас глядя.

Вот Вы меня в Питер зовете. Эх, заказаны, должно быть, мне туда пути, по крайней мере на этот год. На крыльях полетел бы, да веревками привязан к дому, вот сижу, материалы привожу в порядок, страх как много работы: планы, профили, подсчеты, описания.

Все больше дома сижу по вечерам, пишу рассказы, читаю, Вас перечитываю и читаю, недавно «Часы» страшные прочел¹, «Пламень» Пимена Карпова читать начал². Мерзостью порядочной веет, но большая в письме чувствуется сила, хотя видно порою подражание Вам, порою Сологубу. Должно быть, автор новичок. Много у него белиберды и в слоге, и в лишних словах, и в словах непонятных. Читается он трудно. Мысль ради трескучих слов и желание перекувыркнуться через голову, иной раз затемнена

до чрезвычайности. Много поклепа на мужика, на плоть человеческую, много дерзкой хулы на бога. Бунтующая тварь. Если не читали, прочтите.

Крепко Вас обнимаю
Ваш Вяч. Шипков.

P.S. Дорогой Алексей Михайлович! Теперь в Питере сидит наш беллетрист сибирский Георгий Дмитриевич Гребенщиков³, издающий второй том рассказов в Товариществе писателей. Он состоит сотрудником в «Современнике», в прошлом году поместил там две повести: «В полях» и «Ханство Батырбека». Он мой хороший друг, я его люблю, я был бы счастлив, если бы вы с Серафимой Павловной позволили ему навестить Вас. Я ему уже отписал об этой возможности. Он наверное прийдет по городской почте письмо. Он малый добрый, молодой, энергичный, талантливый, уроженец Алтая, знает Алтай хорошо.

¹ Роман Ремизова «Часы» вышел в 1908 году.

² «Пламень» Пимена Карпова — популярная в начале века книга выходца из народа.

³ Встреча состоялась и переросла в многолетнее сотрудничество. Уже в эмиграции в гребенщиковском издательстве «Алатас» в 1924 году выходит книга А. Ремизова «Звенигород Оклканный».

7. А.М. РЕМИЗОВУ

Из письма от 18. XII. 1913 г. Томск

...Надеюсь, что вострубят о Вас в трубы громкие, и теперь трубят, вот в ноябрьском «Современнике» была статейка добрая о Вашем творчестве¹. Но это все не то. Надо очень сильным быть, чтобы понять всю глубину Вашу и открыть на нее людям глаза. И статья Иванова Разумника Васильевича в «Творчество и критика» не то².

(...) Благодарю Вас, дорогой, за Ваше внимание ко мне, такое трогательное для меня. «Сириня» с «Цепью золотою»³ и изящную книжечку-брелок мне передал Егорушка Гребенщиков. Я очень рад, что Вы его обласкали, и он говорит, что Вы особенный, не похожий на других писателей. Он очень сожалеет, что один лишь раз видел Вас и Серафиму Павловну.

Мой рассказ в «Алтайском альманахе» не читайте, пожалуйста, не тратьте времени. Он слабый, написан давно, языком будничным. Он мне чужой⁴.

Егорушка мне все пересказал: и про неугасимую Вашу лампадочку, и про Вас самих. Так мне приятно и радостно было слушать.

(...) Повесть свою к концу веду⁵, двойной живу жизнью: собственной и жизнью персонажей повести. От этого — тяжело. Большая вещь — трудно писать. Много приходится в уме держать и в сердце.

В этой повести жестоким приходится быть, палачом, живодером. Тоже тяжело. Но бог помогает, рогатать не смею. Нога у меня очень болит, ревматизм, в особенности этой сырой питерской зимою, а лечить некогда.

¹ Рецензия Владимира Княжнина. Современник. 1913. № 11.

² Иванов-Разумник Р. В. Творчество А. Ремизова // Творчество и критика. Пб., 1912. С. 80–109.

³ Речь идет о сборнике «Сирин», в котором были опубликованы рассказы «Цепь золотая» и запись снов «Кузовок».

8. А.М. РЕМИЗОВУ

Онгодай, Тамской губ. 5. VII. 1914, с. Топучее

Дорогие Алексей Михайлович и Серафима Павловна! Здравствуйте!

Приветствую Вас с Алтая, из Топучего, что у подножья Семинского перевала. Путешествую со своим милым петербургским другом Ксенией Михайловной Жихаревой. Теперь приходится много ездить, организовывать работы в две партии. Одна партия будет работать в долине красавицы Катунни, другая — в долине Чуи.

Алтай очень хорош, я давно люблю его. Хочется воспеть его, прославить, но где взять мощь и красоту слова. Алтаю надо молиться, преклонив колена на серебряных его головах, престолах божьих. Спутница моя, выдавшая полсвета, в восторге от дикого великолепия Алтайских гор, от зеленых цветистых долин и вековых лесов. Как жаль, что Вы не с нами.

Мы два дня жили в Аносе у художника Гуркина. Что за чудесный уголок, весь в зеленом саду утопает, через него ручеек каскадами переливается. Выйдешь ночью — небо синее, в крупных звездах, вдали грохочет Катунь и спят черными громадами горы. Если Вы соберетесь на будущий год посетить Катунь, вся статья пожить Вам в Аносе. Отсюда можно делать экскурсии в аилы алтайцев, пока еще шаманствующих. А вот мне на будущее лето придется, вероятно, опять поехать на нижнюю Тунгуску, к своим милым тунгусам.

Я предполагаю, что с осени до весны буду жить в Питере, там удобнее составить проект по переустройству Чуйского тракта. Вот было бы хорошо. Если это осуществится, безмерно буду счастлив часто видеть Вас, дорогие мои друзья.

Большое спасибо Вам, Алексей Михайлович, за открытку из Рима. Спасибо за образок святой Цицилии.

Погода очень хорошая установилась, а как ехали, два раза грозу перенесли и восемь часов под дождем пробыли — вымокли до нитки. На земской станции русскую печь затопили, обогрелись как следует.

Работы нонче затянутся надолго, пожалуй, октября придется хватить.

Повесть свою закончил. Пристроить куда — не знаю. «Суд скорый» напечатан в № 3-а (второе издание) «Заветов»¹.

На Алтае за лето думаю нацарапать рассказ листа на два — необходимо для моей первой книжки, нонче буду издавать. Крепко Вас люблю, крепко целую.

Вяч. Шипков.
Онгодай, 1. VII.

Если открытку думаете прислать, адресуйте: Онгудай, Бийского уезда, Томской губ.

¹ Шишков В. Я. Суд скорый // Шишков В. Я. Сибирский сказ. Петроград: Огни, 1916.

9. Г. Н. ПОТАНИНУ

25 июля 1915 г. Петроград

Глубокоуважаемый, дорогой Григорий Николаевич! Шлю Вам и Марии Георгиевне свой поклон от бела лица до сырой Земли.

Простите, что до сих пор не писал Вам: когда я попадаю в новую обстановку, душу мою обуревают какая-то растерянность, тоска о том, что оставил, и общая апатия.

Может быть, такое состояние души в дни военных неудач характерно для большинства граждан. Во всяком случае петроградцы, или, верней, лучшие из них, сильно угнетены надвигающимся, прущим на Русь кошмаром. И те, которые когда-то кричали «ура» и грозили немцу шапками, теперь, видимо, устыдились этого и облекли свою душу в траур.

Так ли, иначе ли, на душе тяжело, и куда вывезет кривая — неизвестно.

Обидно за Россию, стыдно. Но мы, к сожалению, и возмущаться-то как следует не умеем, не научены негодовать открыто, смело, нет у нас в руках молота, которым можно дробить и созидать. До сих пор мы еще не более как русские обыватели времен щедринских, способные лишь на то, чтоб пить горькую (и то с дозволения начальства) или, в лучшем случае, в тоске и сени смертной, сесть на болоте на пенышек, прикусить бороду, самобичевать и хныкать, жалуясь болоту на тяготу русской жизни.

Какие-то мы все простачки, недоучки, короткобрюхие сморчки. Нет у нас в крови огня, нет тех гражданских дрожжей, которые бушуют и творят жизнь. Телята душой, с лисьими хвостами, с медвежиной силой, мы не протестуем, если какой-нибудь цыган вернет нам в ноздрю кольцо и поведет по площадям и стогнам... на потеху миру.

То ли одряхтели мы преждевременно, то ли не выросли. Неужели мы — рахитики с громадным пузом, дрожащими ногами и маленькой, с картошку, головой? Ведь нас вши едят, а мы только царапаем себе в кровь сиденье, не имея в руках того гребня, которым надо вычесать всю нечисть и передавить без милосердия. Неумытые, вшивые, нет чтоб самим бултыхнуться в море жизни и вымыться — сидим у моря, ждем погоды, ждем банщика, который остриг бы нас, отхлестал бы веником и попросил бы на чаек.

Вот банщик идет, везет за собой пушки и снаряды. После его бани небу жарко делается. Того ли нам желать?! Нет! Пусть минет нас чаша сия. У нас теперь на многое открылись глаза, душа, кажется, постепенно твердеет, заряжается ненавистью, и собственная грудь начинает смердеть и скучать. Ежели и после этого всемирного эксперимента все останется по-старому, можно с чистой совестью на все нахаркать и умереть.

Вот видите, милый Григорий Николаевич, какие у меня мысли. Это моя гражданская часть души, а другая — личная, живет хорошо: в Питере, не переставая, светит солнце, сады зеленеют, журчат фонтаны, цветут цветы. Нева красива, кругом шумно, хорошо.

Мы, наконец, нашли квартиру (возле Большого проспекта) и на днях втроем (Ксения Михайловна¹ и ее папа) туда перебираемся. За 75 рублей 4 комнаты, водяное отопление, отличная ванна с умывальником, лифт, телефон, паркетные полы.

Сколько здесь проживу, не знаю, к проекту еще не приступал, по всей вероятности, придется жить до весны.

Ни с кем еще не видался. В понедельник пойду в Думу². Был на опере (Гарас Бульба), на островах, в Павловске на симфоническом концерте. 30-го поедем в Петергоф. 2 раза был в музее Александра III. Пишу рассказ «К а т о р ж н и к». Как Вы поживаете, какова у Вас погода? Что поделяваете? Или набираетесь альпийской благодати на зиму?

Министерство путей сообщения хотело было разрабатывать Чуйский тракт военнопленными, но военное министерство не согласилось дать пленных, ссылаясь на то, что они, умея организоваться, могут устроить массовый побег через Монголию.

Крепко Вас целую и желаю доброго здоровья.

Ваш Вяч. Шишков

Колпинская, 14а, кв. 18.

Ксениюшка всем Вам кланяется.

Подлинник письма хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ. Ф. 381. Оп. 2. Д. 185). Печатается по изданию: Неопубликованные произведения; Воспоминания о В.Я. Шишкове; Письма / В.Я. Шишков; [сост. сб. и авт. коммент. А.Р. Коган]. А., 1956. С. 248-249.

¹ Ксения Михайловна Жихарева — литератор, переводчик, супруга В. Я. Шипкова.

² В Думе В. Я. Шипков получал журналистскую аккредитацию от газеты «Сибирская жизнь».

10. Г. Н. ПОТАНИНУ

29 октября 1915 г. Петроград

Дорогой Григорий Николаевич! Целую Вас крепко, изо всех сил, большое Вам спасибо за Ваше милое письмо. Меня радует, что корреспонденция моя об инвалидах Вам понравилась. Самые чувствительные места этой корреспонденции выкинуты, и это описание лишь бледная картина того, что я видел. Да, война, действительно, ужасна. Но она, очевидно, необходима для устройства судьб Мира.

Славный и милый мой Григорий Николаевич! Радовался я, читая отчеты о Ваших торжествах¹. Вся Россия не забыла Вас, вся Россия так или иначе оценила Вашу подвижническую жизнь. Если б Вас знали русские

мужики и бабы, то, наверно, они из всех губерний России стекались бы на поклонение к батюшке Григорию за назиданием и за живой водой. И, наверно, Вы могли бы творить чудеса, если б только этого пожелали: да и так творите той благодатью, которая Вам дана свыше. Разве не чудо — вся Ваша жизнь, разве не чудо — та любовь, которую Вы сумели на себе сосредоточить в наш расчетливый, жадный на зло (век). Кто умеет всматриваться в лицо жизни, тот не может не обратить внимание на Ваш образ большого человека, высоко поднявшегося над толпой с горящим факелом в руках.

Вы и подобные Вам — есть бакены, показывающие дорогу на таинственной реке жизни человека. Вы, по своей скромности, презираете похвалу себе. Я это знаю. Но не могу утерпеть. Уж такова моя натура. Меня всегда трогает чья-нибудь чистая жизнь, чистое сердце. Трогает и умиляет.

В наш милый век, конечно, это весьма предосудительно. Ну, ничего.

Живу я здесь отлично. В Томск ехать пока не хочется. Приеду летом.

Все меня здесь манит: и театры, и выставки, и концерты. Работаем с Ксенией Михайловной много, не покладая рук. Благословила меня судьба милым другом, и я чувствую себя крайне счастливым. Пишу много, все свободное время. Написал несколько недурных, говорят, рассказов. Когда все их рассую по редакциям и получу деньги, буду читать, читать, читать, чернила же выброшу в помойку, ручку сожгу, чтоб не соблазняла.

Жаль только, что опоздал я. Но думаю обойти природу и помолодеть на десяток лет путем искусной подскобки в паспорте.

Из крупных сибирских людей никого не встречал. В воскресенье объявлен «Сибирский концерт» в городской Думе, будут петь крупные артисты. Думаю пойти.

Жизнь в Питере — путаная. Ничего не поймешь. Другой раз такое зло, глядя на мерзость, охватит, что взял бы дубину хорошую и заорал бы: «Ребята, чего смотрите. Вали!» Дороговизна необычайная. Чтoб прилично жить, надо тратить минимум 400 рублей) в месяц, что мы неукоснительно с Ксенией Михайловной и делаем.

Много здесь мерзости, но много и поучительного, всего не описать. Одно время мне так опротивело все русское, что я хотел перейти в тунгусское подданство или окиргизиться, обрить голову и начать с горя пить кумыс.

Простите, что болтаю. Но мне хотелось просто от души с Вами поговорить, а не ограничиться письмом официальным.

Передайте почтение Марии Георгиевне². Ксения Михайловна кланяется Вам обним. Еще раз целую Вас крепко.

Вяч. Шишков

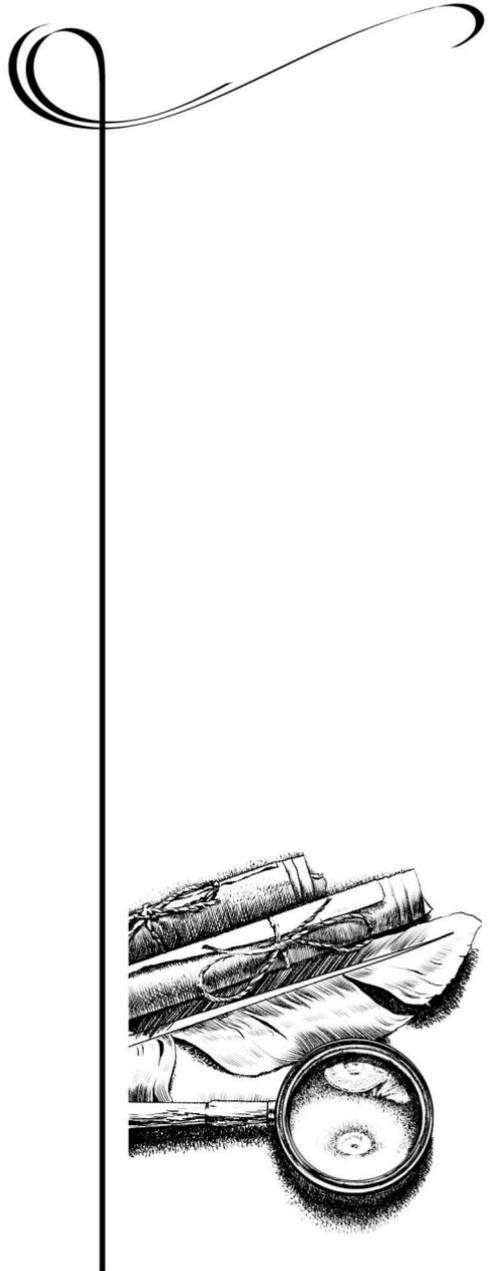
Подлинник письма хранится в ЦГАЛИ. Ф. 381. Оп. 2. Д. 187. Печатается по изданию: Неопубликованные произведения; Воспоминания о В.Я. Шишкове; Письма / В.Я. Шишков; [сост. сб. и авт. коммент. А.Р. Козан]. Л., 1956. С. 252-253..

¹ Восьмидесятилетний юбилей Г. Н. Потанина широко отмечался в Томске.

² Мария Георгиевна — барнаульская поэтесса, вторая супруга Г.Н. Потанина.



ПРИМЕЧАНИЯ



Автобиография. Печатается по: Неопубликованные произведения ; Воспоминания о В.Я. Шишкове ; Письма / В.Я. Шишков ; [сост. сб. и авт. коммент. Л.Р. Коган]. Л., 1956. С. 8-27.

С. 23. ...отрыскивала с углячка, с окатных камушков... — речь идет о ритуале лечения от сглаза.

С. 24. ...потом поступил в городское училище с шестилетним курсом... — Из-за отсутствия средств В.Я. Шишков вынужден был продолжить образование в шестиклассном городском училище Бежецка.

С. 24. ...надевал из картона камилавку... — камилавка — церковный головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей.

С. 25. ...замахнулся арапником... — арапник — длинный охотничий кнут с короткой ручкой.

С. 26. ... на постройку Березойского бейшлота... — бейшлот — плотина.

С. 26. ...путешествие на казенном пароходе с Иваном Кронштадтским (Сергиевым) — Иоанн Кронштадтский — канонизированный в 1990 году русский православный святой. Знаменит своими сбывшимися пророчествами и исцелениями больных.

С. 30. ...работал в Турции с младотурками... — младотурки — политическое движение в Османской империи, которое начиная с 1876 года пыталось провести либеральные реформы и создать конституционное государственное устройство.

С. 30. ...подземному богу Эрлику... — Эрлик — в алтайской мифологии бог подземного мира. Черные шаманы поклоняются Эрлику.

С. 31. ...поплыли вниз на двух приспособленных для жилья и геодезических работ шитиках... — шитик — плоскодонное судно, доски которого связывались ремнями.

С. 31. *Исаак Гольдберг* — русский советский писатель, критик, политический деятель. Участник революции 1905 года, писал для сибирских изданий, в том числе для «Сибирской жизни». Первая книга, «Тунгусские рассказы», вышла в Москве в 1914 году. В 20-х годах сотрудничал с журналом «Сибирские огни», позднее формировал писательскую организацию Иркутской области. Расстрелян в 1939 году. А.П. Казаркин писал: «Одним из первых сибиряков издал сборник рассказов в Москве, но в предреволюционные годы уступил в известности Г. Гребенчикову и В. Шишкову. Своими «Тунгусскими рассказами» и повестью «Закон тайги» он, в известном смысле, прокладывал дорогу Шишкову, в то же время сам говорил о влиянии на него Горького».

С. 34. ...калмыцкое царство... — калмыками на рубеже XIX–XX веков называли алтайцев.

С. 34. ...Чет-Челпана, переходили в бурханизм... — Чет Челпанов — провозвестник новой религии бурханизма (одно из ответвлений монгольского ламаизма). Жертвоприношения лошадей были заменены возжиганием арчына (горного можжевельника), кроплением (возлиянием) молоком, маслом или аракой, повязыванием на деревья белых лент или конского волоса. На жертвенники выкладывали белые, голубые, желтые цветы. Общие мо-

ления должны были проходить в определенное время на открытых местах, где нужно было ставить березки и украшать их белыми же лентами (кыйра). В молитвах обращались к Бурхану, «который живет на небе». Верующие обязаны были ожидать прихода Ойрот-хана — героя, судни и спасителя. В своем очерке «Белый Бурхан» Г.Д. Гребенщиков писал: *«Никто хорошо не знает, что произошло в одну из ночей летом 1907 года на горе Херем вблизи села Усть-Кан на северном Алтае, но последствием этой именно ночи и явилось рождение новой веры, хотя там же произошла тяжелая драма избития новых обращенных бурханистов шаманистами при участии русских, которые в новом движении алтайцев увидели желание их отложиться от России и передаться Японии или Китаю. Более того, русская полиция схватила Чет Челпанова и ближайших его последователей и предала суду, и невиновность Чет Челпанова, безобидного и тихого молодого алтайца, была с трудом установлена после целого года его тюремного заключения».* Писатели Алтая часто выбирают этого религиозного подвижника в качестве героя своих книг.

Кедр. Впервые: Сибирская жизнь. 1908. (№ 240). Печатается по этому изданию. Символическая сказка посвящена 25-летию педагогической деятельности П.М. Вяткина. Публикацию сказки в газете предваряла заметка о П.М. Вяткине: *«Сегодня, 8 ноября, исполнилось двадцать пять лет педагогической деятельности преподавателя местной мужской гимназии Петра Матвеевича Вяткина. ... по окончании Казанского университета в 1883 г. был назначен преподавателем русского и церковно-славянского языков и словесности в ту же томскую гимназию. Здесь в Томске, в родной гимназии протекли 25 лет его деятельности на поприще народного образования. ... И два десятка поколений гимназистов вспоминают о своем симпатичном преподавателе с самыми теплыми чувствами. Кроме чисто педагогической деятельности П.М. принимал живое участие в общественной жизни Томска, состоял деятельным членом многих просветительных и благотворительных обществ. Преподаватели гимназии, как мы слышали, предполагают устроить чествование своего старшего товарища-юбилера поднесением ему адреса и роскошного издания сочинений одного из русских поэтов».*

В семье Вяткиных Шишков прожил около семи лет, в которые он начал формироваться как писатель. Круг общения учителей гимназии во многом определил круг чтения будущего писателя.

«Кедр» стал первой газетной публикацией Шишкова. Сам писатель отмечал: *«Я написал символическую сказочку «Кедр» с посвящением юбиляру и снес в редакцию газеты «Сибирская жизнь». Мне было 35 лет, но, когда появилась в печати моя вещицка, я радовался, как ребенок»* («Автобиография»).

Помолились. Рассказ из тунгусской жизни. Впервые: журнал «Заветы». 1912. № 2. Опубликовано: Шишков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 180-188. Писатель считал этот рассказ своим первым литературным текстом. История о приезде тунгусов в русское село в рождественский сочельник сформировалась во время экспедиций В.Я. Шишкова по Лене и Нижней Тунгуске. Быт тунгусов и массовые обра-

ны русскими купцами этих «детей природы» становится сквозным мотивом его публицистических («Пасынки», «На Севере: из дневника на Нижней Тунгуске», «Холодный край») и художественных произведений («Та сторона»).

С. 43. *Старик Гирманча* — один из проводников экспедиции В.Я. Шипкова по Нижней Тунгуске. Очерк «Холодный край» содержит посвящение: «Посвящаю Сенкиче, Гирманче — проводникам моим и многим, многим тунгусам, встречавшимся на пути моих скитаний. Светлую память о них я всегда ношу в своем сердце».

С. 45. *Волость* — минимальная административно-территориальная единица. В волости проживало 3000–4000 человек.

С. 46. *Бешмет* — верхняя одежда у тюркских народностей. Благодаря своей форме и стоячему воротнику стала прототипом армейской гимнастерки.

С. 47. *Ботало* — большой колокольчик с низким звуком для крупного рогатого скота.

С. 47. *Бойе* — обращение к тунгусу-мужчине.

Дяденька. Впервые: Жизнь Алтая. 1912. 16 августа (№ 184). Опубликовано по этому изданию с исправлением старой орфографии. С этого материала в публицистических и художественных текстах появляется сквозная детская тема.

С. 50. *Валек* — длинный ребристый брусок с рукояткой для катания беля на скалке.

Краля. Впервые: журнал «Заветы». 1913. № 2. Опубликовано: Шипков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 139–157. Первоначальное название рассказа «Авдокея Ивановна». В письме А.М. Горькому от 30 декабря 1911 года В.Я. Шипков пишет: «*Бога ради, прошу Вас: улучите времечко и просмотрите обе мои вещи, Вам препровождаемые («Ванька Хлюст» — рассказ, заслуживший похвальный отзыв на конкурсе «Биржевых Ведомостей — девиз «Первопуток» — № «Б. В.» при сем прилагаю также — и другой рассказ: «Авдокея Ивановна»). Ежели признаете за ними некоторые положительные качества, — помогите мне всплыть на божий свет.*» Через короткое время рассказ увидел свет в столичном издании.

С. 61. ...*два медных старинных складня и медная, в виде кадила, посуда для ладана. На гвоздике висели ременные лестовки-четки...* — складень — несколько маленьких икон, скрепленных петлями. Кадило — металлический сосуд с горящими углями, на котором воскуривается ладан. Лестовка — от старославянского «лествица» (лестница) — разновидность четок из ткани для молитвы. Как правило, использовались старообрядцами.

С. 62. *Рекруты* — лица низкого сословия, принятые на военную службу по найму или повинности.

С. 63. *Заплот* — в Сибири забор, сплошная ограда из досок.

С. 64. ... *а опосля того взашей, значит... в лен...* — лен — простонародное название шейных позвонков, шиворота.

С. 64. ...*Чтоб тебя притка задавила...* — притка — по В.И. Даю — неча-

янность, внезапная болезнь, порча.

С. 65. *Царь Ирод* — новозаветный иудейский царь, прославившийся избиением 14 тысяч вифлеемских младенцев.

Ванька Хлюст. Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 10. Рассказ написан в конце 1911 года. В.Я. Шишков посылает его А.М. Горькому и получает одобрительный отзыв. Опубликовано: Шишков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 158–179. В последующих переизданиях удалены некоторые фрагменты, отсылающие к неоднозначной религиозной позиции главного героя. Так, в собраниях сочинений (1974, 1983) отсутствует следующий текст:

«В глубине слышится шепот: то Ванька молится, стучаясь лбом в землю. — Богородица... богородица... Не дай загинуть...»

В этом тексте В.Я. Шишков является продолжателем традиции нищенских героев раннего А.М. Горького. Но, в отличие от советского классика, у него Ванька Хлюст продолжает искать коммуникацию с богом.

С. 72. *Бродни* — грубая просторная обувь крестьянина.

С. 77. *Шебур* — одежда из грубого холста.

С. 77. *Кошевка* — пространство для пассажиров в санях.

С. 77. *А я ему на опакишь...* — по В.И. Далю «*Говорить на-опокишь, напротив, спорно, наперекор*».

С. 80. *Самосядочка* — самогон.

С. 88. *Шаркунцы серебряные* — бубенцы в конской упряжке.

По Чуйскому тракту. Впервые: Сибирская жизнь. 1913. № 148, 154, 159, 198, 209, 243. Позднее очерки были объединены в цикл. Опубликовано: по первому газетному изданию с исправлением дореволюционной орфографии. Обращение именно к этому изданию обусловлено отсутствием позднейших редакторских правок.

Первая алтайская экспедиция В.Я. Шишкова состоялась в 1910 году, когда он заведовал партией по исследованию реки Бии от ее истоков в Телецком озере до впадения в Обь. Как отмечал В. Бахметьев, «*Перед писателем проходили незабываемые картины из жизни кержаков-староверов, теленгитов, калмыков (алтай-кижи) с их культом шаманизма, обрядами жертвоприношений подземному богу Эрлику и народными праздниками с участием певцов и сказателей былин*». Во время первой экспедиции свои впечатления В.Я. Шишков опубликовал под заголовком «*Любителям красоты и природы*» в «*Сибирской жизни*» (1910, № 158, от 18 июля 1910 года) — своего рода путеводитель для туристов, приезжающих на отдых в районы Бии, Телецкого озера и Чульшмана.

Вторая экспедиция состоялась в два летних периода (1912, 1914). Инженеру путей сообщения было поручено произвести подробные технические исследования Чуйского тракта (от города Бийска до границы с Монголией) с целью коренного переустройства. Экспедиция разбилась на два отряда, которые шли по правому и левому берегу Катуня и искали оптимальный

вариант дороги. В.Я. Шишков поддерживал связь между отрядами и много передвигался на лошади по самым красивым местам Алтая. Впечатления этих путешествий стали объектом изображения в главных «алтайских текстах»: «По Чуйскому тракту», «На Бие», «Чуйские были», «Страшный кам».

Цикл путевых очерков «По Чуйскому тракту» создан на основе впечатлений первого этапа дорожных работ в 1912 году. Очерки имеют разную «географию»: первые (I–VI) создавались в Кош-Агаче, продолжение написано в Чибигте (VII–XI) и в Иодо (XII–XV). Финальные очерки (XVI–XIX) не имеют локации и, вероятно, создавались уже за пределами экспедиции.

С. 90. Переселенцы едут со всем скарбам: корытами, ушатами, сковородниками, горшками... В августе 1910 года П.А. Столыпин отправляется в двухнедельную поездку по Сибири. Посещает Алтай. К этому времени уже 40% переселенцев приступили к освоению новых территорий. После визита премьер-министра поток переселенцев увеличился.

С. 91. Бубырган — первый тысячник на территории алтайских предгорий. Современное алтайское название Бабырган (белка-летяга).

С. 91. ...по обычному и своим назьмам... — назем — смесь помета домашних животных с соломой, служащая для удобрения почвы.

С. 91. ...камам алтайским камлать пособляет, аракой алтайской умывается... — кам — алтайское наименование шамана. Арака — алтайская молочная водка.

С. 93. ...Со стариком с одним едет, с чуйцем... — чуйцами именовали купцов, торгующих с Монголией и Китаем, перевозящих товары по Чуйскому тракту.

С. 94. Комарский перевал получил название от села Комар и является водоразделом рек Сараса и Булукта. Высота 885 метров. Затяжной подъем по грунтовой дороге составляет 25 км.

С. 95. Монополька — казенная винная лавка.

С. 96. Тулейка — верхняя часть шапки.

С. 97. Речь идет о Григории Ивановиче Чорос-Гуркине (1870–1937) — алтайский национальный художник-живописец и график. Ученик И.И. Шишкина.

С. 97. Г.И. Потанин (1830–1921) — один из главных теоретиков сибирского областничества, выдающийся путешественник, географ, этнограф, ботаник, специалист по восточному эпосу, почетный гражданин Сибири. Г.И. Потанин был наставником В.Я. Шишкова в Томске. «Большой сибирский дедушка» одобрил первые литературные опыты писателя.

С. 97. В.В. Сапожников (1961–1924) — российский ботаник и географ, путешественник, заслуженный ординарный профессор по кафедре ботаники Томского университета, внештатный преподаватель, приват-доцент Томского технологического института. Организовал 20 научных экспедиций по Сибири. Был одним из первых исследователей ледников Алтая и Монголии.

С. 98. Г.А. Гребенщиков (1884–1964) — писатель, друг В.Я. Шишкова. После Гражданской войны эмигрировал во Францию, потом обосновался в Америке. Автор романа-эпопеи «Чураевы».

С. 98. *Г. Вяткин* (1885–1938) — русский, советский писатель, поэт, литератор. Окончил Томскую учительскую семинарию и работал в редакции «Сибирской жизни», где и опубликованы его первые стихотворения и рассказы. С этой газетой 10 лет сотрудничал В.Я. Шишков.

С. 101. *Жнейка* — жатвенная машина.

С. 104. *Талкан* — алтайский чай, в состав которого входят вода, соль, мука из жареного ячменя, масло.

С. 104. *Кабинет* — сформирован императрицей Елизаветой Петровной, которая в 1747 году изъяла у наследников А.Н. Демидова земли на Алтае с располагавшимися на них предприятиями и подчинила их Кабинету Его Императорского Величества. Кабинетские земли приносили большой доход. Алтай перед 1917 годом давал ежегодно от 3 до 4 млн руб. На Алтае кабинетские земли располагались в пределах Алтайского (до 1834 года Кольвано-Воскресенского) горного округа (к началу XX века — Барнаульский, Бийский, Кузнецкий и Томский уезды Томской губернии).

С. 105. *Зайсан* — перевод с алтайского «старейшина племени, судья народного суда». Главный человек рода (сеока), управляющий экономической деятельностью племени.

С. 106. *Улала* — одно из старых названий Горно-Алтайска.

С. 117. *Хиус* — резкий, холодный ветер.

Чуйские были. Впервые: Ежемесячный журнал. 1914. № 2. Опубликовано: Шишков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 189–202.

В «Чуйских былях» происходит трансформация прошлых публицистических заметок в художественный текст, стилизованный под предания и короткие притчи. Неизменным остается тема неприятия русского купечества, обирающего инородцев.

С. 120. *Зыбун-волна* — волна, возникающая в безветренную погоду.

С. 120. *Кобдо* — современный административный центр Монголии. Сегодня — город Ховд.

С. 121. *Турдук* — кожаный сосуд кочевников с двумя «ушками» по бокам.

С. 122. ...*выписывая в седле опьяневшим туловищем мыслете...* — «мыслете» — старославянская буква, очертаниями напоминающая современную «М». Буквальное прочтение словосочетания «болтаясь во все стороны».

С. 122. ...*старый киргиз Юсуп...* — киргизами на рубеже XIX–XX веков называли казахов.

С. 123. *Урус* — русский.

С. 124. ...*лучших игреневых жеребцов...* — лошади с окрасом от насыщенного рыжего до темно-шоколадного.

С. 124. *Шкворень* — тяжелый металлический стержень.

С. 125. ...*куска два китайской чесучи...* — одна из разновидностей шелковой ткани.

С. 129. ...*пошла к ляду...* — к чертям, к лешему.

С. 129. *Фанза* — традиционное китайское жилище.

С. 131. ...*темной ночью с лихими киргизами, друзьями своими, побаранта-*

чить... — барантачить — разбойничьим способом угонять чужой скот.

С. 132. ...и Гнус охулки на руку не положит... — не упускает своей выгоды.

С. 133. Курум — скопление каменных остроугольных глыб.

Суд скорый. Впервые: Вяч. Шишков «Сибирский сказ». Петроград, изд. «Огни», 1916. Опубликовано: Вейсберг, Г. П. Сибирь в художественной литературе [Электронный ресурс] / Г. П. Вейсберг, Г. М. Пушкарев. — Электрон. дан. — Москва : Гос. изд-во, 1927. С. 23–30. Позднее Шишков расширил рассказ до маленькой повести с тем же названием.

На Бие. Впервые: Алтайский альманах / под ред. Г.Д. Гребенщикова; худож. Г.И. Гуркин. СПб., 1914. С. 137-162. Опубликовано: Шишков В.Я. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 1. М., 1983. С. 171-192.

В 1913 году главный редактор «Жизни Алтая» Г.Д. Гребенщиков начал сбор первого сборника поэзии и прозы «Алтайский альманах». В это издание В.Я. Шишков предложил рассказ, основанный на воспоминаниях о первой исследовательской экспедиции по Бие в 1910 году. В 1914 году сборник вышел в Санкт-Петербурге и получил высокую оценку критики.

С. 144. Азям — длинный крестьянский кафтан халатного покроя. *Лопотина* — устаревшее слово «одежда».

Коддовской цветок. Впервые: Отечество. 1915. № 8. С. 12–16. Опубликовано: Шишков В.Я. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 1. М., 1974. С. 196-205.

С. 159. ...чтоб те пятнало, окаянного... — фразеологизм, изначально значащий пожелание заболеть сибирской язвой. Здесь — выражение сильной досады.

С. 159. Бунт — связка мягкого материала (бунт веревок, бунт шкурок).

Сибирский дед. Впервые: Ежемесячный журнал. 1915. № 9-10. Опубликовано по первой публикации с изменением старой орфографии. Рассказ содержит посвящение Григорию Николаевичу Потанину — лидеру сибирских областников, ученому, писателю, общественному деятелю. Друг и коллега автора «Сибирского деда» Владимир Бахметьев во вступительной статье к собранию сочинений 1948 года писал: «Шишков познакомился с Потаниным в конце 1911 года, когда «дедушке Сибири» перевалило шесть лет на восьмой десяток. Невзирая на разницу лет, они привязались друг к другу. Общим у них было — любовь к Сибири и работа. Экспедиции Шишкова в глубину страны Потанин считал продолжением своего труда по исследованию Сибири, что было близко к действительности: один работал как географ и этнограф, другой свои материалы по обследованиям обобщал в технических чертежах и... беллетристике. Трогало Шишкова и то, что маститый ученый одобрял его фельетоны в «Сибирской жизни» и вообще живо интересовался его литературными занятиями, поощрял их». После отъезда В.Я. Шишкова в столицу Г.Н. Потанин очень огорчился, что Сибирь потеряла одного из лучших своих певцов. Рассказ датируется временем переезда писателя в

Петроград. Посвящение учителю, своего рода дань уважения и почтения.

«Сибирский дед» — один из первых рассказов о Первой мировой войне, о начале которой В.Я. Шишков узнал в селе Онгудай во время второй чуйской экспедиции. «Лишь в Бийске сыскались свежие газеты с информацией с русско-германского фронта» (В. Бахметьев). Как свидетельствует супруга писателя К.М. Жихарева: «...я была удивлена, не встретив у него обязательного «патриотизма»... Самая же война очень-очень его огорчила, и в благополучный ее исход он плохо верил». Это наблюдение подтверждается и перепиской. В опубликованном в этом томе письме к Г.Н. Потанину (№ 5) писатель воспринимает Первую мировую войну в эсхатологическом ключе. Тем не менее все очерки и рассказы на эту тему носят гуманитарный характер. Здесь нет традиционного для военной пропаганды, которой были заражены многие пишущие современники, противопоставления «свои/чужие». Эта оппозиция исчезает после перемещения событийного ряда в бытовую (иногда в бытийный) план.

С. 167. *Супостат* — противник, враг.

Варин сон. Впервые: Северные Зори: сборник. 1916. Опубликовано: Шишков В.Я. Собрание сочинений: в 10 т. Т. 2. М., 1974. С. 31–45.

Появление рассказа в сборнике «Северные Зори», а до этого в «Алтайском альманахе» давало В.Я. Шишкову статус одного из главных писателей Сибири.

Рассказ посвящен Павлу Николаевичу Медведеву (1892–1938) — теоретику и историку литературы, критику, литературоведу. Во время знакомства с В.Я. Шишковым Медведев служил профессором Санкт-Петербургского университета. Он стал автором предисловия к первому полному собранию сочинений В.Я. Шишкова в 12 томах (1926–1929). Павел Николаевич был одним из самых известных в России собирателей автографов. В его большую коллекцию вошли автографы Леонида Андреева, Анны Ахматовой, Александра Блока, Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Ивана Бунина, Максимилиана Волошина, Ольги Форш, Вячеслава Шишкова и многих других. Расстрелян в 1938 году.

С. 170. *Кацавейка* — распахнутая кофта, подбитая или отороченная мехом.

С. 173. *...зазубренный косарь...* — большой хозяйственный нож с широким лезвием.

Тайга. Впервые: Летопись. 1916. № 7, 8, 9, 10, 11. Опубликовано: Шишков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 3–138.

Повесть посвящена второй супруге писателя Ксении Михайловне Жихаревой (1876–1950).

«Тайга» — первая большая повесть писателя. А.М. Горький сделал несколько замечаний, исправив которые В.Я. Шишков решился на публикацию. По свидетельству К.М. Жихаревой, публикация повести и хорошие отзывы критиков стали решающим фактором — В.Я. Шишков заканчивает оформление документации по изысканиям Чуйского тракта и становится

профессиональным писателем. В советском литературоведении финальная сцена пожара интерпретировалась как скорый приход революции. В XXI веке всю повесть можно прочесть как повествование эсхатологического плана, где основной сюжет строится на борьбе добра со злом в стилистике христианства.

С. 181. *Кулемка* — самодельные деревянные ловушки на пушного зверя давящего типа.

С. 185. *Напевала проголосную* — протяжная заунывная песня. В.Я. Шишков хорошо знал эту сторону народного творчества. Во время экспедиции 1911 года на Нижнюю Тунгуску писатель собирал народные песни. Эта коллекция проголосных песен вышла в 1914 году.

С. 195. *Шиликун* — мелкий сезонный дух, являющийся в мир людей в период от Рождества до Крещения.

С. 200. ... *с большими топкими «калтусами»*... — заболоченные поляны.

С. 201. *Чалдон* — коренной сибиряк-крестьянин.

С. 206. ... *она ерданским песочком меня поила*... — иорданский песок из Святой Земли, по мнению обывателей, считался лечебным средством.

С. 206. *Самоход* — переселенец в Сибирь из центральной России, *лапотон* — синоним — чалдон.

С. 240. *Мазурик* — плут, мошенник, вор. *Посельга* — еще одно именованье переселенцев.

С. 248. ... *конь уросит*... — упрямый, непослушный, капризный конь.

С. 251. ... «*на липочке*»... — на тонкой нитке.

С. 257. *Фрея* — на воровском жаргоне «женщина».

С. 282. *Иверская наша помощница* — речь идет об иконе Иверской божьей матери. Апокрифическое предание говорит о том, что некий разбойник ударил по лику пресвятой Девы, из раны пошла кровь. Это настолько потрясло бандита, что он тут же решил посвятить себя монашеству. Остался на Афоне и преданно служил Богу, о чем церковь сохранила память по сей день, причислив его к лику святых. С тех пор образ стал защитником гонимых праведников. Следы ранения являются отличительной чертой иконы, по которой сразу можно узнать этот образ среди многих других, хотя выполняется он в разных традициях.

Страшный кам. Впервые: Московский альманах. 1923. Опубликовано: Шишков В.Я. Избранные сочинения: в 6 т. Т. 1. Повести и рассказы. М., 1948. С. 236-289.

Повесть датирована автором 1919 годом. В творческой лаборатории В.Я. Шишкова этот сюжет впервые встречается в путевых очерках «По Чуйскому тракту». Писателю удается уловить и транслировать в художественный текст сложный мир многобожия. Пожалуй, впервые в литературе первой четверти XX века образ шамана читается не как этнографический или социальный, а как многоуровневый персонаж, который существует сразу в двух религиозных культурах: языческой (алтайский шаманизм) и православной. Чалбак не может не камлать, так как родовая шаманская энергия

просто убьет его, если он откажется от своего природного призвания. Но он не может отказаться от нового христианского имени (Павел) и новой судьбы. Это противоречие позволяет создать новый сложный характер, в котором интертекстуальные связи восходят к книгам Нового завета, а сам кам Чалбак претерпевает Христовы муки.

С. 301. *Курмесы* — души умерших, имеющие право существовать на земле, например, души шаманов.

С. 305. *Юрта-аланчик* — одно из названий алтайского летнего жилища с каркасом из жердей и крытое корой лиственницы или берестой.

С. 305. *Ульгень* — верховное божество в шаманизме алтайцев, глава светлых чистых духов, населяющих небесную сферу мироздания.

С. 305. *Курмес-алдачы* — в алтайской мифологии ангел смерти.

С. 309. ... в узелке речи Иоанна Златоуста... — Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, один из трех Вселенских святителей. Прославился своими знаменитыми проповедями, главными из которых считаются Беседы на книги Ветхого и Нового заветов, Катехизические беседы, Проповеди на нравственные темы.

С. 310. ...буду, как Адонай!.. — с древнееврейского переводится как «Бог».

С. 312. *Саваоф* — один из титулов бога в иудейской и христианской традициях.

С. 313. *Ильин день* — Ильин день православные отмечают 2 августа (по старому стилю — 20 июля). Праздник посвящен Илье-пророку — покровителю воинов.

С. 314. *Табьш* — с татарского «находка», «прибыль», «добыча».

С. 323. ...обозначает синклит и, во-вторых, — святейший синод... Синклит — лица, составляющие высшее гражданское правительство. Синод — высший орган по делам Русской православной церкви, учрежденный Петром I вместо упраздненного им патриаршества; в настоящее время — совещательный орган при Патриархе Московском и всея Руси.

С. 332. *Улясутай* — город в Монголии.

С. 339. ...великопостную стихирю будут петь: «Се жених грядет во полунощи»... — эта молитва звучит в храме в первые три дня Страстной седмицы. В ней содержится призыв к духовному бодрствованию.

С. 348. *Иссон* — растение с эфирными маслами. Имеет приятный запах.

Любителям красоты и природы (р. Бия, Телецкое озеро и р. Чулышман). Впервые: Сибирская жизнь. 1910. 18 июля (№ 158). Опубликовано по газетному тексту с исправлением старой орфографии. Этот материал — своего рода путеводитель по дачным местам района Телецкого озера. Он не отличается художественным совершенством, но дает четкое понимание устройства быта путешественников. Примечательно, что с «Любителей красоты и природы» начинается «алтайский текст» В.Я. Шишкова.

С. 355. *Артубаш* — устаревшее название поселка Артыбаш.

С. 355. *Пыжинский порог* — самый опасный порог Бии, протяженностью 800 метров.

С. 356. *Теленгиты* (*телесы*) — этническая группа на Алтае. В 2000 году

теленпиты были отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255), и перепись 2002 г. учла их как отдельный народ.

С. 356. *Алтын-Куль* — общетюркский топоним, означающий «золотое озеро», встречающийся в Киргизии, в Республике Каракалпакстан, в Узбекистане.

С. 356. ...*тальяменей (нередко до 2,5 аршина)*... — хищная рыба, достигающая размера 1 метра 777 сантиметров.

С. 356. *Карбал* — плоскодонная гребная лодка.

С. 357. ...*проф. Сапожникова «По Алтаю» и двум брошюрам: «По восточному Алтаю (Дневник путешествия в 1905 году)» В.И. Верещагина и «Исследование Телецкого озера на Алтае летом 1901 г.» П.И. Игнатов...* — По поручению Томского университета профессор В.В. Сапожников в 1895 году осуществил свое первое путешествие по Алтаю. Первая глава книги «По Алтаю» имеет подзаголовок «От Бийска до Телецкого озера с экскурсией на Катунь. По Телецкому озеру. Поездки на Алтын-ту. По долине Чулышмана. От Чулышмана до Чуи, с экскурсией на Кызыл-Оёй», что во многом повторяет первую экспедицию В.Я. Шишкова по исследованию Бии.

Ботаник В.И. Верещагин (1871–1956) перехал на Алтай в 1899 году и начал преподавать в реальном училище. Открыл несколько видов растений. В Центре хранения архивного фонда Алтайского края (ЦХАФ АК) находится личный фонд Виктора Ивановича Верещагина, состоящий из 32 единиц хранения. В 1905 году он отправился в ботаническую экспедицию по маршруту «Бийск — Кебезень — Телецкое озеро — Улаган — Чуйский тракт — Бийск». Итогом ботанической экспедиции стали богатая коллекция растений и книга В.И. Верещагина «По восточному Алтаю (Дневник путешествия в 1905 году)» — Барнаул: Типо-Литография Упр. Алт. окр., 1907.²⁷

П.Г. Игнатов (1874–1902), будучи членом Русского географического общества, в 1901 году организовал большую научную экспедицию по исследованию Телецкого озера. В течение лета и осени группа ученых выполнила огромную работу: произвела топографическую съемку озера и прилегающих гор, промеры глубины в 2500 пунктах, гидрологические, биологические, геологические и другие исследования. На карте, опубликованной П.Г. Игнатовым, было отмечено 48 притоков. «Исследование Т. озера на Алтае летом 1901 г.» вышло в 1907 году и было знакомо В.Я. Шишкову.

С. Чулышманский Благовещенский мужской монастырь — основан в 1879 году. Как пишет Ю.А. Крейдун: «Предполагалось, что монастырь станет главным административным центром Миссии. Однако авторы данной идеи, очевидно, основывались лишь на умозрительных геоматрических соображениях по географическим картам Горного Алтая. Между тем реалии климата и сложного рельефа таковы, что путь из Бийска в долину Чулышмана занимал почти неделю, включая преодоление Телецкого озера».

Пасынки. Впервые: Сибирская жизнь. 11 января 1912. № 8. Опубликовано по газетному тексту с исправлением старой орфографии. Сам В.Я. Шишков «Пасынки» и «Собачью жизнь» не включал в прижизненные

27 Верещагин В. И. По Восточному Алтаю : дневник путешествия в 1905 году. Барнаул : Тип.-литогр. Главн. Упр. Алт. округа, 1907.101 с.

собрания сочинений. Не выходили они и после смерти автора.

С. 359. *Покрута* — предоставление в долг денег, продовольствия, боеприпасов.

С. 360. *Отыркон* — в тунгусской традиции — пожилой, уважаемый в силу своего возраста, но все еще работоспособный мужчина.

Собачья жизнь. Впервые: Сибирская жизнь. 4 марта (№ 52). Опубликовано по газетному тексту с исправлением старой орфографии.

С. 361. *Кухмистерская* — трактир, второсортный ресторан.

С. 361. *Боа* — длинный шарф из меха или перьев.

С. 361. «*Последний радостный депоочек...*» — популярная на рубеже веков песня о призыве в армию.

С. 363. *Притча о милосердном самаритянине* — притча о помощи ограбленному разбойниками представителю другой веры (Евангелие от Луки, глава 10, 25–37).

К вопросу о театральной жизни в Сибири. Впервые: Сибирская жизнь. 5 июня (№ 124). Опубликовано по газетному тексту с исправлением старой орфографии.

С. 365. *Самородок в фунт* — весом в 0,45 килограмма.

С. 365. *Бутафа* — деревянное устройство в виде корыта с решетками для промывки золотосодержащих песков.

С. 365. «*Взявшись за меч от меча и погибнет*» — цитата из Нового завета (Евангелие от Матфея 26:52).

Георгий Гребенчиков «В просторах Сибири». Впервые: журнал «Завесь» 1913. № 5. Опубликовано по журнальному варианту с исправлением старой орфографии.

Георгия Дмитриевича Гребенщикова и Вячеслава Яковлевича Шишкова объединяло многое. Они публиковались в одних сибирских газетах, входили в один областнический кружок при Г.Н. Потанине. С разницей в один год вышли их первые книги в столице. Оба пользовались расположением А.М. Горького. После революции их пути расходятся, но сохраняется переписка. Во время Великой Отечественной войны большая часть сибирского архива В.Я. Шишкова сгорела — город Пушкин (Царское Село), где жил писатель, был оккупирован. Часть писем публикуется в третьем томе этого издания.

СОДЕРЖАНИЕ

Новый Шишков	5
Автобиография	23
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА	
Кедр	39
Помолились	43
Дяденька	50
Краля	55
Ванька Хлюст	71
По Чуйскому тракту	90
Чуйские были	120
Суд скорый	135
На Бие	141
Колдовской цветок	158
Сибирский дед	165
Варин сон	170
Тайга	180
Страшный кам	301
ПУБЛИЦИСТИКА	
Любителям красоты и природы	353
Пасынки	359
Собачья жизнь	362
К вопросу о театральной жизни в Сибири	365
Георгий Гребенчиков «В просторах Сибири»	368
ИЗБРАННЫЕ ПИСЬМА	
(1911 – 1916)	373
ПРИМЕЧАНИЯ	387

Литературно-художественное издание

Шишков Вячеслав Яковлевич

Собрание сочинений в трех томах

Том 1
Скитания

Редактор-составитель С.А. Мансков
Дизайнер-иллюстратор А.В. Казанцев
Верстальщик Е.К. Метякова
Корректор Т.А. Дубовская

Подписано в печать 07.08.2018 г. Формат 70x100/16.
Гарнитура «Garamond-e». Бумага мелованная. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 733.

Отпечатано в типографии «Технопринт»
650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а.
Тел. (3842) 35-21-19.